

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

7



1996

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 7(855)

Июль, 1996 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»,
АО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”»

СОДЕРЖАНИЕ

ДМИТРИЙ ЛИПСКЕРОВ — Сорок лет Чанчжоз, роман	3
ЯН ГОЛЬЦМАН — Озерные песни, стихи	92
ОЛЕГ ЛАРИН — С Егорычем в магазин. Туда и обратно. Сцены из захолустной жизни	96
ЕЛЕНА ЕЛАГИНА — Воздушными глазами, стихи	120
ИВАН ОБЛАСОВ — Колокола и облака, стихи	123
ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ — Три рассказа	126
ЛЕВ ОЗЕРОВ — Из последних стихов	152
ЛЕВ КОТЮКОВ — Сны погибших, стихи	153
ЛЕОНИД ЗАВАЛЬНЮК — Все люблю и ничего не жду, стихи	155

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

В. САДОВНИКОВ — «Оттепель» в зоне	157
ЮРИЙ ГЛАЗОВ — Ранний Сахаров	165

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ — Свой среди своих. Савинков на Лубянке	172
---	-----

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА

ЕЛЕНА ОРЛОВСКАЯ-БАЛЬЗАМО — Человек в истории: Солжени- цын и Ипполит Тэн. Перевела с французского Дарья Румянцева	195
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

СЕРГЕЙ КОСТЫРКО — О критике вчерашней и «сегодняшней». По следам одной дискуссии	212
ИРИНА РОДНЯНСКАЯ — Герменевтика, экспертиза, дегустация, сан- эпиднадзор	223

ПО ХОДУ ДЕЛА

АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ — Прощай... и помни обо мне	226
---	-----

(См. на обороте)

Татьяна Касаткина. Философские камни в печени.

Никита Елисеев. Морок Александра Бородыни.

Борис Давыдов. Всего и надо, что вчитаться.

Константин Сергиенко. На букву «Б», или Не лежи «кверху брюхом».

КОРОТКО О КНИГАХ:

Вл. Славецкий. — I. Александр Коковихин. Около себя. Стихи. II. Николай Кононов. Лепет. Книга стихов. III. Евгений Блажеевский. Лицом к погоне. Книга стихотворений. ♦ Юрий Кублановский. — Валерий Хатюшин. Русская кровь. Поэзия русского сопротивления 241

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ:

Е. Тихомирова. — Альманах «Остров» 246

КНИЖНАЯ ПОЛКА 248

ПЕРИОДИКА 252

SUMMARY 256

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Известия» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы можете оформить льготную подписку на «Новый мир» непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов, в субботу с 10 до 13 часов. Здесь же можно приобрести отдельные номера журнала. (Справки по тел. 200-08-29.)

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в А/О «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Паббликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел./факс (095) 144-00-55, (095) 144-01-89).

Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «*Novu Mir*»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.

Из общего тиража Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 5 тысяч экземпляров журнала «Новый мир».

ДМИТРИЙ ЛИПСКЕРОВ



СОРОК ЛЕТ ЧАНЧЖОЭ

Роман

1

Капитан в отставке Ренатов сидел на маленькой деревянной табуреточке, стоящей на цветном, с азиатскими узорами, покрывале и, щурясь, слегка улыбаясь, смотрел на небо. Как всегда в это время, в начале осени, в сторону северо-востока катились густые облака, сквозь которые, помигивая, выглядывало солнце, щекоча ноздри задранных к небосводу голов... Капитан Ренатов, впрочем, никогда не чихал, глядя на солнце, но неизменно наслаждался щекоткой в носу, самой возможностью когда-нибудь чихнуть, раскатисто, напористо, распугивая маленьких птичек из густой травы...

Спина капитана Ренатова уперлась в ствол тонкой березы, которая слегка изогнулась, пружиня, поддерживая тело отставника наподобие спинки кресла, ноги были вытянуты и сложены одна на другую, каблуки нестарых армейских сапог уперлись в какой-то выступ или корешек под покрывалом, найдя опору, и от всего этого было очень удобно сидеть и радоваться неспешному осеннему дню, его исполнившимся пяти часам полудни... Капитан Ренатов иногда дотрагивался всей ладонью до еще горячего самовара, слегка kloкочущего и пахнущего догорающими шишечками, собранными Евдокией Андреевной в Приютском лесу и высушенными на лежанке печи. От прикосновения и легкого ожога по телу бежали мурашки, но солнце тут же их согревало, заставляя спрятаться обратно в душу, а тело требовало чего-нибудь теплого, и капитан Ренатов прихлебывал из большой кружки липовый чай с терпкими травками, смешанными женой с заваркой и успокаивающими нервную систему.

Все это сооружение — из азиатского покрывала, табуретки, старинного самовара, связок с пшеничными баранками, нескольких вазочек со сладкими вареньями, помятыми и свежими салфетками, двадцатикратным биноклем, висющим на березовой ветке над головой, — почти ежедневно строилось Ренатовым в теплые времена года на протяжении последних двух лет, с тех пор как он вышел в отставку в возрасте сорока шести лет. Место располагало. Пригорок, использующийся для бивуака, находился прямо под домом капитана, в двухстах метрах, а под пригорком был откос с песочными краями, под которым текла речка, в которую и обваливались песочные края, тихо всплескивая, как будто разыгралась рыба, а впрочем, может, это и в самом деле гуляли голавли, хватая мясными ртами стрекоз. С другой стороны реки начиналось бескрайнее поле, принадлежащее г-ну Климову, живущему в большом городе, географически близком к столице. Г-н Климов слыл крайне состоятельным человеком, был очень стар, его

Дмитрий Михайлович Липскеров родился в 1964 году в Москве, окончил Высшее театральное училище им. Б. В. Шукина. Драматург, автор пьес «Школа для эмигрантов», «Река на асфальте» и др. Член Союза писателей. В «Новом мире» печатается впервые. Роман «Сорок лет Чанчжозэ» готовится к публикации в издательстве «Вагриус».

интересы кончились вместе с дипломатической карьерой, а вследствие этого поле никогда не засевалось злаками, а зарастало всем, чем придется, — от клевера до небольших деревьев, которые кто-то выдирал каждую весну, лишь только спадали снега. Траву косили все, кому не лень, никто никого с поля не гонял, не было никаких скандалов из-за дележа чужого, и оттого вокруг царило благодущие и казалось, даже воздух напоен добротой... Сейчас поле было тщательно выкошенным, слегка пожелтевшим и готовящимся к зиме...

Капитан Ренатов никогда не пользовался «климовским» полем, потому что оно все же было чужое, хоть и находилось под самым носом, да и скотины в хозяйстве не было, молоко покупали на стороне, в небольших количествах — к чаю, так что сено было ни к чему... Где-то там, далеко, за полем, простирался дремучий Гуськовский лес, в котором отставник никогда не бывал, даже в бинокль тот рассматривался с трудом, какой-то темной, таинственной полосой.

Сам пригорок, на котором размещался отставник, был приятен тем, что сплошь зарос лопухами и всякими цветами вразнобой. Пригорок ничего не перекрывало ни слева, ни справа, а оттого солнечные лучи согревали его всю долготу дня... По три раза за вторую половину дня к забору ренатовского дома подходила полная Евдокия Андреевна и, приложив пухлую ладошку ко рту, звала вниз:

— Семен Ильич! Не желаешь ли чего?.. Не замерз ли? Может, плед принести?..

От голоса жены, скатывающегося бубенчиком вниз, от заботливости супруги в Семене Ильиче неизменно всплескивалось ощущение счастья, тихого и навсегда. Ренатов снимал с ветки бинокль и долго смотрел в окуляры на свою спутницу с умилением. Он слегка покачивал головой, как бы говоря, что он в порядке, ничего ему не нужно, совсем не замерз, но внимание Евдокии Андреевны ему приятно и приятно смотреть через линзы на ее полные колени и юбку, прилипшую к ним... Евдокия Андреевна тоже некоторое время разглядывала мужа, точно зная, что он видит ее, двадцатикратно приблизив. Ей тоже было радостно оттого, что ее фигура до сих пор волнует Семена Ильича, и, всякий раз выходя к забору, она позволяла себе некоторые вольности в одежде — то юбку подоткнет выше, чем обычно, то рубашку наденет с глубоким вырезом, из которого выпирают ее хлебные груди.

— Ну что ж, не замерз, так и хорошо! — говорила напоследок Евдокия Андреевна и, улыбнувшись, уходила в дом, оставляя мужа с упрочившимся чувством умиления.

Ах, надо бы с Дусей рыбу половить завтра, думал Ренатов, оглядывая белые стены своего дома, еще совсем крепкого, вросшего в землю на столетия. И представил себе, как на заре они с женой спускаются к реке. В руках у него бредень с крупными грузилами, чтобы по дну волокся, а Евдокия Андреевна несет ведро, в которое будет складываться будущий улов из мелких щучек, плотвы и окуней... Они дойдут до рукава речки, совсем узкого, так что его можно перепрыгнуть, Евдокия Андреевна поднимет юбки и войдет в воду, забегает, мутя ее, поднимая со дна ил, а когда вода возмутится окончательно и рыба в ней заблудится, то настанет черед и его, Ренатова, залезать в воду по пояс. Они расправят бредень и пойдут не торопясь к кривой иве, где и вытащат бредень на берег. А в нем будет трепыхаться рыбка, которая станет впоследствии основой душистой ухи, наперченной и густой.

До отставки капитан Ренатов был на службе в интендантстве дивизиона генерала Блуянова, заведовал складами с военной амуницией и просидел на этой должности семь лет. До него так долго никто не удерживался на этом месте, неизбежно проворовываясь и попадая под суд военного трибунала. Воровали все, что под руку попадало, от сапог до чехлов к ружьям. Брали даже пуговицы к зимним солдатским шинелям, в пуде которых не было и грамма драгоценных металлов, — переплавляли на грузи-

ла и продавали по копейке... Впрочем, судили за это нестрого, чаще пороли с серьезом и отправляли в ссылку, нежели в тюрьму, оправдывая воровство национальной русской чертой: мол, слаб русский до чужого, особенно когда этим чужим приходится заведовать. Но с приходом капитана Ренатова в дивизион Блуянова воровство в интендантстве пошло на убыль, а впоследствии и вовсе извелось, так как Ренатов был честен, хорошо вел учет и спуску вороватым не давал. К концу седьмого года службы лично сам Блуянов наградил капитана Ренатова медалью, расцеловал его троекратно и поблагодарил за упасение имущества русской армии, а через месяц также собственноручно подписал приказ о демобилизации Ренатова, поясняя тем, что время мирное, войны не предвидится, мужского населения прибывает, а потому сорокашестилетний капитан может отдыхать на пенсии хоть до смерти, если ему заблагорассудится...

Ренатов объяснял свою отставку очень просто: нужно было освободить кому-то место — тому, кто засунет руки по локоть в армейскую казну и будет кормить как генерала Блуянова, так и весь его штаб. Впрочем, Ренатов не судил строго Блуянова, оправдывая его той же национальной чертой; к своей службе относился равнодушно, хоть и исполнительно, а потому без недовольства ушел на пенсию, чтобы быть поближе к Евдокии Андреевне, своей законной жене, и жить простым гражданином отечества на краю старинного русского городка Чанчжоэ.

Солнце неизбежно клонилось к закату, окатывая пригорок багрянцем, а Ренатов, не меняя позы, оглядывал в бинокль окрестности и вяло размышлял о приближающейся старости.

Ведь нет в ней ничего такого уж страшного, думал отставной капитан. Если ты здоров, если под боком у тебя Евдокия Андреевна, пухлая и приятно пахнувшая, если есть двухведерный самовар, в боках которого неизменно полощется закат, то и старость не пугает... Да и сорок восемь лет — не старость. Сорок восемь лет — это даже еще совсем средний возраст для мужчины, еще мышцы не совсем одрябли, нет холода в костях по вечерам, лишь желудок потягивает к ночи от избытка жирной пищи... Еще лет тридцать проживу, прикинул Ренатов.

Зазвонили колокола чанчжоэского храма, и Семен Ильич достал из кармана жилетки часы с музыкой, найденные им позапрошлым летом возле корейской чайной, рядом с дымящей сигарами урной. Мысли о старости ушли от него так же легко, как и посетили, растворились в желудочном соке — Ренатов с наслаждением подумал об ужине.

Он смотрел в бинокль на далекий Гуськовский лес и живо представлял себе холодные ломтики вчерашнего гуся на закуску — с тонким слоем сладкого жира, загустевшего на хрустящей корочке яблочным вкусом; представлял звонкий грибочек, умело засоленный Дусей, — как он отмыто поскрипывает на зубах после граненой рюмки барбарисовой; затем крутые щи с бараньей косточкой, из которой так трудно, но так занимательно высасывать и выковыривать мозг; после жареное вымя с картошкой, томленной в шкварках в самом жарком месте печи, и напоследок ядреного кваса две кружки — до отрыжки и икоты, до свербения в носу...

Мысли Семена Ильича об ужине прервались чем-то неясным, увиденным в бинокль. Ренатов никак не мог сообразить, что там происходит возле Гуськовского леса. Вроде как дым по всему горизонту поднимается к небу. Уж не пожар ли в Гуськовском лесу? Осень сухая, может выгореть лес... Или все-таки это пыль, хотя откуда ей взяться... Это неясное почему-то взволновало Семена Ильича, забеспокоило, хотя какое ему было дело до пожара за десяток километров в чужом лесу или облака пыли, если это, конечно, не смерч, хотя о смерчах в этих краях никто не слышал. Но катаклизмы всякие случаются в этом мире, справедливо подумал капитан Ренатов и навел в окулярах резкость получше. Вскоре он понял, что это все-таки не пожар, так как темная туча перекинулась на «климовское» поле и с какой-то удивительной и завораживающей быстротой приближалась... Километров этак пять в поперечнике, прикинул Ренатов..

Что это все же такое, размышлял он, чувствуя, как желудок окатывает неприятным холодком.

— Евдокия Андреевна! — как-то неуверенно позвал отставник. — А Евдокия Андреевна!.. Слышь?..

Но жена не услышала мужниного призыва, и Семен Ильич все же решил выяснить до конца природу непонятого явления, а для этого ему оставалось лишь наблюдать в цейсовские стекла нарастающую тучу.

А туча тем не менее приближалась быстро. Как-то резко потемнело на небесах, воздух стал влажным и тягучим, что-то потрескивало в природе и, казалось, вот-вот надломится.

Да это же кто-то бежит, осенило Семена Ильича. Коровы, что ли, спасаются от пожара?.. Хотя дымом не пахнет, да и откуда такое количество коров в Гуськовском лесу... Тьфу ты, глупость какая!..

Было уже слишком темно, чтобы он мог легко разглядеть явление, но Семен Ильич, вдавив окуляры в глаза, с необъяснимым ужасом понимал, что происходит нечто сверхъестественное, недоступное его пониманию, о чем никто не слыхивал и не видывал сроду... Неожиданно в небесах вспыхнуло молнией, что-то в природе надломилось, и взору Семена Ильича предстало зрелище поистине необычайное, способное и в душу просвещенного внести смуту. По «климовскому» полю, по всему его поперечнику, на сколько хватало взора, усиленного биноклем, в полнейшей тишине мчались куры...

— Господи! — воскликнул капитан Ренатов. — Да их... их... миллионы!..

Другие очевидцы нашествия после рассказывали, что самое жуткое, самое страшное в этом набеге было то, что куры мчались молча, не издавая ни единого звука. В их беге все до единого отмечали огромный порыв, великое стремление к быстрому бегу в ночи. В этом беге в ночи на «климовском» поле были задавлены десятки тысяч кур, белых и пестрых, черных и рябых. Те, кто не мог бежать быстро, затапывались напиряющими сзади, такое было стремление. Птичьи тела в мгновение ока разрывались когтями наседавших, лилась на непаханую землю черная кровь...

В течение месяца после нашествия над полем стоял густой смрад, кружилось и летало перо и слышался ночами жуткий волчий вой.

Капитан Ренатов погиб через четверть часа после того, как уразумел, что происходит. Он рассчитывал, что куры не смогут перемахнуть через реку, но, к его удивлению, тысячи птиц, захлебываясь в бурлящей воде, послужили живой дамбой для напиряющих сзади миллионов.

Господи, подумал перед смертью Семен Ильич. Ведь среди них нет петухов. Ни одного!.. Одни куры!..

Тело капитана Ренатова в одно мгновение было разодрано на тысячи частей, его крепкий дом обрушился под откос всеми своими белыми стенами, лишь Евдокия Андреевна счастливо спаслась, будучи во время нашествия в погребе. Впоследствии она нашла в песке армейский сапог, сплошь окровавленный и разодранный, и долго плакала над ним.

Куры разрушили всю юго-западную часть городских окрестностей, но чудо! — погибли всего лишь два человека: незадачливый капитан Ренатов да пьянчуга Шустов, заснувший на «климовском» поле.

Лишь только куры добрались до центра города, как они тут же успокоились, остановив свой великий бег, и принялись клевать с городских улиц что-то, одним им только ведомое.

Итак, восемнадцатого сентября в старинный русский город со странным, не имеющим перевода названием — Чанчжоз — вошли куры. И были жертвы.

2

Генрих Шаллер, русский полковник, проснулся ранним утром от очень серьезной мысли. Мысль была настолько важной, что Шаллер не открывал глаз и боялся пошевелиться, чтобы не спугнуть ее. Он так раз-

волновался, что слегка вспотел и чувствовал, как пододеяльник липнет к спине, а из-под мышек стекают капли. То, что Генрих Шаллер вспотел, еще раз доказывало ему самому, что мысль неординарная, достойная глубокого обдумывания.

Третьего дня вечером, сидя на веранде, он прочел в книжке про Индию такую фразу: «Каждый член ищет свое влагалище». Поначалу эта фраза вогнала русского полковника в краску и смущение. Фраза выглядела очень порнографичной. Примерно такие он встречал в бульварной газетенке «Бюст и ноги», издаваемой поручиком Чикиным на собственные деньги в маленькой типографии на окраине Чанчжоэ... Но книжка про Индию была написана профессором Гамбургского университета, доктором истории, и заподозрить столь ученого мужа в насаждении порнографии было бы по крайней мере неосторожно. Тем более профессор далее писал — фраза взята из первоисточника и рождена была неизвестным задолго до Рождества Христова. Взвесив все факты, Генрих Шаллер попытался отыскать в этой фразе поэтическое начало.

Не стоит размышлять привычными образами, думал полковник вечером, следя за передвижениями осенних листьев, прилипших к окнам веранды. Шел мелкий дождь, и думалось хорошо.

Ведь что такое привычный строй мыслей? Это система подхода к задаче с позиций, заложенных в младенчестве. Если я знаю, что такое Добро, то противоположным ему будет — Зло. Это и есть привычное построение мысли. Но если предположить, что существует другая точка отсчета в понятиях о Добре и Зле, полярная привычной, то получится, что Добро есть Зло, а Зло — Добро.

Шаллер еще некоторое время над этим подумал, отмечая, что осенние листья проделали путь от верха стекла до подоконника. Его охватило легкое раздражение, он решил, что его выкладка о Добре и Зле есть чушь, и при чем тут индийская фраза: «Каждый член ищет свое влагалище»? Какая связь этой фразы с Добром и Злом? Никакой, вынужден был констатировать Генрих, и от неудачной попытки родить мысль неординарную ему стало муторно и подумалось, что он проживает никчемную жизнь. В тот вечер Генрих Шаллер лег спать расстроенным.

Генриха Шаллера можно было бы назвать натурой мыслящей. Он всегда пытался думать о том, о чем, казалось, никто не думает. Где-то в глубине души Генрих понимал, что это вовсе не так, но тешил себя тем, что строй его мыслей над известными понятиями неординарен. Он никогда не записывал своих интеллектуальных выкладок, лишь порой делился ими с женщинами, а потому не мог убедиться в том, что они действительно неординарны. Большинство женщин высоко ценили ум полковника, но сам Шаллер относился к возможностям женского ума скептически, и похвалы слабого пола были ему приятны, но не являлись подтверждением его выдающихся способностей. С мужчинами полковник не разговаривал на отвлеченные темы: вокруг все были военными либо богатыми. Военные творческим умом не располагают, а богатые не понимают философов — в этом Шаллер был уверен окончательно.

Полковник Шаллер надеялся, что когда-нибудь с ним произойдет что-то сверхъестественное. Если он сформулирует нечто сродни Истине, то это сверхъестественное даст ему знать о том, что он прикоснулся к еще не изведенному простым человеком. Может быть, воздух тогда сгустится и откроется космическая дверь, забирая в глубины Вселенной Генриха как существо, ушедшее в своей мысли далеко от человечества, а оттого переставшее быть ему нужным. Может быть, упадет с неба луч и взъерошит волосы, поощряя уверенностью, что после смерти будет жизнь совсем другая, не сформулированная, но та, в которой ему отведено место достойное, эквивалентное открытию Истины...

Генрих Шаллер понимал, что все эти мечты похожи на детские грезы, что они, мягко говоря, неразумны для сорокапятилетнего полковника, но эти фантазии ему все же нравились, и он подспудно ждал чудесного, той

космической дверки или животворящего луча, как ученик ждет похвалы учителя.

Вот и в это утро полковник ждал чуда, так как то, что он обдумывал и к чему подбирался в гипотезе, казалось ему грандиозным. Он еще крепче закрыл глаза.

Лишь только его просыпающееся сознание столкнулось с новым утром, как в мозгу снова всплыла фраза: «Каждый член ищет свое влагалище». И мозг незамедлительно начал работу.

Если предположить, что член не есть физиологический предмет в медицинском толковании этого слова, а является энергетической субстанцией космоса, размышлял Шаллер, то, вероятно, можно предположить, что существует и космическое влагалище со своим энергетическим зарядом. Что из этого следует? А то, что, вполне вероятно, космическое пространство оплодотворяется подобно человеку, вернее, человек подобно пространству... Вследствие чего происходят вселенские роды... Родятся галактики... Могло бы произойти чудо, и человек, женщина, в ночи родит галактику...

Мысль скакнула поэтическим образом.

Адам был создан Богом как орудие зачинания новых галактик отнюдь не человеком, как толкует церковь, а божеством. Но то ли Господь что-то передумал, то ли решил позабавиться своим всесилием и породил парадокс, создав из ребра первенца искусственное чрево в образе Евы, из которого никогда не родится космическое пространство, а лишь такие же бесчисленные орудия и неутоленные чрева... Бедный Мужчина! Он способен родить бесконечный мир, а вынужден плодить мучеников из-за чьих-то шуток.

Полковник почувствовал, как капля пота скользнула из-под мышки и потекла по животу.

Поэтому член всегда неудовлетворен, потому что он не может зачать галактику. Он мечется в поисках утробы, а это все не то, не та утроба, родятся другие ему подобные, и мужские потомки вслед за родителем тоже мечутся, безуспешно растрачивая драгоценную энергию...

Женщина — это Ложное Влагалище, не способное родить Вселенной, заключил Генрих Шаллер. Поэтому каждый член ищет свое влагалище. Истинное Влагалище.

Тело полковника замерло, его сковало судорогой от такого неожиданного вывода. Пуховое одеяло показалось ему тяжелым, словно крышка гроба. Он еще долго не шевелился, не открывал глаз, все более уверяясь в силе своего гипотетического заключения. Можно и умереть за такой вывод, подумал он. Лишь бы убедиться в его правильности.

Генрих Шаллер резко открыл глаза и посмотрел сквозь окно на небо. Небо было Лазорихиевым. По всему пространству от края до края неслись кровавые облака-сгустки, завихряясь в какие-то желтушные пятна. Было отчетливо видно, как в высоте сражаются встречные ветры, сбивая облака в кучи, затем разгоняя их мощным дуновением для новых столкновений. Полковник испугался. Его тело затрясло, словно в сенной лихорадке. Это был знак. Знак Вселенной. Само небо своей лазорихиевой красотой подтверждало правильность его вывода.

Шаллер отбросил душившее одеяло, выскочил из постели, рванул на себя створки окон, впуская ветер, и протяжно закричал:

— Лазорихиево небо-о-о!.. Возьми меня-я-я!..

Небо ответило раскатами грома, накатило в окно прохладой, и в комнате полковника запахло электричеством.

— Я же понял! — продолжал кричать Шаллер. — Я прикоснулся!.. Возьми-и меня-я!..

Пошел косой дождь, забрасывая лицо просителя ледяными брызгами, а он все стоял, дыша полной грудью, и смотрел ошалевшими глазами на израненное небо в ожидании чуда... Прошли минуты.

Полковнику стало холодно. Свежий ветер высушил от пота его тело, а дождик смыл липкость. Генриху захотелось завтракать, и он, закрыв окно,

прошел в кухню. Стал есть душистую белую булку с грушевым вареньем, запивая бутерброд холодным молоком. Он оглядывал двухпудовые гири, стоящие в углу, и думал, что сегодня не выжмет их и сорока раз. Обычно ему это удавалось запросто.

Ах ты, черт, думал он. Ведь было же Лазорихиево небо. Ведь не случайно же оно выскочило именно сегодня, когда так хорошо думалось. Ведь не просто же так страдал святой Лазорихий под кровавыми пытками, что в память о нем небо пылает кровью. Странно все это...

Генрих Шаллер намазал второй кусок хлеба вареньем и загрустил по мужчинам, путающим желание зачать великое с неудовлетворенным сексуальным чувством... Надо бы опубликовать свои мысли с разъяснениями, подумал он, но тут же испугался, что его обвинят в насаждении порнографии или, на худой конец, посоветуют обратиться к психиатру. Хотя нет, один человек с удовольствием опубликует — поручик Чикин в «Бюсте и ногах» — и заплатит по рублю за строчку.

От образа неприличной газеты Генрих Шаллер почувствовал легкое возбуждение. Мысль перекинулась на Лизочку Мирову, пригласившую его сегодня вечером к себе в гости. Будет много замечательных людей, может быть, заглянет и губернатор Контата с членами городского совета... И Лизочкины подруги, такие свежие, с умытыми личиками, с детскими улыбками и хорошенькими фигурками... Так будет на них приятно смотреть... А Лизочка... А с Лизочкой, когда все разойдутся... зачну галактику, подумал Генрих и громко рассмеялся. Какая все чушь, какие мысли глупые от скуки приходят. Он посмотрел на небо, вдруг заголубевшее в своем просторе, и почувствовал, как хорошее настроение входит в него полновесно, расправляя недоуменную душу.

Генрих Шаллер познакомился с Лизочкой Мировой в позапрошлом году в сентябре на опушке Гуськовского леса, ровно через три года после нашествия кур. Полковник никогда бы не стал заводить тайных, порочащих честь знакомств, если бы его жена Елена Белецкая не начала писать свой нескончаемый роман.

Лизочка была очаровательна в своем простеньком ситцевом платье с оборочками вокруг шеи. Впрочем, платье выгодно подчеркивало приятные особенности ее молодого тела, и Генрих Шаллер, держа на локте корзинку с двумя грибами на дне, с удовольствием разглядывал девушку.

— Вы не боитесь прогуливаться по Гуськовскому лесу одна? — спросил он. — Ведь о нем ходит дурная слава. Ужасная, тайная слава.

— Вот еще глупости, — ответила Лизочка, приветливо улыбнувшись. — Знаете, как много здесь грибов? — и показала свою корзинку, доверху наполненную подосиновыми. — А у вас негусто. Хотите, подброшу по доброте душевной?

— Да вы удачливая охотница! — с преувеличенным удивлением воскликнул Генрих Шаллер и запустил руку в Лизочкину корзину, перебирая крепенькие грибки. — Ишь ты какие! Как на подбор!.. Мясистые!.. Генрих Шаллер, полковник.

— Лизочка Мирова! — протянула ладошку девушка и тут же спохватилась: — Ой!.. Лиза... Елизавета Мстиславовна Мирова.

— Генрих Иванович Шаллер, — улыбался полковник, пожимая мягкую девичью ладошку.

— Почему вы улыбаетесь?

— Наверное, потому что сегодня замечательный осенний день. Светит солнце. Вы случаем не родственница действительного статского советника Борис Борисыча Мирова?

— Племянница.

— Как прелестно.

— Почему это?

— Что?

— Почему прелестно?

— Потому что у Борис Борисыча такая прелестная племянница, — ответил Генрих Иванович.

Лизочка пошла по дороге к городу, благосклонно позволяя полковнику следовать за ней.

— Позвольте, я возьму вашу корзинку, — предложил Шаллер.

— Возьмите.

При передаче корзинки Генрих Иванович случайно коснулся бедра девушки и увидел, как щеки Лизочки мгновенно зарумянились.

Да она совсем еще юная, подумал он и залюбовался этими щечками, этим слегка вздернутым носиком и нежными прядками на висках.

— А вы не тот ли полковник, который вовсе не полковник? — бойко спросила Лизочка, пытаясь совладать со смущением, и пояснила: — Не вы ли спасли сына губернатора от лютой смерти, из рук мучителей?

— Я тот полковник, — ответил Генрих Иванович. — И Алексея Ерофеича я действительно спас, за что и получил из рук его сиятельства полковничьи погоны.

— А правда ли, что Алексея Ерофеича хотели разрезать на кусочки?

— Правда.

— И вам не было страшно?

— Было.

Лизочка на минуту замолчала, над чем-то раздумывая.

— Но ведь вас тоже могли лишиться жизни! — произнесла она с каким-то тайным ужасом. — Я бы, наверное, не смогла кого-то спасти.

— Это были просто пьяные разбойники, в которых ничего не осталось человеческого. Со зверем справиться легко, а вот с человеком мыслящим, хитрым, сильным физически — непросто. В том случае я имел дело с животными, и, как видите, Алексей Ерофеич жив и здоров.

Генрих Иванович перешагнул через канавку и подал Лизочке руку. Она легко шагнула и пошла следом.

Какие у него сильные ноги, подумала девушка.

Полковник Шаллер был одет в старые галифе и тяжелые сапоги. При ходьбе могучие ляжки слегка терлись друг о дружку, а сапоги поскрипывали.

Вероятно, он поднимает тяжести, продолжала думать Лизочка. Он атлет, хоть ему, по всей видимости, за сорок. Все-таки есть во взрослых мужчинах что-то привлекательное. Какая-то сила от них исходит, физическая и умственная.

Лизочка была знакома со многими молодыми людьми Чанчжоэ. Она мельком перебрала их лица в уме, но вынуждена была констатировать, что ни один из них не излучал такой мужской силы и уверенности, как идущий впереди случайный знакомец.

— Ведь вы же никогда не были военным, — сказала она.

— И что же?

— Зачем вам полковничьи погоны?

— Знаете, приятно, когда оценивают твой поступок военным званием, — ответил Генрих Иванович. -- Обрато, я не дворянин, а из разночинцев, и чин мне помогает в общении с разными сословиями. Мне нравится быть военным и не служить. Нравится ходить в мундире и отдавать честь таким прелестным девушкам, как вы.

Лизочка улыбнулась, показывая ровные зубки и кончик языка.

— Ну что ж, надевайте сегодня мундир и приходите в гости. Будет грибная икра из сегодняшнего урожая.

— И только лишь?

— А там видно будет, — сказала Лизочка и снова зарделась, так как фраза получилась двусмысленной.

Они вышли на окраину города, и Лизочка замахала рукой таксеру. Подъехал новенький тарахтящий «драблер», и девушка забралась в кабину с плюшевыми сиденьями, установив корзинку с грибами на коленях.

— Придете? — спросила она через окошко.

— Непременно, — пообещал Генрих Иванович и еще некоторое время смотрел на отъезжающий автомобиль.

Он стал часто бывать у Лизочки. Ему как-то ловко удалось оттеснить молодых поклонников своей неторопливостью, умными, непривычными для ушек девушки речами. И в один из вечеров, когда все гости разошлись и они остались одни, произошло то, чего так боится и так ждет каждая молодая особа, достигшая определенных лет.

На узкой девичьей постели Лизочка незаметно потеряла невинность и уже через несколько минут, закутанная в большое мохнатое полотенце, справившись с дрожью в теле, делово говорила о предстоящей женитьбе.

— Так я же женат, — вспомнил полковник.

Это известие Лизочка перенесла стойчески. Она полчаса молчала, не шевелясь, а потом еще раз отдалась Генриху Ивановичу, причем владела инициативой и неожиданно проявила способности, удивившие Шаллера.

Полковник рассказал девушке о своей жене, Елене Белецкой, которая вот уже несколько месяцев не отрываясь пишет роман.

Больше Лизочка никогда не заговаривала о женитьбе.

3

Всю последующую неделю после нашествия кур город будоражило и трясло как в лихорадке. То тут, то там то и дело возникали стихийные сборища, крикливо обсуждающие произошедшее. Часть населения, особенно бедная и голодная, ничего не обсуждала, носилась по городу, ловя кур, сворачивая им шеи, колотя по их головам палками, стреляя из рогаток и самопалов. Повсюду дымили костры, на которых запекали и жарили куриные тушки, наспех ошипанные, и оттого воняло в воздухе паленой плотью. В общем, в городе стоял отчаянный бедлам, город обжирался и гадал о смысле происшедшего.

Газеты, утренние и вечерние, пытались толковать событие на все лады. Еженедельник «Курьер» напечатал передовицу под названием «Кара». Смысл статьи заключался в том, что нашествие кур есть не что иное, как кара небесная, предвестие прихода сатаны и категорический совет — не жрать кур, так как это отнюдь не способствует хорошему пищеварению, мол, в куриной коже содержится большое количество холестерина, развивающего сердечную болезнь, а от этого страдает желудок... Газета «Флюгер» напечатала статью известного в городе физика Гоголя, где тот успешно доказывал, что город Чанчжоэ находится в центре сильного магнитного поля. Восемнадцатого же сентября в природе как раз отмечалось сильнейшее магнитное возмущение, а куры, как известно, самые чувствительные ко всем силовым полям птицы, и поэтому их неудержимо согнало со всей округи именно в город Чанчжоэ. Был сделан официальный запрос по округам — не исчезли ли у вас таинственным путем все куры в ночь с восемнадцатого на девятнадцатое?.. Округа не замедлили с ответом и прислали телеграммы, в которых говорилось примерно так: «Куры на месте тчк ничего таинственного не случилось тчк почему спрашиваете тчк не шутка ли тчк».

После такого ответа физик Гоголь больше не выдвигал успешных теорий и попросту опустил руки.

Все религиозные объединения — от буддийских до православных — не усматривали в нашествии кур ровным счетом ничего хорошего, но от конкретных объяснений пока воздерживались, ожидая официального заявления властей.

На шестой день после прибытия кур губернатор города Чанчжоэ его сиятельство Ерофей Контата собрал у себя городской совет. Он поочередно пожал руки г-ну Мясникову, г-ну Туманяну, г-ну Бакстеру, г-ну Персику и митрополиту Ловохишвили. Был подан в серебряных чашках ароматный чилийский кофе и сэндвичи с тонко нарезанной курятиной. Митрополит Ловохишвили принес с собой сетку синих яблок, выращенных в

монастыре и напоминающих по вкусу землянику. Яблоки были выложены на большое китайское блюдо, расписанное эротическими сценками.

Ерофей Контата стоял возле окна и держался левой рукой за край тяжелой зеленой гардины. Он слегка склонил кудрявую голову к плечу, чуть отставил в сторону ногу в лайковом ботинке, отчего его поза приняла вид государственного деятеля в раздумье. Так прошла минута, озвученная цоканьем чашек о блюдца и пережевываньем бутербродов.

— Ну-с, господин Мясников. — Его сиятельство Ерофей Контата оторвался от гардины и повернул голову к человеку с татарским разрезом глаз. — Вы, кажется, в прошлом естествоиспытатель, не правда ли?.. Следовательно, вам и начинать!.. Что же, по-вашему, происходит?

Губернатор прошел к столу, сел в кресло по-солдатски, с прямой спиной, закурил индийскую сигаретку, скатанную прямо из табачных листьев, и оборотил свой взгляд к г-ну Мясникову. Тот, не отставляя чашки, недоуменно пожал плечами и сказал:

— Понятия не имею, что происходит. Гадать в такой ситуации мне кажется неразумным.

После этой фразы г-н Мясников замолчал, и присутствующие еще раз убедились в том, что он недолюбливает губернатора Контату. Все знали, что Контата и Мясников учились в городской гимназии, и как-то в выпускном классе шестнадцатилетний Ерофей жестоко избил однокашника Кирилла (имя Мясникова) за какую-то гадость. С тех пор минуло сорок лет, но неприязненные отношения сохранились.

— На мой взгляд, — заговорил митрополит Ловохишвили ровным и хорошо поставленным голосом, — на мой взгляд, не самое главное — определить причину происходящего, а главное в том, каково будет следствие этой причины.

Все присутствующие посмотрели на руки митрополита, пальцы которых щелкали бусинами четок. Щелк длинным отполированным ногтем... Щелк!..

Чашка с кофе перед митрополитом стояла нетронутой. Кофе уже не дымился и освободился от пенок.

— Если человек лишил жизни другого, — продолжил Ловохишвили, — то нужно знать причину душегубства для того, чтобы повесить убийцу или смягчить ему наказание. Куда сложнее следствие убийства. Сироты, вдова, смятение душ...

Митрополит уронил четки на толстый ковер и наклонился за ними, бряцая крестом о массивный подсвечник с львиными лапами.

Возникла тягучая пауза, и было видно, что губернатор Контата раздражен. Он шевелил кожей на голове, отчего кудряшки перманента потрясывались.

Наконец митрополит поднял с пола четки, но продолжать свою мысль не собирался вовсе.

— Ну-с, господа! В конце концов, так нельзя, в самом деле! — не выдержал скотопромышленник Туманян. Он взмахнул копной черных как смоль, длинных, как конская грива, волос и сверкнул очень красивыми глазами. Г-н Туманян был самым молодым членом городского совета, а потому часто распалялся. — В конце концов, мы городской совет! Давайте говорить без обиняков, безо всякого там аллегорического смысла с потугой на философию!.. Никаких убийств нету, нет сирот и вдов! В городе куры, миллионы кур!..

Митрополит Ловохишвили обиделся:

— Мы должны дать населению ясный ответ, что происходит!

— А мне кажется, я понял аллегория митрополита, — сказал г-н Персик, поднимаясь со своего кресла. — Смысл крайне прост: факт произошел, и если наука не может дать исчерпывающего ответа на произошедшее, то мы должны просто озаботиться следствием, а именно: что делать с таким количеством кур!

Митрополит Ловохишвили с благодарностью посмотрел на г-на Персика.

— Плохо или хорошо, что в городе сосредоточилось такое количество кур?! — продолжил с каким-то нервным воодушевлением г-н Персик, обращаясь сразу ко всем. — А что, Господи Боже мой, страшного произошло?!. Ну, куры в городе, ну, много их...

— Не много, а миллионы, — встрял г-н Бакстер.

— Прошу не перебивать меня! — взвизгнул Персик.

— Действительно, — поддержал в свою очередь оратора Ловохишвили. — Какое-то неуважение. Странное дело, когда что-нибудь сказать нужно, вас, уважаемый, не слышно и не видно... А перебить, так сказать, сбить оратора с мысли — вы всегда тут как тут! Нам всем сейчас нелегко... Удивительно, какая бесцеремонность!..

— Что вы имели в виду? — Бакстер угрожающе посмотрел на митрополита, краснея толстой шеей.

— Вы прекрасно понимаете, что! — не испугался митрополит и звучно щелкнул четками.

— Господа, господа!.. — В голосе губернатора отчетливо слышалось недовольство. — Оставьте наконец свои стычки! Давайте решать дело, а уж после бить друг другу морды!.. Тем более, господин Бакстер, я не сомневаюсь в исходе кулачного боя между вами и митрополитом. В митрополите как-никак два центнера...

После слов губернатора митрополит Ловохишвили совсем расслабился, а г-н Бакстер еще более покраснел, но сделал вид, что ему на все плевать, и стал смотреть в окно. Г-н Бакстер был небольшого роста, с толстым пельменным телом и физической мощью не отличался. Зато его отличало сказочное состояние.

— Продолжайте, г-н Персик, — губернатор сделал приглашающий жест рукой и сверкнул совершенным изумрудом в изящном перстне.

— Итак, — собрался с мыслями г-н Персик, — а что, собственно говоря, плохого в том, что в городе миллионы кур? Я вас спрашиваю! — Он с вызовом оглядел присутствующих. — И заявляю — ничего!.. Даже больше того скажу: это хорошо, это замечательное явление. Наконец-то в городе достаточное количество мяса. Наконец-то все будут сыты и перестанут бросать камни в огород городского совета!.. Господа, вы подумайте, какие перспективы перед нашим городом открываются. Вы только вдумайтесь — миллионы кур!.. Да мы построим мясоперерабатывающий завод, будем производить куриную колбасу и всякие там котлеты и пироги... Да что там пироги!.. Мы откроем консервный завод и будем экспортировать куриное мясо по городам и весям... А пух? А перо? Подушки, перины, всякое там... — он запнулся, — прикладное искусство... Да это же сказочное пополнение нашего бюджета... Миллиарды яиц в месяц!.. Вдумайтесь в эту цифру, господа! По гривеннику за дюжину! — Г-н Персик запыхался и переводил дух.

— А что, в этом что-то есть, — задумался Ерофей Контата.

— Сто миллионов рублей за миллиард яиц, — изрек г-н Бакстер, сразу забыв про все обиды. — Я вкладываюсь в предприятие. Миллион.

— Я тоже вхожу в дело миллионом, — гордо объявил скотопромышленник Туманян. В его красивых армянских глазах взошло южное солнце.

— Считайте и меня компаньоном, — подал голос г-н Мясников.

— Часть дивидендов прошу зарезервировать на реставрацию Плюхова монастыря и на поддержание жизненного уровня двадцати пяти монахов. — Митрополит Ловохишвили взялся обеими руками за крест и перекрестил всех собравшихся с особым воодушевлением.

— Я тоже вхожу в дело, — гордо заявил г-н Персик, отдышавшись.

— Позвольте спросить, чем? — Губернатор еще раз продемонстрировал собравшимся сияние изумруда и суровый взгляд своих глаз.

— Как — чем? — растерялся г-н Персик. — Что вы имеете в виду?

— Какие средства вы собираетесь вложить в предприятие?

Все прекрасно знали, что г-н Персик был бедным инженером, средств у него не было и попал он в городской совет лишь благодаря настояниям мещанского собрания. Теперь г-н Персик стоял столбиком и растерянно хлопал глазами.

— В предприятие он войдет интеллектуальной собственностью, — заявил митрополит. — Все-таки это его идея как-никак. С этим нужно считаться.

— Один процент, — резюмировал г-н Бакстер. — А реставрацию монастыря проведем, как и запланировано, через три года. На то и жизнь монашеская, чтобы терпеть лишения.

— Позвольте!.. — возмутился Ловохишвили.

— Я согласен на один процент, — сказал г-н Персик и сел, не глядя на митрополита.

— Позвольте! — повторил митрополит.

— С вами позже, — прервал губернатор. — Не волнуйтесь, отец, вас не оставят и без вас не обойдутся.

— Я думаю. Мнение церкви в этой ситуации отнюдь не маловажно. Может возникнуть молва, что предприятие не богоугодно, а народ наш религиозен, горяч не в меру, мало ли что случится со строительством...

— Один процент, — отчеканил Бакстер. — За шантаж.

— Семь.

— Хватили, святой отец! — возмутился г-н Мясников и сощурил свои татарские глаза. — Я деньги вкладываю, а вы лишь мнение создаете! Эка наглость! Что за люди нас окружают!..

— Два процента.

— Не надо со мной торговаться, уважаемый господин Бакстер, — с достоинством произнес митрополит. — Все равно не уступлю. Пять процентов.

Разговор членов городского совета длился не менее трех часов. В конце концов члены совета пришли к единому мнению, что нашествие кур не столь уж плохое дело, и даже наоборот: как оказывается, чрезвычайно выгодное и все поймут на этом желаемое. На каждого члена совета были возложены различные обязанности. Господа Мясников, Бакстер, Туманян — непосредственно занимаются налаживанием производства, г-н Персик выполняет надзор за мнением мещанского собрания, митрополит Ловохишвили отвечает за общественную молву о подарке Господнем верующим, а губернатор Контата возглавляет все предприятие, как и положено первому лицу города.

На следующий день после заседания городского совета г-н Персик отбыл из Чанчжоэ в город, близкий к столице, где встретился с г-ном Климовым. Состоялась серьезная и деловая беседа, на которой была решена судьба «климовского» поля. Г-н Климов хоть и был очень стар, но хватки в делах не потерял, а оттого цену выторговал несколько большую, чем предполагали партнеры.

Имея в кармане неожиданно удорожавшую купчую на поле, г-н Персик от некоторого расстройств посетил неприличное заведение города, где всю ночь пил с проститутками игривое шампанское, отчего сам не в меру разыгрался и удивил неказистую проститутку Фреду чрезмерной щедростью, так и не воспользовавшись услугами служительницы любви. Напоследок г-н Персик пьяно похвалился, что в ближайшее время будет обладать хорошеньким состоянием, пообещал Фреде забрать ее на содержание, потом почему-то заплакал, да так в слезах и укатил обратно в Чанчжоэ.

Через месяц на огороженном высоким забором «климовском» поле началось строительство, где наряду с приглашенными рабочими трудились не покладая рук и двадцать пять монахов из Плюхова монастыря под приглядом личного поверенного главы церкви отца Гаврона.

Всем жителям города и его окрестностей с величайшего соизволения его сиятельства губернатора Ерофея Контаты и благословения его преосвя-

щенства митрополита Ловохишвили было позволено забрать на свои подворья по двадцать куриных голов на душу населения. Народ прочувствовал милость высокостоящих и отблагодарил власти бурными выражениями солидарности.

К счастью, на частных подворьях водились петухи, чьих сил с избытком хватало на покрытие неожиданно утроившихся гаремов. Вследствие этого куры обильно занесли, и вылуплялись цыплята, в свою очередь вырастающие в кур и петухов.

Предприимчивые чанчжойцы коптили кур на своих подворьях, вымачивали их в уксусе, обливали утиными яйцами и жарили, вертели колбасы и закручивали рулеты. Шили пуховые и перьевые подушки, а также вязали веера и всю эту продукцию тащили на городской рынок. Безусловно, вследствие этого родилась великая конкуренция, и через каких-то полгода в Чанчжоэ попросту стало невозможно продать ничего, что было связано с куриным производством. Самых горожан лишь от одного куриного вида и запаха выворачивало наизнанку предродовыми спазмами. Весь город провонял куриным мясом, даже в храме пахло не ладаном, а жирной курятиной.

Безусловно, конкуренция на внутреннем рынке родила жажду экспорта, и жители Чанчжоэ стали разбредаться по городам и губерниям со своим товаром. В этом члены городского совета усмотрели серьезную опасность своему предприятию, готовящемуся к пуску, а потому не замедлил с выходом указ о запрещении экспорта курятины в любом ее виде. Чанчжойцы загрузили от такой жесткой меры, но делать было нечего, указ есть указ, и через незначительное время излишек кур за ненадобностью был выпущен с подворьев на все четыре стороны. Куры слегка одичали и стаями бродили по городу в поисках пропитания, размножаясь в геометрической прогрессии... Тем временем предприятие членов городского совета вышло на запланированную мощность, вскоре окупилось и стало приносить огромные дивиденды, так как сырье было абсолютно дармовое.

Вследствие приличных отчислений в бюджет от прибыли куриного производства город богател на глазах. Были открыты дома для престарелых, бесплатные ночлежки для бедняков, в которых ежедневно менялось постельное белье и было трехразовое питание, правда, надо заметить, сплошь из куриных блюд; был в кратчайшие сроки выстроен интернат для детей-сирот на шестьдесят человек, которому было дадено собственное имя, звучавшее так: «Интернат для детей-сирот имени графа Оплаксона, павшего в боях за собственную совесть».

Каждый житель города до двадцати пяти лет имел право получить высшее образование на средства города в любом российском университете. Но таковых в городе Чанчжоэ за пять лет после нашествия оказалось всего два человека. Город жил размеренной жизнью, даже сквозь окна домов веяло сытостью и праздничной ленью...

О гибели пьяницы Шустова и безызвестной смерти капитана Ренатова никто и никогда не вспоминал, лишь только Евдокия Андреевна изредка доставала из сундука армейский сапог мужа и грустно плакала над ним.

А как-то ночью учитель словесности Интерната для детей-сирот имени графа Оплаксона, павшего в боях за собственную совесть, г-н Теплый, известный как дешифровальщик всяких законспирированных надписей, сидя за письменным столом при свете тусклого ночника, раскрыл тайну перевода названия города Чанчжоэ. КУРИНЫЙ ГОРОД — гласила расшифровка. Как это удалось г-ну Теплому, никому не известно.

Елена Белецкая была полной противоположностью Лизочке. Во-первых, Генрих Шаллер был женат на ней уже двадцать два года, и такой почтенный для брака срок отнюдь не омолаживает женщину. Тем более

что душа Елены тяготела к феминизму: на свою внешность ей было наплевать, она ходила простоволосая, лишь изредка затягивая волосы на затылке в пучок. Про всякие пудры и румяна Белецкая забыла на второй год супружества. Лицо ее было бледным, с редкими веснушками, в общем, лицо какой-нибудь прибалтийской немки.

Отец Белецкой был богатым коннозаводчиком и всю свою жизнь разводил крайне редкую и дорогую породу лошадей — крейцеровскую. Крепкий мужчина с военным опытом, он был во всем педантичен до мелочей. Не терпел, когда что-нибудь из вещей лежало не на своем месте и когда спаривание лошадей происходило не в намеченный час.

В Елене Белецкой молодому Шаллеру нравилась независимость. Будучи двадцатилетней девушкой, она уже на все имела свое мнение. На политическую ситуацию в мире и на отношения полов — на все существовала твердая позиция.

— Если бы к мнению женщины прислушивались, — говорила она, — если бы женщине разрешалось произносить официальное слово в парламенте или Думе, то мир бы уже не существовал в прежних границах. Женщины бы разделили его поровну, с одинаковым количеством озер и морей, чтобы всем достались леса и пастбища, чтобы у любого негра или найца имелся кусок хлеба и охапка сена для сна.

Молодой Шаллер посмеивался про себя над речами девушки, которая держала спину так прямо, что казалась балериной, истерзавшей себя у станка.

— А что вы думаете про отношения полов? — поинтересовался он как-то.

— Я не считаю, что мужчина и женщина чем-то отличаются друг от друга... Ну, конечно, за исключением физиологии, — поправила девушка.

— А мыслительные процессы? — корректно задал вопрос Генрих.

— Вот и вы туда же, — развела руками Елена. — Женщина способна так же логически думать, как и мужчина. Докажите мне обратное!

— Мой отец учил меня никогда и ничего не доказывать женщинам, ибо это глупо и безнравственно.

— Ваш отец — яркий представитель маскулинизма. Вполне вероятно, что и вы идете той же дорожкой.

Елена, прищурившись, оглядела своего визави. Она была столь мила в своем серьезе, что Шаллер не удержался и поцеловал девушку в губы. Та слегка его оттолкнула и, покачивая головой, сказала:

— Вот и это тоже! Почему мужчины должны быть инициаторами даже в поцелуях?

— Потому что, если бы мужчины ждали поцелуев от женщин, не рождались бы дети.

Белецкая недоуменно посмотрела на Генриха.

— Так уж природой создано, что мужчина — инициатор во всех интимных делах, — пояснил Шаллер. — Его толкает к женщине инстинкт, первобытный инстинкт, и так будет во все времена, как мне кажется. А женщина лишь покорно ждет, когда мужчина пожелает продлить род.

Неожиданно Елена обвила шею Генриха руками и сильно поцеловала его в губы.

— Вот вам мой женский поцелуй, моя инициатива.

— Действуйте дальше! — подначил Шаллер и на застывший вопрос на лице Белецкой пояснил: — Пожелайте сами продления рода. Берите инициативу! Не можете?!

Он видел смятение в девушке, чувствовал, как она ищет выход из сложившейся ситуации и не может его найти, но все же не спешил переводить все в шутку, наслаждался, как зритель в балагане, неприличным зрелищем.

— Пойдемте, — неожиданно твердо сказала Елена и вышла из дома в сад.

Генрих шел следом, размышляя, чем все это может закончиться. Он даже волновался чрезмерно, но сдаваться не собирался.

Девушка прошла в глубину сада и раздвинула густые кусты шиповника.

— Это мое потайное место, с детства.

Оказалось, что кусты шиповника растут по кругу, а в центре этих зарослей имелось свободное пространство, посередине которого стояла софа и лежала на траве раскрытая книга.

«Шопенгауэр», — прочел на корешке Генрих.

— Обещайте, что вы никому не раскроете мою тайну, — попросила Елена.

Генрих глядел на нее и улыбался краешками губ.

— Подождите секунду, мне надо настроиться.

Она некоторое время стояла с широко открытыми глазами, стараясь не выказывать волнения. В этой ситуации нельзя было разобрать, кто больше волнуется — молодой человек, уже имевший кое-какой опыт в сферах любви, или девушка, фанатически убежденная в своих максималистских идеях и не собирающаяся от них отказываться даже под страхом потери стыда.

Наступила полная тишина, и было слышно, как стрекочет кузнечик, приманивая к себе подружку.

Елена кивнула головой, решившись, и начала расстегивать бесчисленный ряд крохотных пуговиц на платье. Лицо ее было красным, как предзакатное солнце... Она справилась с платьем, скользнув кожей к ее ногам, и принялась за нижнее белье. Шаллер хотел было отвернуться, но что-то в нем выпрямилось стальным прутком и заставило смотреть на Елену почти нагло. Девушка, в свою очередь, не поднимала глаз на Генриха и непослушными руками пыталась расстегнуть кружевной лифчик. Наконец ей это удалось, и из чашечек выскользнули две маленькие неразвитые грудки с бесцветными сосками и кое-что еще — матерчатые подушечки.

Господи, подумал Шаллер. Да она подкладывает грудь. Вот тебе и феминистка!

Елена никак не могла справиться с панталонами. Ее охватило какое-то стыдливое раздражение, она не помнила, что обнажена наполовину, и, согнувшись, почти разрывала тонкую ткань на бедрах.

Шаллер почувствовал возбуждение. По телу побежали мурашки, и вспотела шея. Он видел, что девушка практически забыла о нем и все внимание ее сосредоточено на последнем оплоте стыда. Он также подумал о том, что, раздевшись в первый раз донага перед мужчиной при свете солнечного дня, девушка теряет стыд навсегда... Шаллер моргнул, и когда вновь посмотрел на Елену, то увидел ее совершенно голой. Она стояла все с той же прямой спиной и, опустив руки по швам, с каким-то отчаянием смотрела на Генриха. Кожа у нее была белая, сметанная, с голубенькими прожилками на бедрах. Почти слепили своей рыжиной завитки внизу живота, как будто плеснули золотом. Он понял, что любит ее и страстно желает... Когда все кончилось и Елена лежала на софе, прикрыв золото внизу живота Шопенгауэром, Генрих незаметно поднял из травы матерчатые подушечки и сунул их в карман брюк.

Через полчаса они сидели за обеденным столом в обществе отца Елены, который обычно ел молча, глядя в свою тарелку.

— Я выхожу замуж, — твердо сказала Елена.

Коннозаводчик не торопясь доел куриный бульон и тщательно вытер салфеткой усы.

— За кого же, позвольте узнать?

— За Генриха Шаллера, папа.

— Вот как. Интересно...

Отец Елены с любопытством разглядывал будущего зятя. От него не ускользнуло, что тот побледнел и очень волнуется.

— Мне кажется, он будет хорошим мужем. — Елена говорила с напором, как будто настаивала на выборе конюха для самого породистого жеребца.

— Вот как? — повторил отец. — Интересно.

Самое любопытное в этой ситуации было то, что сам Генрих не ожидал такого поворота событий. Разговор о женитьбе был для него крайней неожиданностью.

— Мы обвенчаемся в субботу.

— Ну что ж... — проговорил коннозаводчик и принялся за второе, уткнувшись носом в тарелку.

А хочу ли я жениться на ней? — думал Генрих, ковыряясь вилкой в изрядной порции жареного судака. Пожалуй что да. Она мне нравится своим фанатическим сумасбродством и, вероятно, не будет подкаблучной женой, покорно сносящей все мужнины прихоти. С такой женщиной можно прожить долгие годы, и уж скучать с ней не придется. Да, я хочу на ней жениться, утвердился Генрих, ляжкой чувствуя матерчатые подушечки подставной груди в кармане брюк.

Они обвенчались, как и было намечено, в субботу и получили от отца Елены в подарок пятнистого пони, который через год издох от непонятной болезни.

В постели Елена оказалась холодной, как скумбрия на льду. Шаллер долгое время не терял надежды раздуть в ней угольки страсти, но все его попытки были тщетны. Впрочем, и в самой Елене не было желания хорошенько услышать свой организм и попытаться настроить его на шепот Орфея. Она отгородилась от мужа ледяной коркой и дубовой дверью своей комнаты, которую обустроила через год после свадьбы. Генрих туда допускался лишь в светлые часы дня. Остальное время Елена проводила одна, читая умные книги и делая из них выписки в толстую тетрадь с клеенчатой обложкой. Нельзя сказать, что Елена Белецкая полностью лишила мужа интимной близости, но выполняла супружеские обязанности только в комнате супруга — нечасто, с безразличием, как хозяйка моет пол, потому что это делать надо!

Через три года после женитьбы трагически погиб отец Елены. Во время осеменения кобылы любимый крейцеровский жеребец в необузданной страсти пнул копытом своего хозяина в лоб и расколочил ему голову на четыре части. Супруги получили приличное наследство. Елену деньги как таковые не интересовали, и Генрих Шаллер разместил капиталы в местном банке, регулярно снимая проценты и проживая их на повседневные нужды. Конезавод был продан почти сразу же после смерти тестя, а вырученные от него средства сгорели вместе с банком в засушливую осень. Чанчжойский банк вспыхнул спичечным коробком и отгорел в считанные минуты вместе с управляющим Цыкиным, слывшим в округе отчаянным пироманом. Цыкин в свободное время любил мастерить всякие фейерверки и на городских праздниках неизменно удивлял горожан пиротехническими эффектами. Поговаривали, что управляющий держал в банке целый мешок магния, смешанного с желтой серой. Так или иначе, но супруги почти разорились. Остались лишь незначительные средства, положенные покойным тестем в столичный банк еще при жизни и приносящие проценты, еле позволяющие свести концы с концами.

Генрих Шаллер не тяготел ни к какому делу. Он напрочь был лишен каких-либо деловых интересов. Он частенько думал над этим, но никогда не расстраивался, приходя к выводу, что его основная способность — быть просто человеком, никому не мешающим жить, не слишком много требующим от бытия. Ведь это тоже способность — спокойно довольствоваться тем, что дадено Богом: никому не завидовать и спать спокойно, видя во сне благопристойные сны.

Впрочем, в жизни Генриха Шаллера были две страсти — неординарно мыслить и заниматься поднятием тяжестей.

Свою физическую силу Генрих осознал еще в детстве, когда произошло знаменитое чанчжойское землетрясение. В два часа пополудни двумя мощнейшими толчками была разрушена половина города. Как карточный домик, рухнул и дом Шаллеров, сложившись стенами внутрь. Тринадцати-

летний Генрих в этот момент находился на огороде в лопухах, лежал на зеленых листьях, сосал травинку и под слепящим солнцем предавался мечтаниям, сменяющимся, как картинки в калейдоскопе. После первого толчка он успел вскочить на ноги и отчетливо увидел, как обвалилось родимое жилище, с шумом погребая под собою его родителей.

В отчаянном порыве мальчик рванулся к руинам, почему-то чувствуя запах гречневой каши и бараньих котлет. Он некоторое время стоял как вкопанный и смотрел на оседающую пыль. В этот момент тряхнуло второй раз. Под ногами Генриха прокатилась волна, раздался отчаянный грохот, и из-под обломков дома выскользнуло нежное пламя, облизывающее руины.

— Сынок!.. — услышал Генрих далекий голос. — Отойди подальше, родной!..

Мальчик присел на корточки и огляделся. Из-под огромного куска стены на него смотрели глаза матери. Лицо ее было мертвенно-бледным, без единого повреждения.

— Так бывает, — проговорила мать чуть слышно. — Ты не расстраивайся.

— А что это было, мам? — спросил Генрих.

— Землетрясение.

— А где папа?

— Папа в доме.

— А почему котлетами пахнет?

— Я приготовила на обед бараньи котлеты, твои любимые.

— И гречневую кашу?

У матери иссякали силы, и она лишь моргнула глазами.

— Мам, там огонь горит, — сказал мальчик и показал рукой на разгорающееся пламя. — Давай я помогу тебе вылезти.

— Не подходи! — в отчаянии заговорила мать. — Не подходи! Лучше походи к Крутицким и позови кого-нибудь на помощь.

— Да что ты, мам. Я сам тебе помогу. У Крутицких тоже дом развалился, видишь, дым валит.

Генрих подошел к обломку стены и взялся руками за ее края. Он явно ощущал на лодыжках горячее дыхание матери.

Господи, дай мне сил, попросил мальчик и напряг мышцы. Он почувствовал, как от напряжения ногти врезаются в крошащийся кирпич, как трещат суставы в коленях и сердце колотится в висках. Интересно, в какой комнате отец? — подумал Генрих и еще более напрягся, так что мочевого пузыря не выдержал и горячая струя потекла сквозь брючину... Стена поддалась. Он мало-помалу приподнимал ее, придерживая коленями, а затем подпирая грудью, пока кирпичная кладка не встала на попа... Мальчик выволок из-под обломков мать и потащил ее за влажные подмышки к лопухам. Все ее тело, от ребер до ступней ног, было расплюснуто и превратилось в кровавое месиво из переломанных костей и разодранной плоти.

Генрих широко открытыми глазами смотрел на то, что осталось от его матери, и ловил себя на мысли, что бараньи котлеты отныне станут самым ненавистным ему блюдом.

— Зря ты на меня смотришь, такую... — сказала мать.

Из ее рта вытекла струйка крови, и она испустила дух.

Генрих заплакал. Он понимал, что мать умерла, что у него не хватит уже сил, чтобы откопать отца, а оттого слезы текли водопадом и вся неподготовленная душа скулила от первого горя.

Он отполз от матери и, заглядывая под обломки, сквозь рыдания стал звать:

— Иван Францевич!.. Папа!.. Пожалуйста!..

Отец не отзывался, и Генрих потерял сознание...

От двух толчков Генрих Шаллер потерял родителей и родной дом, но зато осознал свою природную способность к поднятию тяжестей.

В доме дяди, тоже Шаллера, брата отца, Генрих начал развивать физическую силу. Он поднимал все тяжелые предметы, попадающиеся ему под

руку, — от увесистых деревянных брусков до чугунных тисков, стоящих в мастерской дяди.

— Растить не будешь, — предупреждал дядя.

— Ничего, вырасту, — отвечал Генрих, поднимая чугун над головой.

Мышцы подростка наливались яблочной крепостью, грудная клетка раздавалась вширь, растягивая рубашки до треска, а плечи становились покатыми.

Первые свои гири Генрих приобрел, когда ему исполнилось шестнадцать лет. В Чанчжоэ приехал цирк-шапито, в котором гвоздем программы был известный силач Дима Димов, способный удержать на своих плечах восьмерых взрослых мужчин.

— Нужны ежедневные тренировки! — говорил мальчику Димов. — По определенной системе.

— А вы не подскажете мне эту систему? — спросил Генрих, с восхищением разглядывая гору мышц, которыми то и дело поигрывал силач.

— Три рубля, — ответил Димов.

На следующий день ученик принес учителю деньги и получил несколько рукописных листов с неуклюжими картинками, из описания которых следовало, как именно надо тренировать тело.

— И бросьте, молодой человек, всякие свои деревянные чурки. Вес должен быть строго определенным и лучше всего заключаться в металле, а не в дереве. Чтобы вы видели, что боретесь с чугуном, а не с какой-то осинкой! Поднимайте гири и штанги.

— У меня их нет, — ответил Генрих.

— Двенадцать рублей.

— За что?

— За две пудовые гири.

— За две гири — двенадцать рублей?! — удивился подросток.

— Это не просто гири — это гири Димы Димова, — пояснил артист и, что-то прикинув в уме, сказал: — Ладно, несите одиннадцать с полтиной... Дима Димов не какой-нибудь скупердяй. Дима Димов — самый сильный человек на этом полушарии, а оттого самый добрый.

— А кто самый сильный на том полушарии? — любопытствовал Генрих.

— А... — махнул рукой силач. — Джо Руперт... черномазый...

— И в чем его сила?

Дима Димов недовольно посмотрел на мальчика:

— Что вы все время задаете вопросы, молодой человек? В вашем возрасте нужно слушать то, что вам говорят, а не любопытствовать чрезмерно... Будете покупать гири?

— А нельзя ли чуть уступить в цене? — спросил Генрих, сконфузившись.

— Опять вопрос, — тяжело вздохнул Димов. — Никак нельзя... Если только еще полтинничек сбавлю.

На следующий день Генрих купил у силача две пудовые гири. Он стал тренироваться каждый день, используя инструкции, написанные Димовым. В короткое время ноги юноши раздались, распираемые стальными мышцами, и при ходьбе терлись ляжками друг о друга. Через двадцать с лишним лет на эти ноги и обратила внимание Лизочка Мирова, пораженная их мощью.

5

Интернат для детей-сирот имени графа Оплаксона, погибшего в боях за собственную совесть, располагался на большом холме, с которого превосходно был виден весь город. Это было огромное мрачное здание, построенное на отчисления от куриного производства три года назад.

Что касается названия интерната, то дадено оно было ему в честь корейца Ван Ким Гена, а произошло это именно вот как...

С давних времен в Чанчжоэ существовала колония корейцев. К сегодняшнему дню численность ее обитателей составляла примерно пять с половиной тысяч особей. Как и когда корейцы появились в городе, никто не помнил, а в старых летописях об этом умалчивалось.

Корейцы прижились в Чанчжоэ благодаря своей исключительной работоспособности. Почти все мелкие бакалейные лавки и магазины принадлежали маленьким человечкам с раскосыми глазами, а потому в городе этот народец почти уважали. Все не очень зажиточные горожане отоваривались именно у корейцев, потому что это было дешево в сравнении с большими магазинами, такими, как «Мамедов сыр» или «Куприянов и Шнитке». Хозяйки могли приобрести в лавках все, что угодно, — от кочана капусты до моллюсков в лимонном соусе, проложенных травкой чу, дающей энергию для тела и улучшающей зрение... Удивительной чертой в этом мелком народце была исключительная взаимопомощь, в таких масштабах, какие не свойственны русскому человеку. Как утверждала городская таможня, в Чанчжоэ ежегодно прибывала пара сотен новых корейцев, невесть какими путями забредших в эти края. В основном это были грязные и оборванные людишки с детьми, не имеющие и копейки в кармане. Община встречала их ласково и всем без исключения давала беспроцентные ссуды, позволяющие новичкам завести свое дело. Таким образом, город пополнялся новыми лавчонками с удивительно низкими ценами на товар. Если же новичок оказывался нечистоплотным и пытался скрыться со ссудой в других краях, то его отрезанную голову с вбитым в рот колом обычно находили в пруду, что напротив городского совета. Впрочем, такие случаи были крайне редки, и следствие по ним неизбежно заходило в тупик, так как корейцы практически не говорили по-русски, а потому не могли давать свидетельских показаний.

Как и у всех малых народцев, приживающихся на чужих землях, у корейцев были свои проблемы, связанные с некой Чанчжоэйской национальной организацией, не терпящей весь этот косоглазый сброд, отбивающий у настоящих аборигенов хлеб.

Организация представляла собой пять-шесть сотен необразованных мужиков, много вкалывающих на земле и не понимающих, почему за столь тяжелую работу они получают столь малые доходы. Организацию возглавлял купец Ягудин — огромного роста детина с рыжей бородицей, изрядно богатый, но чрезвычайно нетерпимый к инородцам. Он и будоражил мужичьи головы, натравливая их недовольные помыслы на расправу с корейцами.

— Бейте косоглазых! Колите их животы вилами! — громовым голосом призывал Ягудин. — От них все беды ваши! От этих вонючих желтушников! Они загребают ваши денежки и травят ваших детей гнилыми продуктами! Смерть черноголовым!

Несмотря на столь убедительные призывы, стычки аборигенов с чужеродцами происходили нечасто, и на это были свои причины. Пять лет назад купец Ягудин собрал свое необразованное войско, вооруженное кто чем, и на праздник Пусилот повел его к корейскому кварталу на окончательную расправу. Когда разгоряченная орава вывалилась на площадь в корейском районе, разгромив по пути несколько магазинов и пустив кишки их хозяевам, когда пролитая кровь захмелила рассудки погромщиков и катастрофа, казалось, была неизбежной, навстречу извергам из мясной лавочки вышел седоволосый старичок по имени Сим Бин Ген и, вознеся руки у небу, на русском языке обратился к озверевшим боевикам. Он успел сказать лишь несколько слов, после чего камень величиной с грецкий орех, выпущенный из пращи, размогзил ему голову. А слова были вот какие:

— Мы не отбилай васы денески! Мы не тлавим васых детисек! Вы залабатывай мало-мало денесек, потому сто мало-мало лаботать и мало-мало думать!.. Мы холосый и доблый налад! Мы длузно зыть с лусскими!..

Когда старичок упал замертво, окна всех домов, расположенных на площади, в слаженном порыве открылись и из них высунулись сотни ру-

жейных стволов. Раздался чей-то воинственный крик типа «сап сей!», и оглушительный залп разогнал всех ворон в радиусе десяти верст. Четвертая часть нападавших после первого залпа пали ранеными и убитыми на бульжную мостовую, а остальные в жуткой панике и со страшным воем забегали по площади, стремясь укрыться от корейского гнева. После второго залпа стены домов до первого этажа окрасились кровью, а стекла окон были забрызганы мозговым веществом.

— Сап сей! — последовал клич, и третий залп оставил в живых лишь несколько десятков погромщиков, да и те были либо ранены, либо ползали в кровище в невменяемом состоянии, высунув от ужаса языки до колен.

Четвертого залпа не последовало. Раненым и уцелевшим дали возможность уползти с площади. Среди них был и Ягудин. Совершенно уцелевший, с перекошенной от злобы физиономией, он уносил ноги, клянясь мстить косоротым до конца своих дней... Корейцы сами убрали трупы, отмыли бульжник, так что к прибытию властей площадь сияла первозданной чистотой.

После кровавой расправы русские экстремисты более не решались на открытые стычки с поселенцами, а действовали чаще исподтишка, подкарауливая какого-нибудь корейца на нейтральной территории и сворачивая ему голову, словно дурной курице.

Тот старичок, по имени Сим Бин Ген, пытавшийся усмирить бандитов и погибший от пращи, приходился дедом Ван Ким Гену, в честь которого и был назван интернат.

Ван Ким Ген был молодым человеком лет двадцати пяти, прекрасной наружности, что выгодно отличало его от соплеменников. Его можно было назвать даже высоким. Телосложение молодого мужчины было аполлоновым, хотя он не прикладывал к этому ровно никаких усилий, — природа сама постаралась придать ему невиданную красоту, лишив для этого примечательности не один десяток сородичей. На плече Ван Ким Гена синела наколка, изображающая дракона с открытой пастью, извергающей огненный смерч. Миндалевидные глаза корейца смотрели открыто и ласково, а прямой нос над тонкими губами придавал взгляду мужественности, отличающей красивого мужчину от просто красивого юноши.

Безусловно, внешность Ван Ким Гена была азиатской. Но даже среди самых некрасивых и безликих народов есть самородки красоты, способные поразить воображение самого взыскательного к прекрасному европейца. Таким самородком и был Ван Ким Ген.

В Ван Ким Гена были влюблены многие молодые девушки и женщины всех сословий, тайно желающие прикоснуться к его плоскому животу своими пальчиками и испытать сладость любовных игр с азиатом.

Молодой кореец отлично понимал, какой дар преподнесла ему природа, и не колеблясь им пользовался. Он благосклонно разрешал юным сладострастницам гладить свою желтую кожу, такую нежную и шелковистую, какой бы позавидовала любая из его любовниц; не очень молодым — целовать длинные и тонкие пальцы, которые впоследствии творили чудеса со всякими женскими телами, с их сладкими закоулками, и в конце все непременно пользовались самым главным его достоинством, заставляющим содрогаться в экстазе бедра всех кондиций — от самых тощих до мучнисто-огромных.

Ван Ким Ген не был очень взыскательной натурой, а потому существовал за счет своих «прихожанок», благодарящих его за любовь натуральными продуктами. Съестного скапливалось такое множество, что кореец и сам иногда удивлялся, сколь велики его любовные силы, способные прокормить десятерых. Что-то из подношений он съедал сам, а большую часть продавал на сторону, покупая на вырученное одежду.

За прелюбодеяния корейца неоднократно пытались убить как свои, так и русские, чьих дочерей и жен он изрядно подпортил, но Ван Ким Гену в самые кульминационные моменты удавалось скрыться, и он отсиживался в каких-то тайных местах, пережидая тяжкие времена.

У Ван Ким Гена не было совести. Вернее, она все же была, скрываясь где-то в глубине его любвеобильной души и никогда не просясь наружу, а потому азиат без угрызений совести топтал горожанок, как петух, не знающий устали.

Так продолжалось несколько лет, пока в Чанчжоэ не вошли скопцы.

Две дюжины человек мужского происхождения возвестили на весь город о скором приходе Спасителя, который прикатит на огненной колеснице и соберет на царствование всех детушек своих.

Вожак скопцов, крепкий старик с всклокоченной бородой, вещал на всех площадях о спасении от заморенной плоти, призывал народ отправляться сейчас же в Первопрестольную и бить в Ивановский колокол.

Скопцов слушали и внимали им. Но следовать за ними никто не решился, оправдываясь тем, что, мол, человек русский слаб волею и собственной рукой не может лишиться себя детородных органов.

И каково было всеобщее городское удивление, когда за скопцами последовал Ван Ким Ген — этот корейский Дон Жуан.

Азиат разослал всем своим бывшим любовницам письма с приглашением посетить обряд оскотления, которым он решил искупить перед ними и их мужьями свою вину.

В городе поднялся тайный женский вой, но, впрочем, прелестницы, утерев слезы, все же пришли в своем большинстве на постоянный двор, где должна была произойти операция.

Все случилось быстро. Кореец разделся донага, блеснув в последний раз своей красотой, лег на стол, выскобленный ножами, раздвинул ноги — и вожак скопцов, подскочив к нему, сверкнул стальным мгновением и отсек Ван Ким Гену все лишнее. Зрительницы заголосили и спешно закрестились, отдавая дань мужеству азиата, пожертвовавшего свою плоть за спасение совести.

Через два дня кажени Ван Ким Ген с заживающими ранами оставил город, следуя за скопцами в нескончаемый путь. Азиат лишился мужества, но вместо этого приобрел совесть, толкающую его на борьбу с развратом, в битву за заморение плоти.

Все мужское население города, прознав о том, в благородном порыве простило прегрешения Ван Ким Гена, а митрополит Ловохишвили самолично отслужил по нему молебен.

Все в этой жизни забывается. С течением дней забыли и о Ван Ким Гене. Но через три года в один из осенних дней он снова появился в Чанчжоэ, закутанный в холстину и с торчащей из спины стрелой. Истекающий кровью, он ввалился в храм и, обливаясь слезами, попросил его окрестить, дабы умереть православным. На вопрос священника, что с ним приключилось, кореец, задыхаясь, рассказал, что принял бой с содомитами и гоморристами и пал от рук подлых. Священник справедливо посчитал, что инородец достоин стать христианином, обрызгал его тело святой водой, дал ему имя Вахтисий и собрался было его причащать перед смертью.

— Фамилию хочу! — попросил умирающий каженик. — Фамилию дайте...

Священник недолго думал, разглядывая обливающегося слезами новоиспеченного Вахтисия.

— Быть тебе Плаксиным, — рек он, — Вахтисием Плаксиным.

В тот же миг православный Вахтисий Плаксин умер.

В городе узнали о столь душещипательном конце бывшего Дон Жуана и прослезились. Городские власти решили что-нибудь назвать в честь павшего за свою совесть Ван Ким Гена и, когда подошла такая возможность, назвали в честь него интернат для детей-сирот. Поскольку фамилия Плаксин была не столь благозвучна, к ней приставили букву «О», отчего и получилось Оплаксин. А уж отчего так случилось, что Оплаксин стал графом, никто и не помнил.

Таким образом и произошло название Интерната для детей-сирот имени графа Оплаксына, павшего в боях за собственную совесть.

Так вот, в это мрачное здание в два часа пополудни вошел через главные двери тринадцатилетний подросток по имени Джером. Он сплюнул на горячий обогреватель, посмотрел, как тот шипит, воняя, а затем отправился по длинному коридору к своей комнате, ковыряясь пальцем в розовом ухе. По дороге он встретил г-на Теплового, который мимоходом неожиданно треснул мальчика по голове метровой линейкой.

— Дебил, — прошипел вслед учителю Джером, потирая затылок.

— Что вы сказали-с, молодой человек? — задержал шаг Теплый.

— Добрый день, господин учитель!

— А-а... — рассеянно протянул славист. Он коротко оглядел мальчика и пошел своей дорогой, что-то мыча себе под нос.

Джером покрутил во рту языком и, когда учитель отошел на достаточное расстояние, смачно сплюнул ему вслед.

— Дебил! — громко повторил Джером.

— Это кто дебил? — услышал он за спиной голос Герани Бибикова.

Одноклассник Джерома стоял посреди коридора, широко расставив ноги и уперев руки в бока. Он исподлобья рассматривал разбитые колени мальчика своими маленькими глазками и прицокивал языком.

— Так кто ж у нас дебил? — переспросил Гераня.

— Не ты, не ты, — успокоил его Джером.

— Ясный фиг, не я. А кто?

— Теплый.

Бибиков хмыкнул.

— Теплый?.. — задумался он. — Теплый — точно дебил и урод в придачу. — Он обнял Джерома за плечи и пошел вместе с ним к спальным комнатам. — Это ты точно подметил. Дебил есть дебил!

Гераня похлопал короткопалой ладонью Джерома по плечу.

— Это где же ты ножки свои разбил? — спросил он участливо.

— Да так...

— Дрался с кем, что ли?

— Да нет...

— Или с девчонкой какой натер?

Джером покраснел, учуяв в вопросе одноклассника неприличное.

— Что молчишь?

— Отстань!

— Экий ты, брат, грубый! — обиделся Бибиков. — Поэтому, Ренаткин, с тобой никто дружить не хочет.

— Ренатов, — поправил Джером.

— Чего?

— Ренатов моя фамилия.

— Татарин, значит, — констатировал Гераня и убрал с плеча Джерома руку. — А мы с татарами не дружим. Они триста лет наш народ мучили. Знаешь ли ты об этом, татарская морда?.. Теперь наш черед настал, миленький мой. Так что потерпи, любимый, за обиду нашу-у! — пропел Бибиков и неожиданно резким движением схватил в щепотку сосок Джерома и стал крутить его во все стороны, сдавливая ногтями.

— А-а-а!.. — заорал что есть мочи Джером, извиваясь всем телом.

Гераня, не обращая внимания на крики одноклассника, со сладостью в глазах продолжал его мучить.

— Теперь-то ты понимаешь, каково было нашему народу под татарским игмом триста лет? — шипел он. — Теперь и ты пострадай триста лет, — и крутанул нежное место в другую сторону.

— А-а-а! — продолжал орать Джером. — Больно-о! Отпусти меня, миленький, пожалуйста.

— Отпустить тебя?! Ха, как же!.. Я только начал...

— Все, что хочешь, для тебя сделаю! — взмолился Джером.

— Все, говоришь? — Бибииков чуть ослабил хватку. — А ботинки мои оближешь?

— Оближу, родной, оближу с наслаждением!

— Ну давай.

Гераня отпустил Джерома, выставив вперед толстую ногу в грязном ботинке.

— Лижи, — позволил он.

Джером опустил на четвереньки и дважды провел языком по башмакам Бибиикова.

— Еще! — приказал Гераня и одобряюще потрепал одноклассника по щеке.

— Больше не буду, — отказался мальчик, пытаюсь встать на ноги.

— Будешь! — разозлился Бибииков и отвесил по макушке Джерома щелбан с оттяжкой так, что в голове загудело, как в барабане, а ноги подогнулись.

— Все равно не буду!..

Глаза Герани стали совсем маленькими. Он напряженно думал, какую еще муку применить к заартачившемуся татарину. И было совсем уж решил схватить его за нос и сдавить, сопливый, до лилового цвета, как вдруг с удивлением увидел маленький кулачок, с размаха ударивший его промеж толстых ляжек. Через мгновение резкая боль достигла мозга Бибиикова. Он осознал ее и согнулся пополам, вращая глазками, словно зарезанный кабан перед смертью.

— Ах ты гаденыш! — сипел Гераня.

— Что, миленький, больно? — участливо спросил Джером, потирая ладонью грудь.

Бибииков шумно дышал и, приседая, злобно смотрел по сторонам.

— Сейчас, сейчас... — скрипел он. — Дай прийти в себя...

— Ты еще поприседай.

— Ой, как больно!..

— Так и мне было больно... Ты, Бибииков, никогда не делай другому того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе.

Боль понемногу уходила из промежности Герани, уступая место сладостным ощущениям. Он сидел на полу, прислонившись спиной к батарее, и пристально рассматривал Джерома.

— Что, полегчало? — спросил подросток.

— Да, вроде...

— Встать можешь?

— Я, Ренаткин, боюсь за тебя, — произнес Гераня с гадкой улыбочкой. — Вряд ли господину Теплому понравится, что ты его дебилем обозвал. Он очень вспыльчивый человек.

— Предашь? — поинтересовался Джером.

— Зачем же так? — Бибииков осторожно поднялся с пола. — Проявлю лояльность по отношению к учителю, несправедливо оскорбленному. — Он тщательно отряхнул колени. — А сейчас, Ренаткин, ты узнаешь, кто такой Гераня Бибииков и каково его обижать!..

Джером увидел, как Гераня медленно к нему приближается, сжимая здоровенные кулаки. Гераня наклонил вперед голову и оскалил в предвкушении бойни свою пасть.

— Геранечка, миленький... — взмолился Джером. — Ты что собрался делать?.. Мы же с тобой в расчете... Миленький, не бей меня!..

Бибииков колотил своего одноклассника с особым наслаждением, зная, что его за это никто не накажет. Его кулаки, не разбирая дороги, врезались в самые незащищенные части тела, и чем больше Джером визжал, тем с большим остервенением бил его Гераня.

Через три минуты пыток мальчик на некоторое время потерял сознание, убежал поближе к смерти, а когда пришел в себя и открыл глаза, то увидел, как его мучитель, согнувшись от усталости, удаляется по коридору в сторону спален.

— Тупая свинья! — крикнул вдогонку Джером.

Гераня обернулся, хотел было вернуться и добавить, но отчаянно болели сочащиеся кровью костяшки кулаков.

— Ну что, Чингисхан, — спросил он, — еще хочешь? Мало тебе?

— Нет, миленький! Не хочу, родной!.. Мне достаточно!

— То-то...

Бибииков ушел своей дорогой. Джером не торопился вставать с пола, чувствуя, как из носа текут струйки крови, образуя на паркете темную лужицу. Он вспомнил, как на уроке естествознания они проходили, что в теле взрослого человека содержится четыре литра крови. Если лишиться хотя бы ее половины, то человек умирает. Интересно, задумался Джером, сколько из меня уже вытекло? Наверное, четверть стакана... Это немного. От этого не умирают, наоборот, даже говорят, что небольшое кровоупускание полезно. Кровь обновляется и обогащается кислородом... Кровоупускание можно сделать бритвой. Такое Джером видел, подглядывая в окно дома доктора Струве. Какой-то толстой женщине пускали кровь, перетянув руку жгутом... То же самое, что и кровоупускание, — наложение на тело пиявок... Джером вспомнил, как на речке к его ноге присосались целых три пиявки. Его тогда охватило мерзкое ощущение, он никак не мог отодрать черные тельца от побледневшего бедра, пока не вспомнил, что нужно прижечь пиявку, тогда она отвалится... Позже Джером пытался казнить кровопийц. Он ковырял их палочкой, но те никак не протыкались, а просто извивались.

Все-таки Бибииков — тупая свинья, подумал Джером и, кряхтя, встал. Все тело болело, а правый глаз заплывал синяком, как солнце тучей.

Говорили, что Бибииков — сын погибшего на войне полковника Бибиикова, кавалера славных орденов и отважного смельчака. Но что-то в это Джерому не хотелось верить. Как может от героя родиться свинья!.. Хотя именно о таких случаях мальчик недавно прочел в какой-то брошюре, в которой помимо этого говорилось еще о недостаточном половом развитии некоторых инфантильных особей мужского пола и о коронации наследного принца Базеля, которому едва исполнилось десять лет от роду.

Джером не торопясь побрел к своей комнате, щупая вздувшуюся яйцом скулу.

Будет крайне плохо, если Бибииков расскажет Теплому об оскорблении. Пожалуй, славист станет бить его по рукам линейкой, отчего ногти посинеют, и не исключено, что некоторые из них впоследствии сойдут...

Мальчик добрался до своей комнаты и открыл дверь. Его соседа по комнате и одноклассника по фамилии Супонин еще не было, а потому Джером тут же улегся на кровать, чувствуя, как засохшая кровь неприятно стягивает кожу. Он послунял палец и попытался очистить лицо.

В комнате было не убрано. Повсюду валялись мятые вещи, а с люстры свисала сумка-сетка, в которой обычно носят арбузы. На подоконнике грудой лежали запыленные книги, часть из которых была с отодранными корешками. Со стен свисали покоробившиеся иллюстрации из светских журналов фривольного содержания.

Самым примечательным в комнате были изделия из куриных костей. Всякие домики, башенки и человечки, аккуратно расставленные на полочке, удивляли своей необычностью. Куриные косточки — а на тебе: такие прекрасные поделки!

Джером лежал с закрытыми глазами и думал об ужине, гадая о его содержании.

Морковные или свекольные котлеты будут некстати. От них моча красная и желудок некрепкий. Хорошо бы картофельное пюре с кусочком селедки, а лучше всего с котлетой. И какой-нибудь морс на запивку. Клюквенный — кисленький, так прекрасно утоляет жажду... Джером почувствовал, что очень хочет пить. Во рту было такое ощущение, как будто он проглотил целую лопату песка. Язык присох к небу и стал резиновым. Мальчик представил себя в пустыне, лежащим на вершущке бархана. Сол-

нце светит прямо в самую макушку, и голова может треснуть, как переспелая дыня.

Я могу умереть на верхушке бархана, подумал мальчик. Я засохну на солнце и стану мумией, как на картинке в учебнике по истории. Вполне вероятно, что меня тоже найдут через несколько столетий, раскопают и перенесут в музей. Будет ходить экскурсовод и говорить: «Это мальчик из эпохи...» Джером задумался, из какой же он эпохи, но названия времени, в котором ему довелось жить, не знал... «Это мальчик, умерший на верхушке бархана, — скажет экскурсовод. — Ему было тринадцать лет, и он очень хорошо сохранился». И все, подумал Джером. Больше экскурсовод ничего не скажет, потому что ничего обо мне не знает. Смерть — это то, чего я не знаю и когда обо мне никто и ничего не знает, решил Джером и зевнул, почувствовав при этом боль в разбитых деснах... Джером заснул. Он проспал два часа, пока его не разбудил Супонин.

— Эй, ты чего весь в крови? — спросил он, смотрясь в настенное зеркало.

Супонин был на два года старше Джерома, хотя учился с ним в одном классе. Он был хорошо сложен, с красивым лицом и прекрасно это сознавал, пользуясь любым удобным моментом, чтобы посмотретья в зеркало. У Супонина уже пробивались усики, чему слегка завидовал Джером, и поговаривали, что он имеет некоторый опыт с девчонками из старших классов.

— С кем подрался? — спросил Супонин, тщательно укладывая волосы на косой пробор.

— С Бибиковым, — ответил Джером.

— Нашел, с кем драться!.. Бибиков — быдло! Чего с ним драться? Он даже боли не чувствует!.. Эка он тебя отделал. Зубы хоть целы?

— Да вроде бы. — Джером потыркал во рту языком.

— Все-таки ты странный, Ренатов. Какой-то ты неприбранный и слюнявый, поэтому тебя никто не любит... Кстати, у тебя нет бриолина, а то мой кончился?

— Нету.

— Видишь, у тебя даже бриолина нет!.. И скажи мне на милость, Ренатов, чего ты все время делаешь вид, что ты не такой, как все? Мой тебе совет: не задавайся и не выдрючивайся! Может быть, тогда к тебе будут относиться лучше... И чего ты выбрал это дурацкое имя себе? Джером!.. Это чье же имя?

— Не знаю. Может быть, английское.

— То-то и оно! Какого хрена тебе английское имя нужно, когда ты в России живешь?

Супонин повернулся к Джерому и вздернул голову, показывая прическу.

— Так нормально? — спросил он.

Джером кивнул.

— Ничего не надо поправить?

— Не-а.

— А галстук?

— Если только узел подтянуть.

Супонин пощупал под горлом.

— Так сойдет... Так вот, — продолжил он, брызгая на себя духами, — если уж нам дали возможность поменять себе имена, то нужно выбрать то, которое тебе больше всего нравится!

— Мне нравится Джером.

— Господи, Боже мой! С тобой, Ренатов, очень трудно разговаривать!.. Мне жаль тебя!

— Почему?

— Потому что ни одна девчонка не поидет с тобой.

— Куда?

— Вот наступит время, тогда узнаешь — куда!.. Ты худой, Ренатов, вечно грязный и нечесаный, ходишь, как ребенок, в шортах! Ты мне тоже не очень нравишься своим поведением, хотя, конечно, я с тобой драться никогда не буду!

— Почему? — спросил Джером, чувствуя в заявлении Супонина несправедливость.

— Потому что ты, Ренатов, слабый и младше меня. А я считаю, что драться со слабыми недостойно. И вообще, я драться не люблю. Если человек способен думать мозгами, то ему незачем применять физическую силу. Ясно?

— Ясно, — ответил Джером.

— Ну, я пошел.

— Куда?

Супонин аккуратно повесил в шкаф школьные брюки, убрал в ящик стола флакон с духами и запер его на ключик. Еще раз взглянул на себя в зеркало и подмигнул своему отражению.

— Имей терпение, Ренатов. Никогда не любопытствуй чрезмерно. Дождись, пока тебе сами скажут о том, о чем ты хочешь спросить!

— А ты воздух по ночам портишь, — почему-то сказал Джером. — Как с тобой девчонки дружат?

— Важно знать, с кем можно воздух портить, а с кем нельзя, — изрек Супонин. — Я знаю. — И вышел из комнаты.

Джером опять остался один.

Чего он пристал к моему имени? — задумался мальчик. Ведь директор интерната ясно сказал, что каждый может выбрать себе имя, которое ему по душе. И все выбрали... Интересно, почему всем детям не нравятся их имена, даденные родителями? Они их просто раздражают и бесят. А директор это почувствовал и разрешил взять себе другие. Хотя, конечно, никто не взял иностранных имен. Все выбрали привычные. Щеглова вместо Даши взяла себе — Екатерина, Бибииков сменил Гераню на Михаила. Какой он Михаил? Геранька и есть Геранька. Свинья!.. А Супонин был Игорьком, а стал Сергеем.

Супонин чем-то нравился Джерому. Мальчик любил смотреть, как тот прихорашивается возле зеркала, выдавливая прыщики на лбу.

— Половое созревание, — объяснил Супонин. — Так и прет со лба.

Как может созреть пол? — размышлял Джером, разглядывая паркет. И какая связь между грязным полом и прыщами на лбу?

Супонин был единственным человеком из класса, который ни разу не дрался с Джеромом. Остальные, даже самые слабые, хоть раз, да попробовали свои кулачки на черепе Джерома.

Единственное, что раздражало мальчика в Супонине, было то, что он обожал читать нотации и нравоучения и делал это почему-то в самое неурочное время — чаще ночью, возвратясь с очередного свидания, когда Джерому особенно хотелось спать. При этом он ежеминутно портил воздух, объясняя это тем, что газы вредно держать внутри — можно испортить желудок. Джером подозревал, что желудок его одноклассника давно испорчен, и все хотел ему предложить обратиться к доктору Струве, который наверняка подберет пилюли, способные унять вонючий гейзер.

Иногда Супонин, когда у него было особенно хорошее настроение, устраивал в комнате фейерверки, поднося зажженную спичку к отверстию и пуская из него испорченный воздух. «Сероводород» вспыхивал на мгновение и вызывал у мальчиков неудержимый приступ хохота. Джером выскакивал из кровати и начинал ходить из угла в угол.

— Супонин, — смеясь, говорил он. — Все-таки у тебя выдающиеся способности! Твоя задница не просто задница, а задница-огнемет! Тебя надо посылать на войну, чтобы ты жег вражеские селения и города!.. Или в космос! Тебе не требуется механического двигателя, у тебя есть свой, физиологический. Как дашь — так сразу в другую галактику!

— Не-а. Не-а! — хохотал Супонин. — Я лучше буду в тюрьме работать!

— Кем?

— Палачом! В газовой камере! Ха-ха-ха!

— Нет, не так! Тебе надо чуть потренироваться, и ты сможешь работать в цирке! Твой номер будет называться «Говорящая ж...».

На эту не совсем светскую тему мальчишки могли фантазировать до утра, пока за окнами не занимался рассвет. Тогда, утомленный хохотом, Супонин мог вдруг рассказать о тех тайных вещичках, которые особенно волновали Джерома. А волновало подростка то, что более всего занимает умы его сверстников, какое-то ощущение, напоминающее приближение дня рождения, когда ты знаешь, что подарят тебе то, что более всего хотел. И ты готов плакать, смеяться и спать в ожидании утреннего чуда.

— И совсем это не утром бывает! — объяснял Супонин. — И не чудо это вовсе!

— А что это? — затаив дыхание, спрашивал Джером.

— Обычная вещь, без которой не могут жить люди. Взрослые люди!

— А без чего не могут жить взрослые люди?

— Вот станешь взрослым, тогда узнаешь.

— Так ведь ты тоже не взрослый! Поди, ты сам не знаешь ничего, а так, представляешься только! — подначивал Джером.

— Ты меня на слабо не возьмешь, Ренатов, — зевнул Супонин. — А впрочем, кое-что я тебе скажу...

Джером замер, как мышка в норке, поджав под себя колени.

— Помнишь Гусицкую из последнего класса?

— Да, — шепотом ответил Джером.

— Помнишь ее странное отчисление из интерната?.. Так вот, ее никто не отчислял, а просто она стала взрослой и стала жить своей жизнью в городе. Она скоро будет матерью.

— Как это?

— Дурак ты, братец! Ты что, не знаешь, как женщины рожают детей?

— Знаю, — неуверенно протянул Джером.

— Ну вот и Гусицкая скоро родит ребеночка... А знаешь, кто отец ребенка?!. Я!.. Так что теперь суди, взрослый я или нет!

Джером отчаянно думал над тем, что ему рассказал Супонин. Безусловно, он знал, что женщины рожают детей, что у младенцев должны быть отцы, но какая связь между этим и взрослостью, Гусицкой и Супониным — это оставалось для мальчишка загадкой. Однако какой-то частью души, а правильной сказать, тела он чувствовал, что в этом-то и есть та притягательная разгадка, которую он никак не может отыскать, но так этого жаждет.

— А когда я стану взрослым? — спросил Джером.

— Когда у тебя волосы вырастут на лобке, — ответил Супонин, отвернулся к стене и захрапел.

Более в ту ночь он ничего не рассказывал Джерому такого, что могло хотя бы пролить слабый свет на тайну, так мучившую мальчишка.

С той бессонной ночи Джером слишком часто стал рассматривать свой впалый живот — не закудрявились ли внизу черные волоски, которых у Супонина было навалом, словно на голове. Но лобок мальчишка оставался белым и гладким, как снежное поле в самую стужу.

Сволочь, считал он про свой лобок.

Сейчас Джером лежал на своей кровати и думал, что если бы его отец был жив, то уж он-то непременно рассказал бы ему обо всем таинственном, что происходит на земле. Но капитана Ренатова сейчас обихаживали ангелы в райских кущах, ему было не до земных глупостей, а потому мальчик проживал в интернате, получая общественное воспитание.

То, что Джером утверждал, что он сын капитана Ренатова, раздражало не только его одноклассников, но и учителей тоже. И дело не в том, что капитан Ренатов считался в городе героем, вовсе нет. О таком персонаже никто даже и не слыхивал сроду. О том, что отставник стал жертвой нашествия кур, никто не ведал. Официальные власти об этом умалчивали, пресса не писала, а потому в героя он вырасти уж никак не мог. Раздража-

ла настойчивость и уверенность мальчика в том, что капитан Ренатов все же был его отцом, хотя никаких подтверждений тому не было. Джерому даже устраивали встречу со вдовой, но Евдокия Андреевна только руками разводила, объясняя, что они с мужем были парой бездетной, да и не похож мальчик на Ренатова! Тот был белокур, а этот черный на голову. Но Джером стоял на своем, рассказывая из жизни капитана Ренатова такие подробности, какие мог знать только близкий родственник.

— А кто же мать-то? — спрашивала мальчика Евдокия Андреевна, ужасаясь в душе, уж не прижил ли супруг ребеночка на стороне.

— Мать не знаю, — отвечал Джером. — Знаю только про отца.

Может быть, я его мать, прикидывала Евдокия Андреевна, но тут же крестилась и образумлиwała себя тем, что мужчина еще может не знать о рождении своего ребенка, но уж женщина... А не взять ли мне его к себе жить, думала капитанская вдова.

— Мальчик, хочешь жить со мной?

— Нет, — отвечал Джером. — Буду жить один, в интернате. Но хотел бы иметь что-нибудь на память об отце.

Что же ему дать? — гадала женщина. Дом наш разрушен. Ничего памятного, ни единой вещицы не осталось от старой жизни, все прахом пошло. Разве что сапог капитана?.. В глазах Евдокии Андреевны защипало, как от дыма, она открыла сундук и вытащила из него сапог с треснувшим голенищем.

— Вот в этом сапоге, — пояснила она, плача, — в этом сапоге капитан Ренатов и встретил свою смерть. Видишь, еще следы крови сохранились. Хочешь, возьми его...

— Возьму, — ответил Джером, по-хозяйски засовывая сапог в сумку.

— Может быть, ты хлебушка хочешь?

— Сыт...

В дверях Джером поинтересовался, не осталось ли от капитана медали, врученной ему генералом Блужновым перед отставкой.

И это знает, удивилась Евдокия Андреевна.

— Нет, — ответствовала она. — Не осталось.

— И на сапоге спасибо, — поблагодарил Джером и вышел вон, к поджидавшему его интернатскому привратнику.

6

Дожевав пятый по счету бутерброд с вареньем, Шаллер надел на себя свитер и вышел во двор. В руках он держал мельхиоровый поднос с бутербродами и чаем. Закрывая за собою дверь, он уже слышал осточертевшее трещанье пишущей машинки и недовольно поморщился.

Елена Белецкая сидела в беседке на жестком табурете, склонясь над пишущей машинкой. От ее прямой спины балерины ничего не осталось, позвоночник принял форму ветки, отягощенной спелыми плодами. Давно не мытые волосы клочьями спадали на костлявые плечи, а бесцветные глаза ничего не замечали вокруг, лишь внимательно следили за рождающимися строчками. Елена быстро печатала, давя пальцами рыжих муравьев, бегающих по клавишам. Все пространство вокруг беседки, да и сам стол, над которым скрючилась Белецкая, были усыпаны осенними листьями. Бордовые, желтые, кленовые и осиновые, они навалом лежали и на крыше дома, иногда только слетая и источая аромат солнечной осени. Поскольку дождей почти не было, листья не прели, сохраняя всю прелесть позднего многоцветья.

Генрих Шаллер движением руки очистил стол от листьев и поставил на него поднос. Взял другой поднос, точно такой же, оставленный накануне, с нетронутой едой, и унес его в дом.

Селедка, подумал Шаллер про свою жену без раздражения. Что пишет, одному Богу известно... Он вновь вышел во двор и остановился, глядя на

спину Елены, на торчащие лопатки, словно ошипанные куриные крылышки... Из-за забора слышалось кудахтанье кур, перемежавшееся с похлопыванием крыльев.

Она скоро превратится в курицу, умирающую от истощения... Мальчишки, отличающиеся жестокостью, иногда натачивают вязальные спицы и одним движением убивают глупых кур, пронзая их крохотные сердца.

Шаллер представил, как он вонзает длинное жало в рыжее сердце жены, как она падает лицом на клавиши пишущей машинки, заклинивая лапки с буквами на белом листе бумаги.

Он вновь подошел к столу и взял стопку исписанных листов.

Что это может обозначать? — думал Генрих, внимательно вглядываясь в написанное. Какой-то анархический подбор букв. Что означает, например, КОМЛДУГШРИ ВАР, ПЛРЦЗЕОЫАМТ или ППП ШШШ СТИМВАЧО? И таким текстом исписано более трех тысяч листов. Абсурд какой-то!

Генрих Шаллер подумал, что все же его жена, вероятно, сошла с ума, строча вот уже почти год какую-то тарабарщину. Прошлой осенью она сообщила мужу, что начинает большую работу и оставляет Генриха на долгое время в одиночестве. Шаллер горько ухмыльнулся: как будто он до сей поры был обласкан вниманием своей красавицы жены.

Белецкая в тот же час села за старенький «драйтмакер» и с этой минуты более ни на что не реагировала. В течение следующего года она не съела и крошки хлеба, не выпила и капли воды, хотя Шаллер три раза за день ставил перед ней поднос с едой. Первое время он пытался заговаривать со своей женой, но никакой реакции от нее не добился.

Обеспокоенный, он вызвал домашнего врача Струве, тот более часа ходил возле робота, отстукивающего непонятный текст, слушал сердце Елены со спины в трубочку, заглядывал в уши и не переставал удивляться вслух:

— Странное дело!.. Поистине, странное дело...

Затем Струве трогал бока Белецкой, проверяя жировую прослойку.

— Вы говорите, что она вот уже месяц ничего не ест?

— Именно так, — отвечал Шаллер. — Ничего.

— Поразительно! Тогда каким же образом она сохраняет способность работать? И не пьет ничего?

— Ничего.

— Фантастика!.. Это первый случай в моей практике! Да и, пожалуй, в мировой! Вы позволите навещать вас чаще?..

— Как вам будет угодно.

— Благодарю вас.

После осмотра Елены Белецкой Генрих Шаллер и доктор Струве пили на веранде чай.

— Вы знаете, — говорил доктор, посасывая яблочную карамельку, — природа — странная штука... Иногда выкинет такой фортель, что голова кругом идет. Все, чему долгие годы учился, чему, в конце концов, посвятил жизнь, оказывается бесполезным перед какими-то явлениями. Существуют же индийские йоги, способности которых ни наука, ни медицина объяснить не могут. Какой-то человечешко с чалмой на голове удерживает на животе слона или сидит под водой в течение двух часов... Я тут в журнальчике прочел, как один велел себя живьем закопать и не выкапывать целый месяц... Правда, когда экспериментатора этого все же через месяц выкопали, то черви успели сожрать его труп наполовину... Концентрация, дорогой Генрих Иванович, великая вещь — концентрация... Вот и уважаемая Елена Павловна, может быть, сконцентрировалась на чем-нибудь великом... Все бывает в этой жизни... Транс...

— Что же, она тоже йог? — спросил Шаллер.

— Может быть, и йог или что-то в этом роде. Так или иначе, случай неординарный...

В дверях появилась рыжая курица. Она некоторое время разглядывала беседующих, вертя головкой, затем освоилась и принялась клевать с пола.

— Вот никчемная птица! — сказал Струве. — Странная штука, вы заметили, что со времени нашествия мы вовсе перестали есть курятину? Куры стали как голуби, живут как хотят. Грязные никчемные птицы!

С тех пор доктор Струве стал навещать Шаллера каждую неделю и не переставал удивляться силе человеческого духа, способного удерживать тело без пищи и воды столь неограниченное время.

Может быть, она из атмосферы всасывает в себя калории и воду? — думал Шаллер, разглядывая жену в окно. Порами тела всасывает...

Шаллер вновь представил себе отточенную спицу, торчащую из спины Елены, и, отгоняя от себя видение, решил пройтись к бассейну, расположенному на пустыре за его домом.

Как говорили, этот бассейн построили шестьсот лет назад китайские монахи для отправления своих религиозных нужд. В бассейне всегда была горячая вода из минерального источника, заключенного буддистами в трубы. Впрочем, горожане к бассейну не ходили, будучи православными ортодоксами. Чаще посещали русские бани с веничками и квасом и от этого получали свое наслаждение.

Шаллер же, наоборот, частенько навещался к источнику, выливающимся в большую, выложенную цветными изразцами ванну, плавал в ней нагишом и чувствовал себя от этого прекрасно. Одиноким пловец был скрыт от посторонних глаз полуразрушенной стеной из белого камня, а потому был свободен в выборе поз, выражении лица, не рискуя быть замеченным случайным прохожим.

Генрих разделся, аккуратно сложил вещи и, осторожно ступая по мраморным ступенькам, спустился в воду. Окунулся с головой и широкими саженками доплыл до противоположного бортика. Там достал ногами до дна, откинул голову на теплую плитку и закрыл глаза, наслаждаясь.

Шаллера всегда удивляла способность воды приводить душу в состояние полнейшего спокойствия и удовлетворения. Своим теплом, миллионами крохотных пузырьков, поднимающихся со дна, йодистым запахом она умиротворяла все чувства Генриха, вплоть до эротических. В воде было приятно думать, и мысль текла размеренно, сама собою, и радовала своей новизной.

Почему рыбы так молчаливы и спокойны, особенно в тропических водах? — думал Шаллер. Потому что им тепло, а в теплой воде много растительной пищи и можно без особого труда ее добывать. Теплая вода имеет удивительную способность рождать красоту, хотя красота отнюдь не обязательно имеет доброе начало, зачастую наоборот: тот, кто красив, — тот ядовит, кто неказист — имеет светлую душу. Некрасивые люди часто погибают при столкновении с красотой, красота пожирает их души, питаясь ими. Красота не может быть прекрасной, ей свойственно хищничество, как цветку растения пескеи, приманивающему к своим разноцветным лепесткам дуру муху вроде как для любви, а на самом деле — к смерти.

Шаллер открыл глаза и увидел в синем небе тусклую звезду.

Так и женщина приманивает своими прелестями незадачливого мужчину, жаждущего любви, но делающего шаг к смерти с каждой любовной утехой...

Господи, сколько же лететь до этой звезды? — прикинул Генрих. Столетия? Тысячелетия?.. Как же понять, как же осознать бесконечность? Как может чему-то не быть конца?! Но если действительно поверить, что существует бесконечное количество вселенных с их огромными величинами, то, вероятно, существуют и бесконечно малые величины... Мысль Генриха, подгоняемая теплой водой, спокойно потекла, прокладывая новое русло. Ведь если существуют штуки меньше атома, то существует что-то и меньше этих штук... Если взять секунду и разделить ее на тысячу, то получится одна тысячная секунды. А если разделить на миллиард, то одна миллиардная... Что же это получается? — подумал Шаллер, чувствуя, что подобрал-

ся к чему-то важному. Следовательно, секунда времени может делиться без конца, как и преумножаться. Значит, последнее мгновение жизни человека длится бесконечно... так что же получается — человек бессмертен в своем последнем мгновении? Значит, человек бессмертен в бесконечно малой величине! Но бессмертен!.. Генрих зажмурился от своего открытия. Вот она, истина, прошептал он. Истина — в бесконечно малых величинах!

Шаллер поплыл. Он плавал от одного бортика к другому, вкладывая все силы своих могучих рук в каждый гребок, пока не привык к своему открытию, пока не понял, что оно принадлежит только ему, что он один знает о бессмертии человека.

Он шумно дышал, отдыхая на мелком месте, как вдруг ему показалось, что из-за кустов на него смотрят чьи-то глаза. Шаллер прикрыл неприличное руками и шарахнулся в глубину. Поглядел с другого конца бассейна, но ничего подозрительного не увидел.

Показалось, подумал Генрих. Или кошка бездомная забрела.

Шаллер еще некоторое время поплавал и, слегка устав, выбрался на берег. Трещали под ногами осенние листья. Он оделся на мокрое тело и направился к дому, решив все же поиграть железом.

Поднимая к небу двухпудовые гири, Генрих подумал, что на этот раз не случилось Лазорихиева неба, вполне вероятно, что небо не выдержало в один день двух великих прозрений.

Надо было, конечно, сначала гирями позаниматься, а уж потом в бассейн идти, заключил Шаллер. Придется из ведра ополаскиваться...

Генрих Шаллер стоял у зеркала и оправлял полковничий мундир. Он собирался в гости к Лизочке Мировой.

Все же моя связь с ней слишком затянулась, думал полковник. Мне за сорок, и я должен пожалеть девушку. Вся ее жизнь впереди. Она переживет удар. Юность легче переносит любовное горе, чем зрелость. Зрелость сто раз взвесит, прежде чем на что-то решится, а молодость бросается в пучину чувств без оглядки, с головой. Может быть, юное создание и способно сильно страдать, но все сильное быстро проходит, тогда как взрослый человек мучится годами, тоскливо, словно мается большими зубами... Скажу ей сегодня, решился Шаллер и подумал, что решался на это уже множество раз. Сегодня скажу непременно!..

Он вывел из гаража потрепанный «краузвеггер», залил в бак канистру горючего, попробовал плотность баллонов и, усевшись на кожаный диван, нажал на газ.

Дорога к дому Лизочки Мировой была хорошей, и если бы не тупоголовые курицы, то и дело бросающиеся под колеса, то можно было бы развить приличную скорость.

Все же в конце пути «краузвеггер» подцепил бампером черного петуха, тот было заорал, но тут же попал под колесо и, хрустнув костями, замолчал навеки.

Шаллер был вынужден остановить автомобиль, чтобы стереть с шины кровь. Местные дамы столь впечатлительны, что вид крови может лишить какую-нибудь особенно нервную чувств.

С придорожного поля слетелось воронье и, восторженно каркая, принялось разрывать на части еще дрыгающегося в конвульсиях петуха.

Шаллер подъехал к дому Лизочки, когда на Чанчжоэ уже спустились сумерки. Судя по количеству авто, скопившихся возле ограды, гостей собралось изрядно. Вот роскошный «блендер», принадлежащий губернатору, а это экипаж митрополита Ловохишвили — черный, блестящий, с никелированными подвесками и шофером-монахом, задремавшим на водительском месте. Автомобили попроще принадлежали поклонникам Лизочки. Хотя самый простенький автомобиль мой, подумал Шаллер и вошел в дом, одернув китель.

— Господин Шаллер! — возвестил дворецкий, открывая перед Генрихом тяжелые двери.

Парадная зала была залита светом шести хрустальных люстр со множеством переливающихся подвесок. Генрих подумал, что изрядно опоздал, так как некоторые гости уже танцевали под струнный квартет заезжих музыкантов. Неслышно подошел официант с подносом шампанского, и Шаллер взял бокал розового. В отражении зеркала он увидел губернатора Контату, живо рассказывающего что-то отцу Лизочки, седому льву с орденным святого Лазорихия на смокинге. Тот заинтересованно слушал, изредка затягиваясь толстой сигарой.

В зале человек двадцать пять, прикинул Генрих. А где же Лизочка?.. Он огляделся, но девушки не обнаружил. Вероятно, в своей комнате с поклонниками.

Возле мраморной колонны о чем-то чирикали Лизочкины подружки.

Это — Анна Лапа, дочь шерифа. Рядом с нею Франсуаз Коти — двадцатитрехлетняя красавица, к которой давно сватаются самые богатые юноши со всех окрестностей. И Фыкина Дарья — толстушка Берти, как называют ее подруги. Слишком любит пирожные, особенно те, что с заварным кремом.

Девушки уже заметили Шаллера и о чем-то шушукались, хитренько поглядывая на полковника.

Как все же хороша Франсуаз, отметил Генрих. Но уж слишком недоступна. В позапрошлом году от несчастной любви к ней застрелился корнет Фурье. Выстрелил себе в висок медвежьей картечью... То-то крови вылилось из дурачка... До сих пор поговаривают, что Коти хранит девственность.

— Генрих Иванович! — услышал он позади себя. — Полковник Шаллер!..

Генрих обернулся. К нему, чуть склонив тело вправо, спешила мать Лизочки.

Вера Дмитриевна, моложавая дама с хорошо сохранившейся фигурой, протянула руку в белой кружевной перчатке.

— Мы уж, грешным делом, думали, что вы не придете!

Генрих поцеловал руку Веры Дмитриевны и щелкнул каблуками сапог.

— Как же я мог не прийти, дорогая Вера Дмитриевна!

— Уже и губернатор о вас спрашивал, и шериф Лапа интересовался — где же наш Генрих Иванович?

— Прошу простить меня.

— Хочу с вами выпить! — громко сказала мать Лизочки, так, что кое-кто обернулся, и позвала официанта.

А она подшофе, понял Генрих. Впрочем, она всегда чуточку пьяна, а оттого добродушная.

— За вашу силу! — произнесла тост Вера Дмитриевна. — За вашу необыкновенную силу! — Она посмотрела в глаза Шаллеру лукаво и с легкостью выпила шампанское до дна.

— А где Елизавета Мстиславовна? — спросил Генрих.

— Разбирается с ухажерами. Сегодня их особенно много!.. Молодой Кусков, Брагин, Геймгольц пожаловал... Какие новости, дорогой полковник?

— Да какие могут быть новости в нашем провинциальном городишке. Это вы, уважаемая Вера Дмитриевна, прибыли-с из столицы. У вас и новости. Вам и делиться.

— Ах да!.. Забыла сказать. Господин Климов умер!..

— Что вы говорите!

— Да-да... В одночасье... удар. Немолод был, батюшка, девятый десяток разменял... Все наследство несметное — двум дочерям. Дочурки-то так себе, дурнушечки отчаянные, но муженьки будут у них самые что ни на есть раскрасивые, денежки лучше всякой косметики красоту наводят.

Шаллер краем глаза заметил, как Франсуаз Коти взглянула на него, но, встретившись с его взглядом, поспешно отвернулась.

Господи, какая у нее чудесная кожа, подумал Генрих. Как хочется провести пальцами по шее от нежного ушка с жемчужной капелькой к

глубокой ложбинке над корсетом, в которой сейчас лежит кулон, подвешенный на цепочке.

— Акции Земляного общества подскочили аж на три пункта. То-то переполох на бирже был. Все бросились хватать, но их кто-то уже скупил... Целиком!.. Вы меня не слушаете, Генрих Иванович, — обиженно сказала Вера Дмитриевна.

Шаллер сглотнул и развел руками:

— Как же это я вас не слушаю, Вера Дмитриевна! Вы про акции Земляного общества говорите. Что подскочили они на три пункта и их все скупили.

— А знаете, почему они подскочили?

— Никак нет-с.

— Может быть, вы и про Земляное общество ничего не знаете?

— Вынужден признаться, что ровным счетом ничего, — рассеянно ответил полковник и вновь поймал быстрый взгляд Франсуаз Коти.

— Да что же это вы, батюшка, от жизни отстали! Разве так можно?.. Ну так я вам расскажу... Два жиденка, Савва Абрамов и Ефим Заболянский, решили выпустить акции под земельную собственность. Выпустили... Но кто эти акции, скажите мне на милость, покупать будет? Кто такие эти евреи?! Никто их не знает, видеть не видел, и земля какая-то мифическая!.. Незнакомцы, одним словом, в мире бизнеса. Так что они придумали, мерзавцы!.. Угадайте!

Шаллер пожал плечами.

— То-то и оно, что такое только еврей придумать может своей кучерявой головой. Вот смотрите. Савва Абрамов продал акции на три рубля дороже Ефиму Заболянскому. Тот в свою очередь еще десятку набавил и сбыв... Кому бы вы думали?.. Савве Абрамову... Тот опять накинул монету и спихнул Заболянскому... Конечно же, никто на бирже не знал, отчего дорожают акции. Евреи-то не афишировали, что друг дружке бумаги продают. Мошенники!.. Так они полгода продавали акции сами себе, пока те не взлетели в цене в тридцать раз. А потом очень простой ход: продали весь пакет акций третьему лицу, постороннему. Тот, несчастный, полгода наблюдал, как бумаги растут в цене, пока не решился их купить. Бедняжка думал, что приобрел море земли, а купил дырку от бублика.

— А евреи? — поинтересовался Шаллер.

— А что евреи?.. Евреев и след простыл. С такими деньгами везде хорошо. Даже еврею...

— Господин и госпожа Смит!.. — возвестил дворецкий.

— Ну, я вас бросаю! — заторопилась Вера Дмитриевна. — Хозяйка есть хозяйка. Столько хлопот!.. Вы уж, пожалуйста, не скучайте!.. Новости я вам рассказала, поделитесь с другими!.. Надеюсь, что Лизочка скоро появится.

Мать Лизочки, склонив тело на этот раз влево, поспешила навстречу чете Смит, взмахнув руками, словно крыльями.

Шаллер не стал дожидаться появления Лизочки, а решил сам поискать ее. Проходя, он по-солдатски кивнул губернатору. Контата знаками показал, что они обязательно побеседуют позже, и Шаллер вышел из парадной залы в коридор, ведущий на женскую половину.

Зачем такой большой дом для трех человек? — думал он, заглянув в очередную комнату и не найдя в ней девушки. Какие, должно быть, огромные расходы на содержание такой махины. Все эти позолоченные канделябры, тканые обои тончайшего шелка, ковры ручной работы — для чего это все?.. Полковник спросил себя, отказался бы он от такого дома, если бы ему предложили... Нет, ответил себе честно Шаллер и отворил дверь четвертой комнаты.

Лизочка Мирова сидела в кругу своих молодых поклонников и слушала, как один из них, худощавый и черноусый, читал нараспев стихи.

Гекзаметр, понял полковник и, подчинившись жесту Лизочки, сел на диван чуть поодаль от компании.

Он почти не слушал стихов, а смотрел на профиль девушки, все более уверяясь, что именно сегодня скажет ей о разрыве. Разглядывая Лизочку, он почему-то представлял себе Франсуаз Коти, сравнивал двух девушек подсознательно, еще вовсе не отдавая себе отчета, зачем он это делает.

— Генрих Иванович, что вы думаете о гекзаметре Александра Александровича? — спросила Лиза, когда молодой человек закончил читать и манерно поклонился, шаркнув ногой в изящном лакированном ботинке.

— Я не слышал сначала, — уклонился от ответа полковник.

— А все же? — настаивала девушка.

— Не люблю гекзаметры. Особенно русские. Они слишком отзываются натугой.

— Почему же? — вызывающе спросил худощавый молодой человек.

— Очень просто, — пояснил Шаллер. — В русском произношении двух долгих слогов подряд не бывает. И вообще, разница между долгим слогом и ударением утрачена. А оттого такое стихосложение слишком манерно, и как-то не по-русски все это звучит, право.

Молодой человек недовольно пожал плечами, сел в кресло и оглядел присутствующих.

— А вы сами что-нибудь сочиняете? — спросил Шаллера другой молодой человек, более плотного сложения.

— Нет, — ответил Генрих. — Не сочиняю. Не чувствую за собой талантов.

— Понятно. Обычно критиками становятся те, кто не имеет талантов, но очень завидует тем, кто ими обладает.

— Признаться, я критиковал не таланты нашего досточтимого поэта, а лишь способ стихосложения. Если я чем-нибудь обидел вашего товарища, то прошу простить меня, произошло это невольно.

— Господа, господа!.. — весело обратилась к присутствующим Лизочка. — Может быть, кто-то еще хочет что-нибудь прочитать?.. Ну же!..

Никто из присутствующих читать что-либо при Генрихе Ивановиче не пожелал. В комнате зависла неприятная пауза, и Лизочка, разряжая атмосферу, пригласила всех пить чай с марципанами. Все отправились в чайную комнату, а Лизочка и Шаллер задержались. Девушка подошла к полковнику и положила голову ему на грудь.

— Зачем ты так? — спросила она с такой нежностью в голосе, что Генриха передернуло. — Они такие молодые и обидчивые. А ты такой сильный... — Лиза погладила плечо Шаллера, глаза ее заблестели, тон голоса сменился на игривый. — Ты умный, ты самый умный из умных, а они все глупые... — Ее пальчики проворно расстегнули нижнюю пуговицу мундира и ухватились за пряжку ремня. — Такие глупые они все... Они мне так надоели, ходят каждый день... — Она потянула пряжку на себя, и та расстегнулась. — А ты не приходил целую неделю... Разве так можно поступать!.. — Прохладные пальчики скользнули под нательную рубашку.

— Подожди! — попросил Шаллер.

— Не могу, — честно ответила Лиза и сделала своими пальчиками чудесную штучку, сопротивляться которой Шаллер уже не мог. Он лишь успел закрыть дверь на запор и, увлекаемый Лизочкой в водоворот страсти, помчался по течению к самой высшей ее точке.

Вероятно, не случись этого интимного момента, Шаллер бы так и не решился на окончательный разговор с Лизочкой, но страсть еще более опустошила его душу, он почти не мог смотреть девушке в глаза от неприятного ощущения, а резкие слова так и просились наружу.

Лиза сидела абсолютно обнаженная, кокетливо выпячивая грудь.

— Оденься, — попросил полковник.

— Я тебя смущаю, дорогой? — Лизочка вздернула подбородок. — Мое тело тебя слепит?

Шаллера опять передернуло.

— Оденься! — повторил он жестко.

Девушка почувствовала перемену в его голосе и прикрылась платьем.

— Что-то случилось? — спросила она.

— Да... Мы должны с тобой расстаться.

— Что?

— Нам необходимо расстаться! — повторил Генрих. — Мы больше не можем так общаться.

— Как? — шепотом спросила девушка.

— Так... Давай останемся друзьями...

Лизочка стала судорожно натягивать платье. У нее это получалось неловко, она никак не могла попасть рукой в рукав и оттого еще больше занервничала. Шаллер смотрел на ее бедра и почему-то вспомнил первое прикосновение к животу Лизочки, трепыхание ее тела под его большими руками; ему вдруг стало жаль девушку, и он решил говорить с ней мягче.

— Пойми, ты молода, ты очень красива, у тебя все впереди...

— Что впереди? — нервно переспросила Лиза, наконец справившись с платьем.

— Мне сорок шесть лет!

— Ну и что!

— Я женат, и я не могу просто пользоваться тобой, не думая о будущем... Твоем будущем.

— Почему ты должен думать о моем будущем?! Я сама в состоянии подумать о себе!

На глазах девушки появились крупные слезы. Она подняла лицо, чтобы не пролить их, и Шаллер чувствовал, что с Лизой вот-вот может случиться истерика.

— Только не плачь, ради Бога! Ничего страшного не происходит! Просто я не могу общаться с тобой без всякой перспективы! Я женат на другой женщине и никогда не смогу стать твоим мужем. Не плачь, пожалуйста!

— Мне этого не надо, — ответила Лиза, роняя слезы на ковер. — Будь женат на другой женщине. Я согласна.

— Господи Боже мой! Я не согласен так!

— Как?

Лизочка уже полностью потеряла контроль над своими чувствами, и слезы катились по ее лицу свободно, как струи дождя по оконному стеклу. Она задавала вопросы, не думая об их смысле, просто цепляясь за концы фраз Шаллера.

— Я уже тебе объяснял!.. Мы не можем с тобой спать!

— Почему не можем спать?

— Пойми меня!

— Что понять?

— Пойми наконец, что все кончилось!

— Что кончилось?! — Лизу трясло. Она смотрела на Шаллера, заливаясь слезами.

— Черт возьми! — не выдержал полковник. — Возьмите себя в руки, Елизавета Мстиславовна! — закричал он. — И не тряситесь вы так, в конце концов, как сумасшедшая, а то я уйду!

— Хорошо, хорошо... Я не буду трястись, только не уходите!

Неожиданно Лизочка вскочила с кровати и бросилась на пол, обхватив руками ноги Шаллера.

— Генрих Иванович!.. Не бросайте меня!.. Умоляю вас!..

— Перестань, Лиза!..

Полковник попытался поднять девушку с колен, но та так сильно вцепилась в его ноги, что он испугался сделать ей больно.

— Не бросайте меня, а то я не знаю, что с собой сделаю! Я убью себя! — закричала она так громко, что Шаллер занервничал.

— Успокойтесь, Елизавета Мстиславовна! Нас могут услышать, случится конфуз!

— Пусть слышат!..

Неожиданно девушка отпустила колени Шаллера. Глаза ее мгновенно высохли от слез и наполнились решимостью.

— Пусть слышат! — твердо сказала Лизочка, вставая на ноги. — Только конфуз произойдет с вами! И еще какой конфуз!.. Если вы меня бросите, Генрих Иванович, так запросто, то я объявлю во всеуслышание, что вы взяли меня силой.

Пораженный, полковник смотрел на Лизочку, которая совершенно успокоилась и поправляла волосы, глядя в зеркало.

— Боюсь, Елизавета Мстиславовна, вам не поверят.

— Поверят, еще как поверят!

— Неужели вы думаете, что после ваших угроз я с вами буду продолжать какие-либо отношения?

— Это ваше право выбирать, — ответила Лиза, и Генрих увидел, как зло сверкнули ее глаза в отражении зеркала. — В доказательство своих слов я объявлюсь беременной.

— Вы же не беременны, Елизавета Мстиславовна. Это легко удостоверить.

— А откуда вы знаете, что я не беременна? — повернула к Шаллеру лицо Лизочка.

— Я был осторожен.

— А вы что, единственный в мире мужчина, от которого можно забеременеть?

— Конечно, нет... Вы хотите сказать, что у вас есть еще любовник?

— А почему нет?.. — Лизочка взяла пудру и дунула на пуховку, пуская пылевое облако. — Вы его сегодня видели... Тот, который гекзаметр читал.

— Ну что ж, Елизавета Мстиславовна, он молод, — ответил полковник. — И у него есть некоторые литературные способности. Вам и карты в руки. Тем более, что вы ожидаете ребенка.

— Значит, вы одобряете мой выбор? — спросила Лизочка, поправляя прядки волос над ушами.

— Во всяком случае, не порицаю, — ответил Шаллер. — Да и имею ли я право на это...

Лизочка села на краешек подзеркальника. Пуховка выпала из ее рук. Плечи девушки опустились, и она с тоской посмотрела на Генриха.

— Вы меня не любите, — мрачно проговорила она. — Теперь я это понимаю наверное... Конечно же, у меня нет никого, кроме вас. Я не беременна... Это все от отчаяния... Слова эти... Надеюсь, вы понимаете меня?..

Полковник кивнул.

— Я знаю, что после всего, что я вам наговорила здесь, вы меня будете ненавидеть...

Шаллер попытался что-то сказать, но девушка замотала головой:

— Не перебивайте меня, пожалуйста!.. Да-да, вы будете меня ненавидеть!.. Или, на другой случай, просто презирать, что отнюдь не лучше... Но знайте, что я вас любила. Вернее сказать, я вас и сейчас люблю, со всем безумием, на которое способна женщина!..

На глазах Лизочки вновь показались слезы.

— Нет-нет, не волнуйтесь! Со мной более не случится истерики! Просто я хочу договорить вам все, но не совсем владею собой...

Она провела по лицу тыльной стороной руки, размазывая слезы, и продолжила почти спокойным голосом:

— Вы были все это время для меня идеалом мужества! Вы великолепный и великодушный человек. В вас я нашла все то, чего желает от мужчины любая женщина. Вы, как великий музыкант, способны играть на струнах женской души, извлекая из нее те звуки и чувства, о которых не догадывалась и сама женщина... Спасибо вам, Генрих Иванович, за все! Спасибо хотя бы за то, что вы создавали иллюзию, что любите меня!..

В который раз за сегодняшний вечер Шаллер почувствовал, что его передергивает. Но сейчас он был готов простить девушке эту приторную высокопарность, тем более что это был момент расставания, когда благородная и чувствительная натура форсирует свои переживания, нарочно мучая

себя все более. Такова была и Лизочка. Она готова была выпить чашу горечи до дна, сама тянула к ней нежные ручки, поднося отраву к алым губкам.

— Признайтесь честно, — трагически попросила девушка. — Любили ли вы меня когда-нибудь?

— Да, — сказал неправду Шаллер.

— Когда?

Полковник чуть было не расхохотался. Он чуть было не ответил, что любил Лизочку с половины второго до трех часов пополудни по нечетным дням месяца, но взял себя в руки и усилием воли заставил соответствовать свое выражение лица происходящему.

— Будьте спокойны, Елизавета Мстиславовна. Я вас любил... И не в этом дело. Просто в жизни мужчины, особенно когда он достигает определенного возраста, возникает желание одиночества. Желание остаться наедине со своими сокровенными мыслями. А любое чувство к женщине отвлекает его от мышления... Надеюсь, вы меня понимаете, Елизавета Мстиславовна?

Девушка покорно кивнула в ответ, и Шаллер решил сделать ей приятное.

— Никто не знает, что преподнесет ему жизнь в будущем. Вполне возможно, что все мысли будут додуманы до конца, что наступит духовное опустошение и все вернется на круги своя. Чувства вернутся, и раскаяние охватит душу.

Полковник понимал, что поступает нехорошо. Он отдавал себе отчет, что этими туманными выражениями дает ей надежду, но ничего поделать с собой не мог, слишком сладостно было это чувство — владеть любовной ситуацией, направляя порывы Лизочки в различные стороны.

— Все может измениться, Лизочка!..

— Как я люблю вас! — воскликнула девушка, и ее щеки разгорелись. В ее душу вошла надежда.

— Жаль, Елизавета Мстиславовна, что мы с вами не родили галактику! — произнес Шаллер.

— Что?

— Да нет, ничего.

— Я готова, я готова вам родить! — со всем отчаянием заговорила Лизочка. — Я знаю, у вас нет детей и вы мучаетесь этим безумно. Я готова родить вам сына, даже не будучи вашей женой официально! Вы можете на меня рассчитывать, Генрих Иванович!

Шаллер понял, что надо немедленно заканчивать разговор, либо ситуация грозит полностью выйти из-под контроля, дойдя до абсурда.

— Останемся друзьями! — жестко сказал полковник. — А сейчас, Елизавета Мстиславовна, приведите себя в порядок! Вы должны выйти к гостям, а то подумают о нас с вами Бог весть что!.. Я выйду первым...

— Хорошо, — покорно ответила Лизочка.

— И не жалейте пудры для своего прекрасного лица! — напутствовал напоследок Шаллер и четким шагом вышел из комнаты.

Полковник возвращался в парадную залу тем же длинным коридором, которым пришел. Несмотря на то что дело с Лизочкой Мировой решилось, Генрих не знал, радоваться этому или нет. В какой-то части его души притаилась тоска, грозящая перерасти в сомнение — правильно ли он поступил в этой ситуации? Вполне вероятно, что девушку можно было оставить при себе. Она не была навязчивой, не мучила его страданиями от неопределенности отношений и была прелестной в интимные моменты. С другой стороны, а полковник придавал этому немалое значение, девушке надо было строить свое будущее, и он, считая себя человеком вполне благородным, не мог лишиться ее перспективы нормального брака. Но самым главным фактором их разрыва послужило то, что Шаллер никогда, ни единым мгновением не любил Лизочку Мирову, а потому устал от нее, утомился ее телом, слишком страстной любовью к нему и всем тем, что ее

сопровождает... Однако в душе все же была тоска, и полковник списал ее на счет своей чувствительности и неспособности, причинив человеку боль, сразу же после этого забыть о том.

Генрих Шаллер вышел в парадную залу и тут же оказался в обществе губернатора Ерофея Контаты, который приобнял его и подтолкнул к дальней стене, где было не столь многолюдно.

— Ну-с, Генрих Иванович. — Контата заглянул в глаза полковнику. — Что нового, что приятного?

— Господин губернатор, только у сильных мира сего могут быть новости и в связи с ними всякие приятствования.

— Полноте, Генрих Иванович! Во-первых, для вас я просто Ерофей Ерофеевич, а во-вторых, кто же тогда сильный мира сего, как не вы! — Губернатор, не переставая обнимать полковника, пощупал его бицепсы. — Сталь! Литые!.. Чугунные литые!.. Вы из тех русских богатырей, о которых нам бабушки в детстве сказки рассказывали. Вы — Лексис Залесский, победивший Лакуниса! — Губернатор убрал руку с плеча Шаллера и, сменив задорное выражение лица на серьезное, сказал: — Никогда не забуду того, что вы сделали для моего сына и для меня!

— Ерофей Ерофеевич, столько лет прошло... Да и сделал я то, что любой бы на моем месте сделал.

— Нет, голубчик мой! — потряс пальцем с изумрудом губернатор. — Не любой! Далеко не любой!.. Это были отъявленные звери... Знаете ли вы, что на их счету были десятки загубленных душ?! Они резали свои жертвы на множество кусочков, словно это были не люди, а свиньи, и перед смертью человек принимал такие мучения, что любой житель ада содрогнулся бы от такой картины... И ради чего мучили?! А не ради чего. Просто так. Просто для забавы! Не за деньги, а для наслаждения!.. Скоты!.. Но зверью и зверская смерть!.. — Контата перевел дух. — А знаете ли, Генрих Иванович, что после того, как изуверов четвертовали, патологоанатом извлек из их черепов мозги и констатировал, что они на четверть больше, чем мозги нормального человека? Не значит ли это, что человечество мутирует и чем больше у него извилин, тем больше оно звереет?

Шаллер задумался над предположением губернатора и согласился, что в его мысли есть нечто рациональное.

— Да, — ответил он. — Чем человек развитее, тем более изощренные развлечения ему требуются. Это правильное умозаключение.

— Вот-вот! И я так думаю!.. Когда-нибудь человек дойдет до такой степени развития, что придумает себе развлечение наподобие Апокалипсиса. Сам себе его устроит и Бога не попросит о помощи!

— Закон не допустит Апокалипсиса, губернатор.

— Полноте, Генрих Иванович! Какой закон, если человек желает зрелища смерти, как мужчина желает женщину после годового воздержания!

— Юриспруденция, Ерофей Ерофеевич, развивается вместе с развитием цивилизации. И с каждым новым прецедентом беззакония возникает прецедент создания нового закона. И не потому что человечество столь морально, отнюдь нет. Просто юриспруденция — это наука, профессия. Ею занимаются профессионалы, и у каждого из них амбиции создать свой закон или, на худой конец, поправку к нему так, чтобы в следующий раз не могла бы возникнуть ситуация, на которую бы не нашлось подходящего закона. Юристы отнюдь не святые. Среди них преступников не меньше, чем среди других членов общества, но они творят законы в силу своей профессии, исходя из общепринятых понятий о морали. Это точно так же, как вы, губернатор, следите за соблюдением законности на вверенной вам территории. И согласитесь, что вы также не чужды обыкновенных человеческих слабостей. Но тем не менее вы не насаждаете домов терпимости и не устраиваете гладиаторских боев, где можно ткнуть большим пальцем вниз.

Шаллер сомневался, что губернатор Контата поспекает за его мыслью, но сам увлекся этой темой и потому продолжил:

— Возьмите, Ерофей Ерофеевич, классический пример со святым Лазорихием. Ведь он убил свою мать за то, что она отравила трех его братьев и двух сестер. Уже после этого на процессе стало известно, что мать Лазорихия, подсыпая в пищу кристаллы цианида, отравила на тот свет еще сорок шесть человек, проживавших в гостинице, ей принадлежащей. С одной стороны, все наши человеческие симпатии на стороне Лазорихия. Он свершил акт возмездия, спасая еще Бог весть сколько людей. Но с другой стороны, прерогатива казнить принадлежит государственной власти, то есть вещи, так сказать, неодушевленной, неперсонифицированной. Ведь что такое государственная казнь? Она у нас не ассоциируется с палачом, у которого есть жена, который три раза в день принимает пищу и отправляет свои естественные потребности... Государство, как милующее, так и карающее, — понятие абстрактное. У него нет ни рук, ни мозгов. А святой Лазорихий — обычный человек с бородой и усами, решивший самостоятельно совершить правосудие. Он убил свою мать и до собственной смерти отчаянно мучился морально. Он уничтожил две ипостаси. Первую — свою мать и вторую — убийцу. Его психика раздвоилась. Он не какой-нибудь моральный урод, убивший свою родительницу. Он просто потерял точку отсчета морали... Все наши симпатии, наши человеческие симпатии принадлежат, еще раз подчеркиваю, ему. Но государство — не человек, у него нет лица. У него нет симпатий. И оно без сожаления казнило Лазорихия за убийство, пусть совершенное и в благородных целях. А вследствие этого и другие, замыслившие убийство, не будут рассуждать, благородна ли их цель, рискуя отправиться вслед за жертвой на плаху.

Шаллер взглянул на губернатора и понял, что Контата заскучал, так и не поспев за мыслями полковника. Впрочем, и сам Генрих не угнался за своими рассуждениями, а потому решил додумать их в одиночестве, еще раз уверившись, что понимающего слушателя, а тем более собеседника в этом обществе ему не найти.

— Между тем, — сказал губернатор, — между тем тысячи свидетелей казни Лазорихия в момент отделения головы от туловища видели некое уплотнение розового сияния, устремившееся из обезглавленного тела в небеса.

— Я тоже это видел, — подтвердил Шаллер. — Это душа мученика. А любой мученик — святой, что и позволило нашему митрополиту на Священном синоде убедить архиереев канонизировать Лазорихия Иванова. Тем самым Ловохишвили и вся православная церковь еще раз показали, что существуют отдельно от государства.

— А я орден святого Лазорихия ввел, — задумчиво констатировал Ерофей Контата. — Впрочем, Бог с ними, с Лазорихием и государством... Хотя столько крови вытекло из шеи... Бог с ними, Бог... — замахал руками губернатор. — Я же вам хотел одно предложенье сделать...

Шаллер с любопытством посмотрел на губернатора и вдруг увидел проходящую невдалеке, с бокалом шампанского, Франсуаз Коти. Сердце полковника екнуло.

— Генрих Иванович, вы же знаете, что наши предприятия, производящие куриную продукцию и экспортирующие ее во многие страны мира, день ото дня разрастаются?

Шаллер кивнул. В этот момент девушка обернулась и встретилась глазами с полковником. Она подумала, что кивок предназначен ей, и Генрих отчетливо увидел смешок, этакое еле уловимое растягивание пухлых губок в надменной улыбке. Девушка слегка поклонилась в ответ.

— Мы уже целиком и полностью застроили «климовское» поле и собираемся откупить Гуськовский лес для дальнейшего расширения, — продолжил губернатор. — Ежегодно мы продаем до десяти миллионов куриных тушек в том или ином виде. Поэтому, как вы понимаете, нам нужно застраивать новые площади более современными производственными корпусами. Мы ввезем из-за границы самое лучшее оборудование и установим его в нашем родном городе. Тем самым мы рассчитываем утроить прибыли и

значительно увеличить процент отчислений в казну Чанчжоэ. Но с таким расширением предприятия нам становится все сложнее контролировать ситуацию в производстве... Улавливаете мою мысль, Генрих Иванович?

— Пока нет, — признался полковник.

— Сейчас поймете... Участились случаи намеренной порчи имущества на наших предприятиях. Один из рабочих-китайцев принес на ферму огнемет немецкого производства и живьем спалил тысячу кур. Вы не представляете, какое зрелище возникло перед нами! Это сплошной ужас! Тысяча обугленных тушек!.. А вонь какая!.. До сих пор в носу сладость стоит! Никогда не думал, что живьем спаленная плоть так сладко пахнет. Хорошо, что пожар на ферме вовремя успели потушить!

— А что с рабочим? — поинтересовался Шаллер.

— Доктор Струве признал его невменяемым психически. Временное помешательство на почве куринофобии.

— У нас скоро у всех случится фобия.

— Вот в этом и смысл моего предложеньица, — подошел к самому главному губернатор. — Нам требуется более совершенная система охраны производства. На это мы тоже не пожалеем денег. Ввезем современные охранные системы, этакие электрические устройства, найдем квалифицированный персонал... Дорогой Генрих Иванович, я предлагаю вам возглавить службу охраны на всех наших предприятиях. В вашем подчинении будет более сотни человек!

Шаллер искренне удивился:

— Я же никогда этим не занимался!

— Все мы учимся! Все мы постигаем премудрости жизни лишь в самом процессе жизни. Так что научитесь, Генрих Иванович! Вас в городе уважают!.. К тому же жалованье для начала — сто тысяч годовых. Как вам это?! — Контата с жадностью экспериментатора заглянул в глаза Шаллеру. — Как вам такое предложеньице? Ну-с?

— Вы меня огорошили, — честно признался полковник. — Не знаю, что и ответить вам, Ерофей Ерофеевич!

— Я знаю, что вы в конце концов ответите, дорогой полковник. Но вы все же не торопитесь с ответом. Переспите с моим предложеньицем ночку-вторую, а потом и скажете мне свое решение. Договорились? А теперь мне надо переговорить с уважаемым митрополитом, если найду его... Пьет, поди, портвейн в обществе Веры Дмитриевны где-нибудь в дальних апартаментах. — Контата обернулся и огляделся по сторонам. — Думайте, полковник, думайте! Все-таки как я завидую вашему богатырскому здоровью, Генрих Иванович!

Губернатор отправился разыскивать митрополита Ловохишвили, а Шаллер заметил на другом конце залы Лизочку Минову. Лицо ее было слегка припухшим, но это можно было списать за счет вечерней усталости. Она искусно подвела глаза, припудрила носик и о чем-то разговаривала с толстушкой Берти; рядом, на столике с тонкой ножкой, стоял разоренный поднос с заварными эклерами. Невдалеке крутились поклонники, а молодой человек, читавший гекзамер, зло поглядывал в сторону полковника.

Шаллер решил уходить. Он поочередно раскланялся с гостями и напоследок кивнул Лизочке. Она как-то неуверенно улыбнулась в ответ, пошевелив пальчиками на покрасневшей ручке, и что-то беззвучно сказала, а что — полковник не разобрал.

Генрих Иванович прошел вдоль ряда автомобилей. Судя по их количеству, гости еще не разъезжались, а, наоборот, прибывали. Монах-шофер по-прежнему спал в авто митрополита, а из приоткрытого оксшка серьезно пахло вином.

Шаллер завел свой «краузвеггер» и не спеша вывел его на шоссе. Всю дорогу он размышлял над предложением губернатора. Сама работа полковника не интересовала, какой бы она ни была. Но деньги!.. От такой суммы нелегко отказаться, ой как нелегко... Сто тысяч!.. С другой стороны, рабо-

тать за такие деньги придется не покладая рук, свободного времени будет крайне мало, если оно вообще будет... А как же тогда озарения? Как же с процессом мышления, если голова будет занята охраной куриных гузок?

Размышления Шаллера прервал затор на дороге. Через шоссе неторопливо переваливала колонна кур. Они никуда не торопились, в свете фар поклевывая асфальт. Пестрые и одноцветные, они вспыхивали в темноте маленькими красными глазками.

Выделили бы средства на заграждения вдоль дорог, с легким раздражением подумал Шаллер и в зеркальце заднего обзора увидел свет фар приближающегося автомобиля. Машина поравнялась с авто полковника и затормозила, пережидая куриную колонну. В салоне зажегся свет, и Шаллер опознал в водителе Франсуаз Коти. Девушка читала газету. Полковник тоже включил свет. Затем слегка коснулся сигнала, «краузвеггер» пискнул, и Франсуаз подняла голову. Шаллер развел руками, мол, ничего не поделаешь, надо пережидать эту куриную реку, пасущуюся на проезжей части. Девушка кивнула в ответ и, взмахнув копной волос, вернулась к своей газете. Генрих Иванович немного обиделся и подумал, что с таким характером девственности Коти ничего не грозит... Он погасил лампочку, устроился на сиденье поудобней и резко вдавил педаль газа в пол. Машина рванулась, оставляя за собой кровавые лепешки в перьях.

Пусть она почитает, подумал полковник, представляя, какой гвалт взбешенных кур стоит сейчас на оставленном участке дороги.

Франсуаз Коти смотрела вслед автомобилю полковника Шаллера и надменно улыбалась. Она не была сентиментальной, а потому кровь раздавленных кур ее никак не волновала.

7

Джером зевнул. Боль постепенно проходила, уступая место желанию действовать. Мальчик встал с кровати, приподнял матрац и вытащил из-под него самопал. Изделие представляло собой грубо обструганную деревяшку в виде ручки, к которой была приделана стальная трубочка, выкрашенная в черный цвет. Из тумбочки Джером достал большой спичечный коробок и принялся соскабливать в жестяную баночку со спичечных головок серу. Он делал это с особой тщательностью, чтобы с серой в баночку случайно не попали кусочки дерева.

Куда бы пойти сегодня? — думал мальчик. Где на этот раз выбрать позицию для стрельбы? Возле «климовского» поля он был вчера, да и приметные там места, могут заметить, и тогда пощады ждать не придется. Будут бить чем попало!.. Джером подумал, что давно не залегал возле Плюхова монастыря, где водятся особенно жирные куры, и тем самым место было определено.

Джером прикинул, достаточно ли он начистил серы... Хватит на десять выстрелов... Он выудил из кармана шорт мешочек на длинном шнурке, раскрыл его и вывалил содержимое на стол... Тридцать две дробины, пересчитал он. Можно заряжать по три штуки за раз. Лишь бы ствол не разорвало...

Мальчик плотно закрыл банку и засунул ее вместе с мешочком в карман, затем достал из-под кровати пустую бутылку и поместил ее между ремнем и животом, прикрыв рубахой... Солнце уже садится, отметил он, глядя в окно. Ну в случае чего буду ориентироваться по куриным глазам — они в темноте светятся, как красные мишени.

Джером вышел из комнаты и огляделся по сторонам. Коридор был пуст. Больше всего неохота встретиться с Бибиковым, подумал он, шагая к выходу. Если все же встретится и будет лезть своими жирными руками, выстрелю из самопала прямо в свинячью рожу! Чтобы кровища из глаз брызнула!

Но Бибиков не повстречался Джерому. Зато возле самого выхода на голову мальчика неожиданно опустилась линейка г-на Теплового, как раз в это время входящего в здание интерната.

— Гулять? — рассеянно спросил г-н Теплый.

— Угу, — ответил Джером, увидев, что на этот раз линейка оказалась логарифмической.

— Ну-ну...

Учитель пошел по коридору, мыча про себя что-то нечленораздельное, а мальчик с удовлетворением отметил, что Бибииков пока не успел еще наступать на него. А то бы не видать ему сегодня охоты. Вместо нее пришлось бы всю ночь держать руки в холодной воде.

Джером смачно сплюнул вслед г-ну Теплому.

Снаружи было тепло. Вечернее солнце красило облака, застывшие на небосклоне, а деревья понемногу роняли листья, которые, медленно кружась, падали под ноги Джерому.

Путь к Плюхову монастырю лежал через городские пустыри, задевая корейский квартал. Мальчику нравилось проходить по кривым улочкам, по которым то и дело сновали маленькие человечки, обтянутые желтой кожей. Он любил заходить в их лавочки и часами бродить вдоль полок со всевозможными приправами в баночках с цветными этикетками. В магазинчиках нос Джерома вдыхал неведомые ароматы, сравнимые лишь с фантазиями о дальних странах, а глаза успокаивались на чужеземных надписях, называемых иероглифами. Его никто и никогда не гнал из магазинчиков, а, наоборот, хозяева неизменно улыбались ему, когда он входил, а потом, когда он растворялся между полками, забывали о нем и щебетали по-птичьи между собой о чем-то своем...

Сегодня Джером не имел времени посетить корейскую лавку. У него была другая цель — поскорее добраться до Плюхова монастыря, а потому он быстро миновал любимые места и вышел из города на проселочную дорогу.

Быстро темнело, и по-человечьи свистели ночные птицы.

Если бы я был птицей, думал Джером, я бы мог быстрее добираться до нужной цели. Я летел бы над рекой, вдыхая свежесть ее потока. Я бы вертел маленькой головкой и замечал все мелочи вокруг — всякие травинки и ползущих по ним насекомых. Я бы мог отдыхать на верхушках самых высоких деревьев и рассматривать всю округу. Я бы мог видеть всех людей и всех животных... Я был бы птицей-одиночкой и никогда бы не прибивался к стае... Волкам необходимо быть в стае, иначе им не справиться с большим оленем или лосем... Одни волки загоняют, а другие нападают... Лось — красивое животное, хотя у него и неуклюжая морда. Такая большая и непропорциональная сильному туловищу... Странно, что животные всегда красивы, а лица людей часто безобразны... Если бы лось посмотрел на мое лицо, он бы наверняка решил, что мои черты уродливы... Странно, почему я сейчас вспомнил о лосе? Лося я видел только на картинках в учебнике по зоологии... Есть же на свете всякие умные ученые, которые составляют книжки и видели в жизни столько, сколько не видела даже птица, перелетающая на огромные расстояния. Если бы я был птицей, я мог бы сидеть на роге лося, ехать на нем и смотреть, что тот ест, наклоняя морду к земле. Если бы на лося напали волки, я мог бы взлететь и посмотреть свысока, как тот погибает, загнанный волчьими укусами. Потом бы я увидел, как волки едят лося. Таким образом, я бы смог узнать, как ест лось и как питаются лосем волки... Лишь бы не превратиться в курицу, подумал мальчик.

Он шел по проселочной дороге вдоль реки, замечая то тут, то там стайки клюющих кур... В этом месте и дорога и река делали крутой поворот, за которым на холме стоял Плюхов монастырь с зеленым куполком, окруженный высоким забором.

Нет, подумал Джером. Иногда и люди бывают красивыми. Мальчик вспомнил, как неделю назад, бесцельно болтаясь по чанчжойским окраинам, он случайно наткнулся на заброшенный бассейн с горячей водой. Бассейн испарял какие-то минералы, клубясь паром. На его поверхности плавали осенние листья, особенно яркие в воде. Джером было уже собрал-

ся искупаться, даже снял одежду, но тут на противоположной стороне появился человек в военном мундире, который о чем-то думал, был весь в себе и не обращал внимания на окружающую его природу. Он тоже разделся (Джером еле успел убраться в кусты боярышника) и забрался в воду. Глядя на голое тело незнакомца, мальчик искренне удивлялся. Оно было похоже на совершенство — тело, неторопливо рассекающее мощными гребками водную гладь. Могучая спина, на которой могли бы без труда усесться трое таких, как Джером, бугрилась мышцами, словно под кожей незнакомца работали шатуны огромного механизма. Ноги, подобные двум винтам, пенили воду, возбуждая мириады пузырьков... Человек некоторое время, фыркая, поплавал, затем откинул голову на борт, закрыл глаза и, казалось, заснул. Джером видел, как мерно вздымается его грудь, а руки, словно вырезанные из дерева, лежат на воде.

Думая, что незнакомец спит, мальчик сделал неосторожное движение; затрещали ветки, и человек открыл глаза.

Джером был в полной уверенности, что огромный мужик его приметил: он поднял с бортика голову и стал вглядываться в заросли, шуря глазами. Мальчик замер и пересидел опасность... Мужик вылез из бассейна и, одевшись на мокрое тело, неторопливо пошел своей дорогой. Между ног у него было столь густо и темно, что Джером испугался: ему никогда не стать таким взрослым...

Мальчик подходил к Плюхову монастырю и думал о том, что непременно опять сходит к бассейну и искупается в нем. Еще ему было крайне интересно узнать, кто этот незнакомый мужик с телом Зевса, нарисованного в учебнике по античной истории.

Размышления Джерома прервала маячившая невдалеке фигура в монашеских одеждах. Монах не спеша шел в ту же сторону, что и мальчик. Видимо, Джером шел быстрее и нагнал его.

Отец Гаврон, узнал мальчик и замедлил шаг.

Монах нес в руках какую-то бутылку, сжимая ее бережно, словно дитя.

Формоль, подумал Джером.

Поговаривали, что отец Гаврон был болен диабетом — сахарной болезнью и что он в муках изобрел какое-то вещество, лечащее его от тяжкого недуга, которое сам же и назвал формолью. Поговаривали, что обыкновенное живое существо формоль убивала наповал двумя каплями, но только не отца Гаврона. Он принимал ее по полстакана натошак каждое утро, что давало ему возможность жить и работать на подворье самые тяжелые работы.

Особенно непослушных учеников интерната отдавали на перевоспитание в Плюхов монастырь, и попадали они непременно в келью отца Гаврона. Монах умел перевоспитывать, выбивая спесь из послушников непосильным трудом и коротким сном под утро. От этих послушников город и узнал про изобретенную монахом формоль.

Джером знал, что рано или поздно сам попадет под монастырский замок, но не огорчился, а, наоборот, надеялся, что ему удастся стащить хоть самую малость лекарства, являющегося сильнодействующим ядом. А уж он найдет ему применение.

Мальчик еще немного замедлил шаг, давая монаху возможность оторваться... Потом обошел монастырь по правую руку и отыскал пригорок невдалеке от речки, за которым было удобно устроить засаду. Мальчик улегся на землю и стал наблюдать за курами, пасущимися на плодородном берегу. Их было в этом месте великое множество. Всех мастей и величин, они были глупы в своей безмятежности в этот вечерний час и представляли собой великолепные мишени... Джером осторожно достал из кармана самопал и дробь, насыпал в трубочку серы и отсчитал три дробины. Оглядевшись еще раз по сторонам, оттянул боек и приготовился к стрельбе, заметив двух жирных петухов, черного и пестрого, которые так важно вышагивали в траве, как будто только что узнали о присуждении им Нобелевской премии в области математики.

Мальчик тщательно прицелился и спустил курок. Заряд с грохотом угодил в пестрого петуха. Его голова, словно тухлый помидор, разлетелась на множество ошметков, а обезглавленное тело в предсмертных конвульсиях забегало по мокрой траве, обливая кровью испуганных сородичей, бросившихся врассыпную.

— Есть! — заорал Джером во все горло. — Да! Да! Да!

Он рванулся вдогонку за убегающей жертвой, догнал ее, навалился всем телом и, пачкаясь в густой крови, дождался последних петушиных судорог.

Если бы кто-нибудь в этот момент видел Джерома, то понял бы, что мальчик счастлив этой минутой. Его лицо лучилось диким восторгом, губы растягивала широкая улыбка, а пальцы, сжимающие мертвую тушку за ноги, так и тряслись от возбуждения.

Мальчик вытащил из-под ремня бутылку и принялся цедить в нее кровь из петушиного горла, давя на тушку коленом.

Вот ведь как мало в курице крови, думал Джером. И стакана не наберется! Не то что в человеке — четыре литра! А в лосе, наверное, крови два ведра!..

Отбросив обескровленное тельце, мальчик отер бутылку от крови и перьев и, успокаиваясь, вновь залег за пригорок.

На этот раз ему пришлось ждать гораздо дольше. Куры, испуганные грохотом самопала, перекочевали подальше от страшного места и теперь клевали возле самой реки, но все же зернышко за зернышком приближались к лобному месту.

Вот твари безмозглые, думал Джером. Можно тысячу перестрелять, а они так и не поймут, что происходит... Лось непременно убежал бы с этого места и никогда бы впоследствии к нему не приближался, а эти — прожорливые — ползут на смерть.

Джером перезарядил самопал и прицелился в кудахчущую птицу.

На этот раз он попал курице в крыло. Жирная тварь завопила в гневе, хлопая по боку здоровым крылом, закрутилась на одном месте, пытаясь избавиться от боли.

Мальчик проворно выбежал из засады, прыгнул на раненую курицу и в одно движение скрутил ей голову. Затем повторил ту же процедуру, что и с предыдущей жертвой, — выдавил в бутылку теплую кровь и тщательно заткнул горлышко пробкой.

Джером уходил в засаду и стрелял, пока не кончилась сера и дробь. Ему удалось подстрелить еще шесть птиц. Дважды, когда совсем стемнело, мальчик промахивался, что приводило его в бешенство. Тогда он лежал на земле, смотря в небо, и ждал, пока самообладание не вернется к нему.

Бутылка на три четверти наполнилась густой кровью, чернеющей на глазах. Джером спрятал ее за ремень, согревая стекло теплом своего живота, и отправился в обратную дорогу.

Ужин я пропустил, думал мальчик. Кто-нибудь из самых прожорливых слопал мою свекольную котлету и будет мочиться завтра борщом... Обидно, если на ужин все-таки дали картофельное пюре с селедкой...

Джером взглянул на небо и увидел в нем луну — полную и со щербинками по краям.

Пожалуй, двенадцатый час уже, прикинул мальчик. Весь интернат спит, и входные двери заперты. Придется лезть через окошко туалета. Оно не запирается на ночь, проветривая помещение от хлорки и давая возможность припозднившимся попасть в свою кровать.

Хочу быть министром иностранных дел у десятилетнего Базеля, коронованного на престол в прошлом месяце. Я мог бы ему многое рассказать про свои мысли. Десятилетние еще не могут думать по-настоящему, а потому нуждаются в помощи. А взрослый ребенку не помощник. Взрослый — всегда диктатор!.. Я бы рассказал Базелю, что есть в жизни вещи куда интереснее игрушек, например уничтожать кур. Базель бы выдал мне настоящее оружие, из которого бы я уж наверняка не промахнулся... Пер-

вым моим указом было бы запрещение разводить кур и разрешение на неограниченный отстрел одичавших... Я бы выдвинул ультиматум всем государствам, чтобы они в две недели уничтожили всех кудахтающих птиц! Если же те не подчинятся — война! Война на полное уничтожение...

8

Генрих Иванович сидел на террасе и пил пустой чай. Был первый час ночи, но полковник чувствовал, что ближайшие два часа сна не будет, и что если он сейчас ляжет, то лишь напрасно промучается. До ушей доносился стрекот пишущей машинки, слегка раздражая. Раздражение возникло не из-за механических шумовых воздействий. Скорее Шаллера неприятно волновала интрига, скрывающаяся под непонятными словосложениями, изобретенными Еленой Белецкой. Полковник подсознательно боялся, что изобретение имеет свой смысл, что оно может, в конце концов, оказаться великим и Лазорихиево небо запыхает кроваво не для него, призывая супружницу прикоснуться к истине.

Шаллер допил чай и отправился в ванную комнату. Он открыл кран с горячей водой и добавил холодную, смешивая струи до нормальной температуры. Затем бросил под струю английские шарики с персиковым маслом и кубик прессованной соли, способной успокаивать нервную систему.

Пока ванна заполнялась водой, Генрих Иванович вышел на улицу и подошел к беседке, где в полной темноте Белецкая неумоимо щелкала клавишами пишущей машинки. Он подошел к жене сзади, некоторое время смотрел ей на затылок, что-то прикидывая в уме. Затем взял ее за подмышки и поднял со стула. Елена слабо застонала, пытаясь дотянуться до листов бумаги.

— Я тебя верну обратно, — зашептал полковник. — Нельзя же так! На кого стала похожа.

Он поднял жену на руки, ощущая, как легко ее тело, как чувствуются косточки под тонкой кожей. Белецкая слабо сопротивлялась, а когда Шаллер понес ее к дому, она заплакала.

Он внес жену в ванную и посадил на турецкий стульчик. Она невидящим взглядом уставилась в колени полковника и слабо взмахивала руками, словно дирижируя.

Печатает, понял Шаллер.

Он стал раздевать жену. Не торопясь, осторожно расстегнул пуговички платья и стянул его через голову Елены, ощущая кожей скопившуюся в материи грязь. Полковник бросил платье на пол и почти сдернул с Белецкой нижнее белье с истлевшими кружевами. Обнаженное тело Елены пахло осенью, а точнее — осенними листьями, пролежавшими всю зиму под снегом. Шаллер опустил Елену в ванну, и жена опять застонала.

— Ничего-ничего, — проговорил полковник, с интересом разглядывая ее тело.

Так и недоразвившаяся грудь теперь и вовсе поблекла, а бесцветные соски от соприкосновения с водой сморщились. Елена столь исхудала, что ребра выступили дальше, чем грудь, а угловатые бедра, казалось, способны издавать металлический звук при соприкосновении со стенками ванны.

Генрих Иванович стал набирать пригоршнями горячую воду и поливать ею плечи жены, наблюдая, как по ним бегут крупные мурашки, спускаясь по груди к низу живота, горящему слегка потускневшим золотом.

Он намывливал тело жены ласково и осторожно, словно это была кожа младенца, всего лишь неделю назад появившегося на свет. Благоуханной пеной намазывал подмышки Белецкой и тщательно выбривал их своей старинной бритвой, когда-то принадлежавшей дяде... Он несколько раз мыл волосы Елены, пока они не заблестели на фоне ослепительно белого кафеля остатками рыжего...

Шаллер спустил воду и тщательно растер махровым полотенцем тело жены. Затем, распаренное, покрасневшее, он стал одевать его в свежее

белье, тщательно выбирая трусики и лифчик, чтобы не натирали от долгого сидения.

Закончив с одеждой, после всех кремов и питательных масел, которые Шаллер втер в кожу лица и шеи жены, он поцеловал ее в тонкие губы тем долгим поцелуем, который случается от большого сострадания к родному и очень близкому человеку.

— Вот и хорошо, милая, — произнес Генрих Иванович. — Вот и хорошо....

Он вновь поднял ее, одетую, продолжающую по-детски хныкать, и отнес в беседку. Когда полковник усадил Елену на стул, она сразу перестала плакать, и ее пальчики со сломанными ногтями забегали по клавишам, сначала медленно, а потом все более разгоняясь, стремясь поспеть за зашифрованной мыслью.

Шаллер некоторое время еще постоял над Еленой, затем вдохнул полной грудью осень и ушел в дом, унося ее терпкий запах. Там он умылся холодной водой, тщательно вычистил зубы, вспомнил, что так ничего и не ел с утра, и отправился спать в свою комнату.

Он некоторое время лежал без сна, думая обо всем понемногу. Он вспоминал свои мысли о государственной казни, высказанные губернатору, и признавал их несовершенными и отвлеченными от текущей жизни. Также он немного грустил оттого, что причинил страдания Лизочке Мировой, и злился на Франсуаз Коти за ее надменность и за губки в высокомерной усмешке.

Последняя мысль, пришедшая полковнику перед сном, была идеей отнести Еленины страницы, исписанные непонятным текстом, учителю Интерната для детей-сирот имени графа Оплаксона, погибшего в боях за собственную совесть, слависту Теплому, известному городскому дешифровщику.

Полковник заснул. Все его большое тело расслабилось на прохладных простынях, широченная грудь вздымалась спокойно и равномерно, а голова в первые минуты сна была свободна от сновидений.

9

Джером подошел к зданию интерната. Ни одно окно не горело, а потому он, тихо ступая, зашел со двора, забрался на карниз и пошел по нему к туалетной комнате. Он широко раскинул руки по стене, чтобы сохранить равновесие, и маленькими шажками приближался к цели. Мальчик представил, что под его ногами разверзлась пропасть, и если он сделает неверный шаг, то его тело разобьется о скалы и он уже никогда не сможет думать.

Джером успешно добрался до незапертого окна, забрался на подоконник и спрыгнул на пол туалета.

— Ой! Кто это?! — услышал он испуганный голос.

— А ты кто? — в свою очередь спросил Джером.

— Я... я — Солдатов из второго класса, — ответил испуганный голос.

— А я — Джером из седьмого... Ты чего здесь делаешь?

— Сижу.

— А чего сидишь?

— Ты меня так напугал, что я мимо сделал...

— Не бойся! Я никому про это не скажу. Но и ты меня не видел. Понял?

— Понял, — отозвался Солдатов и грустно вздохнул.

Джером вышел из туалетной комнаты и, придерживая на животе бутылку, тихо побежал по коридору к спальням. Заглянул в свою комнату, учуял испорченный воздух и понял, что Супонин тоже вернулся и уже спит. Мальчик осторожно затворил дверь и на цыпочках пошел к комнате, расположенной на другой стороне коридора. Он вошел в спальню, остановился посреди, прислушиваясь к дыханию спящих, затем вытащил из брюк бутылку, прислонил стекло к щеке, пробуя, согрелась ли кровь, подо-

шел к кровати у окна и склонился над ней, рассматривая лицо спящего Бибикова. Гераня спал крепко, словно убитый. Он поджал под себя жирные коленки, а толстая ладошка правой руки покоилась под свинячьей щекой. Рот Бибикова был приоткрыт, и от краешка губ к подушке тянулась дрожащая слюнка.

Джером открыл бутылку и осторожно стал поливать куриной кровью лицо Герани. Поскольку кровь нагрелась на животе, Бибиков не учуял ее липкости на своей физиономии и продолжал спать молодецким сном. Джером полил его щеки и шею, остатками измазал постельное белье и засунул опорожненную бутылку под кровать.

Потом мальчик присел на краешек матраца своего одноклассника и мягко потрепал его по плечу. Бибиков открыл глаза, чмокнул губами и втянул в себя слюну.

— Ты чего? — чавкнул он спросонья.

— Ты весь в крови, Гераня.

— Чего?

— У тебя из горла кровь хлещет, Бибиков, — пояснил мальчик.

Гераня сел в кровати и только сейчас почувствовал на своей коже липкое вещество, стекающее к брюху. Он мазнул по лицу пятерней и понюхал.

— Кровь, что ли? — произнес Бибиков удивленно. — Откуда? — попробовал на вкус.

— Я тебе горло перерезал, — пояснил Джером. — Ты скоро умрешь. В человеке всего четыре литра крови, а из тебя уже полтора вытекло. Так что минут пять осталось. Не больше. Что ты сейчас чувствуешь, Бибиков?

Бибиков ошарашенно огляделся по сторонам, увидел темные пятна на белом пододеяльнике, завращал глазами, постепенно соображая, а когда наконец мысль в его голове определилась, он в ту же секунду схватился за горло и завыл тихим голосом.

— Ты перерезал мне горло! — выл Гераня.

— Перерезал, — подтвердил Джером. — Кстати, а что сегодня давали на ужин?

— Ты убил меня...

— Да, сейчас ты умрешь...

— Мне больно...

— Потерпи мгновение.

— Я умираю...

Джером погладил Бибикова по голове, словно ребенка, у которого болит зуб.

— За все содеянное в жизни когда-то приходится отвечать, — заметил он. — А ответ может быть только один — смерть. Грешил ты или не грешил, все одно — смерть. Не так уж важно, рано или поздно ты сделаешь свой последний вздох.

Бибиков захрипел. Он держался обеими руками за горло, выпучив глаза, и ждал, когда сердце в последний раз ударит в колокол души и та, лишившись равновесия, сдернется с места и устремится в неизведанное.

— Самое главное, дорогой Бибиков, куда направится твоя душа. Если говорить честно, положи руку на сердце, ее место там, — Джером ткнул пальцем в пол. — Но говорят, что дети в ад не попадают. А в раю тебя будет поджидать мой отец, капитан Ренатов.

— Мой отец — полковник, — жалобно выговорил Гераня. — Он тоже в раю... А твой — всего лишь капитан...

Джером задумался. В словах Бибикова была своя правда. Он решил переменить тему разговора,

— Скажи, Бибиков, что ты чувствуешь сейчас, когда тебе осталось одно мгновение? Ты видишь смерть?.. Как она выглядит?.. Тебе страшно?

Бибиков заплакал. Из его маленьких глазок потекли слезы, смешиваясь с куриной кровью. Он продолжал тихонько подвывать, боясь заорать во все горло, чтобы не ускорить свой конец.

— У тебя, Гераня, — продолжал Джером, — повреждена сонная артерия. Помнишь, мы проходили по анатомии. Артерия несет в себе кровь. Ее стенки снабжены эластичными мышцами. При каждом ударе сердца артерия сокращается, и оттого образуется пульс... Кстати, как твой пульс?

Джером взял Гераню за руку, нащупывая пульс на кисти.

— Ужас сколько крови! В тебе, Бибикив, почти столько же крови, как в лосе!.. А пульс твой нащупать не могу!

— Позови доктора Струве, — шепотом попросил Гераня. — Я боюсь...

— Доктор Струве не поможет. Когда он приедет, твое тело уже начнет остывать и ты пойдешь синими пятнами!

Бибикив громко икнул.

— К твоим ногам привесят бирочку и похоронят на бедняцком кладбище!..

На соседней кровати зашевелился Чириков — длинный, но очень худой подросток, крайне способный к математике. Он сел в кровати, протер сонные глаза и напялил на нос очки.

— Эй, что у вас там происходит? — Он протяжно зевнул. — Ночь на дворе, а вы лясы точите.

— Он мне горло перерезал, — заплетающимся языком проговорил Бибикив. — Я умираю...

— Чего-чего? — не понял Чириков.

— Я перерезал Бибикиву горло, — отчетливо произнес Джером. — Он умирает. Не понял, что ли?!

Чириков охнул, слетел с матраца и включил в спальне свет. От открывшейся картины у него отвисла челюсть. Гераня сидел на краю кровати, сжимая руками горло. Вся его грудь и живот были вымазаны кровью, он трясся как в лихорадке, а по жирным ляжкам потекла желтая струйка, образуя на полу лужу. Долговязый подросток присел возле Бибикива и, кривя лицо, стал его рассматривать.

— За что ты его, Ренатов? — с ужасом спросил он.

— Нашло что-то, — ответил Джером. — Какая-то сила заставила...

— Эй, погодите-ка, погодите!.. — восторженно вскрикнул Чириков. — А что-то я раны не вижу!.. Ну-ка! — Он оторвал негнущиеся руки Бибикива от горла и внимательно рассмотрел его шею. — Ну, так и есть, раны-то нету, откуда кровь тогда?.. Странное дело...

Джером продолжал сидеть на кровати Герани, отвернувшись в сторону окна.

— Эй, Бибикив, у тебя чего-нибудь болит? — спросил Чириков.

— Горло, — просипел Гераня.

— Но раны-то нету... Просто кровь... Может, из носа?

— Я, пожалуй, пойду, — безразличным голосом сообщил Джером и встал. Звякнула бутылка, задетая его ногой. Она предательски выкатилась из-под кровати, сочась капельками куриной крови из горлышка.

— Та-ак!.. — протянул Чириков. — Так-так...

— Умираю, — прошептал Бибикив, ничего не замечая вокруг. — Последняя минута настала.

— Пошел я, — еще раз сообщил Джером.

— погоди! — Чириков схватил его за руку. — Не стони! — рыкнул он Геране. — Не сдохнешь ты! Не резал он тебе горло! Видишь — бутылка на полу!

Бибикив покрутил глазами яблоками. Он глянул сначала на пол, потом на Джерома, туго соображая.

— Ну, теперь понял?

Гераня ощупал свое горло и грудь, затем ноги, мокрые от мочи.

— Он же тебя просто вымазал в крови! Ничего он тебе не резал! Теперь-то ты понял?!

— Ну, чего схватился? — спросил Джером Чирикова, выдергивая руку.

— Тебе конец, Ренатов! — с сожалением отметил долговязый подросток. — Сейчас он придет в себя и тогда... Не завидую тебе...

— Так, значит, я не умру? — с надеждой в голосе спросил Гераня.

Джером хмыкнул. Чириков отпустил его руку и сел на свою кровать, с любопытством ожидая продолжения.

— Значит, говоришь, он меня вымазал кровью?

— Вымазал, — подтвердил Чириков. — Как дважды два...

И тут Гераня заревел, как бешеный медведь. Он вскочил с кровати, оскалив пасть, сжал кулаки и прыгнул на Джерома.

— Да я тебя, падла!.. — ревел он, осыпая голову мальчика ударами. — Я тебе, куриная потрошина, кишки выпущу и на шею намотаю!..

Избивая Джерома, Бибилов брызгал слюной, выплевывая ругательства, а Чириков воодушевленно наблюдал за этой картиной, изредка вскрикивая:

— Тише, ребята, тише!

— Бибилов, миленький!!! — визжал Джером. — Пожалей меня, родной! Я для тебя все сделаю!.. Пожалее-е-ей!..

— Тише, ребята, тише!..

Тут дверь в комнату отворилась. На пороге спальни стоял г-н Теплый в измятой пижаме и с метровой линейкой в руках...

Это — конец, подумал Джером.

10

Г-н Теплый, будучи молодым человеком, закончил один из славнейших университетов Европы и считался в свои годы передовым представителем молодежи. Получив степень магистра филологии и являясь знатоком России, он свободно мог получить отличное место при Венском университете и читать студентам лекции о таинствах российской души. Ему также предлагали стать специалистом по России при японском императоре и переводчиком при герцоге Эдинбургском. Но от всего этого молодой человек отказался, примкнув к мистической секте под названием «Око». Поговаривали, что это — секта сатанистов, что на ее собраниях происходит нечто ужасное, вплоть до поедания органов, извлеченных из трупов, дабы продлить себе жизнь. Но слухи есть слухи... На самом деле никто доказательно не ведал о происходящем в секте. Ни одна душа своими глазами не видела разделанных трупов. Впрочем, чтобы вокруг «Ока» не возникало нездорового ажиотажа, австрийские власти попросили сектантов выбрать место дислокации в какой-нибудь другой стране, определили им на выезд двадцать четыре часа и дали понять, что, если сатанисты не уберутся, их ожидает тюремная камера.

Члены секты перебравшись в Германию, где на вокзале им вручили листок с уведомлением, что они элементы крайне нежелательные в стране, и «Око» транзитом перебравшись в Венгрию. На таможенном посту мадьяр сектантов жестоко избили прикладами ружей. Особенно досталось Теплому. Молодой человек шесть месяцев пролежал в госпитале, а на его голове на всю жизнь осталась вмятина.

После излечения славист пытался найти своих единомышленников, но следы местопребывания «Ока» как в воду канули. Теплый решил было воспользоваться вакансиями, предложенными ранее, но в Венском университете ему отказали под тем предлогом, что все сроки ожидания вышли и место уже занято другим русоведом. Японский император прислал Теплому маленький ножичек для разделки мяса, с азиатской искищенностью намекая слависту, что его дело быть мясником, а не консультантом при императоре. От герцога Эдинбургского ответа не было вовсе.

Теплый решил было вернуться на родину и попытать счастья устроиться при каком-нибудь университете, хотя бы в Казани. Но оказалось, что Россия изобилует знатоками русской филологии, надобность еще в одном отсутствовала, и, чтобы не умереть с голоду, сатанист Теплый согласился на место учителя в чанчжойском Интернате для детей-сирот имени графа Оплаксына, павшего в боях за собственную совесть.

Не имея средств, Теплый обосновал себе крохотную квартирку в самом интернате и на досуге занимался расшифровкой всяких замысловатых надписей, из-за злобности оставленных далекими и близкими предками, подрабатывая этим себе на жизнь.

Его способности к решению самых трудных ребусов проявились еще в больнице, когда он заживлял пробитый череп и маялся скукой. Как-то, пролистывая газеты, он наткнулся на статью известного археолога Беркгауза, нашедшего в Африке следы древнейшего народа, процветавшего четыре тысячи лет назад и владевшего письменностью. Об этом говорила небольших размеров гранитная плита с начертанными на ней символами. В статье Беркгауз сообщал, что ему не удалось найти ключа к расшифровке надписи, но он не теряет стремления в самом ближайшем будущем отыскать разгадку. А еще в газете был помещен фотографический снимок той самой плиты, найденной в саванне, с хорошо пропечатавшимися символами.

Поскольку никаких развлечений в больнице не было, Теплый употребил все ленивое время на расшифровку африканской надписи, выписав для этого всю необходимую литературу из букинистического магазина, и через месяц ему это удалось. Он тут же в восторге отписал десятистраничное письмо Беркгаузу, в котором привел перевод надписи и систему ее расшифровки. Африканская надпись гласила: «Я любил тебя, как Бог Дьявола». К расшифровке Теплый приложил убедительные доказательства, что гранитные начертания относятся к более позднему периоду — приблизительно двести лет до нашей эры, — а сама плита с надписями на ней вовсе не принадлежит древнему африканскому народу, а привезена на континент еврейскими поселенцами. Таким образом, открытие теряет свою заявленную ценность.

Через месяц Теплый получил письмо от археолога, в котором тот в грубой форме просил молодого невежду не лезть своим свиным рылом в царские покои классической мысли.

«Кретин! — писал Беркгауз. — Если ты еще раз пришлешь мне карюли со своими глупостями, я отправлю тебя в самую вонючую тюрьму Пакистана, где тебе в уши будут засовывать ядовитых пауков!»

Более Теплый не сносился с Беркгаузом.

В Чанчжоэ Теплому удалось расшифровать надпись на могильной плите, высеченную перед смертью дедом Мстислава Борисовича Мирова, мужа Веры Дмитриевны, и ужасно интриговавшую весь город на протяжении сорока лет. «Не завидую вам, потомки, — гласила эпитафия. — Те, кто полз по земле, — взлетят, те, кто летал в поднебесье, — будут ползать, как гады. Все перевернется, и часовая стрелка пойдет назад».

Надо отметить, что расшифрованная эпитафия не уняла интриги, а, наоборот, вселила в горожан какое-то мистическое уныние, так как покойный обещал потомкам в будущем что-то неприятное. Так или иначе, Мировы выплатили Теплому приличный гонорар, который он до копейки истратил на атласы судебной медицины, вставшие десятками тяжелых томов на книжных полках его казенной квартиры.

Утерев всяческую возможность блестящей карьеры, очутившись вместо императорского дворца в захолустном интернате для сирот, которым по тысяче раз приходилось втолковывать прописные истины, Теплый, как и множество русских интеллигентов, пустился по лесенке жизни в нескончаемый путь падения. Нет, он не запил, не колол себе в вены морфин, просто что-то приключилось с его сознанием, ставшим вдруг иным, нежели когда-то, — нездоровым.

Коллеги учителя замечали в Теплом какую-то странную безразличность ко всему окружающему, неряшливость природы и тела. Более наблюдательные ловили странный блеск его глаз, особенно когда славист смотрел на некоторых детей, но предпочитали не обращать на это внимания, боясь выдать за действительное то, чего на самом деле не существует. Г-н Теплый ни с кем не общался, да и к нему никто не стремился, так как преподаватели в основной своей массе были мещанского сословия и счи-

тали филолога из падших аристократов, которые куда как хуже мещан. Лучше, как говорится, выслужиться до ефрейтора, чем из генералов быть разжалованным в старшины. Русский человек готов сострадать пьяницам и убийцам, но никак не свергнутым царям.

Сегодняшним вечером к Теплому пришел посетитель. Это был богатырского телосложения мужчина в военной форме, с полковничьими погонами на покатых плечах. В руках мужчина сжимал портфель свиной кожи.

— Генрих Иванович Шаллер, — представился гость.

— Чем могу-с?

— Разрешите войти?

Теплый пожал плечами, пропуская незнакомца в свою комнату. Сам зашел следом и поспешил закрыть некоторые книги, лежащие на письменном столе.

Генрих Иванович успел заметить какие-то странные фотографии. Ему на мгновение показалось, что на них запечатлены покойники и у некоторых из них выпущены наружу внутренности. Еще Шаллер услышал звуки скворчащей сковородки, по всей видимости находящейся за фанерной перегородкой.

Однако, какой странный человек, подумал он и уселся на предложенный стул.

— Э-э... Простите, как вас величать?.. — спросил Генрих Иванович.

— Теплый. Гаврила Васильевич Теплый. Чем могу-с?

Полковник на секунду замялся, думая, с чего начать.

— Я слышал, уважаемый Гаврила Васильевич, что вы закончили Венский университет?..

— Так точно.

— Хотя... Хотя к моему делу это отношения не имеет... Я...

— Секунду! — спохватился Теплый. — У меня там... — он указал на фанерную перегородку, из-за которой уже потянуло горелым. — Я сейчас... — и вышел вон.

Странный человек, уверился Шаллер. Какие у него длинные и сальные волосы, как у нигилиста, — именно такими он себе их представлял... Генрих Иванович оглядел книжные полки и с удивлением обнаружил на них книги с одной и той же надписью на разных языках: «Атлас судебной медицины». Вот тебе и филолог... Неприятный запах... Интересно, что он там себе готовит? Запах жареной селедки... Неужели этот тщедушный человек с нездоровым цветом лица когда-то закончил один из лучших университетов Европы?..

Мысли урывками проскакивали в голове Шаллера, пока Теплый снимал с плиты сковородку с подгорелой кровяной колбасой и открывал форточку, проветривая кухню. Сам Гаврила Васильевич испытывал недовольство от неожиданного визита красавца полковника и нервно гадал, что того принесло под вечер. Он черпнул из ведра воды, прополоскал рот и вышел к гостю.

— Я, по всей видимости, оторвал вас от ужина?

— Ничего, — успокоил Теплый. — Я успею.

— Простите, мне трудно собраться с мыслями. Хотя... — Полковник положил портфель себе на колени, щелкнул замочком и вытащил из него толстую пачку исписанных листов. — Вот, — он положил листы на стол. — Я слышал, что вы обладаете феноменальными способностями к разгадыванию всяких тайных надписей и ребусов.

— Это сильно сказано, — ответил Гаврила Васильевич. — Но у меня есть некоторый опыт.

Генриху Ивановичу показалось, что при этих словах Теплый хмыкнул. Он не лишен тщеславия, подумал Шаллер и продолжил:

— Дело в том, что моя жена, Елена Белецкая, уже длительное время пишет. И не то странно, что она пишет и написала уже значительно, а то, что при письме она использует какой-то шифр...

— И вы хотите, чтобы я нашел ключ к этому шифру? — поспешил Теплый.

— Да, — подтвердил полковник. — Я готов заплатить за труды. Столько, сколько вы укажете.

Гаврила Васильевич задумался. Он сидел скривившись и поскребывал стол длинными ногтями.

— Не кажется ли вам, что это не совсем этично? — спросил он. — Ваша жена что-то пишет, шифруя. Значит, она не хочет, чтобы кто-то посторонний прочитал ее записи.

Шаллеру стало неприятно.

— Вы еще не все знаете, — несколько резко сказал он. — Дело в том, что моя жена пишет, находясь... э-э, как сказать... в состоянии некой психической нестабильности... Я и доктор Струве подозреваем, что ее душой овладело какое-то озарение, вытеснившее сознание. Именно в состоянии озарения Елена Белецкая шифрует свои записи... Но может так случиться, что мы с доктором Струве ошибаемся. Что это вовсе не озарение, а просто помешательство, что на бумаге не шифр, а галиматья...

— Могу я полюбопытствовать? — спросил Теплый, протягивая руку к бумагам.

— Конечно. — Шаллер передал слависту листы.

Гаврила Васильевич разложил их перед собой, разглаживая первый, помятый и засаленный, глядя на бумаги внимательно, но подозрительно. Где-то под ребрами у него что-то зашевелилось, давая предчувствием понять сердцу, что перед ним не просто бред сумасшедшего, а плод изощренного мозга, немало потрудившегося над изобретением зашифрованного слова. Чем внимательнее Гаврила Васильевич вглядывался в напечатанные символы, тем более его охватывало волнение. Ничего похожего на своем веку он не видел, ни о чем подобном не читал, а потому щеки его окрасились румянцем, а душа наполнилась благоговением перед тайной, которую ему предстояло открыть.

Глядя на Теплового, полковник уже не сомневался, что тот возьмется за работу. Что-то магически привлекло учителя к бумагам, глаза подернулись туманом, а оттого в животе Генриха Ивановича страшно екнуло, и он уже наверное знал, что не параноидальный бред охватил тисками мозг его жены, а именно озарение.

— Ну что, возьметесь? — спросил Шаллер.

— Что? — переспросил Теплый, с явной неохотой отрываясь от бумаг.

— Беретесь ли вы отыскать ключ к шифру, если это шифр, конечно?

— Это — шифр, — заверил Гаврила Васильевич. — И я берусь.

— Сколько вам понадобится времени?

— Не знаю. — Теплый замотал головой. — Даже представления не имею... Ничего похожего я никогда не видел...

— А все же?... Неделя? Две?

— Может быть, неделя... А может, и несколько лет... Вашу жену действительно посетило озарение. Не знаю, какой текст она зашифровала, бред или откровение, но, чтобы изобрести такой шифр, безусловно нужно, чтобы снизошло. Можете быть в этом уверены! Ваша жена — гений!

— О нескольких годах не может быть и речи! Постарайтесь сделать быстрее!

— По-моему, вы меня не поняли! Я только что сказал, что ваша жена сочинила гениальный шифр, и, чтобы найти к нему ключ, нужно быть гением вдвойне. Безусловно, я постараюсь сделать все возможное, что от меня зависит. Но если бы я обещал вам сделать это быстро, то заведомо бы обманывал. Наберитесь терпения... — Теплый аккуратно сложил листы. — Мне тоже приходится рассчитывать на озарение... Я жду Лазорихиево небо!..

Шаллера передернуло. Его неприятно удивило, что этот нечесаный и немый человек тоже, как и он, догадался про Лазорихиево небо и тоже ждет озарения. Но Генрих Иванович не подал вида, что слова Теплового произвели на него такое сильное впечатление. Он напряг мышцы живота и выдохнул через нос.

— Вы правы, — согласился полковник. — Не будем спешить... Какие средства вам понадобятся?

— Это непростой вопрос! — Гаврила Васильевич задумался, продолжая щелкать ногтями по столу. — Буду говорить откровенно. Безусловно, я бы взялся за эту работу даже только из академических соображений, но если вы мне предлагаете гонорар, то почему бы мне отказываться от него. — Теплый закатила туманные глаза. — Ну, скажем, десять тысяч за ключ и столько же за расшифровку.

Шаллер цокнул языком.

— Однако, это недешево!

— Да и работа непростая.

— Согласен, — ответил Шаллер.

— Хорошо. Теперь я должен спросить у вас: все ли бумаги вы мне принесли?

— Нет. Проблема в том, что моя жена болезненно реагирует на то, что я беру ее бумаги. Я взял листы из середины.

— Могут понадобиться и другие.

— Я постараюсь...

Когда Генрих Иванович выходил из интерната, он вдруг представил себе, как славист ест прямо со сковородки что-то пригорелое, подцепляя пищу ногтями, торопясь и чавкая.

Станный человек, еще раз подумал полковник.

Между тем Теплый отнюдь не бросился в кухню поедать кровяную колбасу. Он попросту забыл об ужине, с головой уйдя в принесенные гостем бумаги. По опыту он знал, что, сколько ни вглядывайся в лишние логики символы, в первые дни толку не будет. Но взгляд его напивался свинцовыми буквами, расставленными хаотично в строчки; радовался их таинственному порядку. Он словно мальчик, любующийся голыми женскими телами, дрожал от их нестройных рядов, трогал пальцами листы, прикрывая, как слепой, глаза.

Лежа в несвежей постели, Теплый уже чувствовал, предугадывал, что озарение рано или поздно сойдет на него — неожиданно, как снежная лавина на альпийские луга, и тогда над головой запыхает Лазорихиево небо...

Именно в этот момент, в минуты наивысшего душевного подъема, г-н Теплый услышал дикие крики, доносящиеся из детских спален, расположенных дальше по коридору. Возвышенное возбуждение исчезло, растворившись в атмосфере без следа. Лицо слависта искривилось, тело передернуло, он выскочил из кровати и, схватив метровую линейку, помчался босой по коридору к детским спальням. Если бы кто-нибудь увидел Гаврилу Васильевича бегущим по коридору, то, вероятно, этот случайный наблюдатель испытал бы немало неприятных ощущений. Ему стало бы страшно.

11

Это — конец, подумал Джером, глядя на учителя.

— Что здесь происходит? — спросил Теплый, разглядывая залитую кровью спальню. Губы его тряслись от злости, а костяшки пальцев побелели, намертво сжимая линейку. — Я еще раз спрашиваю: что здесь происходит?!

— Это ненастоящая кровь, господин учитель! — поспешил успокоить Теплового Чириков. — Здесь никто не умирает!

От вида крови Гаврила Васильевич несколько успокоился. Красная и липкая, она всегда действовала на его душу умиротворяюще и способствовала спокойному течению мыслей... Славист внимательно рассмотрел лежащего на полу Джерома и отметил, что из носа и рассеченных губ мальчика вытекает кровь именно настоящая, стопроцентного содержания, и подумал, что это не так уж и плохо. Затем Теплый окинул пристальным взглядом жирного Бибикова, тело которого было вымазано почерневшей кровью, а глаза вспыхивали злобой, словно бенгальские огни.

— Я еще раз спрашиваю: что здесь произошло?!

— Понимаете, господин учитель, — замаялся Бибииков, сделав шаг навстречу Гавриле Васильевичу. — Еще сегодня днем Ренатов обозвал вас одним неприличным словом...

— Жирная свинья! — прошипел Джером в сторону Бибиикова.

— А я не мог просто снести, когда моего учителя оскорбляют! Я вынужден был прочить Ренатова, хотя, как я думаю, он вовсе не Ренатов, а самозванец!

— Тупой боров!

Гераня запнулся, глянул на Джерома и попытался поймать ускользающую воробушкой мысль.

— Так вот... это... А ночью он пришел в нашу спальню и залил ее из бутылки кровью! Я так думаю, что он в морге достал эту кровь! Вот на полу бутылка лежит.

— Каким было оскорбление? — спросил Теплый.

— Господин учитель!.. — развел руками Бибииков.

— Не стесняйтесь, говорите.

— Непросто мне это...

— Я сказал, говорите!

— Он вас назвал... э-э... дебилем! А я вот думаю, какой же вы дебил, если вы наш учитель! Я не мог снести такую несправедливость по отношению к вам. Ведь мой отец герой войны!..

— Ренатов пойдет со мной! Вы, — Теплый кивнул в сторону Чирикова и Бибиикова, — вы остаетесь. Уберете спальню — и немедленно спать. Я сам разберусь с Ренатовым!

Когда Джером выходил вслед за учителем, он увидел торжествующего Бибиикова, задорно подмигивающего вслед, и Чирикова, во взгляде которого сквозило безграничное любопытство.

— Ну-с, молодой человек, позвольте поинтересоваться, вы действительно считаете меня дебилем? — спросил Гаврила Васильевич, заперев дверь своей квартиры и усадив Джерома на табуретку. — Вы действительно меня так называли?

Джером уставился носом в пол и на вопрос учителя лишь цокнул языком.

— Ну-с, я вас слушаю.

— А чего это я должен отвечать? — пробубнил мальчик.

— Смелости не хватает?

— Хватает.

— Тогда что же вас удерживает от ответа на мой вопрос?

Джером облизал кровоточащие губы и поглядел на учителя.

— Я сейчас не злой, — ответил он. — А когда я не злой, мне трудно назвать человека в лицо дебилем... Даже если он на самом деле дебил...

— И почему же вы считаете меня дебилем? — Теплый ухмыльнулся и шлепнул линейкой себя по колену.

— Потому что вы ни за что бьете детей по голове линейкой.

— Интересный довод... А откуда кровь? Бибииков сказал, что вы взяли ее из морга... Вы что же, интересуетесь трупами?

Джером съежился. В глазах Теплого он рассмотрел неподдельный интерес.

— Не бойтесь, отвечайте! Для вашего возраста интересоваться покойниками — дело самое естественное. Позже этот интерес, правда, перерастает в желание осмыслить смерть... Кстати, вы, Ренатов, знаете, что рано или поздно умрете?.. Что вы будете лежать на льду, ожидая, пока вас закопают в землю?

— Вы тоже, — прошептал Джером.

— Что? — не понял Гаврила Васильевич.

— Вы тоже сдохнете! Ой!.. — Мальчик спохватился: — Я хотел сказать, что вы тоже умрете... Все умирают.

— Ты прав. Я тоже сдохну.

— Но вы, господин учитель, умрете раньше, чем я.

— Почему же это?

— Потому что вы старше.

— Совсем не факт, что старший умирает раньше младшего. Совсем не факт... — Теплый тряхнул сальными волосами и внимательно посмотрел мальчику в глаза. — Хочешь удостовериться в этом? — И, не дожидаясь ответа, встал, подошел к книжным полкам, проглядел корешки и вытащил книгу красного переплета.

— Смерть бывает не только вследствие старения, как бы ты, Ренатов, этого ни хотел. Прелесть и ужас смерти — в ее неожиданности. Она может прийти в виде несчастного случая или насилия...

Учитель сел рядом с Джеромом, положив красную книгу на стол.

«Атлас судебной медицины», прочитал про себя мальчик. «Дети».

— Раскрой, — предложил Гаврила Васильевич.

Джером раскрыл книгу и прочитал под заглавием: «В этом атласе описано более трех тысяч детских смертей, причиной которых стало насилие».

— Можно смотреть дальше?

— Да-да, конечно.

Мальчик повернул страницу и увидел множество крохотных фотографий детских лиц с закрытыми глазами. На лицах не было никаких повреждений, но что-то неуловимое говорило Джерому, что души этих детей давно на небесах.

— Переворачивай дальше, — предложил славист. — Дальше будет интересней.

Джером еще повернул страницу. То, что он увидел, куда более затронуло его чувства. В половину книжной страницы была помещена цветная фотография мертвого обнаженного подростка, лежащего на патологоанатомическом столе. Грудь мертвеца была испещрена множеством ран, которые уже не кровоточили, а бордовыми полосками украшали мертвенно-бледную кожу. Голова мальчика лежала неестественно — как понял Джером, по причине увечья. В области височной кости была огромная вмятина с рваным краем, из которой выглядывало мозговое вещество. Руки покойника находились в области вскрытого живота и как бы поддерживали вылезавшие из брюшины кишки.

Ему, наверное, столько же лет, сколько и мне, подумал Джером. У него еще не росли волосы на лобке.

«Тринадцатилетний К., жертва серийного маньяка, — было написано над фотографией. — Многочисленные проникающие ножевые ранения в области груди. Открытая черепная травма. Множественные разрывы кишечника»...

Другая фотография на странице рядом была портретом жертвы. Умерший мальчик смотрел с фотографии на Джерома, и была в лице его печаль.

— Так он же живой! — вскричал Джером.

— Нет-нет! — замотал головой Теплый. — Он умер. Просто ему открыли глаза и направили в них свет. Это такой эффект. Поэтому кажется, что он живой... Ты не хочешь есть?

— Что? — переспросил Джером.

— Тебя сегодня не было на ужине. Наверное, ты хочешь есть. У меня есть жареная кровяная колбаса. Хочешь? Только ее нужно разогреть.

— Нет, — ответил Джером. — Спасибо. Что-то не хочется...

Теплый закрыл книгу.

— На первый раз достаточно. Теперь ты понял, что смерть приходит не только за стариками? Смерть с удовольствием подкарауливает юность.

— А что такое — маньяк? — спросил мальчик.

— Это такой криминальный термин. Это спорный термин... Я расскажу тебе об этом как-нибудь в следующий раз. А теперь тебе надо умыться. Смой с лица кровь и отправляйся спать!

— Значит, вы не будете сегодня бить меня линейкой по пальцам?

— Не буду, — ответил Теплый, пристально разглядывая Джерома. — Тебе и так сегодня досталось. Можешь идти...

Придя в свою спальню, Джером разделся и укрылся одеялом с головой. Он слышал дыхание Супонина и его постанывания во сне. И почему-то представил Супонина вместо К. лежащим на патологоанатомическом столе, отчетливо увидел, как он держит в руках свои кишки... Только у Супонина в отличие от К. растут на лобке волосы. У К. никогда уже ничего не вырастет... Джером потрогал ладошкой у себя в низу живота, грустно вздохнул и заснул...

Прежде чем уснуть, Гаврила Васильевич немного думал о зашифрованной рукописи, о полковнике, ее принесшем. Долгими были мысли о Джероме. Теплый вспоминал разбитые губы мальчика и худые ноги в старых шортах.

Он совсем не испугался, думал славист, вспоминая, как Ренатов с любопытством разглядывал атлас... Придет время, и он испугается...

12

Губернатор Контата собрал у себя членов городского совета.

— Господа! На повестке дня у нас два вопроса! — возвестил глава города. — Во-первых, нам надо наконец решить проблему с начальником охраны! Участились случаи нападения на кур на нашем производстве. Вследствие этого мы несем ощутимые убытки, несет убытки и город.

— Вы говорили нам о полковнике Шаллере, губернатор, — напомнил митрополит Ловохишвили. — Достойная кандидатура. Смел, волевой и не избалован аристократической мишурой....

— Да-да, — согласился скотопромышленник Туманян. — Очень достойный человек.

— К сожалению, — пояснил Ерофей Ерофеевич, — к сожалению, полковник Шаллер отказался от должности.

— Мало предложили? — поинтересовался г-н Бакстер.

— Достаточно.

— Почему же он тогда отказался? — спросил г-н Персик, хотя ему было вовсе наплевать на Шаллера. Он его попросту не знал.

— У Генриха Ивановича другие интересы. Они несколько расходятся с нашими.

— Говорят, у него с женой что-то не в порядке, — высказал версию г-н Мясников. — Говорят, что она слегка сошла с ума и сочиняет какой-то труд на непонятном языке.

— Это кто же вам сказал? — спросил митрополит, приглаживая бороду.

— Кто — кто!.. Все говорят.

— Мне, например, ничего такого неизвестно.

— А вы, митрополит, у нас не от мира сего! — констатировал Бакстер. — Вам доподлинно известно только одно — величина вашего состояния. — Он вытащил из футляра трубку и набил ее табаком, искоса поглядывая на Ловохишвили.

— Господа, господа! — недовольно протянул Контата. — Довольно пикировок. Скоро уже десять лет, как мы с вами выбраны в городской совет, а все одно и то же происходит. Умерьте свои чувства! Ведь общее дело делаем!

Губернатор прошелся по кабинету, втягивая в себя аромат трубки, раскуриваемой г-ном Бакстером.

— Итак, есть ли у вас другие кандидатуры на должность начальника охраны?

— Уеду я отсюда... — с грустью сказал г-н Персик.

— Ну к чему вы сейчас это!

— Я?! Не знаю... Как-то вырвалось...

— Да пусть едет! — сказал г-н Туманян. — А процент его поделим! Все равно бесполезная фигура!

— Господа, господа! — заскулил Персик. — Не знаю, как это у меня получилось! Может быть, от романтики!.. Считайте, пожалуйста, что я этих слов не говорил!

— Тогда предложите кого-нибудь в начальники охраны!

— В начальники охраны?.. Я сейчас... Мне кажется, что лучшей кандидатурой... — Персик замаялся, но через некоторое время лицо его просияло: — Отец Гаврон! Да, конечно, отец Гаврон! Вы помните, как он отличился на строительстве? Во всех отношениях достойная фигура.

— А что... — прикинул Контата. — В этом что-то есть!

— Почему все время мои люди?! — рассердился митрополит. — Что вам, мирских людей не хватает? При чем здесь куриное производство и монахи?! Какая связь? У нас монастырь вегетарианский! Мяса монахи не едят, почему они должны охранять производство вместо того, чтобы служить Богу?! Бред какой-то!

— Это хорошо, что вегетарианцы! — поддержал г-н Бакстер. — Кур не пожрут!

— Это неостроумно, — заступился за митрополита губернатор. — Но согласитесь, святой отец, что лучшей кандидатуры, чем отец Гаврон, мы не найдем! Опять же, значительные отчисления от доходов идут церкви!

— Хорошая кандидатура! — поддержал г-н Туманян.

— Не пойму, как монах будет ходить с ружьем?..

— Так и будет. Наперевес, — пыхнул дымом Бакстер.

— Ай... — Митрополит махнул белой рукой и принялся рассматривать пейзаж за окном.

— Если мы решили с первым вопросом, а я думаю, что так оно и есть, тогда переходим к вопросу второму. — Губернатор прокашлялся. — Неделю назад на имя городского совета пришла бумага интересного содержания. Всем нам известная организация купца Ягудина просит разрешить строительство на главной площади и помощь в финансировании этого строительства.

— А что за строительство? — спросил г-н Мясников.

— В том-то и дело! В этом-то и заковыка!.. — Контата на некоторое время замолчал, собираясь с мыслями. — Строительство небывалое...

— Не тяните, губернатор! — не выдержал митрополит.

— Ягудинцы хотят возвести на площади башню.

— Какую башню? — спросил Персик. — Водонапорную?

— Нет, не водонапорную... Они хотят возвести башню Счастья...

— Что?! — не понял Ловохишвили.

— Вы не ослышались, митрополит. Ягудинцы желают строить башню Счастья, чтобы уйти по ней на небеса. Они считают, что таким образом избавятся от смерти, перейдя по кирпичам в лоно Божье.

Губернатор пошевелил на столе бумагами и вытащил одну.

— Вот проект, — показал он. — Ягудин обещает закончить строительство в два месяца и основные расходы понесет самолично.

— Чушь! — выпалил митрополит. — Не понимаю, Ерофей Ерофеевич, для чего вы вообще нам об этом сказали! Бросьте эту бумагу в урну, и забудем об этом! Нонсенс! Эка глупость — башня Счастья!

— Я тоже так считаю, — согласился губернатор. — Башня Счастья — абсурд! Но организация Ягудина — не абсурд, а реальность! Это политическая сила, которую в последнее время поддерживает большая часть горожан! И знаете, что самое интересное?.. — Контата выдержал паузу. — Самое интересное, что даже корейцы поддерживают идею постройки башни Счастья! Лютые враги объединились под одной идеей! Вот почему, дорогой митрополит, я не мог умолчать об этой бумаге.

— А зачем нашему народу нужна башня Счастья? Разве он не счастлив? — удивился г-н Персик. — Такие средства расходуем на благосостояние населения. Интернаты строим, больницы...

— Пусть строят! — сказал г-н Бакстер и пустил колечко дыма в потолок. — Что мы от этого теряем?

— А сколько этот Ягудин денег просит? — полюбопытствовал г-н Мясников.

— Полмиллиона, — ответил губернатор.

— Ну, не построим одну больницу. Всего-то... Желание народа все-таки!..

— Идиотизм! — закричал Ловохишвили. — Какая башня?! Какое счастье?! Вы что, все с ума здесь посходили?! Народ собрался уйти на небеса, а вы ему еще денежки на это даете!

— Вас что более беспокоит, — спросил г-н Туманян, — что народ на небеса уйдет или что мы ему деньги выделяем?

— Господа, господа! Образумьтесь! — Митрополит схватился за крест. — Нельзя попасть на небеса по лестнице! Если бы такое было возможно, то всякая нечисть греховная поползла бы в рай! На небеса есть лишь один путь — через смерть и отделение души от плоти!

— Успокойтесь, святой отец. — Контата подошел к Ловохишвили и обнял его за плечи. — Никто не подвергает сомнению, что только душа может попасть на небо, но никак не тело. Суть дела не в этом. Надо дать народу возможность совершить поступок, пусть он и абсурден. Пусть народ сам поймет, что заблуждался. Пока в его жилах бродит кровь, ему не объяснишь, что нужно делать, а чего нет...

— А какова должна быть величина этой... башни Счастья? — недовольно спросил Ловохишвили.

— Ягудин рассчитал, что никак не менее версты.

— Позвольте! — развел руками г-н Персик. — Но на такой высоте уже летают самолеты. Пилоты бы сказали о счастье, если бы его там нашли!

Все члены городского совета посмотрели на г-на Персика.

— Мы не об этом сейчас говорим, — отчетливо произнес г-н Туманян. — Не об этом.

Г-н Персик замолчал и покраснелся лицом, сообразив, что чего-то не понял.

— Я так думаю, — резюмировал губернатор, — пусть строят... Деньги мы им дадим и помощь всяческую окажем! Пусть эта башня Счастья станет громоотводом политических страстей... Господин Персик, потрудитесь, чтобы в завтрашних газетах было опубликовано наше решение!..

Всю последующую неделю чанчжойцы обсуждали строительство башни Счастья. Город опять будоражило и трясло. Возникали стихийные митинги и шествия. Особенно радовалась строительству беднота, не ведавшая такого понятия, как счастье, но ощущавшая в этом слове благодущие, созвучное леной сытости.

Газета «Флюгер» поместила передовицу, в которой говорилось о научной обоснованности счастья как о некой физической субстанции, которая достигается лишь на определенной высоте по отношению к земной коре. Под передовицей стояла подпись известного физика Гоголя. Ему в городе верили.

Еженедельник «Курьер» выразил надежду, что строительство будет успешным и закончится в отведенные для него сроки. Ниже «Курьер» привел биографические данные купца Ягудина, стержнем которых было то, что Ягудин с детства отчаянно страдал, ощущая нехватку всенародного счастья.

Даже бульварная газетенка поручика Чикина «Бюст и ноги» поместила на своих страницах карикатуру возвышенного содержания. На вершине башни Счастья стоят, обнявшись, голые чанчжойцы. Часть из них уже шагнула за борт и идет по облачной тропе к Богу. И подпись: «Отец наш, мы возвращаемся к Тебе!»

В городе по случаю начала строительства проходили народные гулянья, на которых русский люд братался с корейским нелюдем. Корейцы по такому случаю раздавали бесплатную водку со всякими корешками и змейками в бутылках. Впрочем, некоторые боевики Ягудина, разгоряченные спиртным, придавили-таки нескольких косоглазых, списав это на бытовое недоразумение, а не на национальную вражду. В общем, все происходило празднично.

13

Генрих Иванович лежал в китайском бассейне, слегка шевеля ногами, возбуждая ими со дна пузырьки. Полковник Шаллер сегодня тосковал и, расслабляясь в теплых водах, пытался определить причину своей тоски.

Когда она вошла в меня своей прозрачностью? — думал Генрих Иванович. Может быть, когда я занимался поднятием тяжестей?.. Нет. Когда гири взметались к небесам, тоска уже тревожила душу. Когда же?.. Может быть, с трещанием пишущей машинки?.. Нет... Скорее всего, ранним утром, когда я проснулся... Я тогда подумал о смерти...

С течением времени полковник все чаще задумывался о смерти. Его теория бесконечно малых величин более не успокаивала сердца, а, наоборот, пугала возможностью ошибки.

Шаллер оглядел свое голое тело, слегка искаженное водой, и подумал, что до смерти все же далеко, а осенние листья плывут по бассейну, слегка подталкиваемые легким ветерком. Осень — пора умирания осенних листьев... Пора умирания для человека — круглогодична.

Генрих Иванович подумал, что размышления о смерти приходят лишь тогда, когда человек несчастлив. Когда же счастье окрыляет душу, человек забывает о течении времени, не чувствует скорости прохождения земного пути и похож на красивое животное, беззаботно пасущееся под скалой, готовой вот-вот обвалиться... Выходит, что я несчастлив, если думаю о смерти? — спросил себя Шаллер. Но что такое счастье? Может быть, это неизменное ощущение радости?.. Вряд ли. Постоянное чувство радости могут испытывать и имбецилы. Но они лишены почти всех удовольствий земных. Радость их беспричинна, она рефлекторна и психически неосознанна. Скорее всего, счастье — это точка пересечения двух диагоналей, мгновение, пик вершины, взгляд, мысль...

Полковник глотнул воздуха, погрузился в воду с головой, затем вынырнул и фыркнул.

Счастье — это умиротворение. Жизнь без потрясений, размеренная. Все любовные потрясения и переживания должны происходить в юности, в ней же и остаться. Полнота любовных эмоций одинакова как в юности, так и к старости, с той лишь разницей, что к старости ты знаешь, как может твоя душа любить, как готова страдать она от неразделенной страсти, а юность лишь тычется слепцом, нащупывая пути для слез, и удивляется радости страданий. Старость должна иметь плод любви, который принесет ей умиротворение. Любовь в старости — это как динамо-машина, которая не подсоединена к лампочке, а просто распыляет электричество в пространство...

Полковник оттолкнулся от бортика ногами и переплыл на другую сторону бассейна.

Генрих Иванович подумал, что прошел уже месяц с того момента, как он отдал рукопись жены слависту Теплому, а известий от него никаких нет. Надо проведать завтра учителя, решил полковник и, оттолкнувшись от дна ногами, выбрался из бассейна.

За процессом купания Генриха Ивановича наблюдал Джером. Мальчик вновь удивлялся могучести тела мужика и прицокивал языком. Он отнюдь не мечтал о такой же силе и строении тела, а просто разглядывал незнакомца, как слона в зверинце, восхищаясь невиданной животиной.

Джером незаметно последовал за мужиком и выяснил, где тот живет. Мальчик обнаружил в саду, в беседке, худую как жердь женщину, которая что-то печатала на машинке, не обращая внимания на окружающую среду. Наверное, это его жена, сообразил Джером. Как бывают не похожи муж и жена, подумал он.

Мальчик лежал на земле, сокрытый ветками крыжовенного кустарника, и рассматривал силача сквозь стекла веранды. Рядом с его неподвижной фигуркой прогуливалась рябая курица, противно потрясывая гребешком и клюя рядом с рукой наблюдателя. Незнакомец пил самоварный чай

и поедал один за другим большие бутерброды с вареньем. Джером облизнулся и молниеносным движением схватил курицу за шею. Птица рванулась, изо всех сил хлопнула крыльями, но сломанная шея уже перекрыла ток крови к крохотному мозгу, и курица легла трофеем на землю, закатив свои чудесные карие глаза... Джером продолжал наблюдать. Незнакомец переделался в военную форму, вышел в сад, а затем через калитку на улицу. И зашагал по дороге, не замечая, как от дерева к дереву, скрываясь, за ним следует худой подросток.

Генрих Иванович прогуливался по окрестностям и думал о чем-то незначительном, ошметками проносящемся в мозгу. Он то и дело случайно заглядывал через ограды домов и ухватывал обрывки картин чужого быта.

Люди живут, думал Генрих Иванович. И у всех у них свои счастливые мгновения. Кто-то счастлив осенним солнечным лучом, неожиданно теплым, так что капельки пота образуются на лбу. Кто-то, наоборот, горюет от этого последнего луча, уже заранее расстраиваясь, что луч — последний этой осенью, а может быть, и в жизни.

Шаллер заглянул за ограду небольшого, но изящного дома, и спокойное течение его мыслей оборвалось. На шезлонге возле клумбы с огненными астрами возлежала римской наложницей Франсуаз Коти. Она была абсолютно голой, расположилась в бесстыдной позе, раскинув в разные стороны стройные ноги. Ее груди великолепно торчали навстречу солнцу, огромные глаза были закрыты, а руки, закинутае за голову, манили белеющими подмышками. Возле шезлонга стояли хрустальный сосуд с клюквенным напитком, ваза с кусками колотого льда и стакан, до середины наполненный красной жидкостью.

Она загорает, загорает! — проносилось в мозгу Генриха Ивановича. Она бесстыжая!.. Господи, какая красавица!.. Господи, как прекрасен ее живот!.. Какие великолепные ноги!..

Полковник стоял за оградой, вытягивая шею, не в силах оторвать взгляда от полных бедер, спелых и покатых, как медовые груши.

С другой стороны ограды, в щель, на Франсуаз Коти уставилась другая пара глаз, не менее восторженных, но и изрядно напуганных. Это были мальчишечьи глаза, еще ни разу до этого не лицезревшие великолепия женского тела. Два открывшихся до предела черных зрачка пожирали наготу и подавали странные сигналы животу подростка, который неожиданно затвердел камнем и наполнился переливающейся истомой.

Генрих Иванович вздохнул грудью, и девушка открыла глаза.

— Здравствуйте, — сказала она Шаллеру, приподнимаясь в шезлонге. — Какими судьбами?

— Да так вот... Прогуливался случайно... Добрый день!..

Полковник был не в силах оторвать взгляда от девичьей груди, открывшейся в другом, новом ее ракурсе. Он отчаянно чувствовал всю дурацкость своего положения, но тем не менее смотрел на девушку открыто, словно та была в вечернем туалете.

— Хотите зайти? — спросила Франсуаз, бросив прозрачный шарфик себе на живот.

— Не знаю, удобно ли?.. Вот так вот, незваным гостем...

— Заходите, не стесняйтесь. Это гораздо удобнее, нежели газеть на меня из-за забора. Вход с другой стороны. Откроете калитку и не бойтесь, собаки нет.

Шаллер обошел участок с другой стороны и взялся за ручку металлической калитки. Если бы он не был так возбужден ситуацией, то, вероятно, увидел бы, как из кустов к дальним деревьям рванула мальчишеская фигура, отчаянно драпая.

Пока Генрих Иванович обходил участок, Франсуаз успела набросить на себя шелковый халатик с китайскими цветами, который чрезвычайно подходил к ее стройной фигуре.

— Коли вы уже пришли, предлагаю остаться в саду. Уж больно погода хороша. Садитесь вот за этот столик. А я пока приготовлю чай. Вы какой предпочитаете — липовый или корейский с жасмином?

— Липовый, если позволите, — ответил полковник, и пока Коти готовила где-то в глубинах дома чай, судорожно думал, что ему еще ай как далеко до старости и к черту все размышления о смерти, а также о различиях между юностью и старостью. Перед глазами Шаллера все еще стояла, отчаянно волнуя, картина обнаженной девушки, особенно ее бесстыдно раскинутые ноги, и к моменту появления Франсуаз он еле сумел справиться с наваждением, прикусывая себе до крови язык.

— Что расскажете? — спросила девушка, когда Шаллер взял с подноса маленькую чашечку и хлебнул пахучего чая.

— Изумительные погоды стоят, — проговорил Генрих Иванович, с неудовольствием отметив мещанское построение фразы.

Эка я разволновался, подумал он. Эка необычно для меня.

— Чудесная осень, — согласилась девушка. — Кстати, знаете новость?

— Какую же?

— Лизочка Мирова обручилась с купцом Ягудиным.

Шаллер с интересом посмотрел на Франсуаз. Этой новости он еще не слышал.

— Когда же?

— На прошлой неделе. Неужели вы не знали?.. Кому же, как не вам, это знать?

— Почему вы, собственно, решили, что я это должен знать в первую очередь?

— Потому что вы находились с Лизочкой в интимной связи.

— Это она вам сказала?

— Зачем же. У меня у самой глаза есть... — Франсуаз посмотрела на Шаллера и ухмыльнулась. — Она вас любила, а вы ее нет... По-моему, она вас и сейчас любит.

— Но почему с Ягудиным? — спросил вслух как бы сам себя полковник.

— Потому что Ягудин сейчас самая заметная фигура в городе. Он — звезда! Опять же, богат и строит башню Счастья. Его имя у всех на устах, он как бы является примиряющим звеном между высшим и низшим классами.

— Пренеприятная фигура! — сказал Генрих Иванович, чувствуя раздражение. — Ограниченная злобная личность!

— Это в вас собственник говорит! — улыбнулась Коти, зачерпывая ложечкой вишневого варенья. — Вы же никогда не любили Лизочку...

— Почему вы знаете?

— Я не права?

Генрих Иванович промолчал. Эта девушка, сидящая напротив в халатике на голом теле, запросто теребила своими тонкими пальчиками укромные местечки его души, наблюдая за ее реакциями, как психиатр за рефлексамии психически больного.

— Могу я задать вам встречный вопрос?

— Безусловно. — Франсуаз повела головой, перебрасывая копну каштановых волос с одного плеча на другое. Открылось изящное ушко с дырочкой в мочке. — Спрашивайте.

— Вы когда-нибудь любили?

Девушка задумалась, накручивая на мизинец прядку волос.

— Да, я любила.

— Извините за бестактность, но вы — девственница и, следовательно, не можете судить о полноте любовных ощущений, о изощренных сторонах любви. Мне кажется, что вы обвиняете в несострадательности, тогда как сами некогда довели своего воздыхателя до самоубийства. Бедный юноша разнес себе мозги медвежьей картечью! Другая на вашем месте всю последующую жизнь провела бы в монастырской келье, замаливая грех.

Шаллер мстил девушке за ее прямоту.

Франсуаз Коти с удивлением смотрела на полковника.

— Вы говорите так, как будто вы мой врач и свидетель нерушимости моей девственной плевры! Откуда вам про это известно? Господи, до чего все мужчины очаровательны в своей уверенности! — Коти улыбнулась. — И потом, дорогой Генрих Иванович, я абсолютно далека от идеи сострадания в любви. Наоборот, я уверена, что сострадание неуместно в любовных отношениях, оно бесплодно и, как ни парадоксально, причиняет еще больше зла. Чем более вы жестоки по отношению к объекту, который вас любит, а вы им только пользуетесь, тем менее болезнен для несчастного разрыв! — Франсуаз подцепила ложечкой вишенку и отправила ее в рот, показав на мгновение свои крепкие зубки. — Признаюсь вам по секрету, что в свое время я сострадала неразделенной любви корнета Фурье ко мне. Я даже отдалась ему из сострадания, будучи совсем юной... Видите, к чему все это привело! Так будьте уверены, что я стою на тех же позициях, что и вы. Мне совсем не жаль тех, кто меня любит и к кому я равнодушна... Налить вам еще чаю?

— Спасибо, — отказался Шаллер. — И прошу простить меня.

— За что же?

— За то, что я поддался обывательскому мнению.

— Это вы о моей девственности?

Генрих Иванович кивнул.

— Забудьте! Меня мало волнуют условности. Я вовсе не комплекую по поводу общественного мнения о моей персоне. Иногда даже любопытно, когда о тебе фантазируют то, чего на самом деле не существует. Я не любительница афишировать свою личную жизнь и вам не советую этого делать! Мужчины более восприимчивы к недостоверным слухам о себе.

— Какие же слухи обо мне ходят? — спросил Генрих Иванович, вдруг уловив некую схожесть во взглядах Франсуаз и его жены. Такая же напористость и самостоятельность.

— Хотите честно?

— Предпочитаю.

— Говорят, что вы превосходный любовник.

— Интересно... Что же еще?

— Что вы несчастны. Что у вас что-то не заладилось в жизни... Может быть, какие-то душевные переживания. Вам все сочувствуют.

— Ерунда! — отрезал полковник, но тем не менее почувствовал прилив жалости к себе. Глаза заблестели.

— Все слухи возбуждают в женщинах пристальный интерес к вам! Есть в женщинах противная черта — проверять слухи.

Шаллер с удивлением оглядел Коти. Она опустила лицо, слегка покраснев щеками.

— Что вас больше интересует — хороший ли я любовник или мои душевные переживания?

— И то, и другое. — Франсуаз овладела собой и прямо посмотрела в глаза полковнику. — Кстати, скажите, зачем вы раздавили тогда кур?.. Мальчишеский поступок. Была целая река крови.

— Вы мне нравитесь. Даже старик, увлекшись девицей, совершает мальчишечьи глупости.

— Вы не старик. — Франсуаз положила ладонь на руку Шаллера и погладила его крепкие пальцы. — И давайте не будем долго ухаживать друг за другом. Я вам нравлюсь, вы мне тоже. — Коти провела ноготками по могучему колену полковника и опять улыбнулась. — И потом, у меня давно не было мужчины. Надеюсь, я не очень шокирую вас?

За всем этим диалогом в щель ограды наблюдал вернувшийся Джером. В какой-то момент ему стало скучно, так как он не улавливал смысла разговора. Мальчик уже было собрался уходить, как вдруг мужик положил руки на плечи девушки и принялся целовать ее губы, лицо, плечи, при-

спуская до локтей халат. Джером видел, как Шаллер ласкает языком груди Франсуаз, как соски превращаются в орешки, твердея на глазах, как девушка, откинув голову, выпячивает грудь вперед, словно вталкивая ее в рот партнеру, а тот, словно младенец, сосет ее, оставляя на коже мокрые красноватые следы.

Несмотря на то что эта сцена абсолютно не нравилась Джерому, он продолжал подглядывать, чувствуя, как живот опять схватило бетоном, и если минуту назад ему хотелось помочиться, то сейчас это желание прошло.

То, что случилось дальше, мальчик не пытался осмыслять тут же, он просто вперился глазами в происходящее, забыв обо всем на свете.

Халат соскользнул с бедер девушки, обнажив плоский живот с черным треугольником, к которому приник в жадном поцелуе мужик. Джером отчетливо видел, как дрожат его ладони-лопаты, охватывая ее зарозовевшую задницу, как изгибается широченная спина...

Господи, лихорадочно подумал Джером. И у нее на лобке растут волосы! Что же это у меня!..

Девушка приподняла за локти мужчину, перехватывая влажными губами его рот, целуя в колючий подбородок, теребя волосы. Ее пальцы пытались расстегнуть пуговицы мундира, но ногти соскальзывали с латуни, туго сидящей в петлях, и она вновь и вновь повторяла свои попытки, пока верхняя пуговка не выстрелила куда-то в клумбу, раскрывая бычью шею Шаллера.

Держа одной рукой девушку за бедро, второй полковник судорожно расстегнул мундир, сдернул его и повалил Коти в траву. Он чувствовал на своем теле скользящие змейками пальцы, ласкающие его живот, забирающиеся во влажные подмышки, слегка корябающие кожу на груди.

Джером со всей силой прижался лбом к щели и смотрел, как девушка дернула за ремень кобуры, сбрасывая ее в траву, как расстегнула брючные пуговицы, как блеснул белизной зад мужика, как выскочило из галифе невероятно выросшее естество, как оно устремилось к черному треугольнику, вонзаясь в него... Дальнейшее Джером квалифицировал как куриную жизнь. Один, как петух, скакал на другой, как на курице, с единственной разницей, что происходило это гораздо дольше. Джером даже на мгновение пожалел, что с ним нет его самострела, а то бы он пострелял. Бетон с его живота стек, он потерял интерес к происходящему, отлип от щели и зевнул во весь рот. Захотелось помочиться.

Вероятно, я наблюдал то, о чем мне не хотел рассказывать Супонин. Теперь я знаю, что происходит между женщиной и мужчиной. То же самое, что и между курами. Экая мерзость — жизнь!

Джером еще раз заглянул в щель. На тело девушки вновь был надет китайский халат, лицо ее было красным, словно она натерлась клубникой, а рот растянулся в глуповатой улыбке. Мужик, натянув штаны, пил прямо из графина клюквенный напиток, хрустя кусками льда, и попутно утирал со лба пот. Джерому некуда было идти, и он от нечего делать лег неподалеку под деревом, закусив травину.

Между тем Франсуаз Коти, отдышавшись, закурила тонкую сигаретку, вставленную в янтарный мундштук с серебряным колечком, пыхнула дымом вверх и посмотрела на Шаллера спокойным и удовлетворенным взглядом.

— Будете ли вы взбираться на башню Счастья? — спросила девушка.

— Вы шутите?

— Почему?

— Неужели вы думаете, что можно еще при жизни шагнуть в рай?

— Не думаю... Но ради экскурсии...

— За два месяца башню такой высоты выстроить невозможно! — констатировал полковник и засмеялся. — Право, забавные события происходят в нашем городе!

— Ее строят одновременно тысяча человек.

— Все равно невозможно.

Франсуаз стряхнула с сигаретки пепел и перекинула копну волос с одного плеча на другое.

— Не хотите ли прогуляться? Может быть, поедem посмотрим на строительство? Все-таки любопытно, когда столько народу делают одно дело!..

Генрих Иванович пожал плечами.

— Если вам хочется... Что ж, давайте прогуляемся.

— Тогда подождите меня на улице, пока я переоденусь и выведу из гаража авто.

Девушка скрылась в доме, а Шаллер в прекрасном расположении духа вышел за ограду, насвистывая какой-то незатейливый мотивчик. Он с удовольствием вспоминал нагретое солнцем тело Франсуаз, его изгибы и извивы, вспоминал как человек, который только что вкусно пообедал и перебирает в памяти поглощенные блюда, отменно приготовленные...

Прогуливаясь возле дома, Генрих Иванович увидел лежащего под деревом дремлющего подростка, разморенного осенним солнцем. Когда полковник приблизился к нему, тот открыл глаза, безразлично посмотрел на Шаллера и во весь рот зевнул. Под глазами мальчика переливались всеми цветами радуги огромные синяки, и благодушные на лице отнюдь не гармонировало с ними.

— Ну-с, молодой человек, отдыхаете? — спросил Генрих Иванович, сыто улыбаясь. — Время сейчас учебное, а вы прохлаждаетесь!.. А как же знания, мой юный друг?

— Чего? — протянул Джером. — Чего надо?

— А что это вы такой грубый? — удивился полковник.

— А чего вы лезете?

— Извините, если я вам помешал. Отдыхайте, дорогой, отдыхайте!..

— Я же вам не мешал, когда вы на ней скакали, как петух на курице!

Шаллер оторопел.

— На ком?

— На ней, — ответил Джером, тыча пальцем в сторону дома Франсуаз. — Ух, как вы вспотели! А курицы не потеют, потому что они в перьях! А откуда у вас такие мышцы?

Генрих Иванович еще приблизился к мальчику.

— Так, значит, вы подглядывали?

— Угу, — согласился Джером.

— Разве вас не учили родители, что это дурно?

— У меня нет родителей, я в интернате живу.

— Понятно, — кивнул головой полковник. — Ну и что вы увидели там?

— Все.

— Понятно. И какое впечатление на вас это произвело, молодой человек?

— Пренеприятное... Не понимаю, почему вам и Супонину это нравится.

— А кто это — Супонин?

— Соученик мой. Правда, он старше меня на два года.

Шаллер некоторое время думал, что сказать мальчику.

— Придет время, и вы все поймете.

— Может быть, — пожал плечами Джером и скорчил гримасу как будто от боли. Он вскочил на ноги, некоторое время возился с шортами и тут же, на глазах у Генриха Ивановича, помочился под дерево, обливая осенние листья. — Можно, я приду к вам в бассейн купаться? — спросил он, заправляя рубаху в шорты. — Ведь это не ваш собственный бассейн! Вы же его не сами строили...

Полковник оторопел.

— Что же вы, давно за мною наблюдаете?

— Так случайно вышло...

Из гаража выехало авто. Франсуаз махнула рукой Шаллеру, призывая его поспешить.

— Ну что ж, приходите купаться, если хотите, — согласился Генрих Иванович. — Бассейн действительно не мой... Кто же это вас так побил? — поинтересовался он, разглядывая лицо мальчика.

— Мое дело, — буркнул Джером и отвернулся.

По дороге к центральной площади Шаллер рассказал Коти о подростке с набитой физиономией.

— В этом возрасте им интересно все, что с этим связано, — ответила девушка.

— А вас не смущает, что за нами наблюдали и видели все подробности?

— Абсолютно. Честно говоря, есть какая-то изюминка, когда кто-то глазами поедает то, что ты чувствуешь телом... Надеюсь, что мальчику понравилось.

Полковник не стал более развивать эту тему. Почему-то приятное настроение несколько испортилось. Генрих Иванович пока не понимал, почему это произошло, и стал смотреть на придорожные яблони, роняющие в пыль свои переспелые плоды.

— Я слышала, что ваша жена писательница?

— Если можно так сказать, — рассеянно отвечал Генрих Иванович.

— Сейчас модно, когда женщина пишет. — Франсуаз резко крутанула руль, объезжая куриный выводок. — Роман или поэма?

— А Бог его знает...

Девушка коротко посмотрела на Шаллера, жмурящегося от солнца, и вновь уставилась на дорогу. Весь дальнейший путь они ехали молча, ощущая какую-то случайную неловкость, возникшую между ними.

Вокруг в природе было покойно и тихо. Летали в небесах птицы, а по земле ходили куры.

14

Гаврила Васильевич Теплый трудился над рукописью Елены Белецкой, возвращаясь к ней во всякое свободное от педагогической деятельности время. За последние недели он еще более осунулся, еще больше засалились его длинные волосы, особенно слипшись на затылке. Коллеги при встрече с ним отворачивали головы, пытаясь попридержать дыхание, чтобы не унюхать кислого, застоявшегося запаха пота, исходящего от слависта. Ученики во внеурочное время старались не попадаться Теплому на глаза, так как чуяли, что учитель находится в дурном расположении духа и может огреть своей линейкой по макушке.

И действительно, у Гаврилы Васильевича не ладилась работа, а оттого злоба то и дело полоскалась в его желудке.

Теплый, сидя над рукописью, старался подавить глухое раздражение, так как давал себе отчет, что оно вовсе не помощник, а, наоборот, самый что ни на есть враг, тормозящий мыслительные процессы.

Славист часами комбинировал буквы, переставляя их с места на место, гадал над чередованием шипящих и пытался уловить смысл гласных, встречающихся по три подряд во многих словах.

Безусловно, это не простая перестановка букв, размышлял Гаврила Васильевич. Это не подмена одной буквы русского алфавита другой... Что же это тогда? Может быть, существует какой-нибудь текст, с помощью которого был создан шифр? Если так, как обнаружить этот текст?..

Г-н Теплый пытался читать рукопись вслух, стараясь нащупать какой-нибудь ритм и с помощью чередования ударных и безударных слогов поймать разгадку.

Если кто-нибудь в этот момент проходил бы под его окнами, он, вероятно, мог решить, что учитель тронулся умом, разговаривая с самим собой на тарбарском языке.

— Аоудлыр бтьу бтьу бтьу! — декламировал Гаврила Васильевич. — Щшжпооо крутимс!..

Иногда в тексте попадались известные слова, такие, как: слон, нос, жмых, и соединяющие: как, но, а. Славист не склонен был полагать, что эти слова могут послужить ключом к разгадке, а считал, что это просто случайные созвучия, встречающиеся в русском языке и способные увести работу в тупиковое направление.

Лишь поздними вечерами Теплый позволял себе отвлечься, зазывая в свою квартирку Джерома и показывая мальчику атласы по судебной медицине. Он наблюдал за реакциями подростка, за всем их спектром, от удивления до леденящего ужаса. Причем Джером не всегда реагировал так, как предполагал Гаврила Васильевич. То, что должно было, по мнению учителя, напугать мальчика, могло вызвать у него улыбку и наоборот, какая-нибудь незначачая деталь, например снимок отрубленной кисти грудного младенца, разливала по лицу ученика мертвенную бледность и вызывала тошноту.

Славист мог по часу зачитывать Джерому про признаки насильственной смерти, про появление трупных пятен, про смысл стренгуляционной борозды и ее цветовую гамму. Свои чтения он сопровождал показом иллюстраций и иной раз с замиранием сердца представлял себе Джерома лежащим на патологоанатомическом столе с различными насильственными повреждениями.

Частенько он не мог заснуть ночью, видя перед собой картины вскрытия — как он в резиновом переднике колдует над бездыханным телом Джерома, искусно разделявая его блестящим в свете софитов скальпелем. Зажелтевшая кожа мальчика покорно расходится под лезвием, обнажая внутренние органы, одетые в блестящую пленку. Это — сердце, маленькое и холодное, как яблоко в первый мороз. А вот — печень, не тронутая болезнями, свежая, как у барашка...

Иной раз картинка морга могла дрогнуть и смениться длинной чередой букв, составленных бессмысленно-привлекательно, и тогда Гаврила Васильевич открывал глаза и долго думал, уставившись в ночь, уж не провокация ли это, уж не подсунули ли ему эти бумаги специально, чтобы он сломал себе голову в бессмысленных поисках разгадки. Может быть, и не существует никакого шифра, а просто какой-то придурок нащелкал сотни страниц глумливыми пальцами?..

Нет. Все не так! Славист чувствовал, что за толстой пачкой листов, исписанных идиотическим текстом, кроется вполне разумное мышление, а может быть, и великое прозрение.

После таких умозаключений в душу Теплового закрадывалась пустота. Он нервничал, что ему будет не по силам разгадать этот великий ребус, что он так и останется на веки вечные в этом поганом городишке в своей презренной должности и никогда более не увидит цивилизованной Европы с ее чистыми площадями и прозрачными фонтанами. И тогда пустоты Гаврилы Васильевича заполнялись злобой, и перед тем, как заснуть, он скалил на потолок свои желтые зубы, глухо завывая и пугая приبلудную кошку, ночующую на крыльце.

Два дня назад, в приступе пустоты, Теплый сорвался и избил Джерома.

Мальчик пришел к нему, как всегда, поздно вечером и, уже изрядно обвыкшись в учительской квартирке, сам подошел к книжным стеллажам, порылся между толстыми фолиантами и выудил тонкую брошюру с затертой обложкой под названием «Его облик».

Учитель в это время находился в кухне и жарил на чугунной сковородке коровье вымя, которое ужасно воняло паленым волосом, и из-за этого першило в горле.

Джером раскрыл брошюру и пролистал ее. Книжица была издана плохо, и, в отличие от атласов судебной медицины, в ней не было фотографий, а лишь одни рисунки. Зато рисунки были прелюбопытные. На одном был изображен лежащий мужчина с закрытыми глазами. Во-

круг его обнаженного тела сидят несколько человек. Один, по-видимому самый главный, орудует над мертвецом скальпелем, выуживая из живота печень. На другом рисунке он откусывает от этой печени кусок, и по лицу его разливается наслаждение... Под рисунком была подпись: «Обретение вечной жизни».

— Кто разрешил тебе рыться в книгах? — услышал Джером голос учителя.

Гаврила Васильевич стоял в дверях, держа на вытянутой руке скворчащую сковородку с воняющим выменем.

— Мне никто этого не запрещал делать, — ответил мальчик. — А что это за книга? И что обозначают эти рисунки?

Теплый прошел в комнату, поставил сковородку на стол, отер о брюки руки и приблизился к мальчику.

— Никогда ничего не бери без спроса! Понял? — Лицо Гаврилы Васильевича скривилось от злобы, а правая щека задергалась.

— А чего вы так занервничали? — удивился Джером. — Могу вообще не ходить к вам! Подумаешь!..

— Сядь! — приказал Теплый.

— Ну, сел. — Джером оседлал табуретку. — Чего дальше?

Гаврила Васильевич попытался взять себя в руки, закусывая дергающуюся щеку.

— Эту книгу тебе рано смотреть! — процедил он. — Еще будешь рыться без спроса — сломаю тебе руку.

Джером ухмыльнулся. Он потянулся всем телом, вытянул ноги и зевнул, всем своим видом показывая, что ему наплевать на угрозы учителя.

— И чего вы все время такой грязный ходите? — спросил он сквозь зевок. — От вас так воняет какой-то дрянью!.. У вас есть женщина?

После этих слов Теплый и накинулся на Джерома с кулаками, лупя его вслепую, задыхаясь от ненависти и разбрызгивая слюну.

— Я вырву твою печень! — кричал он в аффекте. — Я выколю тебе глаза!

Джером старался уворачиваться от ударов, прячась под стол.

— Чего вы на меня накинулись! — причитал он. — Сами в гости зовете, а теперь бьете!

Порыв Гаврилы Васильевича вскоре прошел, и, дыша словно собака, он пытался помириться с мальчиком.

— Теперь ты видишь, что в жизни могут произойти всякие случайности! Я мог в гневе убить тебя, и ты умер бы молодым, прожив жизнь много короче, чем я... Теперь ты понял это?

— Ага, — ответил Джером, сглатывая кровавую слюну. — Я бы умер внезапно, а вы бы долго мучились, ожидая казни за убийство.

— Будешь есть вымя? — спросил Теплый.

— Буду.

Они поели, после чего мальчик долго не мог выковырять из зубов застрявшие волоски.

Гаврила Васильевич отпустил Джерома, дав ему два медных пятака, чтобы он прикладывал их к синякам.

— Приходи завтра, — пригласил учитель.

Вот эти самые синяки, оставленные на лице мальчика кулаками Теплого, и увидел полковник Шаллер.

Сидя над рукописью Елены Белецкой, тщетно пытаясь сосредоточиться, Гаврила Васильевич отчетливо произнес вслух фразу: «Я убью его!»

Славист составил таблицу наиболее часто встречающихся созвучий, наложил сверху лист папиросной бумаги, срисовывая на нее буквы в различной последовательности. Он комбинировал слоги, используя старинную методику Граббе, построенную на мистической теории проникновения в тайну слова. Непременным условием теории была медитация — абсолют-

ное представление слова как единственного жизненного понятия. Буквенный символ должен был отчетливо запечатлеться в мозгу, врезаться в него, вытеснив ощущение собственного «я». Само подсознание, соединившись с космосом, должно было выдать ответ.

Гаврила Васильевич, полагаясь на интуицию, выделил из всей рукописи наиболее главное слово, вычертил его на листе ватмана черной тушью, долго на него смотрел, а потом закрыл глаза. Слово отпечаталось красным контуром на внутренней стороне век. Слово было — ШШШШШ. Славист контролировал свое дыхание, пока оно не стало покойным. Выделение слюны замедлилось, язык сделался сухим, а биение пульса сократилось до сорока ударов в минуту. Озарение стало неизбежным...

15

Авто Франсуаз Коти, скрипнув новой резиной, остановилось рядом с главной городской площадью. Дальше проехать было невозможно из-за скопления народа. Лица людей были возбужденными и источали какое-то внутреннее сияние. Народ жаждал счастья, стараясь быть поближе к его строящемуся символу.

Девушка взяла Генриха Ивановича за руку и потянула за собой, углубляясь в толпу. Они прошли по узкой улочке, ведущей к главной площади, рассматривая лица прохожих, гордо воздевших над собой транспаранты с надписями типа: «Мы достойны счастья! Мы сделаем шаг к нему навстречу!» Повсюду продавали воздушные шары, всякие сладости и лимонад. Народ гулял...

Наконец Франсуаз и Шаллер вышли на площадь. В центре ее из мощного бетонного основания уходила к небу башня. Генрих Иванович задрал голову и с удивлением сказал:

— Господи, я не предполагал, что они за такое короткое время столь много построят!.. Это невероятно!

От основания башни к ее нутру тянулась цепочка рабочих, как русских, так и корейских. Из рук в руки рабочие передавали красные кирпичи, раствор и всякий необходимый строительный материал. Делали они это так быстро, как будто хотели закончить строительство уже сегодня до захода солнца.

— Пожалуй, в башне уже футов четыреста! — предположил полковник.

— Пятьсот, я думаю, — высказала свое предположение девушка. — Велик русский народ в своем стремлении к иллюзиям!

На вершине башни, на строительной площадке, были установлены усиливающие голос устройства, чтобы народ мог не только следить за происходящим, но и слышать, что творится между рабочими, какие следуют команды.

— Мы кладем трехсоттысячный кирпич! — прокатился над площадью голос.

— Ягудин, — определила Франсуаз. — Какой мощный голосовой аппарат!

— Вы знакомы с ним лично? — поинтересовался Шаллер.

— Видела пару раз.

— И что он за тип?

— Любопытный. Он может быть и романтиком, и изувером. Чем-то на вас походит.

— Что же, я похож на изувера?

Девушка не ответила, так как ей помешал голос Ягудина, вещающий с высоты.

— Сограждане! — возвестил голос. — Хочу обратиться к вам с речью! Позволите ли мне сделать это?..

— Позволяем! — донеслись голоса из толпы. — Говори, Ягудин! Мы рады услышать тебя.

Ягудин прокашлялся.

— Я хочу сказать, что вы, собравшиеся на главной площади, есть народ! Не побоюсь сказать, что вы — прогрессивное человечество! Ваши лица устремлены вверх, вы собрались в кучу, чтобы стать непосредственными соучастниками величайшего события, творящегося на ваших глазах! Ваши уши, ваши глаза направлены на уникальное строительство Истории — башню Счастья!.. Я слышу ликующие возгласы людей, исходящие из самых потаенных глубин сердец! Ваши это голоса или ангельские призывы?..

Народ внизу заволновался и закричал:

— Наши голоса, наши! Мы с тобой Ягудин!.. Продолжай!.. Ура-а!..

— По-моему, он издевается, — зашептала в ухо Шаллеру Коти.

— Но делает это тонко, — добавил полковник.

— Крики «ура» непрерывно сотрясают площадь и мои уши! — продолжал вещать Ягудин. — Ваш порыв напоминает мне огнедышащий вулкан, и его можно сравнить с радостью миллионов одновременно разродившихся женщин! Никогда еще человечество не сталкивалось с таким массовым проявлением мира, дружбы и солидарности между русским и корейским народами! Нам будет что оставить в наследство нашим детям, внукам и правнукам! Мы оставим им башню Счастья!

— Хотим тебя видеть! — закричала толпа. — Появись перед нами! Видеть тебя хотим!

— Вы ощущаете приближение счастья?

— Ощущаем! — ответила толпа в слаженном порыве.

— Громче!

— Ощуца-а-ем!

— Смотрите, вон он, — показала наверх Коти. — Лезет на стену.

И действительно, на самую вершину, на только что выложенные кирпичи, взобрался бородатый человек, воздевая к небесам руки.

— Вы хотите счастья? — спросил человек.

— Хотим! — дружно отозвалась толпа.

— Вы верите, что по башне можно перейти в райские кущи?

— Верим!

— Верите?

— Верим!!!

Человек на вершине на мгновение замолчал, а потом вдвое громче заорал:

— Ну и идиоты! Кретины! Быдло!

После этих слов Ягудин чуть присел, затем расправил руки, словно птица крылья перед полетом, оттолкнулся ногами от свежей кирпичной кладки и с диким криком полетел...

— Быдло-о-о!..

Сначала показалось, что он летит параллельно земле, а на мгновение почудилось, что даже и набирает высоту, но это, вероятно, был оптический обман.

Народ замер, наблюдая свободный полет Ягудина. Франсуаз прикрыла рот ладошкой, словно сдерживая крик. В народе потеснились, образуя площадку на месте вероятного приземления купца. Ягудин пару раз взмахнул руками, крутанул, словно орел, шеей и рухнул патлатой головой на булыжную мостовую. Голова его не расколосась, как следовало ожидать, а глухо ухнула о камни. Глаза Ягудина вертелись еще несколько секунд после падения, он попытался что-то сказать, но изо рта вышла кровавая пена, пузырясь и лопаясь, мешая предсмертным словам.

Ягудин дернул ногой, и душа его отошла. Толпа сомкнула свои ряды, вознесла тело купца над головами и в траурном молчании потащила его куда-то по улицам.

— Уйдемте отсюда, — сказал Генрих Иванович, беря девушку под руку.

— Бедная Лиза, — произнесла она. Во взгляде ее была твердость, а щеки покрылись румянцем. — Бедная Лиза! — повторила девушка.

Авто Франсуаз катило по пустой мостовой, удаляясь от центра города в сторону загородных поселков. В прозрачном небе горела дневная звезда, и, глядя на нее, Шаллер загрустил, вспоминая свои давние теории о животворящем космосе.

Вот ведь как происходит, думал полковник. Как подчас неожидан человеческий конец. Лузгаешь семечки, а через мгновение твоя голова может быть расплющена сорвавшимся камнем. А ты в этот миг размышлял о чувственном наслаждении, лелеял его в своих членах, не задумываясь о предстоящей минуте. А дома тебя ждал привычный запах. Запах стен, нагретой крыши, запах жены и свой собственный аромат... Ах, я опять думаю о смерти, поймал себя Генрих Иванович.

— Вы сейчас думаете о смерти? — спросил он девушку, которая одной рукой уверенно управляла автомобилем, а другой откидывала прядь волос, упавшую на глаза.

— Я никогда не думаю о смерти, — ответила Франсуаз. — Это бессмысленно. Особенно для женщины. Женщина, думающая о смерти, уже умерла. — Коти нажала на клаксон, разгоняя с мостовой кур. — Право, какой странный был человек этот Ягудин. Вся жизнь напоказ. И смерть напоказ! Сначала создает идеалы, а потом рушит их на веки вечные!

— У него найдется преемник.

— Вряд ли. В башню Счастья можно поверить единожды. А когда ее создатель смеется над поверившими глупцами, миф рассеивается безвозвратно. Народ не прощает оскорблений!

— Вы плохо знаете свой народ. Тем, кого толпа любит и боготворит, она прощает все, и прощает заранее. Вот увидите, что Ягудина будет хоронить весь город и его имя останется в чанчжойской летописи навечно.

— Вы так думаете?

— Уверен.

— Интересно. Мне Ягудин так и говорил: «Мое имя останется на века! Я буду прославлен как великий романтик и как великий изувер!»

— Так вы его знали лично? — удивился Шаллер.

— Я была его любовницей.

— Вы?!

— А что вас так удивляет?.. — Девушка сбавила скорость. — Он был хорош как мужчина, и с ним совсем не было скучно.

Полковник усмехнулся.

— Почему же вы... э-э... расстались? Простите за нескромный вопрос.

— Все очень просто. Мне стало с ним скучно.

— Парадокс.

— Нет, не парадокс. Просто даже самые интересные люди становятся скучными. И вообще, человек интересен только тогда, когда лишь соприкасается с другим, не давая возможности узнать себя полностью.

— Вы максималистка? — спросил Генрих Иванович, все более удивляясь мыслям девушки, вернее, не столь их содержанию, сколь холодку равнодушия, с каким она их выговаривала.

— Я не максималистка. Я просто говорю то, что думаю. Поверьте мне, что это не наносное — от молодости, просто так уж с детства повелось, что я говорю то, что думаю, и стараюсь делать то, что хочу. Например, сейчас я краем глаза вижу ваши сильные руки и вспоминаю, что произошло между нами несколько часов назад. Как вели себя ваши руки, соприкасаясь с моим телом. Честно говоря, я бы не против повторить это, прямо сейчас.

После этих слов Генрих Иванович почувствовал необычайное волнение, тело его напряглось, готовое отдать напряжение души, и он опять подумал, что в этот момент от него уходит мысль о смерти, уносится куда-то к чужой душе...

— Тормозите! — уверенным тоном произнес он.

Девушка улыбнулась, нажала на педаль тормоза, и машина медленно скатилась в кювет.

Франсуаз Коти действительно делала то, что хотела, совершенно не сдерживая себя, не имея ханжеских представлений о приличиях. Это очень нравилось полковнику, но одновременно и пугало. Он понимал, что их связь долго не продлится, так как в полковнике могла родиться ревность к прошлому девушки, вероятно столь же откровенной в своих желаниях с предыдущими любовниками, как и с ним. Стоя возле автомобиля, он представил на своем месте Ягудина, к животу которого в страстном поцелуе приникла девушка, и хоть не испытал приступа ревности, но ощутил его вероятность впоследствии, в самом ближайшем будущем.

Шаллеру не удавалось целиком отдаться наслаждениям, так как он нервничал из-за возможного появления автомобилей на дороге. Он боялся, что их могут узнать и в городе пойдут всякие сплетни, а поручик Чикин не преминет опубликовать в своей газетенке и фривольную карикатуру.

Полковник легонько подтолкнул девушку к яблоням, за которыми стояла еще высокая, хоть и пожелтевшая, трава. Девушка поддалась, чувствуя некоторую скованность любовника, глаза ее были столь глубоки, а руки так требовательны, что, как только они оказались сокрыты от случайных взглядов сухими зарослями, напряжение оставило Шаллера, сознание растворилось, и он отправился в короткий путь безумия.

Они опустели разом в тот момент, когда солнце расставалось с Чанчжоэ, уходя к другим параллелям, согревая чужие просторы.

Похолодало. И вместе с нашествием прохладного воздуха похолодела и душа Генриха Ивановича. Лежа на расстеленном мундире, обнимая одной рукой плечи Франсуаз, он подумал о Гавриле Васильевиче Теплом, о том, удалось ли ему расшифровать записи Белецкой, и решил навестить учителя завтра под вечер.

— Проведайте Лизу, — шепотом сказала Коти. — Ей сейчас тяжело.

Слова девушки вызвали в полковнике легкое раздражение. Ему не совсем нравилось, что она так назойливо акцентирует ушедшие в небытие отношения между ним и Лизочкой Мировой. Тем более, что все так перемешалось: Лизочка была и его любовницей, и разбившегося Ягудина. В свою очередь, Франсуаз обнимает сейчас его, Шаллера, а когда-то принадлежала рыжебородому купцу. Или он ей принадлежал. Не все ли равно...

Прокукарекал петух. И тут же со всех сторон отозвались десятками голосов его соплеменники, сообщая всему миру, что наступает вечер.

— Пора, — сказал Генрих Иванович, высвобождая из объятий свою руку. — Холодно.

Они оделись и, оглядываясь по сторонам, вышли на шоссе.

— Я вас отвезу, — предложила девушка, усаживаясь за руль.

— Могу я повести, если хотите.

— Не надо.

Авто, освещая фарами дорогу, помчалось к дому Шаллера. За весь путь они не сказали друг другу ни слова и равнодушно попрощались возле дома полковника.

— Как-нибудь заходите, — предложила на прощание девушка через боковое стекло автомобиля, помахала пальчиками и включила скорость.

Когда авто Коти скрылось за поворотом, Шаллер чему-то улыбнулся, глубоко вдохнул грудью и вошел в дом. Он неспешно поужинал, погруженный в свои мысли, убрал со стола посуду и вышел в сад к беседке, где неумоимо трудилась его жена.

Вот ведь и в темноте видит, в который раз удивился Генрих Иванович, глядя на бегающие по клавиатуре машинки пальцы Елены. Как кошка...

Он поднял жену на руки, не обращая внимания на ее слабое сопротивление, и внес в дом. Белецкая дрожала всем телом, и на мгновение полковнику показалось, что она прижимается к нему, желая согреться.

Генрих Иванович посадил жену на стульчик в ванной и, пустив горячую струю, раздел ее, слегка поглаживая по голове, словно больного ребенка.

Лежа в ванне, Елена вскоре согрелась, ее перестал бить озноб, и Шаллер, вооружившись мочалкой, принялся намыливать ее истончившуюся кожу — нежно, слегка касаясь. Он ласкал жену и неторопливо рассказывал ей о событиях, происходящих в городе.

— Сегодня разбился купец Ягудин. Ты его знаешь. Это он верховодил погромщиками. Ну, помнишь, помнишь?.. Ну, он еще организовал побоище в корейском квартале. Еле сам ноги унес... А разбился он, конечно, странным образом — прыгнул с башни Счастья, которую сам же и строил... Вот ведь странный поступок! Не оступился, а сам прыгнул — напоказ!

Белецкая, казалось, слушала, о чем рассказывает Шаллер, ее руки успокоились, перестав щелкать по воображаемым клавишам, и она не пыталась уклонить голову от пальцев Генриха Ивановича, мылящих ее волосы.

— То-то завтра шуму будет! — продолжал полковник. — Вся общественность взбудоражится, вознесет славу Ягудина до небес! Второго Лазорихия вылепит!..

То, что Шаллер увидел в следующий момент, оборвало его мысль на середине. Промывая волосы жены, перебирая их выцветшие пряди пальцами, он наткнулся в области затылка Елены на белые мокрые перышки. Сначала полковник подумал, что это ветер их впутал, но после тщательного осмотра убедился, что они самостоятельно растут из шеи, из того места, где кончаются самые нежные волоски.

— Господи! — вырвалось у полковника.

Шаллер наклонился над женой, рассматривая перышки с близкого расстояния. Он насчитал их с десятков, растущих в рядок, потрогал пальцем их ворсинки и еще раз сказал: «Господи!»

Генрих Иванович наскоро растер тело жены полотенцем и вынес ее, голую, в комнату, где уложил на кушетку. Он встал рядом на колени и тщательно осмотрел все тело Елены, пядь за пядью изучая его, заглянул даже в низ живота и перебрал золотистые волоски.

Вскоре полковник убедился, что перышки растут только из затылка, что, слава Богу, они не проклюнулись в других местах, хотя черт знает что будет дальше.

Укрыв Белецкую пледом, Шаллер хотел было позвонить доктору Струве и спросить того, что бы это могло значить, но быстро передумал, боясь, что происшедшее может получить огласку, а хорошо это или плохо, Генрих Иванович пока не знал.

Елена заплакала. Она зашевелилась под пледом, скидывая его на пол. Ее пальцы вновь застучали по воображаемым клавишам машинки, и она протяжно завывала.

Генрих Иванович одел жену, натянул на нее теплый свитер, повязал голову шерстяным платком, на руки надел тонкие лайковые перчатки, чтобы не мешали движениям пальцев, поднял Белецкую на руки, вынес в сад и усадил перед пишущей машинкой.

Елена тут же успокоилась и принялась быстро-быстро печатать, как будто наверстывала упущенное.

Полковник вернулся в дом, гадая, что бы это все могло значить и что ему со всем этим делать.

А перышки-то — куриные! — внезапно догадался Шаллер. Куриные перья!

Генрих Иванович Шаллер был прав. Хоронили купца Ягудина всем городом. Хоронили пышно, с траурными митингами и передовицами во всех газетах. Для тела поборника счастья было выделено место на мемориальном кладбище, возле чанчжойского храма, на котором вот уже сорок последних лет никого не закапывали по причине малого количества свобод-

ных площадей. Отпевал Ягудина сам митрополит Ловохишвили в присутствии всех членов городского совета. На процедуру были допущены лишь самые близкие, в том числе и Лизочка Мирова, которую сочли невестой покойного, а потому главные люди города выражали ей соболезнования, а народ возле храма шептался, что все-таки купец оставил людям кусочек счастья в лице девушки. Может, кого еще осчастливит.

На отпевании митрополит Ловохишвили предложил хоронить героя не на мемориальном кладбище, а устроить ему усыпальницу прямо в недостроенной башне, что с восторгом было принято большинством.

— Вы, уважаемый митрополит, просто дипломат и стратег! — шепнул на ухо Ловохишвили губернатор Контата. — Замечательная мысль. Таким образом, никто уже не будет достраивать эту идиотскую башню на костях ее родителя. Поздравляю!..

На панихиде Лизочка то и дело падала в обморок, взмахнув ручками и бледнея лицом. Ее ловко подхватывал молодой человек, сочиняющий гекзаметры, сжимал в своих объятиях, пока сознание девушки не возвращалось на место, а взгляд не падал на восковое лицо Ягудина, лежащего в гробу красного дерева.

Безусловно, в народе обсуждалась причина прыжка Ягудина с башни Счастья, вернее, с ее основания. Большинство склонялось к тому, что сам Дьявол вмешался в историческое строительство, помутив рассудок купца и лишая русского человека счастья при жизни. Другие считали, что путь к звездам лежит через тернии, что так, за здорово живешь, к счастью не добратся, нужно страдать и приносить жертвы. Таким образом, купец Ягудин — первая жертва счастья... Возникал вопрос — кто будет жертвой второй?.. Охотников не нашлось, во всяком случае, на траурных церемониях никто не пытался взять из мертвых рук ягудинское знамя счастья и понести его дальше, к заоблачным высотам, во благо народа.

Ягудина похоронили, как и предложил митрополит, в основании башни, завалив гроб осенними цветами и залив его бетоном. Состоялся траурный митинг, на котором выступили все желающие.

Один из сторонников Ягудина высказал свою концепцию счастья.

— Надо всем выдать по фунту грецких орехов! — предложил он и выдержал значительную паузу. — Ведь что такое грецкий орех, если подойти к нему со всей глубиной понятия? А вот что это такое!.. Большинство наших горожан работает зимой на улице. Работая в суровую стужу, горожанин теряет калории тепла, следовательно, он мерзнет! Если горожанин мерзнет, ему нужен полушубок, дабы согреть душу. А что такое полушубок? Полушубок — это пять зарезанных овец! Если мы перемножим количество горожан, работающих на улице, на зарезанных овец, то получим астрономическую цифру погибшего скота. А если горожанин перед работой на снегу съест всего лишь два грецких ореха, то калории тепла не будут расходоваться напрасно и ему не нужен будет полушубок. А следовательно, и овцы будут целы. Грецкий орех — это единица нашего счастья!

Оратору никто не аплодировал. Его сочли безумцем, каких во всех городах наберется определенное множество. На трибуну взобрался следующий оратор, по виду еще более безумный, чем предыдущий. У него была абсолютно лысая голова и кудрявые бакенбарды.

— Мы зашорены! — печальным голосом произнес лысый. — Мы не понимаем, что происходит вокруг нас. Даже построй мы башню Счастья, ничего бы не изменилось! Не было бы счастья!

В народе зашумели и зашикали. Многие были согласны с выступающим, но для таких слов сейчас было неподобающее время.

— Выход простой! — продолжал оратор. — Надо перенимать заграничный опыт! Надо перестать изобретать колесо! Оно уже есть! Там! — Лысый указал рукой за горизонт. — Его надо просто взять у них и приспособить для своих нужд! Хватит ютиться в пещерах и думать, как блоха, что ослиный зад — весь мир!

В народе нарастало возмущение. Никто не уподоблял себя блохе, а оттого все оскорбились.

— Заграница — это кузница новейших технологий, которые способны принести нам истинное счастье, а не какое-то там заоблачное, вымышленное! Если кто-то сомневается, что я патриот своей страны, то заявляю во всеуслышание: я — патриот! Я не хочу жить за границей, но я желаю, чтобы вы наконец поняли, что наша культура совершенно несамостоятельная! Она не имеет своих корней! Сколько раз Россию бороздили армии сопредельных стран! И после каждого вторжения нашу Родину потрясал новый демографический взрыв! Все блага цивилизации, которые мы сейчас имеем в своем активе, — просочились оттуда! — Оратор вновь указал рукой за горизонт. — Даже велосипед сочинен не нами! А все почему? Потому что мы, русские, самая ленивая нация! У нас нет собственного самосознания! Мы — потомки татар и монголов!..

Народ, оскорбленный до самых глубин сердечных, засвистел и заулюлюкал, так что окончание речи оратора потонуло в народном неодобрении. Лысый был вынужден слезть с трибуны, а на его место взобрался здоровенный детина лет тридцати пяти и, потрясая огромными кулачищами, начал ответное слово:

— Страшно, соотечественники! Страшно! Этак вот как подумаю, волосы дыбом встают оттого, что вам этот лысак наговорил! Этак взял бы его, раздел догола, обмазал хреном и сожрал бы живьем!

В толпе засмеялись, выражая одобрение.

— Козел он! — продолжал детина. — Что наплел, ирод! Нет культуры у нас!.. Надо же такое сказать!.. А наша литература? А наши отцы-пустынники, создавшие славу русской философии?! Вся эта заграница коровьей лепешки не стоит!.. Сколько освободительных войн мы вели, но ни одна русская женщина не расстелилась перед врагом, ни одна не зачала от иноземца! Мы самая чистая нация! Русский человек придумал баню, а не какая-нибудь немчура! Это мы изобрели колесо, а они, — детина указал толстым пальцем за горизонт, — они у нас его сперли и выдали как за свое изобретение! Это они, заграничные прощелыги, превратили нашу чистоту в гигиену, нашу святость — в религию! Хватит нам обманываться, как малым детям!.. Давай наше счастье! — заорал детина. — Давай счастье отечественное!

Детина закончил. Ему долго аплодировали и голосами выражали согласие. Оратор хоть и не указал путей к отечественному счастью, но ободрил чанчжойцев и закрепил в них уверенность в себе, подтвердив, что их матери и бабки никогда не путались с татарами.

На трибуну вылез всеобщий городской любимец — физик Гоголь. Это был застенчивый человечек с умопомрачительной близорукостью. У него имелся слабенький голосок, словно у переболевшего туберкулезом, зато глаза за бифокальными очками горели, как сердце Данко. Гоголь мял в руках бумажку, ожидая, пока толпа угомонится и обратит на него свои взоры.

— Давай, Гоголь, говори! — донеслось из толпы. — Вещай, Моголь!

Толпа притихла.

— Я тут вычисления кое-какие сделал, — начал физик, расправив бумажку. — И так вот получается, что Ягудин, ну, как бы это сказать... Эка, право, фантастика... так получается, что купец Ягудин обладал способностью... э-э... к полетам...

— К каким полетам? — спросил голос из толпы. — Выражайся яснее, Моголь!

— Я имею в виду, что Ягудин умел немножечко летать! Способность у него такая была.

— Ты что, Гоголь, тронулся? — поинтересовался голос.

— Я сейчас поясню. Не перебивайте меня, пожалуйста!.. Посмотрите на башню! — предложил физик, указывая себе за спину. — Вон она где стоит. А куда приземлился Ягудин?

Толпа разом повернула головы в обратном направлении, разглядывая место падения купца, заваленное сейчас подвядшими цветами.

— Теперь видите? Где башня, а куда упал Ягудин. Я подсчитал, что от основания башни до места падения сто футов! Ведь не ветром же снесло купца!

Толпа замерла, осознав происшедшее. Кое-кто из слабонервных женщин подавил в себе крик изумления. Мужчины стояли опустив головы, медленно осмысляя информацию.

— Я так понимаю, — продолжал Гоголь. — Я так понимаю, что в самый последний момент Ягудин ощутил желание полета. Он понял, что человек создан не только чтобы пачкать свои ноги о землю, а произведен Богом для полетов в бесконечных просторах Вселенной. Мы просто пока еще не осознали свой дар и не научились им пользоваться! Но мы обязательно осознаем и научимся!.. Мы полетим. Мы воспарим к небесам и уподобимся вольным птицам. Мы поднимемся выше облаков, и уже никогда над нашими головами не будет черных туч. Свободные лучи солнца и голубое небо. Птицы и мы. Мы и птицы... — Физик простер руки над народом. — Мы построим гигантский воздушный шар и вознесемся. И ни один увечный, ни один слепой, горбатый и слабоумный не останется на этой земле. Мы полетим все! На нашем шаре хватит места для всех! Наше счастье — это воздушный шар минус гравитация всей Земли!

— Что, корейцев тоже возьмем? — спросил голос из толпы.

— Ну, если они захотят... — замялся физик.

— А я вот летал на аэроплане! — подал из толпы свой голос мелкий мужичонка и сплюнул под ноги семечковую шелуху. — Летал выше птиц и выше облаков. Никакого счастья там нету! Али мне не встречалось?..

После лирического выступления физика Гоголя траурный митинг закончился. Народ потянулся с площади, каждый в свою сторону. Но что-то такое произошло с людьми непонятное — то ли смерть Ягудина подействовала на них печальным образом, то ли его фантастический полет или слова Гоголя затронули их души, но почти у каждого внутри появилась какая-то несладкая маета — предчувствие чего-то нехорошего, как будто вскоре зубы заболят.

На следующий день все газеты в городе вышли с выступлениями всех ораторов. Речи были изрядно отредактированы и выглядели почти приличным образом. Чанчжоэ самым достойным манером попрощался с погибшим героем, оплакав его и помянув. И только газетенка поручика Чикина «Бюст и ноги» поместила на первой странице глумливую карикатуру, изображающую летящего над землей купца Ягудина, из ширинки которого торчит первопричинное место в виде якоря, мешающее герою унести в заоблачные высоты. И подпись: «Чтобы взлететь, надо сорвать все якоря!»

Эта карикатура вызвала в городе скандал. Поручика даже хотели отдать под суд за оскорбление памяти покойного, но на закрытом совещании правоохранительных органов шерифу города открылся истинный смысл подписи.

— А не аналогия ли это со смертью графа Оплаксона? — спросил он у собравшихся юристов. — Не имел ли в виду поручик Чикин, что только душа скопца способна к полету и святости, как душа Ван Ким Гена? Если так, то не можем же мы осудить человека за религиозные взгляды, отличные от наших!

Юристы решили сначала допросить поручика, а уж потом выносить свое решение. Поручик, увидев возможность избежать наказания, подсказанную самим шерифом, подтвердил религиозную подоплеку карикатуры, заявив, что вскоре сам собирается стать каженным и ехать в Первопрестольную бить в Ивановский колокол.

Поручика решили не привлекать к суду и отпустили с миром, глядя с состраданием на его брюки с выпирающим из них хозяйством.

Постепенно жизнь в Чанчжоэ наладилась на старые рельсы и пошла своим чередом.

17

К назначению на роль начальника охраны куриного производства отец Гаврон отнесся философски. Это было личное распоряжение митрополита Ловохишвили, а приказы командования, тем более церковного, не обсуждаются и не подвергаются сомнениям.

Отцу Гаврону выдали семизарядную винтовку системы «фоккель-бохер» и отвели ему место на вышке, возведенной над «климовским» полем. Монах целыми днями просиживал на вышке, кутаясь в овчинный тулуп и созерцая с высоты куриное море. Иногда от такого многоцветия в глазах отца Гаврона рябило, и он закрывал их, отключаясь от кудахтанья и думая о чем-то своем.

Раз в три часа монах откупоривал большую бутылку с формолью и наливал себе стаканчик, чтобы умерить болезнь. Полечив себя, он вновь отключался от мирской жизни, смотрел в никуда и уплывал в какие-то туманные дали.

Отец Гаврон постригся в монахи, когда ему исполнилось сорок три года. До пострига это был обычный человек, в меру религиозный, и звали его Андреем Степлером.

И отец, и дед, и прадед монаха были садовниками, а следовательно, и Андрею было на роду написано продолжить садоводческую династию. Что он и сделал, с малолетства прививая, окапывая и удобряя.

В отличие от предков, мальчик отнесся к своему делу творчески — не только как производственник, но и как ученый-экспериментатор. Нытьем и мольбами он уломал отца купить ему учебники по ботанике и просиживал над ними ночи напролет, грезя волшебными семенами, из которых можно вырастить хлебное дерево. Андрей брался за любую культуру, попадающуюся ему под руку. Он экспериментировал с клубникой, пытаясь скрестить ее с крыжовником, колдовал над вишней, мечтая, чтобы она стала такой же крупной, как азиатская слива, но особенно ему нравилось работать с яблонями.

В четырнадцать лет Андрею удалось вывести новый сорт яблок, который он назвал в честь любимой бабушки, скончавшейся до его рождения. «Фрау Мозель», сладкие и сочные плоды, мгновенно получили признание не только в Чанчжоэ, но и далеко за его пределами. В сад юноши стали наведываться селекционеры со всех ближних и дальних окрестностей, дабы перенять садоводческий опыт человека, создавшего удивительную «Фрау Мозель». Когда посетители, ожидавшие лицезреть убеленного сединами новатора, видели вместо этого безбородого подростка с оттопыренными ушами, их лица краснели от смущения и они долго не решались высказать свои пожелания. Но вскоре, обезоруженные бесхитростью мальчика, его искренним радушием и улыбкой, они расслаблялись и с удовольствием наблюдали, как Андрей применяет на практике все свои теории по созданию новых фруктовых сортов.

К восемнадцати годам на счету Степлера уже было шесть новых яблочных сортов. Ему таки удалось скрестить клубнику с крыжовником, а вишни стали размером хоть и не с азиатскую сливу, но изрядно покрупнели.

Как-то ранним осенним утром возле дома Андрея Степлера остановилась нарядная карета с двумя напудренными лакеями на запятках. Дверка открылась, и из нее появился небольшого роста человек в мундире, обшитом золотом.

Из дома высыпало все семейство Степлеров, заспанное, но любопытствующее, кто бы это мог быть такой столично-франтоватый.

— Кто из вас Андрей Степлер? — спросил человек, слегка приседая, чтобы размять колени после долгой дороги.

Все стояли с открытыми ртами, никто не отвечал, лишь дед Андрея протяжно зевнул, дважды перекрестив беззубый рот.

— Я спрашиваю, кто здесь Андрей Степлер? — переспросил человек. — Есть ли среди вас таковой?

— А чего надо? — спросил отзевавшийся дед.

— Ты кто? — спросил столичный фронт.

— Я — Степлер, — ответил дед.

— Андрей?

— Не Андрей, а Драгомил Антонович. Чего надо?

— Если ты не Андрей, то и не лезь! — разозлился приезжий. — Кто Андрей?

— А чего ты такой грубый? — не унимался дед. — Я и палку взять могу. Да и по шее.

На деда шикнул отец Андрея и доброжелательно посмотрел на фронта.

— Чего надо? — спросил отец.

— Так ты Андрей? — раздраженно спросил владелец кареты.

— Нет. Я Михаил Драгомилевич. А чего надо?

Приезжий побагровел щеками и заскрипел зубами.

— Да я вас шомполами прикажу! До смерти засеку!

— Я — Андрей. — Юноша сделал шаг вперед, протирая со сна глаза. — Чего надо?

— Издеваться!.. — заорал владелец кареты и стал судорожно вытаскивать саблю из инкрустированных золотом ножен. — Да я вас!.. Всех!..

— Чего злиться-то? — спросил Андрей. — Я и есть Андрей Степлер. Не смотрите, что такой молодой, но это правда. Я — Андрей Степлер.

— Ты? — с сомнением спросил приезжий. — Ты Андрей Степлер — селекционер?

— Я.

— Это ты произвел «Фрау Мозель» и крыжовенную клубнику?

Юноша скромно опустил глаза.

— Плодовита Россия талантами, — сказал незнакомец. — Что ни дом, то талант, что ни город, то родина гения!.. Я граф Опулеску — поверенный Его Величества Самодержца России. Надобно мне, чтобы ты в полгода произвел на свет красивый и вкусный фрукт, доселе невиданный на свете! Чтобы не было в природе ничего похожего и подобного! Понял?

— Тебе нужно или царю? — спросил дед Андрея.

— А с тобой, старик, я разговора не веду!

— Ну и езжай своей дорогой, — махнул рукой дед. — У Андрюшки и без твоего фрукта дел навалом! Езжай, любезный!

Ну и семейка, подумал про себя граф Опулеску. Если бы не причуда царя, всех бы порубал!

Поверенный вытащил из-под мундира грамоту с сургучом и протянул Андрею.

— Вот тебе царский указ! И помни: полгода сроку!

На этом Опулеску забрался в карету и отбыл в своем направлении.

Через полгода царю на десерт была подана неизвестная ягода с удивительным вкусом. Ягода пьянила, сластя язык, и будоражила воображение юношескими фантазиями.

— Что за ягода? — спросил царь.

— Драгомилка, — ответил повар.

— Не слыхал... А где взяли?

— Так по вашему указу. Чанчжойский селекционер Андрей Степлер произвел.

— Ах да!.. — вспомнил царь. — Славная ягода!

Более царь ничего не сказал, доел ягоды и отправился на военный совет.

Когда Андрею исполнилось двадцать пять лет, он влюбился. Девушку звали Дусей, и была она вся хлебная и соблазнительная. Дусе тоже нравился Андрей, ей льстило, что ухажер известен не только на всю округу, но даже и самому царю, если народ не врет. Она даже была готова выйти за садовода замуж, но, видимо, бес толкнул ее под ребро или еще что, да только когда молодой Степлер, собравшись с духом, сделал ей предложение, она ответила, что обязательно за него выйдет, но лишь тогда, когда он произведет на свет синие яблоки.

— Пусть они станут свадебным подарком! — сказала девушка и тут же поняла, что натворила, ведь для выведения нового сорта яблок понадобится не менее года.

Дуся была слишком горда, чтобы отказаться от своего условия, а оттого Андрею ничего не оставалось делать, как взяться за работу.

Селекционер трудился не покладая рук, подбирая яблоки с проблесками синего и неумолимо скрещивая их. Все, казалось бы, шло как надо. Прививки распустились весной яблоневым цветом, к середине лета цветки превратились в зеленые яблочки, и Андрей в уверенности своей назначил день свадьбы.

Но как оно зачастую бывает, человек предполагает, а звезды располагают. Яблоки поспели и попадали на черную землю, но среди них не было ни одного синего плода. Были и красные, и желтые, и разноцветные, но, увы, ни одного синего.

— Может быть, тебе на следующий год повезет! — сказала Дуся в своей горделивой жестокости. — Подождем следующей осени.

Но и на следующий год не получилось синих яблок.

Семнадцать лет Андрей отчаянно трудился, чтобы достичь желаемого, а Дуся, поникшая в своем девичестве, по привычке ждала обусловленного свадебного подарка, такая же гордая, как и много лет назад.

Осенью Андрей собрал урожай, в котором нашел черное яблоко. Садовод понял, что разгадка близка и что на следующий год он получит синие яблоки и наконец женится. Он ничего не сказал своей возлюбленной, а стал терпеливо пережидать зиму.

Весной Андрей сделал новые прививки, а осенью яблоня осыпалась синими плодами.

— Я женюсь, — сказал Андрей своему отцу, собрав яблоки в лукошко.

— На ком, сынок? — спросил Михаил Драгомилович.

— На Дусе, папа. Ты же помнишь ее.

— Так она же замужем! — удивился отец.

— Как замужем?!

— Разве я тебе не говорил?.. Уж второй год.

Андрей уронил лукошко, и синие яблоки раскатились по полу.

— Второй год за порядочным человеком... За капитаном Ренатовым, что ведает хозяйством в дивизионе Блужнова...

Через полгода Андрей заболел. Доктор Струве поставил диагноз — диабет. Хорошего лекарства от этой болезни не существовало, а оттого врач смотрел на больного с человеческим состраданием.

Но будучи естествоиспытателем, привыкнув работать со всякими удобрениями и химикатами, Андрей вскоре изобрел чудотворную жидкость, поддерживающую его больной организм, и назвал ее формолью.

А еще через два месяца умер отец Андрея Михаил Драгомилович. Схоронив на городском кладбище последнюю родную душу, сорокатрехлетний садовник продал свое хозяйство и постригся в монахи. Все вырученные деньги он передал чанчжозьскому монастырю, а также принес ему в подарок бережно выкопанную яблоню, родящую синие плоды, которую и посадил в монастырскую землю.

Эти синие яблоки и приносил митрополит Ловохишвили на городской совет.

Нельзя сказать, чтобы отец Гаврон часто вспоминал свою жизнь. Нет. Он не был тем человеком, который любит смаковать свои горести, беря душу нарочными воспоминаниями. Если же что-то и напоминало в природе отцу Гаврону его несбывшиеся мечты, то монах в такие моменты просто грустно вздыхал и читал про себя какую-нибудь длинную молитву. Это помогало.

Безусловно, он простил Дусю сразу, оправдав ее поступок тем, что сам не обладал достаточным садоводческим талантом, дабы в первый год произвести на свет синие яблоки.

Судьба Дуси тоже сложилась не лучшим образом. Побыв несколько времени счастливо замужем, она во время знаменитого чанчжойского нашествия разом потеряла все — и своего возлюбленного, разорванного на кусочки ошалелыми курами, и дом, рухнувший теплыми стенами внутрь.

Отец Гаврон по-свойски, по-родственному отпевал капитана Ренатова, а вернее, то, что осталось от отставника, — небольшой сапог, наполненный кровавой жижицей.

Через некоторое время, через год, что ли, он встретил Дусю на городском базаре. Они постояли несколько возле картофельных гор, смотря друг другу в глаза.

«Как ты, Андрей?» — спрашивали Дусины глаза.

«Ничего», — отвечали Андреевы.

«Может быть, что-нибудь изменим в нашей жизни?» — хлопала ресницами женщина.

«Ушло наше время. Поздно».

— Ну что ж, Андрей, — сказала Дуся на прощание. — Всего тебе хорошего...

Отец Гаврон поежился от ветра, забирающего ледяными лапами под его тулупчик, и посмотрел вниз с вышки. Что-то в курином столпотворении, какая-то дисгармония привлекла его внимание. Монах пригляделся, прищурился, и различил ползущую на четвереньках фигуру. Куры шарахались в разные стороны от крадущегося, наскაკивая друг на друга и недовольно кудахтая.

Вор, подумал отец Гаврон и тут же спохватился: зачем кому-то понадобилось воровать кур, когда их и на воле достаточно?

Монах более внимательно пригляделся и увидел, как человек ловко схватил рыжую курицу за крыло и свернул ей в одно движение шею. Через мгновение он произвел ту же процедуру с другой несущкой, а затем и с третьей.

— А ну-ка стой! — закричал с вышки Гаврон. — Стой, стрелять буду! — и передернул затвор «фоккель-бохера».

Человек поднялся с четверенек и рванулся к бетонной стене, стараясь с разбегу наскочить на нее и перепрыгнуть. С первой попытки ему это не удалось, а со второй он дотянулся до бетонного края, закинул на него ногу, но застрял, удерживаемый колючей проволокой.

Слишком малого роста вредитель, подумал монах. А то бы перескочил!

Гаврон спустился с вышки и побежал к ограде, распугивая на бегу жирных кур.

Господи, подумал он, добежав до стены. Да это же мальчишка!

— А ну слезай! — приказал монах.

— Не могу, — ответил Джером.

— Почему это?

— Потому что застрял. Проволока в ногу впилась.

Монах поглядел на стену и заметил, как из голой ноги мальчишки сочится кровь.

— Ты, это, не шевелись, — предложил отец Гаврон. — Я сейчас за лестницей схожу.

Монах отправился за лестницей, размышляя, зачем мальчишке понадобилось сворачивать курам шеи. Садист, что ли, предположил он. Среди детей много садистов...

Между тем Джером висел на стене и думал, что с ним произойдет, когда вернется с лестницей отец Гаврон и снимет его. Мальчик попытался отцепиться самостоятельно, но ежик колючей проволоки еще крепче впился в его ляжку, вгрызаясь в самое мясо.

Бить будет, подумал Джером.

Через несколько минут отец Гаврон воротился, волоча за собой длинную лестницу, подставил ее к стене и, скинув тулупчик, забрался на стену.

— Больно! — взвизгнул Джером, когда монах попытался вытащить из его голой ноги железную колючку.

— Терпи! Не я вором прокрался на производство, а ты.

Мальчик закусил губу от боли, а монах расшатывал проволоку, зубьями зацепившуюся за кожу.

— Сейчас!.. — и резко дернул.

— У-у-у! — завопил Джером.

Отец Гаврон отвел мальчика в охранное помещение, где туго перебинтовал его поврежденную ногу, затем наладил самовар и, разомлевши в тепле, кинул свой тулупчик в угол.

— Ты кто? — спросил он Джерома.

— Воспитанник Интерната имени графа Оплаксона.

— Как звать?

— Джеромом.

— А фамилия?

— Ренатов.

— Ренатов? — удивился монах. — Ты Ренатов?

— А что? — удивился в свою очередь такой реакции Джером.

— Нет, ничего... Просто я знавал одного человека с точно такой же фамилией, как у тебя.

— Кого?

— Да так... К тебе он не имеет никакого отношения. Был когда-то такой капитан Ренатов, царство ему небесное...

— Это мой отец, — сказал мальчик и поморщился от боли в ноге.

— Как твой отец? — изумился монах. — У капитана Ренатова не было детей!

— Были.

— Да ведь не было! Я бы знал об этом!

— Отпустите меня, — попросил Джером. — У меня нога болит!

— Вот интересно-то!.. Сын капитана Ренатова... А зачем же ты курам головы сворачивал?

— Зачем, зачем!.. Они заклевали моего отца!.. Ну отпустите! — взмолился мальчик.

— Да ты хоть чаю попей! — засуетился монах над кипящим самоваром. — Согрейся! Поди, совсем замерз в коротких штанах!

— Ладно, — согласился Джером. — Чаю попью.

Отец Гаврон разлил по стаканам чай, достал из шкафчика что-то, завернутое в тряпочку, развернул ее и выложил на блюде медовые соты, блестящие точно так же, как самоварный бок, и полные густого тягучего меда.

— Ешь, — предложил монах. — Согревайся.

Мальчик взял янтарный кусочек и равнодушно принялся его посасывать, запивая чаем. Иногда он косился на отца Гаврона, словно проверяя, не задумал ли он какую-нибудь пакость. Но монах покойно пил свой чай, позвякивая стаканом о блюде, и смотрел в ответ на Джерома с какой-то грустью, словно вспоминал что-то сентиментальное.

— Надо же, сын капитана Ренатова, — сказал себе под нос отец Гаврон. — Ну ладно, пусть будет так.

— А вы чего, сторож? — спросил Джером.

— Сторожу, — ответил монах.

— А как же вы — монах и с ружьем? Застрелили бы меня?

— Застрелить бы не застрелил, но в воздух бы пальнул.

От горячего чая лоб мальчика заблестел мелкими капельками пота.

— Первый раз вижу монаха с ружьем, — сказал он.

— Что поделаешь, все когда-то происходит в первый раз...

Отец Гаврон задумался, взял было кусочек медовых сот, но затем положил его обратно на тряпочку.

— Все ж ты кур не убивай. Твари-то они живые. Не ты им жизнь давал, не ты и забирай.

— А чего их здесь так много? — спросил Джером, пережевывая воск и завязнув в нем зубами. — Чего они к нам в город пришли? И вообще, чего они все время клюют, жрут без конца?!

— А это только одному Богу известно.

— Я так вот считаю, — продолжал мальчик. — Если в природе кого-то много, значит, произошла какая-то ошибка. Обычно те, кого много, не приносят пользы, зачастую только вред. А те, кого мало, — благородны. Вот, например, лоси. Их мало, они красивы, никому не причиняют зла, просто живут себе, пережевывая травку. Очень хорошее животное.

— Людей тоже много, — заметил монах.

— А что люди? Лучше бы стало, если бы их было столько же, сколько лосей. Да, людей много, а потому им всегда чего-то недостает. Поэтому они ищут и делают то, чего мало. Люди едят лосей после охоты, и лосей от этого становится еще меньше.

Джером глотнул из стакана остатки чая, звучно рыгнул и вытер рукавом губы.

— Отпусти-и-те меня!. — внезапно заканючил он. — Мне идти-и надо... Меня и так все бьют!.. Мне совсем не хочется, чтобы вы меня би-и-ли!..

— Да кто ж собирается тебя бить! — рассердился отец Гаврон. — Иди себе на здоровье на все четыре стороны!

— Спасибо за чай, — сказал мальчик обычным голосом и направился к выходу. Возле дверей он обернулся: — А вы любите курятину?

— Что?.. Курятину?.. Нет, я вегетарианец, — ответил монах.

— А-а, — кивнул головой Джером и выскользнул наружу.

Станный мальчик, подумал отец Гаврон. Считает себя сыном капитана Ренатова и сворачивает курам шею...

Пробили часы.

Пора лезть на вышку, спохватился монах, натянул тулупчик и повесил на плечо семизарядный «фоккель-бохер».

А действительно, чего у нас в городе столько кур? — задумался отец Гаврон, созерцая с вышки океан из перьев и гребешков. Чего они пришли? Чего клюют безостановочно?.. Хорошо это или плохо, что их так много?..

Монах откупорил бутылку с формолью, налил жидкости в стаканчик, опрокинул его в себя, затем спрятал лицо в косматый воротник и задремал под завывание ветра.

18

— Удалось ли вам отыскать ключ? — с порога спросил Генрих Иванович и поморщился, глядя на Теплового. Уж больно неприятное зрелище он собою представлял. Глаза учителя ввалились, а белки подернулись красным. Волосы были еще более нечесаны, и при любом движении с них валилась крупная перхоть. — Отыскали разгадку?

— Деньги принесли? — поинтересовался глухим голосом Гаврила Васильевича.

От этого вопроса Шаллер одновременно и обрадовался, и почувствовал, как под сердцем что-то екнуло, затем лопнуло, выпуская в кровь адреналин.

— Денег не принес, — растерянно произнес полковник. — Вам удалось это сделать?!

— Да, мне это удалось, — с высокомерием ответил Теплый. — Поверьте, это было нелегко. И это стоит моего гонорара.

— Деньги я вам принесу завтра или, если хотите, сегодня вечером... Могу ли я взглянуть на расшифровки?

— Погодите! Я только ночью второго дня отыскал ключ. Вы принесли мне более пятисот листов, и, даже зная ключ, требуется значительное время, чтобы расшифровать и переписать такое количество страниц... Помните, вы говорили, что это лишь малая часть того, что написала ваша жена?..

— Да, это примерно шестая часть, — подтвердил полковник. — Но хоть что-то вы переписали?

Шаллер нервничал, и это не ускользнуло от Теплого.

— Пока не стоит так переживать! — сказал он и взмахнул веником своих волос. — Я переписал что-то около десяти страниц.

Генрих Иванович быстро посмотрел в глаза учителю.

— То, что я прочитал, — продолжил Гаврила Васильевич медленно, с расстановкой, — то, что я прочитал, представляется мне летописью... Летописью города Чанчжоэ... Знаете, к какому выводу пришла ваша жена уже на первой строке своих записей?.. К выводу, что название Чанчжоэ переводится как Куриный город. Не скрою, мне это льстит.

— Могу я посмотреть эти страницы?

— Да, конечно.

Теплый взял со стола папку, открыл ее, вытащил с десятков рукописных листов и передал их Шаллеру.

— Надеюсь, я заслужил свой гонорар?

— Что вы говорите? — спросил полковник, уставившись в бумаги.

— Я говорю, что моя работа заслуживает обусловленного гонорара.

— Да-да, конечно! Я же сказал вам, что деньги будут сегодня вечером. — Полковник не спеша проглядывал страницы. — Но я бы хотел, чтобы вы также передали мне и ключ к шифру.

Гаврила Васильевич замялся.

— Дело в том... э-э... Вся проблема заключается в том, что ключа как такового не существует.

— Как это?

— Понимаете ли, полковник, ключа к шифру вашей жены традиционным способом найти невозможно. Шифр совершенен. Единственное, что я мог сделать в такой ситуации, — это... — Теплый передернул плечами. — Боюсь, что вы мне не поверите...

— Говорите.

— Ну как бы мне это вам объяснить попроще... Ваша жена, как мне представляется, не конструировала шифра. То есть она не изобретала его специально. Он явился ей сам, путем прозрения или озарения, как хотите это называйте. В общем, разгадать такой шифр, лишенный видимой логики, обычным путем анализа и сравнений невозможно. Честно говоря, в какой-то момент я отчаялся справиться с задачей. Мне оставалась лишь единственная возможность — ждать озарения. Как видите, я его дождался.

— Странно, — сказал Шаллер.

— Вы мне не верите?

— Ну а как вы хотите? Я плачу вам солидную сумму за ключ, а вы говорите, что его не существует. Может быть, вы, не справившись с задачей, хотите подсунуть мне, как вы говорите, летопись Чанчжоэ, написанную вами, а не моей женой. Может быть такое?

Теплый опешил.

— И вдобавок получить с меня гонорар!

Все высокомерие, проистекавшее от Гаврилы Васильевича минутами ранее, в мгновение улетучилось. Вся его фигура, выражение лица и глаз, все напоминало несправедливо побитую собаку, верой и правдой служившую хозяину и от него же претерпевшую побои.

— Честно говоря, я не подумал об этом.

— Видите... И что бы вы сделали на моем месте? Как бы поступили?

— Честно говоря, я не знаю.

Генрих Иванович держал в руках бумаги и молчал. Молчал и Гаврила Васильевич. Казалось, что его красноватые глаза вот-вот готовы пролиться слезами, но тут внезапно лицо его просветлело, как будто туча открыла солнце, и серая кожа щек зарумянилась, как у девушки от стыда. Он встрепенулся и сделал длинный шаг навстречу Шаллеру.

— Да как же, как же!.. Есть доказательство!.. Там, в бумагах... Дайте мне их! — Теплый почти вырвал из рук полковника листы. — Вот же, на десятой странице!.. Смотрите!.. — и зачитал: «Елена Белецкая. Родилась восемнадцатого сентября третьего года чанчжоэйского летосчисления». —

Теплый заискивающе посмотрел на Генриха Ивановича и захолопал глазами. — Ваша жена родилась восемнадцатого сентября? Ведь так?

— Да. Моя жена родилась восемнадцатого сентября.

— Ну вот видите? Мог ли я, спрашивается, знать об этом?

— Могли, — ответил Шаллер. — Вы могли без труда об этом узнать. Информация не секретна.

Славист вновь погрузился, и плечи его опустились.

— Значит, все мои усилия напрасны? — печально спросил он.

— Вполне вероятно, что в последующих страницах будет больше доказательств, — жестко ответил полковник.

— Наверное, вы просто не хотите платить мне денег?

— Вы нуждаетесь?

— Отчаянно.

Генрих Иванович вытащил бумажник и достал из него сотенную купюру.

— Вот вам за десять страниц. В ваших интересах поскорее закончить расшифровку и предоставить мне доказательства. Тогда вы сможете вести достойную жизнь в течение двух лет.

Теплый взял из рук полковника сотенный билет, сложил его вчетверо и спрятал в нагрудный карман.

— Я буду приходить каждые три дня, и вы будете мне передавать переписанные страницы. Каждую неделю я буду выплачивать вам по сто рублей до тех пор, пока из бумаг не будет явно видно, что написаны они моей женой. Согласны?

— Вы меня зажали в угол! — тяжело вздохнул учитель. — Мне больше ничего не остается делать.

Шаллер свернул страницы трубочкой и засунул за борт кителя.

— Всего хорошего, — попрощался он и вышел вон.

Как только полковник закрыл за собой дверь, Гаврила Васильевич совершенно преобразился. От его вида побитой собаки ровным счетом ничего не осталось. Лицо учителя оскалилось в ярости, он глухо зарычал, сжимая кулаки, и со всей силы ударил ногой по стеллажу с книгами. От такого внезапного сотрясения книги с верхней полки не удержались и посыпались на пол, как коровьи лепешки. Падая, они раскрывались в тех местах, где имелись цветные иллюстрации, и через мгновение весь пол маленькой комнаты стал похож на стенд патологоанатомической выставки.

Глядя на фотографии вскрытых тел, на их кровавые повреждения, Теплый впал в состояние аффекта. Из уголков его губ показались пузырьки пены, глаза подернулись мглой, а пальцы на руках быстро сжимались. Славист раскачивался на ногах, с пятки на носок, как засохшее дерево, и испытывал непреодолимое желание убить. Он отчетливо представил себе картину, как его длинные ногти впиваются в кадык полковника, разрезая кожу на шее, словно бритвой, как кадык вываливается из обнаженных мышц скверным яблоком, как полковник хрипит и пучит в дикой боли глаза, моля о пощаде. Но Теплый не ведает сострадания, он продолжает убивать с улыбкой превосходства на лице, пока большое тело полковника не падает бездыханным на пол.

Гаврила Васильевич очень хотел уехать из Чанчжоэ, все его существо стремилось в сердце Европы, а потому нежная душа не выдержала столь сильного удара судьбы и трансформировалась в душу с необузданными страстями.

Генрих Иванович заперся на веранде и разложил перед собой страницы.

«История Чанчжоэ насчитывает чуть более сорока лет, — прочитал Шаллер первую строчку. — Первый день летосчисления приходится на осенний день, когда луна стояла против солнца. Сорок лет назад на месте города была голая степь. В этой степи, безветренной и сухой, в небольшой землянке поселился первый чанчжоэский житель, отец-пустынник Моха-

мед Абали, человек, достойный в своем послушании божественного зова. Откуда и зачем пришел в нищую степь Мохамед Абали — ничего этого не известно. Единственное, что имел при себе пустынный из мирских вещей, была жестяная кружка, в которую он с вечера насыпал песок, а к утру получал из него воду.

Все время дня, от бледного рассвета до кровавого заката, Абали проводил в чтении Ветхого Завета и размышлениях о бытии земном. Его душа была покойна и постоянно глядела своим острым концом в небеса, готовая сорваться к облакам по любому мистическому знаку природы. Таким непритязательным образом Мохамед прожил несколько месяцев, пока какая-то болезнь не посетила его тело. Осчастливленный пустынный уже было собрался отправиться к отцу всего живого, как возле его землянки появился некий человек с кожаным саквояжем, назвавший себя доктором Струве и ставший впоследствии вторым чанчжойским жителем.

Несмотря на активные протесты Мохамеда Абали, доктор Струве освободил его больное тело от недуга и поселился рядышком с землянкой пустынного, выстроив себе нечто вроде хижины.

Вскоре в Чанчжое, нагруженные поклажей, вошли еще пять жителей с черным цветом кожи. Это была семья африканских переселенцев, состоящая из двух взрослых и троих детей. Негры принесли с собой пятерых кур-несушек и одного худого петуха, который без устали снабжал стол переселенцев свежими оплодотворенными яйцами.

Восьмым жителем города стала молодая особа, назвавшая себя мадемуазелью Бибигон и родившая в законное время троих мальчиков доктору Струве. Вследствие этого отец троих детей был вынужден выстроить для своего семейства более подходящее жилище. Доктор возвел чудный двухэтажный дом и разбил вокруг него садик с яблоньками и помидорными кустиками.

Но не только один доктор Струве показал чудеса строительства. Не сидели сложа руки и негры. В невозможные сроки африканцы возвели в отдалении церковь, в которой по вечерам пели джаз, прихлопывая в такт в ладоши и стремясь таким манером развеселить Бога.

К концу первого года чанчжойского летосчисления в городе появился бравый генерал Блюянов, приведший с собой двадцать солдат, которые усиленными темпами принялись строить казармы улучшенного типа. По вечерам солдаты вышагивали строем, четко выполняя повороты направо и налево, а также кругом по командам Блюянова.

Мадемуазель Бибигон, завершившая кормление грудью, оставила доктора Струве и перешла жить к генералу, родив от него трех девочек. Блюянову пришлось на время отставить строевые учебы и бросить солдат на строительство подабающего жилья для своего многодетного семейства.

К середине второго года в Чанчжое прибыл г-н Контата с целой вереницей повозок, груженных импортными товарами. Предприимчивый и энергичный, он одолжил у Блюянова солдат за щедрую плату и занялся капитальным строительством. Под его руководством военные в невиданные сроки построили шестнадцать домов под черепичными крышами, двери которых Контата запер на ключ в ожидании потенциальных покупателей.

Через два месяца в Чанчжое случилось первое горе. В два дня вымерло все африканское семейство, оставив в наследство городу церковь и своих кур. В попытке вылечить негров доктор Струве оказался бессильным, ссылаясь на то, что болезнь науке неизвестная и, по всей видимости, является прерогативой только черного населения.

Но так или иначе, негры отправились на африканскую часть неба, а белые освоили их жилища и имущество, задавшись вопросом, что делать с церковью. Но, как говорится, свято место пусто не бывает, и в один из ненастных вечеров в Чанчжое на старом муле въехал бородатый человек в церковных одеждах и представился митрополитом Ловохишвили, прибывшим в город по распоряжению самого Папы Римского.

Новоявленный митрополит поселился в одном из домов, выстроенных г-ном Контатой, и переименовал африканскую церковь в русский православный храм.

Каждое утро и вечер Ловохишвили проводил в храме службы, внушая прихожанам почтение к морали и к божественному всевидению. Особенно митрополит делал упор на мятущуюся душу мадемуазель Бибигон, стремясь сдержать ее плодовитое чрево в рамках одного семени. Располневшая дама со слезами на глазах внимала духовному отцу, раскаиваясь, а затем умиляясь во внезапном прозрении.

Вскоре мадемуазель Бибигон переехала в дом г-на Контаты и в положенное время разродилась двумя девочками и белокурый мальчиком, своими чертами напоминающими постороннего человека, не живущего в Чанчжоэ.

К концу второго года в городе появился субъект с роскошной гривой волос и красивым разрезом глаз. Вместе с субъектом в Чанчжоэ прибыли и десять голов молодого скота. Восемь телок и с ними два бычка, на тот случай, если один из бычков сдохнет.

— Скотопромышленник Туманян, — представился новичок. — Буду тут у вас жить, разводить скот.

На следующий день в городе была зафиксирована первая торговая сделка. Г-н Контата променял один из своих домов на трех самых упитанных телок г-на Туманяна в надежде на парное молоко.

Скотопромышленник вселился под черепичную крышу, здраво рассуждая, что ни одна телка без быка доиться не будет, а значит, можно рассчитывать и еще на один дом.

Тридцать третьим жителем города стал каменщик по фамилии Персик. Отдохнув от перехода, этот плюгавый человек на следующий день ушел в разведку и вскоре явился обратно со счастливым известием, что неподалеку есть месторождение булыжника.

— Я буду мостить главную площадь города! — возвестил он и тут же хотел взяться за тяжелую работу.

Но возникли непредвиденные сложности. Каждый из чанчжоэйцев справедливо полагал, что главная городская площадь должна располагаться как раз против окон его дома, а если мостить будут в другом месте, то площадь будет не главной, а второстепенной, и если в Чанчжоэ пока нет главной площади, то абсурдно мостить сначала второстепенную.

— Все дома мои! — привел довод г-н Контата. — Поэтому площадь должна быть разбита там, где я укажу!

— Не все дома ваши! — возмутился скотопромышленник. — У меня тоже есть дом! И у остальных имеются.

— А я командую армией! — пригрозил генерал Блюянов. — Я наведу в городе порядок! Не терплю анархии!

— Площадь должна быть построена напротив моего дома! — заявил доктор Струве. — Я — первый житель города! Тем более я — врач. Если кто-нибудь заболит, то я обязан в кратчайшие сроки добраться до больного. Поэтому я должен жить в центре города.

Доводы сочли бы убедительными, если бы не мадемуазель Бибигон, напомнившая всем, что доктор Струве отнюдь не первый житель города, а что наипервейшим аборигеном является отец-пустынный Мохамед Абали, а потому с ним должно посоветоваться.

— Хорошо, — согласился г-н Контата. — Спросим отшельника. Тем более надо его проведать, может быть, он умер давно.

Жители города в полном своем составе отправились к землянке Мохамеда Абали, и каково было их удивление, когда в ней они обнаружили не только цветущего отшельника, но и пожилую женщину, кормящую пустынного горячими пирожками. За занавеской в землянке находились еще пятеро человек, трое мужчин и две женщины.

— Моя мама. Прошу любить и жаловать, — представил женщину Мохамед. — А это мои братья и сестры.

Все и полюбили маму Абали, на безымянном пальце которой сверкал двадцатикаратный бриллиант.

— Площадь должна быть разбита напротив дома моего сына! — сказала мама. — Он первый житель города.

— Но ведь у вашего сына нет дома! — заметил Контата.

— Будет, — ответила мама и сняла с пальца кольцо. — Этого хватит на дом?

— Вполне, — подтвердил владелец недвижимости. — Этого хватит на самый большой дом. На четырехэтажный.

Так в городе была заключена вторая сделка. Семья Мохамеда Абали вселилась в новый дом, а каменщик Персик с удовлетворением приступил к разбивке главной площади.

В начале третьего года в городе появился дерзкий мужчина по фамилии Иванов и предложил горожанам выстроить ветряные мельницы, к которым, в свою очередь, подсоединить динамо-машины.

— Таким образом, — пояснил он, — таким образом, можно убить сразу двух зайцев: и зерно молоть в муку, и энергию пустить на электричество.

— А у нас нет ветра, — ответили чанчжоэйцы.

— Как нет?! — удивился Иванов.

— Так, нет... Безветрие...

Но дерзкий мельник не поверил горожанам и остался в Чанчжоэ на некоторое время, дабы уличить жителей в коварном обмане.

Мукомол поселился в доме Мохамеда Абали, заплатив за постой с обедами некоторые деньги. В течение двух месяцев он мучился бездельем, частенько выбегая на улицу, в особенности когда ему казалось, что порывы ветра наконец-то продувают городские улицы. Но всякий раз Иванов неизменно обманывался: ветра не было. Настойчивый мужчина слюнявил пальцы, поднимая их высоко над головой, как опытный капитан в штиль, надеясь уловить хоть какое-то движение атмосферы.

— Безветрие у нас, — в который раз пояснял Мохамед Абали. — Ехали бы вы в свои края строить мельницы. А то квалификацию потеряете и все деньги на постое проживете.

В один из дней постоялец Мохамеда Абали выглянул по привычке в окошко и увидел, как по булыжной мостовой в сторону севера передвигается обгрызенный кусочек бумаги. Бумажка подпрыгивала, крутясь в воздухе, и, казалось, ласкалась, обдуваемая воздушными потоками.

— Ветер, — прошептал Иванов. — Ветрина! Ветрище!

В одном исподнем мукомол выбежал на улицу и с восторгом помчался за бумагой. Он шлепал босыми ногами по булыжникам, простирая к чудесному знаку свои руки. И каково было его изумление, когда, догнав бумажку и подхватив ее на руки, он обнаружил привязанную к ней ниточку, конец которой держал в гадких ручонках босоногий мальчишка и криво ухмылялся.

— Будь проклят этот город! — закричал в отчаянии мельник. — Будь прокляты его люди! Прочь отсюда! Немедленно!

За пятнадцать минут обманутый в своих надеждах, униженный мукомол собрал пожитки и, весь в слезах, чертыхаясь, отбыл из города в неизвестном направлении.

Вечером того же дня на фасаде дома Мохамеда Абали появилась вывеска, лаконично гласящая: «ГОСТИНИЦА».

Наутро новоиспеченную гостиницу освятил митрополит Ловохишвили. Посланник Папы обкурил ее ладаном и опрыскал все углы святой водой. Позже, оставшись наедине с Мохамедом Абали, митрополит спросил его:

— Не мусульманское ли имя твое?

- Важно ли имя? — рек первый житель. — Суть важна.
- Веруешь ли ты в православного Бога или поклоняешься Аллаху? — спросил митрополит.
- Ведь пустынный я, русский отец-пустынный.
- А где твои книги и размышления?
- Здесь. — Мохамед постучал костяшками пальцев себя по лбу. — Все книги и размышления здесь сокрыты.
- А поступки где твои? — не унимался Ловохишвили.
- Поступки будут.
- Приходи сегодня в храм, — наказал настоятель.
- Приду, — пообещал Абали.
- Отец-пустынный сдержал свое слово и на закате пришел в чанчжойский храм.
- Надо бы тебе имя другое выбрать, — сказал митрополит.
- Зачем? — удивился хозяин гостиницы.
- Православное имя тебе надобно.
- А чем мое плохо?
- Не понимаешь ты своей ответственности перед городом! — посетовал посланник Папы. — Ты первый житель города! Ты русский отец-пустынный! Ты история русского города Чанчжое! *Твое* имя останется в памяти человеческой на века!.. — Ловохишвили понизил голос до шепота: — Боюсь, что после смерти твоей мусульмане оспорят право русского человека владеть этим городом! И приведут доводы, что, мол, ты специально был послан в эти степи, дабы организовать новый город под оком Аллаха — мусульманский город. Понимаешь?
- Понимаю, — шепотом ответил Абали.
- Придут орды фанатиков и сотрут с лица земли, что нами построено было! Женщин изнасилуют!..
- А что делать? — с ужасом спросил Мохамед.
- Имя менять надо. На православное. Согласен?
- Первый житель пожал плечами:
- Надо так надо. Ничего не поделаешь.
- Ну вот и хорошо, — обрадовался митрополит. — Какое хочешь? Хочешь, Еремеем наречем, а хочешь, Степаном?
- Да не ахти имена какие, подумал Абали. Другие давайте.
- Как тебе — Елизар?
- А еще?
- Может быть, Самуил?
- Нет.
- В самом деле, разборчивый ты какой-то! — рассердился Ловохишвили. — Имена ему не нравятся!.. Выбирай скорее! — И предложил: — Иван?
-
- Игнат?
- Ох...
- Булат?
- Не нравится... А можно, я сам имя сочиню? — спросил Мохамед.
- Сам? — удивился митрополит.
- В русском духе.
- В русском духе?.. Ну что ж, попробуй...
- Пустынный задумался на полчаса, а потом сказал:
- Хочу быть Лазорихием!
- Лазорихием... — пожевал на языке посланник Папы. — Лазорихий... А что?.. Ничего имя... Лазорихий... Будь по-твоему! Отныне будешь зваться ты не Мохамедом Абали, а Лазорихием! Так и запишем в святцы!
- А фамилия? — поинтересовался новоиспеченный Лазорихий.
- А первому жителю фамилия не нужна! Ты миф!..

Таким образом и произошел Лазорихий, а землянка отца-пустынника благодаря материнской заботе переродилась в гостиницу.

В конце третьего года существования Чанчжоз в городе появился мужчина приятной наружности. Обут он был в лаковые сапоги, затянут в кожаную жилетку, а на голове его, на черных как смоль волосах, была надета красно-зеленая жокейская шапочка. Надо отметить, что мужчина прибыл в город не пешим, а красиво восседал в дорогом седле на спине длинноногого жеребца, фыркающего то одной ноздрей, то другой. От инкрустированного серебром седла тянулась веревка, и кончалась она узлом на уздечке такой же породистой, как и жеребец, кобылы, следующей в связке.

— Белецкий, — представился мужчина приятной наружности каменщику Персику, мостящему в этот час дорогу. — Где я могу остановиться?

— В гостинице, — ответил Персик.

— У вас и гостиница есть?

— А как же! Вон там, — указал каменщик.

Белецкий проехал в указанном направлении и действительно обнаружил четырехэтажную гостиницу, в дверях которой его встретил приветливый хозяин.

— Добро пожаловать!

Белецкий спешил и, привязав лошадей к коновязи, поднялся по ступенькам к регистрационному бюро.

— Лазорихий, — представился хозяин.

— Белецкий.

— Надолго к нам?

— Навсегда.

— Это хорошо, — обрадовался пустынник и вытащил из папки регистрационный бланк.

— Имя, фамилия?

— Белецкий Павел.

— Сколько лет?

— Тридцать один.

— Род занятий?

— Развожу лошадей.

— Как это хорошо! — воскликнул Лазорихий. — Как это замечательно!

— Что же в этом особенного? — удивился Белецкий.

— А то, что в нашем городе еще никто не разводит лошадей. У нас город безлошадный.

Белецкий улыбнулся и спросил:

— А с девушками как?

— С девушками? — переспросил Лазорихий и сам задумался, как в городе обстоит дело с девушками и вообще с женским полом. — С девушками плохо. Девушек нет.

— Как нет? — удивился Белецкий.

— Вы понимаете, — принялся за объяснения хозяин гостиницы, поднимаясь по лестнице к апартаментам приезжего. — Город у нас молодой, даже юный, можно сказать. В городе есть женщины и подростки, а вот девушки пока еще не успели вырасти. — Лазорихий вставил ключ в замочную скважину, повернул его дважды и распахнул перед гостем дверь. — Но они обязательно вырастут.

Белецкий оглядел комнату, порадовался солнечному свету, играющему пылинками, попробовал на мягкость кровать и, усевшись на матрац, радостно сказал:

— Да Бог с ними, с девушками! Я же переселенец, а у переселенца должны быть лишения. Ограничимся женщинами...

Белецкий оказался талантливым коннозаводчиком. Вскоре кобыла понесла и родила ранее положенного срока шестерых жеребят крейцеровской

породы. Как и следовало ожидать, г-н Контата согласился обменять один из своих домов на жеребенка мужского пола, и Белецкий обрел свой дом.

Как только он обосновался в новых стенах, обогрев их печью и своим дыханием, в жилище появилась женщина.

— Мадемуазель Бибигон, — представилась фемина. — Я люблю вас с первого мгновения, — сказала она просто и обвила шею Белецкого своими пухлыми руками. — Я хочу от вас детей. — И поцеловала коннозаводчика в подбородок.

Ощувив смородиновое дыхание, задрожав от прикосновения мягких женских губ, Белецкий осознал, что в его душу стучится счастье, а потому немедленно открыл ажурную дверку и впустил его без оглядки.

В конце третьего года чанчжозэйского летосчисления, восемнадцатого сентября у мадемуазель Бибигон и коннозаводчика Белецкого родилась девочка, которую, посоветовавшись, нарекли Еленой...»

(Окончание следует.)



ЯН ГОЛЬЦМАН



ОЗЕРНЫЕ ПЕСНИ

* *

*

Чайка озерная — светло-озерного цвета —
Следом за лодкой долго перелетает.
Ждет молчаливо. Изредка, в нетерпенье,
Горестно так голосить начинает по-бабьи.
И отбивает поклоны — клянчит рыбешку.

Если спешу по делу без остановки,
Надвое гладь озерную рассекая,
Птица меня провожает недоуменно:
Перелетает, садится то слева, то справа.
И догоняет, и снова — то слева, то справа...

Нету со мной ни удочки, ни наживки.
Нету в садке ни окуня, ни плотицы,
Только трудно в это поверить чайке:
Если не ловишь рыбу, зачем же плавать?

Вот и мы ожидаем подачи, чуда,
Но плывет в своей синеве Всевышний:
На борту — ни удочки, ни наживки,
А в садке — ни окуня, ни плотицы...

* *

*

Оставаться без друга
В пору, склонную к дождичку частому,
Все равно что безруко
Доживать свои годы рукастому.

Ковылять одиноко —
И ученому и неученому —
Все равно что безного
Пробираться от Белого к Черному.

Но к числу одиноких
Что ни день прибавляются многие
И безруко-безногих
Ищут, ищут безруко-безногие...

Пелусозеро

Сирый туман болот тянется от реки.
Замерли голоса. С кем перемолвлюсь, с кем?
Не далеко ушли здешние старики,
Да глубоко лежат в белом сухом песке.

Стужа того гляди с маху прибьет угор,
Глянет на острова пристальной и лютей.
Озеру тяжелей не было до сих пор,
А каково теперь берегу без людей?

Сосны погоста — там ныне коренники.
Хрусткий снежок падет около Покрова.
— Лиза, пошто легла? Ягода у реки...
— Ты погляди, сестра, осень-то какова!

Новой часовни свет. Тесной могилы мрак.
Рябчик легко бежит по бугоркам могил.
— Вновь балалайку взял, невозмутимый Марк?
— Новую лодку шить думаешь, Михаил?

Катит на берега плотный туман болот.
Медленно затонул, канул последний сруб.
Трубы еще видны. Кажется, гибнет флот:
Миг — и сомкнется гладь, и не увидишь труб...

Отголосил петух. Заледенела печь.
Тронулся материк, стьлой волной влеком.
Вижу: холмы, стряхнув темные избы с плеч,
Сызнова потекли, движимы ледником.

...Искоса просверкнет солнце в проеме туч —
Высветит старый дом, черных понурых птиц.
В каждом окне тогда остро зажжется луч
И на меня глядят столько знакомых лиц...

* *
*

Теплой рукою оно, несомненно, ловчее
Бревна тесать, обнимать дорогую подругу,
Но не податься ли нам наконец в книгочеи,
Если метели опять освистали округу?

Правда, стемнело. Нехватка природного света
Все понуждает припомнить неоны столицы.
Но незакатные зори полночного лета
Разве позволят спокойно взглядеться в страницы?!

А в декабре не успеешь опомниться — темень.
Долгие сумерки полны мышиноного писку.
Эти — не пишут. И вовсе не хочется с теми
Перекликаться и вновь затевать переписку.

Жаром березовым пышет печная утроба.
Книгу берешь — и уже благодарен заране:
Самое время дивиться роскошеству тропа
Или библейскому ладу старушечьей брани.

Горькая книга читается трудно вначале —
Летнее сердце еще не настолько сурово.
Только какая же радость без этой печали?
Каждому времени точно назначено слово.

* *
*

Здоровие царя — здоровье страны.
Все горести твои в душе заключены.
И радости — в душе. Так полагал Сенека.
...И я опять сижу в болотистой глуши,
Стараясь излечить недуг своей души
В краю лесной воды и тающего снега.

Дымится подо мной студеная вода.
Немного отлегло: дух тающего льда!
И птичьи голоса полны очарованья.
Природа, как всегда, сильна и хороша,
Но, видимо, болит и у нее душа —
Дается все трудней искусство врачеванья...

Остров Бабий

Окунь жирует в прибрежной тресте¹:
Всплеск и — тяжелый рывок.
Чайка сидит на могильном кресте.
Ветром продут островок
Бабий.

Груда промытых водою камней.
Зной. Чаичата-летки.
...Все же стожок поднимался над ней,
Ясно белели платки
Бабы.

Вот и рябина уже зажжена,
Лист на рябине — рябой.
Если с моей стороны тишина,
Значит, с другой — прибой,
Волны...

Дни просветлений. Природа права —
С чем, балабол и едок,
Ты приплывал на ее острова?
Время исчислить итог
Странствий.

¹ Трестá — тростник (сев.).

Или не думать теперь ни о чем,
Не торопить срока —
Просто сидеть под закатным лучом
Около островка,
Молча?

* *
*

Неспешно возгораясь на рассвете,
Неслышно угасаем на закате,
Все ожидая звука или знака.
Невыразимы ощущения эти.
Невыразимы? Так чего же ради,
Переводя чернила и тетради,
Ты целый век промаялся, однако?

Себя и близких изводил при этом.
Что видел? Да, считай, одно и то же —
Волну и ветер, дерево и льдину.
И неприметно стал анахоретом,
Забыв, что человеку быть негоже,
Негоже человеку быть едину.

Еще скольжу по озеру с разгону.
Еще взбегаю на гору с разбегу,
Но, ожидая знака или звука,
Уже, покорен древнему закону,
Бумаги жгу, пока по белу снегу
Неспешно приближается разлука.

...Не скоро смолкну под сосной погоста:
Привычки жизни одолеть непросто.
Еще спою! Еще слезу утру.
Жизнь протекла, зато мгновенье длится.
И кажется, что лучшая страница
Напишется в апреле поутру.

* *
*

Терпенье людское и вера людская несносны.
Большак рассекает завалы морозного дыма.
Мгновенно уходят ближайšie, ближние сосны —
Чем дальше деревья, тем медленней движутся мимо.

...Сипит реактивный. Пространство огнистое длится.
Стотысячный город проходит мерцающей точкой.
И не осознать, что придется навек породниться
С каким-нибудь камнем, с какой-нибудь жухлою кочкой.



ОЛЕГ ЛАРИН



С ЕГОРЫЧЕМ В МАГАЗИН. ТУДА И ОБРАТНО

Сцены из захолустной жизни

Туда

По вторникам и субботам они выходят из лесов, чтобы в ближайшем сельмаге, в Курзенева, купить свежий хлеб.

По календарю — весна, а здесь, в Костромском Заволжье, весной и не пахнет. Еще вчера всю жарило солнце, по деревенским улочкам бежали ручьи, отражая мартовскую непорочность неба, со звоном рушились сосульки с крыш, а уже сегодня погода круто повернула к зиме. Снова все покрылось чистой праздничной скатертью. Сугробы белыми медведями легли на пути. Пни-выворотни с судорожно простертыми корневищами напоминают уснувших удавов. И впереди — узкая, заметеленная тропка-кишка, «семь загибов на версту», уводящая в сумрак хвойного леса. Вверх — вниз, с косогора — на косогор, мимо вязких, угрюмых болот и подтаявших ручьев, среди бора-корабельника и колючих кустарников вьется нескончаемая нить — не запятнанная шинами и гусеницами тракторов колея. Дорога — это жизнь, говорили древние. И все, кто населял эти места раньше, и те, кто живет здесь сейчас, о другой дороге не мечтали и не мечтают...

Я вижу, как из Обронькина с котомкой за спиной спешит молодой пенсионер Виталий Васильев. Он тропит дорогу по свежему снегу, скользит на ледяных кочках. Васильев, можно сказать, не идет, а летит, вкладывая в каждый шаг всю страсть соскучившегося по ходьбе человека, когда после длинной череды серых будней и серого однообразия можно наконец размять ноги. Что снег, что дождь — ему все нипочем. По спине Виталия, по его упругим, почти мальчишеским движениям можно догадаться, как приятно ему это студеное прозрачное утро и этот простор, вольный, величавый простор, освобождающийся понемногу от зимы с ее завывающими ветрами и слепящими снежными буранами.

А вот для двух Зин, Емуховой и Андрейковой, которым на пару лет сто пятьдесят, не меньше, дорога представляет цепь непреодолимых препятствий. Старухи идут боязливой семенящей походкой, переваливаясь на полусогнутых, и впереди себя обстукивают тропку здоровенными клюками. Вдруг в сугроб ухнешь до самого бедра? Или вдруг какая лужа откроется, припорошенная утрешним снегом? На подъемах они крестятся, подпирают друг друга плечами. «Ежли провалимся, — говорят себе в утешение, — значит, на то воля Божья. Зато дальше полегче будет, там наст покрепче. А дома обсушимся, обогреемся — запасные валенки есть». И они, обнявшись, выдергивая ноги из снежной трясины, лезут в горку, скользят, падают и заливаются беспечно девичьим смехом.

Из Федулова идут Соломатина Софья Павловна, псаломщица местной церкви, и Евгений Христофорович Селиверстов, по кличке Жека-медонос,

суетливый, тощего вида мужчинка с непросыхающей слезой в левом глазу. Из Сбитенькина спешат супруги Кривокрасовы, из Шотова — толстая старуха Потылицына, из Шамордина — смешливая тетя Шура Иванова с закадычной подругой Катей... Но всех дальше идти Егору Егоровичу Четыркину, Лизе Мухановой и мне. Для нас девятикилометровая дорога до Курзенева выхожена и истоптана, как собственная горница, знакома до боли в суставах.

«Живем, как зайцы на острове», — жалуются мне старики и старухи, последние жители почти уже обезлюдивших лесных деревушек-невеличек: никому, мол, мы теперь не нужны. Но потому и жалуются, что видят во мне какого-никакого, а все же заступника, который может двинуть кого следует печатным словом. И хотя я уже пятнадцать лет являюсь заволжским дачником и не раз писал о здешних неурядицах, толку от этого — чуть да маленько. Нынешние начальники — все эти ТОО-варищи, бывшие гранды колхозного строя, — не читают критических статей, а если и читают — делают вид, что это их не касается. Изменились они только в одном: если раньше, встречая журналиста, пускали пыль в глаза, живописуя собственные достижения, то теперь на все лады и переборы перебивают косточки правительству и скорбят о прежних временах.

Вообще-то в компанию стариков я затесался совершенно случайно. Дней десять назад в моей московской квартире раздался телефонный звонок, и Егор Егорович Четыркин, путаясь в падежах, ошарашил: твой дом, Игрич, обворовали! Прокрались, видимо, ночью, сбили замки, разворошили шкафы и постели, рассыпали по полу муку и крупы, а что из вещей унесли — неизвестно. Так что приезжай...

У меня просто ноги подкосились. Надо же, сколько сил ухлопал, чтобы обустроить дачное гнездышко на окраине костромской чудо-деревеньки, где моя семья проводит лето, — и вот на тебе!.. Пока я рвал и метал, распаляя себя планами мести неведомым мне ворюгам, жена первой пришла в себя.

— Ну и что? Подумаешь, трагедия — ограбили?! — воскликнула она, смирившись с фатальным исходом. — Чему быть — того не миновать! — И привела в пример некоторых наших деревенских соседей, таких же, как мы, дачников, которых грабят чуть ли не каждый год: значит, пришел и наш черед.

Она рассуждала в духе практичного немецкого философа Шопенгауэра: если нельзя избежать беды, то нужно извлечь из нее хотя бы маленькую пользу.

— Чего зря переживать! Это хороший повод поменять замки и обои и заказать новые рамы для окон, — говорила жена, собирая меня в дорогу. — Заодно починишь входную дверь и залатаешь крышу. В последнее время ты совершенно обленился...

И вот с таким напутствием, нагруженный скобяным товаром, я отбыл в свои костромские пенаты. В места глухие, задебряные, в места грибные, ягодные и рыбные, где почти не осталось трудоспособного населения. Но где все чаще и чаще стали появляться приبلудные, подозрительного вида личности на мотоциклах и без, наводящие справки о всех местных и приезжих жителях.

Что это за людишки, откуда и что им надо в наших лесных палестинах? Кое-кто из деревенских утверждает, что это беженцы-переселенцы из ближнего зарубежья. Другие доказывают, что это осужденных за мелкое воровство, расквартированных в соседнем районе, отпускают «на вольный выпас». Третьи говорят, что это самые обычные хулиганы из местных, так называемые «шалтай-болтай», двоечники-второгодники, на которых администрация, семья и школа давно махнули рукой. Вообще мы толком еще не разобрались, что это за людишки. Их появление нельзя объяснить тем, что, мол, все наше общество подверглось криминогенной порче. Дело, по моему, проще и страшнее: возникла новая поросль «двуногих», эдаких че-

ловекоподобных мутантов, лишь внешне похожих на гомо сапиенса, с совершенно иной системой мышления и морали. Рискую навлечь на себя гнев педагогов, но я убежден, что это так...

Как бы там ни было, но деревня приняла свои меры предосторожности — поменяла замки и запоры. Так-то оно спокойнее.

А ведь я помню времена, когда замков здесь не знали. И первое время я удивлялся, зачем это у наружной двери хозяева выставляют палку-пристав. Такие приставы — своего рода знаки, что хозяев нет дома и вход посторонним закрыт, кроме родственников и соседей, — еще не так давно можно было увидеть и в нашем лесном краю, и в Вологодчине, и на архангельском Севере. Пристав, прислоненный к двери, означал, что хозяин скоро придет, он где-то рядом. Пристав в кольцо (оно служило вместо дверной ручки) давал понять, что хозяев придется ждать долго...

Что же стало с моим домом в деревне? Зрелище, я вам скажу, не из приятных: взломанная дверь, разбитые вдребезг окна, хруст стекла под ногами. Даже лампочки вывернули, мерзавцы, не говоря уже о растерзанных простынях и побитой посуде. Вид обезображенного, продуваемого всеми ветрами жилища наполнял душу тоскливым ужасом. Раньше так не пакостили.

Раньше, в эпоху алкогольного дефицита, даже находясь в крошечной глуши российского бездорожья, где до ближайшего магазина — как до ближайшей звезды, вор-забудыга лез в мой дом с чувством некоторого стыда и страха. Он был по-своему деликатен. Его интересовали чай, сахар, дрожжи, на остальное он редко посягал. Из краденого сахара он гнал брагу, из чая варил чифирь. Такого вора можно было остановить крепким запором и увесистым замком. Однажды я даже вывесил на дверях плакат: «В доме установлены капканы и самострелы. Иди обратно, дружок!» Не знаю, может быть, угроза подействовала или же изворотливый ум алкаша нашел другие, более доходные источники «пропитания», но налеты прекратились. И вот нынешнее ограбление...

Что делать — ума не приложу. Вешать новые замки, ставить решетки на окна? Это все бесполезно: вор пошел нынче непредсказуемый, с крутыми, необъезженными страстями. И правит им не только расчет на наживу, но и звериный инстинкт разрушения. Эта нелюдь сметет любые замки, может и дом подпалить...

Века полтора назад в пойме речки Мезы, где стоит моя деревенька, охотился Николай Алексеевич Некрасов и, говорят, именно здесь высмотрел среди местных жителей своего будущего героя — заячьего заступника деда Мазая. Но об этом, кроме дотошных краеведов, уже никто не помнит.

Но зато помнят — и еще как помнят! — какими товарами славились окрестные деревни в достопамятные «нэповские» времена. На эту короткую вспышку всеобщего благоденствия пришли лучшие крестьянские годы. Егор Егорович был тогда сопливым мальцом — годов восьми, не больше, но и теперь может часами расписывать лавку-магазин купца Кукушкина. Она благоухала десятками злых запахов — от соснового душка тары и свежемороженых туш до тропических ароматов спелых золотистых дынь, обложенных соломой. Память детства — как увеличительное стекло.

— Слышь, Игрич, — говорит мне, посмеиваясь, Егорыч. — Эта лавка возле твоего дома стояла. Там, где ты нынче посуду моешь.

И, подождав, пока к нему присоединятся другие ходоки за хлебом, весь распираемый восторгом, продолжает:

— У Кукушкина чего только не было! Вот те крест, ежели вру! Икра черная и красная трех сортов, колбаса медвежья, колбаса языковая, копченая столичная, полукопченая краковская. Едрит твоя муха! Хочешь мяса свежего, копченого, вяленого — пожалуйста. Селедки дунайской аль беломорской — да ради Бога! Вот она, какая штука-то!

По словам старика, нэпман-купец выкладывал перед покупателями желтовато-белые тушки гусей, уток, кур, куски малосоленного, тающего во рту сала с чесночной приправой, батареи банок с густой сметаной, в которой столовая ложка держалась без всякой опоры, с жирным, кофейного цвета варенцом и редькой, проваренной в меду. И покупали эту снедь отнюдь не гурманы, а местные и заезжие крестьяне-единоличники.

После таких рассказов ходоки заметно оживляются: снежная дорога кажется скатертью. Лиза Муханова вспоминает старика Харламова, который основал в нашей деревне колбасную фабричку и за год с небольшим буквально завалил уезд своим сырокопченым товаром. А Евгений Христофорович Селиверстов, в прошлом колхозный бухгалтер, ставит в пример сыроделов из Ломков, которые помимо домашней колбасы выпускали пять сортов сыра и фирменную сметану в специальных горшочках. А сколько здесь было своих пасечников, печников, сапожников, пекарей, кондитеров, маслоделов, грибоваров!..

После того как лучшие хозяева были вырублены коллективизацией, а другие разбежались, рассеялись по городам и стройкам, в некоторых селениях еще работали ларьки с самым необходимым — хлеб продавали, соль, крупу, махорку. Кой-где даже пиво и водочку в розлив. Но когда в центре сельсовета, в Курзенева, начал строиться механизированный мясо-молочный комплекс, призванный, по мысли начальства, «воплотить коммунистическую мечту в зримый образ», торговые точки позакрывались, и оставшиеся на земле люди, в основном пенсионеры, стали жить «как зайцы на острове».

Правда, Жека-медонос и сейчас еще торгует. Его янтарно-пахучий мед, замешенный на биологически чистых клеверах, дорогого стоит. Но главное, Селиверстов продает по-божески. Тридцать тысяч за трехлитровую банку тягучей сладости — разве это цена по нынешним несладким временам?.. Только вот Егору Егоровичу, мне думается, торговля противопоказана. Не вышел он, как говорится, в масть. А все почему? Мешает ему до конца отдаться делу известная мужская слабость.

Довелось мне как-то читать медицинскую статью, в которой на полном серьезе говорилось, что среди русских мужиков насчитывается примерно процентов пять особо стойких гладиаторов застолья, кому алкоголь даже при больших возлияниях не наносит ощутимого вреда. Как будто эти люди защищены невидимой броней. Сомневаюсь, что это так. Но вот что касается Егорыча, абсолютно убежден: даже среди этих пяти процентов — бойцов питейного фронта — он играл бы заметную роль... «Влить бы ему бутылки полторы, эдак чтоб рассолодел, — говорит обычно Лиза Муханова, его ближайшая соседка, — такое начнет откалывать, уноси ты мое горе во чистое поле». Но думаю, что она, как любая женщина, преувеличивает.

Егорыч берет стакан с горделивой природной грацией и пьет долгими, нежадными глотками, как бы удивляясь новизне напитка. И так же долго и молча закусывает, весь обращенный в тайну переваривания пищи. Может сидеть так день, два, сколько позволит наличие жидкого продукта, может спеть и сплясать, если хорошо попросить, но в отключку никогда не впадает. Здешние мужики, которые хлещут спиртное, забыв чокнуться и закусить, зовут его «малопьющим» человеком — в том смысле, что он пьет... пьет, а ему все мало. Думаю, что и сегодня он не даст промаха.

Тропа взлетает и падает, как качели, топорщится наметами снега, путается в зарослях краснотала, и мы с Егорычем прибавляем шаг, оставляя позади себя группу ходоков. Я знаю, почему он торопится: к обеду надо успеть отдоить Ветку. А это дело, прямо скажем, нешуточное, если учесть, что семидесятипятилетний мужик научился дергать соски всего-то полгода назад. Летом крепко занедужила его жена Павлина Степановна, и сейчас еще мучается поясницей, вот и приходится Егорычу выполнять женские обязанности. Вся его теперешняя жизнь регламентирована двухразовой дойкой.

Очень приятно глядеть на него со спины: тело такое упругое, по-кошачьи увилостое, словно внутри его спрятана стальная пружина. Тьфу-тьфу, чтоб не сплзнуть, но мне кажется, что Егорыч и немногие ему подобные не знают износу, они не дряхлеют, не болеют, не чахнут и доживают до глубокой старости; их высохшая плоть, перевитая жилами, долговечнее камня. Я пару раз ухнул в снег до самого бедра, а ему хоть бы хны, ни разу не поскользнулся. Он чувствует себя на тропе как рыба в воде, и ведет его вперед природное ясновидение, седьмое чувство, свойственное охотнику и солдату.

Этой своей увилостой походочкой отшагал когда-то сержант Егорка Четыркин от западной границы до Москвы, затем до Сталинграда, а потом с неодолимо нарастающим темпом достиг он берегов Эльбы, где два дня гужевался с подгулявшими американскими десантниками.

Домой после Победы начальство его не отпустило. «Как так? На каком основании?» — горячился бравый солдат Четыркин. «А очень просто, — объяснило ему высокое штабное лицо. — Ты с какого года служишь, сержант?» — «С октября сорокового». — «Ну, все правильно. Не понимаю, почему ты шумишь. Согласно демобилизационному предписанию, служить тебе еще тринадцать месяцев». — «А война... четыре года?!» — взъерепенился сержант Егорка. «Война в счет не идет», — сказал, как отрезал, штабист и отправил Егора Егоровича в Западную Украину поднимать разрушенное сельское хозяйство...

Перед Федуловской речкой мы останавливаемся. «Речками» здесь называют большие ручьи, из которых летом берут воду на полив и для бани, но сейчас, после утреннего заморозка, Федуловка снова превратилась в ледяное поле. Нам пришлось искать обходной путь.

— Не здесь ли ты «отдыхал» когда-то, Егорыч? — подкалываю я его, напоминая о грехах молодости.

— Что было — то было, — расплывается в улыбке старик.

А было это на Ильин день, в Бог весть каковском году, когда Егорыч ездил в Курзенево за хлебом. («К обеду ждем, к ужину ждем — нет батьки. Куды подевалси? — рассказывала мне со смехом Павлина Степановна. — Лошадь пришла, кнут и шапка евонные на телеге лежат, тут же в аккурат мешки с продуктами, а хозяина нет. Что делать-то? Люба (дочка) в голос, Шарик (собака) в голос: пропал татка родненький! Видать, волки сожрали али фулюганы снасильничали. Пошли искать: Любка — направо, я — налево, Шарик впереди бежит. Искали-искали — нашли татку. В Федуловской речке лежит, сатаноид, и водичка родниковая колыбельную песенку ему поет... Как упился в телеге, так, вишь, и кувырнулся в ручей. И даже не проснулся, оболдуй!»)

— Это еще что! — воодушевляется Егорыч. — Я тут, понимаешь, чуть целую избирательную кампанию не потопил. Вот она, какая штука-то! Был бы выпимши — ладно, а то ведь чист, как стекло. Вот те крест, святая икона!

— Что за избирательная кампания? — удивляюсь я: эту историю слышать еще не приходилось.

— А я ее никому и не рассказывал. Было это, когда мы Берендеево царство строили — коммунизм называется. Это когда девяносто девять плачут, а один смеется.

Мы переходим речку, и шустрая тропинка с твердым настом струится среди зарослей.

— Ну вот слухай, Игрич... Назначили меня председателем избирательной комиссии, провел я выборы в Сбитенькине, Оброськине, Деревеньках, в Жилино тоже заехал. А жили там, понимаешь, две старухи-бобылки. До смертинки три пердинки, а такие зазвонистые — страсть и ужась. Как зачнут языком петли закидывать — не хочешь, а заслушаешься! Три ночки могут сказывать — ни палкой не убьешь, ни семи собаками не заволокешь. Вот у них-то я и задержался, через них и беду себе накликать. Едрит твоя муха!.. А тут еще дождь заладил, ну, думаю, пора ехать, как бы в сель-

совете не заругались. Тогда ведь строго было, что ты!.. Ящик с бюллетнями я на телегу позади себя положил. Гоню лошадь, не разбирая дороги. Переехал Федуловскую речку, и что-то мне в спину ударило, будто током обожгло. Небось сам Господь Бог сигнал мне подал. Оборотился — мать честная! — а ящика-то и нет. У меня со страху волосы шишом заподымались. По тем временам, срок от пяти до десяти. Вот она, какая штука-то!

— Наверное, он в речку упал? — предполагаю я.

— погоди, не вламывайся зря! — Не любит старик, когда его прерывают. — А дело весной было, только-только снег сошел, течение как с цепи сорвалось. Вижу: мой ящик с бюллетнями с волны на волну перекачивается. Что делать-то? Бросил я телегу и по-над берегом кустами... кустами. Где сухо, тут брюхом, а где мокро — там на коленочках, все портки себе изорвал. На безрыбье-то и раком встанешь!.. Бегу и думаю: вот будет где узкое место — там я тебя, голубчика, и перехвачу. И вдруг вижу корягу, что из-под воды торчит. Мой ящик со всего маху как стукнется об нее — крышка-то и отлетела. Весь блок коммунистов с беспартийными наружу вышел. Белыми кувшинками всю воду запятнал. Вот она, какая штука-то!.. Чего лыбишься, думаешь, вру? Вот те крест, святая икона!

— Неужели все бумажки выловил?

— А ты как думал?! — смеется Егорыч. — Под зеленый расстрел¹ идти неохота. Все, которые поймал, обратно в ящик запихал. А которые не углядел в потемках — те, видать, в Волгу-матушку уплыли... Но все путем вышло, все путем. Отчитался, как следует быть. Девяносто девять целых и девять десятых!

О чем бы ни зашла речь, Егорычу всегда припоминаются смешные и нелепые случаи, которые с ним приключались: и как он «напужался», «оплошался», и сколько с кем выпил, и как едва не угодил в «вермутский треугольник»², и какой нагоняй получил от Павлины Степановны, — и почему-то он всегда оказывается в дураках. Я думаю, если люди выхваляются своими слабостями и пороками — значит, скрывают где-то глубоко свои достоинства, а может, просто не подозревают об их существовании.

Живет Егорыч с чувством благодарности за жизнь, не смея признаться себе в этом, не зная, как сказать: радость ли это, беда или печаль? В его манере говорить, во всем его облике и поведении нет никакой досады на то, что он плохо жил, а так вот — жил и жил: кому, может, и на печаль, а кому и на великую радость. И нет у него ни к кому никаких претензий, чтобы пожить побогаче и посчастливей. То, что отмерено судьбой, взял сполна... Должно быть, именно такие старики позировали древним богوماзам для фресок новгородских храмов.

Сквозь рябь кустарника мелькает чья-то фигура, и через какое-то время нас накрывает зычный, раскатистый бас. «Бу-бу-бу... ла-ла-ла...» — и в заключение матерная «точка» в сопровождении энергичных глаголов. Зверюгу лесную увидеть, услышать ее первобытный рев — еще куда ни шло. А тут справа от нас, понемногу сближаясь, идет по тропе краснорожий дедина в бордовой дубленке, с кейсом в руках и говорит по сотовому телефону. Отдает деловые распоряжения, шпарит на память содержание квитанций и накладных, подсчитывает убытки и штрафы и буквально через каждое слово отправляет невидимого собеседника туда, куда Макар телят не гонял.

— Аркадий! — что есть мочи кричу я. — Откуда ты взялся? Как жизнь?

— Приворовываем помаленьку, — с грустным смешком отвечает Аркашка-барин — такую кличку он заработал от местных пьяниц, — захлопывает крышку «билайна» и раскрывает объятья. — Представляешь, Игрич, мою фазенду обчистили!

¹ В местах не столь отдаленных так называют работу на лесоповале.

² На языке Егорыча это означает: винный магазин — отделение милиции — спецмедвытрезвитель.

— И меня тоже обчистили, — радостно сообщаю я. Общая беда делает нашу встречу еще более сердечной и задушевной.

По многим признакам коммерсанта Аркашку можно причислить к категории «новых русских», он и в самом деле богатый человек, купчина до мозга костей, но есть в его натуре какая-то располагающая струнка, которая выделяет его из общей массы безродных шаромыжников-торгашей. Аркашка — совладелец нескольких магазинов, спец по оптовой торговле, продувной, оборотистый деляга. Державно и неборимо сидит он за столом двух районов Костромского Заволжья, повелевая укладом многослойной крестьянской жизни, иногда подбрасывая самым больным и бедным, чаще всего — по праздникам, некое подобие гуманитарной помощи. Аркашку не любят в народе, но уважают — многие. Потому что он нужен многим, без него не обойтись. Своего никогда не упустит, но и покупателя особо не прижимает. Хлеб и водку, например, продает в своих «комках» дешевле, чем государство. Дело свое делает «будь спок», и областное начальство чтит в меру, не впадая в лакейскую угодливость, и выпить не промах, и внешне держится как свой в доску парень. Он так уверен, что в пору всеобщей сумятицы и поголовной апатии ему приходится прокладывать пути спасения многострадальной России, что становится подчас наглым, нетерпимым в общении. Но при этом есть в нем человеческая живинка, которая не позволяет считать его прирожденным хамом. На мой вопрос: «Как жизнь?» — Аркадий всегда с неизменной готовностью отвечает: «Приворываем помаленьку». Любит почитать современную прозу («Мы хоть дураки дураками, а разбираемся с лаптем»), но больше интересуется условиями оплаты за печатную продукцию. Узнав как-то, сколько я получил за публикацию в прошлом очень популярном журнале, он решил, что я, должно быть, прибедняюсь или вожу его за нос («Кончай баки вколачивать, Игрич! Кто тебе поверит, тот и дня не проживет»).

Конечно же, я абсолютно не нужен этому сельскому нуворишу, но ему, как он однажды признался, будучи в сильном подпитии, делает честь знакомство с представителем столичной творческой интеллигенции. Сам факт, что наши дома ограбили почти одновременно, льет на мою душу успокоительный бальзам и даже возвышает меня в собственных глазах. Выходит, что и мне, нищему литератору, выпала честь быть причисленным к рангу богатеев.

— Ну, народ пошел, пес его слопай! — возмущается Аркадий, и его лохматая шапка из полярного волка возмущается вместе с ним. — Развернулся... обленился... обпился. Из-под ногтей водка сочится. Из задницы гроб торчит, а он все носится со своим марксистско-ленинским онанизмом... Тоска, мужики, тоска! Отучили народ работать фраера из КПСС. Лишнюю денюгу заколотить — и ту не хочет. Ему бы только ежиков пасти, дармоеду. Умоляешь, уламываешь — что ты! Суверенные личности кругом!.. Замочил жало, начальству арапа заправил — и гуляй, Вася! На кого не посмотришь — каждый или Вертибутылкин, или Обсериголяшкин, голошмыги сплошные и жорики... А воровать?! Ну-у-у, на это мы всегда готовые. Грабануть человека вроде меня — дело чести, доблести и героизма. При случае еще и красного петуха пустим... А ты говоришь — «коммунизм», — поворачивается он к Егорычу с явным желанием его подколоть, но тот никак не реагирует. И Аркашку раздражает это еще больше: — И чего ты, старый, залез в такую глухомань? А, Четыркин? У вас там, поди, и народу уже не осталось. Вот что... перебирайся-ка ты ко мне, бери с собой жену, корову, овец. Рядом фельдшерский пункт, аптека, если что... две палатки будешь сторожить, пивную и хлебную. Думай, старый, думай. Хорошие башли тебе положу. Соглашайся хотя бы на год, а? Будешь у меня есть витамин Ц: сальце, маслице, винце. Подберем тебе молоденькую виннипухочку, чтоб в свайку играть. Концы отдашь — похороним с воинскими почестями. Что, не веришь?.. Я знаю, ты мужик честный, тебя на хапок не возьмешь. Могу и продавцом поставить. Ты как, Четыркин? Заживешь у меня, братуха, как султан на именинах...

Глазки у Егорыча маслено блестят и бегают: вон какое доверие ему оказывают! Но вдруг он спохватывается:

— Дак это... Аркадий Петрович. Едрит твоя муха! Я ведь мужик-то старорежимный, хошь и в партии не состоял. Нельзя мне продавцом, понимаешь... перед людьми стыдно.

Действительно, всю жизнь он проработал конюхом, пастухом, скотником, полеводом, семь лет был председателем колхозной ревизионной комиссии и никогда ничем не торговал. Выскачка... спекулянт... хапуга, скажут языкастые курзеневские кумушки. Набрешут, напоют в уши, что было и чего не было, — ходи тогда и отмывайся. Запой, драка, глупое лихачество — это понятно, это как бы даже «по-нашенски», по-советски. Но торговля?!

— Погибает Россия! — заводится Аркашка, и голос его гремит на всю лесную пустошь. — Народ расслаблен водкой, безверием, беспробудной ленью. Страна стоит на карачках, как пьяная жаба. Как выгнать дурь из моих соотечественников — а, Игрич? — как привить им благородные инстинкты? — Он придерживает меня рукой и смотрит в глаза с выражением гражданской скорби. — Первое, что нужно сделать, — проявить насилие. Да, да, насилие! Я знаю, что ты сейчас скажешь. Молчи, братуха, и слушай!.. Все мы опутаны пороками, предрассудками, в каждом из нас рычат дьяволы волосатые, задерживающие центры в нас больше не работают. Следовательно... — Аркашка выдерживает художественную паузу и режет рукой воздух, — нужна объединяющая всех внеклассовая национальная идея.

Чувствую, что это не его слова, что он несет окоlesiцу явно с чужого голоса, но я его не перебиваю.

— Нужна такая национальная идея, которой руководствовались бы все, независимо от того, веришь ты в нее или нет. Человек должен страх иметь, понимаешь? Но идея эта должна быть построена не на животном страхе, а на желаниях и нуждах здоровой части населения. По принципу: сказано — сделано. Но не того населения, которое сейчас, — поправляется он, — а того, облагоороженного, которое придет лет эдак через двадцать — тридцать.

— А кто его будет облагораживать? — спрашиваю я. — Ты?

— Почему именно я? — тушуетя Аркадий. — Все вместе.

— По принципу: сдираем шкуру с подопытного животного и ждем, когда у него вырастет новая? Это все было, Аркаша, было... Ты знаешь, какие твари расплодились в наших водоемах в результате биологического эксперимента? Не поймешь: то ли окунь это, то ли ерш, то ли лещ — все, как один, слепые и лысые, с искривленной головой и без плавников...

Горизонт заслоняют матерые сосны и ели, нагнетая зловещий мрак, и кажется, что тропка сейчас упрется в них, остановится и прекратит свой извечный бег. Но дорожка никуда не теряется; она то проваливается в занесенные снегом овраги, то карабкается на открытые пригорки с рыжими проталинами, то перепрыгивает через оттаявшие ручьи и за каждым поворотом вбирает в себя, как река, новые стежки-дорожки.

Впереди маячит сдавшаяся на милость снегов деревенька Грбовщина с продуваемыми навывлет остовами изб и почти разобранными на дрова сараями, амбарами, коровниками. Здешний колхоз, говорит Егорыч, назывался когда-то «Второе Мая».

— Почему «Второе», а не «Первое»?

Старик останавливается в недоумении.

— А шут его знает! Видать, так начальство распорядилось. Ему, начальству, сверху виднее, кто первым должен быть, а кто вторым. — Он молчит, качает головой. — У меня тут, в Грбовщине, сеструха двоюродная, Манефка, замуж выходила. Дак рассказывала, как ихнюю семью покулачили... Пришли гэпэушники, оба пьяные. Винищем несет — будь здоров. Вино-то — оно в бутылке смиренно, а в человека войдет — дак буйно. Ну вот... давай, говорят, девка, скидавай одёжу! А Манефкина семья

уже знала, что они придут. Их еще с утра предупредили: одевайте, мол, платья хорошие, платы рипсовые, галоши — нет, мол, такой моды, чтоб с человека тащить. А они, коммуняки, все посдирали. Все! Вещи выкинули и их всех из дому выгнали. Вот она, какая штука-то! Забрали сто пятьдесят пудов жита, трех коров, двух лошадей, овец — и всё в коллективизацию. Хомуты тоже отняли, ироды. И поставили семью на голодную точку. Отец из лесу с подсочки вернулся — и в обморок. А мужик крепкий был, без нервов. Его с ходу в город Котлас, старшего брата — следом. А Манефку с маткой и еще трех сестренок — в подвал к дяде Ермилу... А изгалялись! Манефка говорила: идешь, бывало, по воду, а ребятишки камнями кидаются — кулацкое, мол, отродье и все такое. Ой что творили, едрит твоя муха! А жить-то надо, младших кормить надо. Дак милостыню ходила просить: кто молочка нальет, кто хлебца подаст, а кто и палкой благословит. Слава Богу, что ее Тихон Назарыч замуж взял, не поглядел, что раскулаченная. Рассказывать — дак бумаги не хватит...

Какое-то время мы идем мимо пустующих домов, пятистенков и шестистенков, и слышно, как они скрипят своими деревянными суставами. Старые, испытанные жарой и стужей бревна обнажили раны и язвы — следы работы жучка-древоточца; внутри жилищ стоит черная нежилая пустота. Гробовщина обезлюдела, ушла из мира тихо и неприметно вместе со своими обитателями... Я говорю Аркадию:

— Учти, когда национал-большевички придут к власти, они тебя первого вытряхнут из штанов. Ты для них самый лакомый кусочек. Свежевать будут по-черному. Так что думай, думай...

Егорыч посмеивается в кулачок, а хозяин ограбленной фазенды делает отмашку рукой: мол, что с вами разговаривать, с бестолковыми, — и лезет под навес пустующего дома.

Я слышу, как там прогревается двигатель, распахиваются ворота. Прямо на нас, разваливая сугробы, черным жуком прет «джип-чероки». Аркашка небрежно распахивает дверцу: «Садитесь, господа брехологи!» Егорыч лезет в салон и буквально балдеет от неслыханной роскоши, щечки его расцветают нежнейшим румянцем. «Сейчас электрообогреватель включу, — говорит наш благодетель. — Чаю хотите? Вот термос... распорядитесь!» Тепло, уютно, кругом занавески и коврики, и мы стесняемся своей заледенелой обуви. Рядом с водителем висит рация, магнитофон и переносной телевизор «Мицубиси». Последние два километра едем, как султаны, в тепле и с музыкой.

У пересечения шумного сусанинского тракта Аркадий высаживает нас. Здесь, прямо на обочине, пристроился «комок» его торгового предприятия с волоокой дивой в окошке. Мы с Егорычем как по команде скашиваем глаза в сторону стеклянной витрины, где в длинностельных бутылках переливается всеми цветами радуги импортный алкоголь. Но никаких «телодвижений» пока не предпринимаем, даже ценами не интересуемся, а спешим в центр Курзенева. Егорыч сначала в сельскую администрацию: надо узнать, не прибавили ли пенсию, нет ли писем от родни? А я прямиком в магазин.

Магазин

Курзеневский кооппродмаг — это и история, и экономика, и нравственность, и общественные отношения, а очередь в магазине — шумный житейский перекресток, клуб интересных встреч, боксерский ринг, если хотите. Чего тут только не услышишь, с кем только не сведешь знакомство!

Четыре года назад в ожидании хлебного фургона я узнал здесь содержание всех серий «мыльной оперы» про Марианну: словоохотливая бабулька из сельца Окулово изложила мне мексиканские страсти-мордасти за какие-нибудь двадцать минут. Тут же, не выходя из очереди, за бутылку «Русской» я договорился с трактористом о доставке в свою деревню дюжины рулонов рубероида... Не раз вызывался добровольцем на разгрузку хле-

ба из крытого грузовика, за что получал его без очереди от рыжей продавщицы Капитолины, по кличке Маха-суперсекс. Помню «бои местного значения», а попросту говоря — безобразные потасовки из-за дефицитных товаров, бесконечный мат и толкотню немых алкашей, кликушеские речи записных патриотов, которые силовыми, подвывающими голосами, какими вещают с горы пророки, изливали гнев на демократов, буквально вымаливали голод, надеясь, что энергия их слов станет реальностью. «Вот соберет народ урожай, — грозили они стоявшим в очереди дачникам-горожанам, — он вам устроит Куликовскую битву, дерьмократы хреновы!»

Или взять так называемых продовольственных теток с их вместительными сумками. Это же целая социальная прослойка, совершенно не изученная нашими психологами! И эти бойцы прилавка снова вернутся в магазины, если вдруг введут талоны, возникнет дефицит и все, что связано с распределительской. Еще три года назад эти тетки правили бал в курзеневском сельмаге. В основном дюжие, толстомясые пенсионерки с нахальными глазами, кровь с молоком, работа которых заключалась не в том, чтобы производить, а в том, чтобы добывать и хватать. Большинство из них сбывало ходовой товар «налево» и получало приличный навар.

Самое интересное: всю жизнь проищавшие за трудодни, недавно вышедшие на покой с мизерной пенсией, они до сих пор молятся на колхоз и считают, что дети и внуки должны повторить их судьбу. Однако в повседневных делах этим теткам палец в рот не клади. «С потрохами сожрут и даже пуговицы не выплюнут», — выразился как-то Егор Егорович. Они кричат сегодня недавнему прошлому: не пропади ты пропадом, а повторись ты снова! И, наверное, именно эти «колхозницы» сыграли роковую роль в том, что не так давно местная власть дала от ворот поворот молодым канадским фермерам.

Канадцы в нашем лесном захолустье?! Когда я, первым узнав эту новость, сообщил о ней своим соседям-дачникам, они меня дружно подняли на смех. Да на хрена им такая самодеятельность! До какой степени нужно не знать России, чтобы рваться туда и в результате получить пинком под зад!..

Но не простые это были канадцы, а, можно сказать, исторические земляки Егора Егоровича. Лет сто назад их предки-духоборы, жившие в Поволжье, покинули страну из-за религиозных преследований и там, в Канаде, стали едва ли не лучшими хозяевами на земле. Но вот у кого-то из молодых, в третьем или четвертом колене, заговорили российские гены, и он решил вернуться на родину предков. И не один, конечно, а подбив с собой еще полдюжины семей. Канадским фермерам на выбор предложили несколько вариантов в разных областях, где «гуляла» земля. Они собирались перевезти с собой две тысячи голов крупного рогатого скота (столько по всему нашему району не наберется), разборные дома, сельхозтехнику, домашнюю утварь, их детишки усердно зубрили разговорную русскую речь. И все уже склонялось к тому, что «канадцы» поселятся на территории курзеневской администрации. Но тут взъярились местные борцы с частной собственностью. «Да мы этим продажным гадам капиталистам красного петуха пустим! Не позволим грабить Россию!» — орали они на сельском сходе. И начальство, струхнув, спустило это дело на тормозах...

Еще до открытия магазина курзеневские бой-бабы точно знали, что привезут, сколько и почем будут продавать. В любой ситуации чувствовали себя как рыба в воде. Приспособленные к тесным условиям очередей, они могли задать трепку мужику любой комплекции. А уж о том, чтобы его переорать или перематерить, — и говорить не приходится. До зубов вооруженные тарой, эти гладиаторши представляли собой страшную силу, когда объединялись. Однажды я был свидетелем (стоял как миленький и пикнуть не смел!), как три горластые матроны, протаранив очередь, взяли с боем двадцать банок тушенки «Великая стена», полпуда сосучих конфет «Театральная» и ящик румяных венгерских яблок «Джонатан». Змею Горынычу среди них делать нечего.

Помнится, еще недавно я вылезал из этой полутолкучки-полупотасовки весь распаренный, с намятыми боками, но довольный. Хлеба на всю неделю взял, да новозеландского масла в серебряной обертке, да чаю индийского в хрустящем пакете, да полкило наших соевых конфет «Добрый вечер». Думаю, не случайна надпись, которую кто-то нацарапал на двери магазина: «Приходя сюда — не печалься, уходя — не радуйся»...

Продавщица Капитолина, эдакая златокудрая богиня плодородия, машет мне по-свойски рукой:

— Заходи, Игрич! Чего напугался? Это раньше у нас тут «жатва» была, а теперь порядок...

Я хожу по сельмагу, как неродной, заново привыкая к прилавкам, стеллажам, уютной, пахучей тишине, изредка нарушаемой порывами ветра за стеной... Давно исчез дефицит и талоны, исчезли и растворились лучшие ораторы России — магазинные тетки с вместительными кошелками. Ничего не надо добывать, никого не надо пихать, материть, подмазывать. От тех злополучных лет, когда покупатель понапрасну тратил нервы и надсаживал глотку, если что и осталось, то только один воздух.

Я гляжу на витрину: сливочное масло соленое и несоленое, масло подсолнечное и кукурузное, два сорта маргарина. Так, иду дальше... пшено, манка, рис, геркулес, макароны, горох («Завтра три мешка гречки привезу», — доверительно сообщает Капа). А чем порадует витрина напротив? Свежемороженые скумбрия и минтай по умеренным ценам... мясо личного вида, но дорогое... деликатесная сырокопченая колбаса цвета кремлевской стены (ну очень дорогая!), сахар-песок, печенье четырех сортов, да конфеты шоколадные и карамельные, да цейлонский чай в изящной упаковке, да запотелая «Пшеничная» костромского разлива в обнимку с болгарским бренди «Солнечный берег». Неслыханное изобилие!..

— А я тебя тут по телику видела, — играя торсом под легким халатиком, сообщает Капитолина и поводит в мою сторону лисьим взглядом. Скучно ей одной стоять, хочется поболтать с московским человеком. — Видать, из думских столовок не вылезает, а, Игрич? Вон... какую афишу наел.

— Ну-ну... так уж и наел, — смеюсь я, принимая ее игривый тон. Прямо грех зевать с такой бабой! — С вашими порядками не только аппетит потеряешь, но и последнюю майку.

— Слыхала... слыхала, — шепчет продавщица и кладет на прилавок свою выдающуюся грудь. — Почистили тебя, знаю. Но это не нашенские — учти, это — приبلудные. Я уж некоторых на глазок взяла, сообщила куда надо. Они ведь мимо моего магазина ни в жизнь не пройдут. — И совсем уже доверительно; рыжая прядь, выбившаяся из-под ее белого чепца, приятно щекочет мне ухо: — Слышь, Игрич, тут один гунявый кожанку мне за две бутылки предлагал. Случайно, не твоя?

— Что ты, Капчик, — говорю. — Я кожаных вещей сроду не носил. Это, наверное, из Аркашкиной фазенды.

— А его что, тоже ...? — На ее лице смешение чувств — досады и удивления: ведь любую новость первой должна узнавать она, курзеневская продавщица, и я невольно нарушаю заведенный годами порядок. Капа закусывает губу и судорожно соображает: ее глаза мечутся, как два вора, застигнутые врасплох. Видимо, у нее шашни с этим новоявленным русским...

— А почему народу нет, Капа? — спрашиваю я, чтобы не затягивать паузу.

— А потому и нет, что в магазине все есть, — отвечает продавщица, но уже без прежнего задора. — Раньше, когда мы выбрасывали ходовой товар, помнишь, что тут творилось? А теперь вон зазывать приходится...

— Выходит, денег у людей нет?

— Ну, это само собой, — говорит Капитолина. — С такой зарплатой и пенсией не больно-то разбежишься. Поэтому и берут помалу: сто грамм

сырку, двести маслица. Я вон прежде хлеба около ста ящиков заказывала, а нынче мне половины хватает. Берут ровно столько, сколько нужно для еды. Без учета поросят, кур, овец и прочей живности. Это раньше набивали сумки по десять буханок...

Магазин тем временем заполняется покупателями, однако продукты они берут как-то лениво и неохотно, в основном черный хлеб, масло растительное и сахарный песок. Глядя на «кремлевскую» колбасу, возмущенно перешептываются: это ж как надо воровать, чтобы позволить себе такую роскошь?! Мои соседи-ходоки больше толкаются у прилавка, разглядывают ценники в витрине, качают головами и травят душу воспоминаниями о прошлых невозвратных временах, когда хлеб стоил восемнадцать копеек, а водка — два восемьдесят семь.

— Правительство вот уж какой год полегчание обещает, а толку шиш да маленько, — жалуется Лиза Муханова. — Боюсь, как бы хуже не стало.

— И не говори! — отчаянно машет рукой псаломщица Софья Павловна. — Мучишься не в силу, а живешь. У кого деньги неправедные, тот и жирует до горла. А я что? Из кулька в рогожку перебиваюсь...

Но вот одна старуха из Окулова купила шоколадку для внука-первоклассника, ее поддержали обе бабы Зины, взявшие на двоих полкило слипшихся «подушечек», а закадычные друзья Виталий Васильев и Жека-медонос скинулись на пару «Пшеничных» за семь пятьсот. Это чтоб на обратном пути было чем душу распотешить. Я знаю, первую они выпьют на природе, «по ходу движения», а вторая пойдет под медок с солеными огурцами и картошечкой, когда они сядут за стол в Федулове. Если бы не Егорыч, я бы с удовольствием составил им компанию.

Тут хлопает входная дверь, и в магазин вваливается неразлучная троица: Федя-баночка, Фима-сумочка и их одноглазый предводитель по кличке Прохиндоз. Он выцеливает меня из общей толпы и приветливо подмигивает. Господи, только этого мне не хватало!

— Гостю наш почет, гостю наша ласка...

У него обильная, с проседью, борода, седые, с желтизной, волосы, козырьком спадающие на лоб, и единственный зрячий разбойный глаз, излучающий из-под бровей такое сияние, что хочется прищуриться. Видимо, энергия одного потухшего ока перетекла в другое, и когда Прохиндоз примеривается ко мне взглядом, я чувствую себя довольно неуютно.

— Ты не бойсь, не бойсь, — он утешает меня и легонько подталкивает локтем. — Я сам себя боюсь, ковды перед зеркалом броюсь.

Эта встреча, кроме лишних трат, ничего мне не сулит. Прошлым летом он выставил меня на две бутылки, и сделал это с такой ловкостью, да еще в присутствии свидетелей, что я и ахнуть не успел. Прохиндоз — воюга с артистическими способностями, но работает исключительно словом. Прохиндоз — отъявленный матерщинник, но свой богатейший бранный арсенал использует строго по назначению. В словесной игре он ставит вас в такие условия, что вы, сами того не желая, лезете в карман, достаете кошелек и делаете его достоянием предводителя и двух верных его оруженосцев — Феди-баночки и Фимы-сумочки.

Ефимья Лазаревна Сумкина — бывшая продовольственная тетка, и этим все сказано. Я помню, как, вздымая трепещущие длани, она рвалась к прилавку, оттирая плечом зазевавшихся баб и мужиков; как ёжилась магазинная публика от ее горячего хрипа, который сопровождался душераздирающими ругательствами, особенно отвратными потому, что они исходили из уст женщины... Но закончилась эпоха дефицита, Фима осталась не у дел и тихо, медленно спивалась. Она уже не кричала и не материлась, а только покорно и тупо разглядывала ценники под стеклянной витриной да клянчила рублики у проезжих покупателей. Последние лет пять ее изрядно отгладили, выструнили, и стала она похожа на высушенную мумию, одну из тех, что пасутся в будни и праздники на паперти костромских церквей. Живет Фима-сумочка, в сущности, одну неделю в месяц: первую неделю после по-

лучения пенсии, пока не пропивает ее дочиста. Остальное время шастает по Курзенеvu в сопровождении Прохиндоза и Феди-баночки.

Федора Ивановича (фамилии его не знаю, а прозвище Баночка происходит от того, что он всюду ходит со своим стаканом) — рвань-старикашку с вечным бельмом на глазу (отсюда вторая его кличка — Бельмондо) — я никогда не видел трезвым. Говорят, он таким и родился, подшофе. Но в отличие от Фимы, живет вполне разумно: получив пенсию, сначала закупит по дешевке самое необходимое и только потом уходит в загул. Мужичок весь ссохся, сплющился, скукожился, но дом свой и огородик содержит вполне справно. И даже иной раз выходит к магазину торговать ранним лучком и редиской, за что однажды был чуть не оштрафован местным милиционером Зурабом. Федя-баночка — большой любитель «буснуть на халяву» (выпить за чужой счет), но при этом не чужд гостеприимства и не жалеет домашней еды, как большинство алкашей. От дальней родственницы ему достался в наследство сосновый гроб с резными узорами, куда он каждый раз отправляется отдыхать, накачавшись вином, и распевает блатные песни, от которых соседские овцы бросаются на стены и теряют в весе.

Я люблю его собачонку Крошу, наверное самую умную из четвероногих. Идешь, бывало, по Курзенеvu, а она навстречу бежит — тощее, кривоногое, беспородное существо. «Как жизнь, Кроша?» — позовешь ее и следишь по выражению глаз, узнает или нет. Но вот качнулся черный хвостик с белой кисточкой, туда-сюда, — и пошел выписывать приветственные вензеля. Ага, узнала!.. «Как там твой Федя Бельмондо?» Кроша водит мордой из стороны в сторону и тихо, жалобно скулит. «Что, опять напился, старый черт?» Собачка раскачивается на кургузых лапах, падает на один бок, вскакивает, снова раскачивается и снова падает... Я даю ей чего-нибудь вкусненького, Кроша отряхивается от пыли и бежит дальше...

Обращаясь к ходокам, Прохиндоз заводит окольную речь:

— Господа удавы! Все спите, спите, а подумать-то и некогда. Мохом вы обросли, пеньки дремучие, в лесах ваших сидючи да с лешим в свайку играючи. — Старикам и старухам страсть как приятны его слова: веселый человек Генаха (так зовут Прохиндоза), умеет поднять настроение. Только одна из Зин проявляет недовольство:

— Ты чего несешь, чучело? Ты, Генаха, лешего-то не поминай. Не ровён час — заявится нам на возвратном пути. — Словно темный лес, она опутана суевериями. — Не гневи бороваго черта! Уж лучше матюкайся, а не лешакайся!

В отличие от своих спутников, которых надо раскачивать с помощью стопаря, потому что без него они безгласны, как манекены, Прохиндоз идет на общение без всякого алкоголя. Глаз его наливаается синим угарным огнем — верный знак того, что он входит в привычную роль.

— А что мне леший, Зин? Я сам кавалер Золотой Звезды! — И, согнувшись пополам, вздергивая грязные штанины, он прохаживается перед публикой танцующей походкой Петра Алейникова из фильма «Трактористы». — Знай наших, — кричит Генаха, — лишь бы денежки шевелились, тогда и в брюхе урчит!.. «Ах ты, милая моя, сама ты виноватая, титьки выросли большие, голова лохматая»...

Старухи колотят его кулачками по спине и залиvisto хохочут: ай да Генаха, растудыт его в кочерыжку! ай да хват-парень! до чего балдежный тип!..

— Я об чем толкую, господа удавы, — продолжает он изгаляться, играя глазом в мою сторону. — Не знаете вы своих героев. Как мартышки, все хитрите... хитрите, а жопа голая. Телевизор-то хоть смотрите, нет?

Старухи заводятся с полуоборота.

— Да чё его смотреть-то! — отмахивается Лиза Муханова. — Там одних иностранцев показывают да козлов депутатов с мясными подрывльниками.

— А голых баб — забыла?! — вспыхивает, как огонь, псаломщица, старинной выделки человек. — Ой, что творят! Вот уж стыд так стыд! Задами крутят, сиськами трясут — и все с хиханьками да хаханьками. От них и молодежь наша в расстройство впадает... Давеча учителька Марья Саввишна сказывала: сидит одна соплюшка за партой, правой рукой диктант пишет, а левой ногой парня завлекает. Нога у ей в мериканском чулке, и юбка до пупа задранная... Ой, куды ж мы катимся, бабоньки!

— Ты погоди причитать-то! — осаживает ее Генаха Прохиндоз: обсуждение нравственности молодежи не входит в его планы. Из толпы старух и стариков он уже выбрал, кого можно расколоть на бутылку. — Ежли ты телик не смотришь, Соньк, то глянь хоть, кто рядом с тобой стоит?! А, старая ты брякалка?

Нервная и тонкошеяя Софья Павловна растерянно оглядывается, пожимает плечами, да и остальные никак не могут взять в толк, какую игру с ними затеял Прохиндоз. Его прямо-таки распирает изнутри, не может стоять спокойно, ноги так и гарцуют в нетерпении. Не человек, а Господь ведаёт что. На кой черт ему соха, была бы балалайка!

— Неуж никто не видел, как наш Ельцин в лужу сел? А, господа удавы? А кто его туда посадил, тоже не знаете? — Он выдерживает паузу и эдаким мелким бесом подскакивает ко мне и поднимает мне руку, как победителю-боксеру. — Эва!

Я уже примерно ожидал, что должно произойти, но не думал, что Генаха так резко примется за дело и поставит в конце такую артистическую «точку». Ходоки все разом тормозят меня: «Что, Игрич, правда?», «В самом деле так было?», «А когда, по какой программе?». И хотя захваченную хмелем воображения натуру Прохиндоза они знают лучше меня, все же каждый раз попадают на его крючок, особенно женщины.

Дело тут, наверное, не столько в том, *что* он говорит, а в том, *как* и «под каким соусом» преподносит каждое вымолвленное слово. Воспламеняюще сверкает Генахин глаз, то источая нестерпимое сияние, то по-воровски прячась за прищуренной ресницей, то вращаясь безумным колесом. Трепещут и взмывают ввысь кончики его седых волос на лбу, отсвечивающие желтизной. Голова вжимается в плечи; плечи прыгают, как резиновые мячики; войдя в раж, ноги его выделывают заковыристые петли. А мимика, паузы, жестикуляция? Генаха куражится в разговоре, как иной шулер за картами. Умеет он поводить за нос, повалить дурака, умеет выставить тебя и себя посмешищем на всеобщее обозрение, лишь бы только завладеть вниманием публики. В этом «театре» он преуспел изрядно и вряд ли кому уступит на поприще зубоскальства... Оттого, наверное, и жены у него надолго не задерживаются.

В прошлый раз он «представил» меня начальником строительства газопровода, а себя — десятником: мы якобы тащили с ним дюкер по дну Обской губы... Интересно, что он сейчас наплетет?

— Ну-ну, Генаха, — подстегивает его нетерпеливый голос Жеки-медоноса. — Давай, парень, ври — мы уже уши наставили...

Продавщица Капа, хорошо знакомая с его творчеством, заранее начинает улыбаться и даже трясется от беззвучного смеха.

— Ей-бо, ей-бо, с места не сойти, если совру! — Прохиндоз делает обиженный вид и разводит руками: мол, не хочешь — не слушай, никто тебя не неволит. — Как все было, так и скажу и ни слова свою не прибавлю. А дело было... как это у них называется?.. о-о-о!.. пресс-конференция. Большая така зала, вся в золоте и зеркалах. Мраморна така — прямо жуть! И кругом курроспуденты сидят, все в костюмчиках, при галстучках, опрятные таки, подвижные... едрит твою наыворот. Девки ихние, курроспуденши, тоже тутока выставились, все первые ряды заняли, чтоб, значит, голыми коленками президента нашего с панталыку сбить. Чтоб, значит, ум у Борис Николаича раскорячился. Опосля таких видов, сами понимаете, из него какой хошь крендель пеки. Но Ельцин, будь спок, его эфtimi шту-

ками не прошибешь. «Вы, — говорит, — девы милые, укройте свои престолы. И вам теплее будет, и я дрожать перестану»...

Все хохочут, приваливаясь друг к другу плечами, только одну Капитолину что-то не устраивает в Генахиной истории.

— Ты нам музыку-то не заливай! — кричит она, вся красная от смеха. — Мы про Ельцина и без тебя все знаем. Ты про Игрича давай...

— Будет, будет про Игрича, — обещает Прохиндоз на полном серьезе. — Дай с президентом управиться. Вот народ-от пошел — слова не дадут досказать!.. — Он выходит на середину магазина осанистой походкой первого лица в государстве, сверлит нас своим лазерным оком, изображая на лице неутраченную заботу о человеке, и голосом Е. Б. Н. вещает: — Господа удавы! Это работа такая... понимаешь... на вопросы отвечать — будь здоров и не приведи Господи! Один курроспудент про Чечню спрашивает... понимаешь... другой про Боснию, третий: «Как здоровье, Борис Николаич?» И всем... понимаешь... надо ответ дать: ни к селу ни к городу... понимаешь... ни с краю, ни у березы...

И снова он становится самим собой, шутком, гулёной и вертопрахом, таким, каким задуман был еще при рождении, мало склонным к устойчивому труду, но зело охочим до выпивки и праздных удовольствий... Странное дело: публике позарез нужен «Игрич», все соскучились по «Игричу», а Генаха с ним что-то запаздывает.

— Давай не тяни! — почти замахивается на него Капитолина, терпение у нее на исходе. Лиза Муханова, обе Зины и Селиверстов тоже проявляют неудовольствие. Одним словом, амбиции обостряются, голос Прохиндоза рокошет с недюжинной силой, и я отчетливо слышу слова «дура» и «Маха-суперсекс».

Продавщица взвивается из-за прилавка, хватает какую-то скалку и, не стесняясь нашего присутствия, начинает гонять Генаху среди стеллажей с хлебом, ванильными сухарями и мятными пряниками. Тот только поспевает уворачиваться.

— Я тебе дам «дура», я тебе покажу «секс»! Ишь, моду завел — перед людьми срамить. — И она посылает его в такое место, какое у нее в силу женских особенностей просто-напросто отсутствует.

— Ты не поняла, Капа, — с примиряющей улыбкой, поглядывая на скалку, говорит Прохиндоз. — Ты выслушай меня, Капа... «Дура» — это сокращенно. Усекаешь? Дорогая... уважаемая... родная... абажаемая...

Появившийся в магазине Егор Егорович поначалу никак не может понять, что здесь происходит: он еще с улицы услышал голоса и подумал, что драка или ограбление. Да и сейчас еще не может очухаться и поверить глазам своим, видя столько смеющихся (у старух даже слезы потекли) и при этом абсолютно трезвых людей.

— Вы чё тут балаболите? — пожимает он плечами, но его вопрос накрывает новый взрыв хохота.

— Где шляешься? Самое интересное прозевал, — говорит ему Жека-медонос.

— А вот и нет! — выскакивает из-за стеллажа Прохиндоз, пряча в карман уворованный пряник: глаз его снова набирает ударную силу. — Самое интересное только начинается.

Он снова в центре внимания, толпа ходоков приветствует его улыбками, а Капитолина даже прекращает торговлю.

— Ну, значит, так... Пресс-конференция в Кремле! К микрофону подходит... кто? — Генаха «делает лицо» и пытается подражать моей походке, хотя и не очень похоже, а вместо микрофона использует обломок водопроводной трубы, который здесь остался после ремонта. — А народу — тьма-тьмущая! И все на него смотрят, все на него, сокола нашего ясного... Европа смотрит, Америка смотрит, Азия тоже чуток подсматривает... «Уважаемый, — говорит, — Борис Николаич, ответь-ка мне, Игричу, на такой вопрос: почему корова ходит лепешками, а коза — орешками?..»

(«Ну, врать горазд! — слышатся восхищенные голоса. — Давай, давай, Генаха, ври дальше. Не впервой слушать!» — Некоторые старухи уже хватаются за животы.)

— А Ельцин сидит и набелками хлопает. Рот у него открыт, челюсть дергается. И слов никаких не слышать, не выходят из него слова-то. О как, едрит твою навыворот! Должно быть, немочь какая. И глаза у него остановились: того гляди, в памятник превратится... А Игрич снова: «Повторяю вопрос, господин президент! Почему корова ходит лепешками, а коза — орешками?..»

Ну, тут все как за-шу-мя-ат: вывести этого фулюгана из зала и чтоб духом его здесь не пахло с его орешками! Вот, поди, как распалился евонный брат — курроспудент... Европа на Игрича смотрит, Америка смотрит, Азия тоже чуток подсматривает... Ельцин тут маленько образумился и говорит: «Я, кажись, этого субчика знаю. Он тут давеча на правительственном банкете три бутылки водки уволок, залил фары свои бесстыжие и к женам министров под юбки лазил». О как! И начальнику охраны приказывает, Коржакову: пушай, мол, оплатит сей фрукт в десятикратном размере стоимость трех «кремлевских» и убирается подобру-поздорову, а нет — так мы его в бараний рог и к чеченам...

А Игрич? Думаете, в штаны наложил со страху? Ха-а-а!.. «Иди ты, — говорит, — к шаху-монаху, Борис Николаич! Что ты на меня взъярился, император? Кто тебе такие права выдал, чтоб людей страшать? Ишь, расшумелся: чуть что — сразу на горло... Во-первых, — говорит, — я взял одну бутылку, а не три. Во-вторых, твои же министры у меня ее схамкали и тут же, в закуточке, дернули из горла. (Об ихних женках Игрич помалкивает... едрит твою навыворот!) И в-третьих — ответь ты, Христа ради, на мой вопрос!..»

Ельцин думал-думал — ничего не придумал. Позвал Черномырдина, двое теперь сидят думают, какой ответ дать, почему корова ходит лепешками, а коза — орешками. Ничего у них не вытанцовывается!..

Кликнули Гайдара с «Яблоком» — башки-то им не зря привешены, умственные мужики, с развитием. Те компьютер с собой приволокли, сидят думают, ан нет — опять ничё не получается. Разматюкались токо и рассорились.

«И ничего у вас не получится! — говорит Игрич. Европа на него смотрит, Америка смотрит, Азия тоже чуток подсматривает. — А ответ прост, господа хорошие... Не разобравшись в дерьме, не лезьте в политику!»

Ну вот, кажется, все. Ходоки, похохатывая, один за другим покидают магазин, Капа собирается на обеденный перерыв... Генаха обессилен, он исчерпал на сегодня весь лимит отпущенных ему природой дарований и смотрит на меня с затаенной надеждой, глаз его теряет убойную силу. Федя-баночка и Фима-сумочка обступают меня с боков и заискивающе улыбаются, подталкивают плечами: это, мол, мы для тебя, дружок, представление устроили, так что соображай...

— Грубовато сработано, Геннадий, — говорю я, вручая их предводителю бутылку «Пшеничной». (Егорычу оч-чень это не нравится!) — Надо бы как-то помягче, поделикатнее...

— Бу-у сделано! — с привычными ужимками рапортует Прохиндоз, готовый воплотиться в новый образ. — И помягше будет, и поделикатней. Но... — он наставительно поднимает палец, — тоды уже две бутылки.

Обратно

Ну и погодка: вчера лужи, сегодня выморозило, и никакого просвета в небе. Весна в Заволжье — это еще не весна в привычном понимании слова. Это как бы яростные наскоки на кондовую, упрямую зиму, не желающую сдавать свои позиции. Долго будет идти эта раскачка: плюс — минус, плюс — минус, а потом ударит такая теплынь, что за какую-нибудь неде-

лю выскочит нарядная зелень и полыхнет белым заревом душная черемуха. Именно в это время я приезжал обычно в деревню.

Сыпет и сыпет снег, дома и деревья стоят в белом дыму, и впереди движутся среди крошечной белизны два черных пятна — Виталий Васильев и Селиверстов, оба с расписными целлофановыми пакетами. Они останавливаются, поджидая нас с Егорычем, о чем-то договариваются. «Вот что, мужики, — неловко извиняясь, говорит Жека-медонос, — как хотите-рядите, а мы тут ночевать остаемся. Эвон сколько снега навалило! Неохота лезть в холодную избу. Влупим по стакану — и ага! — Голая девка на его целлофановом пакете съезживается от холода и принимает развратную позу. — Так-тося, мужики... Старухи-мухи тоже тут остаются».

Мы бы и сами последовали их примеру — знакомых в Курзеневе навалом, но Егорычу кровь из носа нужно попасть домой: он уже и так опаздывает на дойку, да и капризная Ветка, должно быть, изошлась в голодном крике. Я выхожу вперед тропить дорогу по запорошенной свежим снегом колее и слышу за спиной глухое стариковское бормотание.

Все пилит и пилит меня Егорыч, никак не успокоится: надо же, целую бутылку угрохал для этого прохвоста, одноглазого балабола! А за-ради чего, за какую такую услугу? Так... барская прихоть... на дешевку польстился. Был бы человек хороший — ладно, не жалко. А то ведь пробы негде ставить этому дьяволу, два раза за мелкое воровство сидел, жены в его дому не держатся, последнюю до кладбища довел. Теперь вот в сельмаге представляет, едрит его муха!..

— Талант надо поощрять, — говорю я, посмеиваясь.

— Тьфу! — выходит из себя Егорыч. — Хрен на блюде, а не талант. Ты бы еще с ним за картишки сел. О-о-ох, я бы посмотрел! Он бы тебя отделил, как Бог черепаху. Без всяких церемоний: все твое и ваше — теперь мое и наше. Вот она, какая штука-то!

— Небось жалко бутылки-то, Егорыч? — подначиваю я его.

— Как не жалко-то! — Он посмеивается. — На дело бы пошла — для сугрева организма, для веселия души. — От его раздражения не остается и следа. — Все лучше, чем придурка-захребетника поить, живодристу окаян-ного. Он, поди уж, сейчас еще кого охмуряет, едрит его муха! У нас таких лопоухих, навроде тебя, пруд пруди. — Старик вдруг становится серьезным и хмурым, какая-то мысль неотвязно бьется в его глазах. Он хлопает себя по коленам: — Постой, ты дружков-то евонных знаешь? Нет?.. Вот те крест — ихняя работа!

— Какая «работа», какие «дружки»? — Я ничего не понимаю.

— А кто дом твой порушил? Пушкин? — кипятится Егорыч из-за моей несообразительности. — Курзеневская шпана, золотая рота — чтоб мне с места не сойти!.. Они... они, больше некому. Доказать, конечно, не могу, но по всем статьям — Генахина команда. Как же это я сразу не додул, старая кочерыжка? Одни по пустым избам лазают, другие вещи ворованные сбывают. Мне тут летом бабка Анна говорила, соседка евонная: как вечер, к его избе легковушки подъезжают и людишки незнакомые узлы какие-то тащат. Туда — сюда. Вроде как перевалочный пункт, гопстоп-комитет. Генаха ей плюшёвку предлагал — с руками оторвала старуха и еще спасибо сказала. А где он взял эту плюшёвку, а?..

— Ты думаешь, он сам этим делом заправляет?

— Не-е-ет, куды ему! — отмахивается старик. — Ленив больно, да и знают его у нас. Между прочим, в холуях ходил у нашего председателя колхоза. Любил комара за уши потянуть — и все о будущем: ленинские идеалы... светлые горизонты... сто верст до небес — и все лесом... как по книге читал.

Он сбрасывает с себя сидор, я следую его примеру, мы отряхиваемся от снега и устраиваемся на крытом крыльце пустующего дома в Грбовщине. Закуриваем.

— Помню, лет двадцать назад, может поболее, мы на дальней поже робили, у Федоркиной избушки — она и посеичас стоит... Ну и вот. При-

ехал к нам Генаха Прохиндоз и давай попрекать: то не так, это не эдак. План не выполняете, и все такое прочее. А я бригадиром был и говорю: «По пище и коса свищет». Он, конечно, в ругань: такой-сякой-разэтакий, горлопан и бездельник. «Собирай, — говорит мне, — народ на митинг, буду речь говорить». А чего нас собирать-то, мы все в аккурат тутока: тридцать два косца и еще две бабки-поварихи... А Генаха — он весь такой тараканистый был, руки длинные, гребучие, ноги как на шарнирах, а лицо будто жирком смазанное. Упитанный мужчина!

Ну и вот, говорит он нам, значит, говорит, руками себе подмахивает, ногами кренделя выписывает, а мы, стало быть, стоим, как коряги, и слушаем Генахино пение. Только сердце иной раз ёкнет да в животе заохлодеет...

Тут Шурка Муханов, брат Лизкин, в бок меня тырк. «Чё это, — говорит, — наш водолей варезку-ту разинул?» Гляжу я — и верно: рот у него шире банного окна и глаза остекленелые. Того гляди, в обморок грянется. И молчит, как статуя... Обернулся я, значит, а у Федоркиной избушки — батюшки-светы! — медведь стоит. Облокотился эдак о дверной косяк и ножку отставил — Генахой кабыть заслушался. Здоровящий такой медведь-от, заматерелый, пудов на сорок. Постоял-постоял, повалил евонный мотоцикл, нужду малую на него справил — и в лес. Не утек, нет — с гонором пошел. Вот она, какая штука-то!..

Чем дальше мы забираемся в лес, тем уже становится дорога и медленнее движение. Она явно не спешит, сменив уезженную, утоптанную колею на еле видимую ниточку следов на снегу. И, наверное, самый феноменальный секрет тропы в том, что она всегда безошибочна. Лес расступается неохотно, щетинится и колется ветками. Сосны и выросшие под их пологом молодые елки сплетают над нашими головами сплошной кров. Я чувствую себя в полной изоляции, как за семью замками. Поваленные пни с судорожно простертыми корнями внушают детский суеверный страх. Они прячутся среди черной хвои, густо обросшие мхом, и издали напоминают прибежище колдуна-чародея.

— Самое время сказки сказывать, — говорит на ходу Егорыч. — Хошь одну — на дорожку?

Мы выбираемся из глухого чапъжника, и он каждый раз придерживает рукой ветки, чтобы я не наткнулся на колючую хвою. Походка у него легкая, упругая, как бы летящая...

— Было это годов эдак сорок, да нет — поболее. Возвращался я из Курзенева... вот как сейчас. И хоть дорогу знаю, не заблужусь, а все равно беспокойно, потому как туман поплыл. Невидучая стала погодка, самая что ни есть лешачья... Свернул я на энту тропку, а там, — Егорыч протянул руку, — в метрах сорока, человек стоит, вроде меня поджидает. Ёдрит твоя муха! В кафтане стоит расстегнутом, войлочной шляпе и в лаптях. Голова его в плечи ушла, в глазах — огненный перелив, а руки вперед выброшены: как бы к броску готовится. И зубами — клац-клац... У меня ружье с собой было, шестнадцатый калибр. Вступаю в дипломатические переговоры: «Кто такой? А ну с дороги! Стрелять буду!» А про себя думаю: видать, кто-то надо мной шутки шутить вздумал, я ведь в нечистую силу не верил... А в ответ — шелк-шелк, клац-клац. И горячим воздухом меня обдаёт, мяконьким таким; в коленках слабость, напряглось все внутри. Хошь и фронт прошел четыре года, а все равно страшно... «По счету «три» — стреляю!» — кричу я нечистому и курок завожу. Если не чокнутый — убежит, напугается. А глаза его огнем полыхают, голова дергается, зубы щелкают. Вот она, какая штука-то!.. Выдержал я минуту, сказал «три» да и пальнул с правого ствола. Все дымом заволокло, да и туман, ничего не видно. Как бы с боку не напал, думаю, лешак этот. Ружьем на всякий случай отмахиваю... А страхолуд на месте стоит: тот же балахон, брюки, лапти, а рук и головы нет. Вот те на! Подходить стал поближе, присматриваться: высокая фигура человеческого обличья. Толкнул ее стволом да и со страху назад повалился, будто пружиной брошенный. Поднялся, однако.

Правую ногу подвину, левую подтяну, снова ружьем туда-сюда толкаю. Любопытство-то — оно сильнее страха. Ага, что-то мягкое прощупывается, будто живая плоть горячая. Запустил я туда руку... — Тут Егорыч замолкает, обходит топкое место на болоте и поджидает меня. — Ну, что это было?..

— Во всяком случае, не медведь, — говорю я уклончиво.

— Знамо, не медведь. Тот бы давно утек. — Он смотрит на меня, как на подающего надежды ученика, и поощрительно улыбается. — Ну, думай, думай!.. Не знаешь?.. А был это обыкновенный еловый пенёк. Лопнувшая кора — балахон, корни — лапти, ветки — руки. И сидела в нем старая сова, клювом блох выискивала, оттого и клацала. Остальное привиделось...

— Ты к чему мне все это рассказываешь, Егорыч? — в лоб спрашиваю я: мнится мне, что есть в этой истории какой-то скрытый смысл.

— А к тому, что ежели б я был суеверным человеком, то навсегда б повредился от страха.

— Если ты на фронте не повредился, — усмехаюсь я, — то что тебе какая-то лесная кикимора?.. Это просто элементарный испуг... мгновенный шок... состояние тревоги. Страх — это совсем другое.

— А чего — другое-то? — Старик с любопытством оборачивается и ждет объяснений. Мы выходим на более-менее утопанную тропинку и меняемся местами. Кажется, ноги сами несут меня, каким-то чутьем угадывая ледяные кочки и впадины, скрытые свежим снегом.

— Страх — это вязкое, гнетущее состояние души, — говорю я, — заразная болезнь, образ жизни, если хочешь. И никогда не знаешь, какую подлянку он выкинет... Вот, например, я к большим собакам испытываю чувство почтительного ужаса, а маленьких комнатных собачек не боюсь и презираю. Но они-то и хватают больше всего... Помнишь, как в Федуловской речке ты потерял ящик с избирательными бюллетенями? Это и есть настоящий страх! Сам бы сел по пятьдесят восьмой и семью свою поставил бы под удар... Или взять наших старух — Лизу, Софью Павловну, обеих Зин. Все они страхом единым опоясаны, он по ним на тараканьих ножках бегают: как бы чего не вышло... мое дело сторона. У них вся жизнь прошла под страхом... Я уверен: они отлично знают, кто обчистил меня и Аркашку.

— Эт-то точно, — с некоторой паузой и даже, как мне слышится, со злорадным удовольствием подтверждает Егорыч. — Всё знаем, да не всё скажем! — Он молчит, перекладывает сидор и вдруг признается с бесшабашной простотой: — Да я и сам такой! Попал в стаю, дак лай не лай, а хвостом виляй...

Я пытаюсь выудить у него кой-какие детали, подробности, но старик уже замкнул уста на замок. Советует только не обращаться в милицию: эти «спящие красавцы», говорит он, только пёну взбаламутят, замотают дело в бумажной волоките, нагонят страх на свидетелей, затаскают по допросам — сам будешь не рад, что связался. И скорее водопад будет падать вверх, нежели к тебе вернется хотя бы одна пропавшая одеялка.

— Аркашка все сделает, — весело произносит Егорыч. — Тебе, парень, шибко повезло, что вас вместе грабанули.

— В каком смысле? — недоумеваю я.

— Ты, ей-богу, как дите малое. Родился дачником — так им и помрешь, честное слово! — Он пробирает меня с непритворным отеческим усердием и все удивляется, как это человек, доживший до седины, вырастивший трех взрослых сыновей, сам уже дед, не может понять таких простых вещей. — У Аркашки все схвачено, понимаешь? Пошлет в Курзенево своих бугаев — они «разберутся», что к чему. Пьяную троицу потрясут, еще кой-кого прихватят. И никакой милиции не нать! Глядишь, может, и вещички к тебе вернутся.

— И откуда ты все знаешь, Егорыч? — смеюсь я, пораженный его проницательностью.

— Да... едрит твоя муха!.. семьдесят пять годов прожил. Как не знать-то? — И он с ходу меняет тему разговора, глазки его подозрительно бега-

ют, а голос рассыпается короткими смешками: — Чё-то у тебя в рюкзаке пробулькивается. Неужель не чуешь? Как бы чего не разлил, Игрич!

Какой-то запах, недоступный моему обонянию, маняще ввинчивается в его широкие ноздри, выдавливая блаженную улыбку. Он демонстративно обнюхивает оттопыренный карман моего рюкзака, в котором лежит продолговатой округлости предмет. — Слышь, Игрич, надо бы проверить, а?

— Вот у себя и проверяй! — говорю я и прибавляю шаг, заставляя и его следовать в моем темпе.

Перед выходом к Федуловской речке, когда перед нами во всей красе открывается слева деревенька с уютными дымами над крышами, а за ней и гибкое речное ложе с ледяными заберегами, старик останавливается, облегченно переводит дух.

— Вишь, какая обширность разработана. Гляди, любуйся — все сыт будешь. Как пословица-то говорит: «За морем теплее, а у нас светлее; за морем и веселье, да чужое, а у нас и непогода, да своя». — К нему, кажется, возвращается прежнее игривое настроение. — Все, нет моготы, отдыхать надобно! — возглашает он и устраивается на пне под разлапистой елкой, развязывает свой сидор: — Ну, ты как... вообще? — и смотрит на меня с надеждой.

Я вижу в его глазах то, что он видит в моих глазах, и мы друг другу нравимся.

— Только по маленькой и по-быстрому, — говорю я. — А то Павлина Степановна заругается...

— Пуцай ее ругается! — весело разрешает Егорыч, управляясь с бутылкой. — Она бранит, а меня Бог хранит. — Я тем временем открываю ножом кильки в томате, режу хлеб... — Каждая баба почесать языком любит, токмо у каждой по-своему выходит. Ежли просто разговорчива, ее говоркой назовут. Говорких у нас любят. А ежли уж порато гневлива, рот не закрывается — значит, чёкла... Ну, Игрич, — произносит он торжественно, — аще по единой да не сокрушит! — и пробулькивает водку в узенький роток, громко крякает и занюхивает хлебом. Мне же протягивает домашнюю снесь: — На голодный желудок душа не запоет. Давай проведайка ватрушку — вкусна ли? Она ить сметаной да яишным желтком смазана, жириста ватрушка-то, поедиста. А вот минтай жареный с луком, померька давай — войдет ли в брюхо минтай-то?.. Раньше у нас жоркие люди были: намелятся чем попало, да и порато дородно...

Понемногу расходится мой старикан, только бороденка прыгает. Выпитая стопка гонит его мысль вперед, слова выходят душистой и терпкой выпечки. Он похож сейчас на доброго лешего: земной и проказливый, с распахнутой до ушей улыбкой, обнажающей щербатый рот, в котором гордо, как вызов, светится один-единственный зуб...

Бойкие синички, прыгая по кустам, окружают нас со всех сторон, иногда подлетают даже на расстояние руки. И когда Егорыч кидает им хлебные крошки, устраивают такой шабаш, что я поневоле закрываю уши. Он поднимает руку, чтобы остановить птичью потеху.

— Спасибо за аплодисменты! Если вы сказали, что хотели, так дайте сказать и мне...

За разговором не заметил, как на тропе появился незнакомый человек. Он шел, опираясь на лыжную палку, выискивая надежную твердь, и не нужно было долго думать, чтобы узнать в нем нового священника Воскресенской церкви отца Сергия. Я никогда не видел его, но рассказами жены и соседей-дачников уже был подготовлен к этой встрече. Как говорили, так и оказалось: молодой, в сущности, человек, с кротким, смиренным взглядом и извиняющейся улыбкой. Один из тех, кто и в далекой старости малым своим ростом и скорбно-изумленным вопросом в глазах будет напоминать наивных юношей.

Егорыча пружиной подбросило с места; звякнув о пенек, повалилась недопитая «Пшеничная»... И тихоструйно зашелестели слова. Именно слова, а не выеденные скорлупки от слов — без елея и ложного благочестия.

— Греха своего не бойтесь, лишь бы покаяние было. — Батюшка смотрел на Егорыча с желанием что-то внушить и помочь ему. — Давно я вас не видел, Четыркин. Почему на службу не ходите?

В интонации отца Сергия не было ничего осуждающего, он не выговаривал старику и не стыдил его, но Егорыч почему-то краснел, хлопал ресницами, вытягивался в струнку, как нашкодивший ученик. Я сам, хоть и неверующий, чувствовал, как во мне поднимается беспричинный стыд...

— На Рождество вас не было и на Крещение тоже. Почему?

— А на Покров приходил, — сказал, оправдываясь, старик.

— Когда он был, праздник Покрова Богородицы? — слегка усмехнулся отец Сергий. Он посмотрел в мою сторону, перевел вопрошающие глаза на Егорыча, и тот глазами же успокоил его: свой, мол, человек, деревенский. Взглядом своим батюшка как бы щадил меня, пришедшего из мира греховного. Он упорно не замечал ни разлившейся бутылки на снегу, ни остатков трапезы на истекающем смолой пне.

— Все ли у вас в порядке, Четыркин?

В таких случаях старика хлебом не корми: начнет наговаривать из поговорки да в присказку и такие туры на колесах разведет, что Боже ты мой... Но на этот раз он был немногословен; сказал только, что болеет жена и ему самому приходится доить корову.

— Как стает снег, я навешу Павлину Степановну, — пообещал отец Сергий. — Так и передайте... Пусть читает пятидесятый псалом Давида.

Он взял слово с Егорыча, что тот явится на воскресную службу, поклонился каждому в отдельности и отправился по нашим следам в сторону Курзенева. Не успели в чувство прийти, а его уже нет.

— Какой хороший человек! — вырвалось у меня.

Старик допивает из горлышка остатки «Пшеничной»: не пропадать же добру!

— Я пятерых батюшек пережил, а этот — один такой. Чудотворенный да удивленный! — Кажется, он входит в привычные свои берега. — Ты отца Мефодия помнишь, нет? Красноплеший такой, плюгавенький, на службах бздо пускал... Он тебя страсть как боялся. Вот те крест, святая икона! Шибко ты его вопросами донимал, видать, в книгу хотел вставить. Он и мне жаловался: укороти, говорит, ты этого чертушку, спасу нет!

— Что... что? — не совсем понимаю я.

— Больших чертей сто, а малых двести, убьют тебя на месте, — пердразнивает Егорыч, не поворачивая ко мне головы. — «Укороти, — говорит, — этого чертушку бородатенького! Нашел, понимаешь, безответного попа. И как еще таких к печатному станку допускают!» — Он круто меняет тему: — Хорошую самогонку гнал отец Мефодий. Я такую только с американами пил на реке Эльбе, ром, кажись, называется. На язык вроде вкусно, а градус не тот. У батюшки куда крепче была: на анисовых семенах настоящая, с шалфеем и можжевельником... Мы с ним, бывало, споем и спляшем. «Самогоночка, дружки, прочищает кишки, вострит зрение, дает сердцам ободрение, разгоняет в костях ломоту, потягивает на люботу...»

— Ты что, Егорыч, — говорю я, — уже ...?

— Разгон даю для веселия души. — Он рассыпается короткими смешками. — От избытка уста глаголют. Кто это сказал? Отец Мефодий. Он, понимаешь, бздило-мученик, только со мной пил: шибко начальства свово боялся, а еще пуще федуловских баб. Та же Софья Павловна на него доносы катала. А со мной ему весело было и выгодно: ушел — и рот на замок...

А потом нам отца Никодима прислали. Ну... тот вообще был анчутка и матерщинник, едрит его муха! Явился во плоти, хоть хреном колоти. Рожа ни на что не похожа: ни гармонь, ни балалайка. Борода факелом, ряса парусом, глотка — как пожарный шланг, и пузо генеральское. Он с нашим председателем заединную дружбу имел и винное питие. Через гулянки эти и грехи с ними случались. Как напьются, нащекарятся промеж себя — и сразу спать. Где сон повалил, там и постеля... Но Никодим память по себе хорошую оставил, грех жаловаться. Он печи русские клал, мастер, каких

поискать. Мужики со всего району к нему бегали, чуть не в ноги кланялись: приходи, Никодимушко, художество и усердие свое приложить к нашей скудости и неумелости. Теперь уж таких мастеров нет и никогда не будет. Вот она, какая штука-то!..

А что на службе вытворял — ой-ёй-ёй! Дело накануне Пасхи было, время полпервого. Ему нать на алтарь выходить, а он на паперти начинает петь: «Броня крепка, и танки наши быстры...» Обоих Зинок чуть удар не хватил, Софья Павловна тоже, того гляди, в обморок грянется. А он поет, да все не то: «Нас в бой пошлет товарищ Сталин...» Я тут к нему подскакиваю: ты что, отец родной, образумься! Народу-то — дождем не смочишь. А он меня отпихивает и к девкам целоваться лезет, за подолы хватает... Ой что вытворял, едрит его муха! Его от нас в глухой уголок отослали...

И снова лесная тропинка с медлительной подробностью разматывает свои километры. Старая растоптанная тропинка из бог-весть-каковских времен. Вверх — вниз, с косогора на косогор — через сосновые чащи, овраги, замерзшие ручьи и угрюмые буреломы, мимо брошенных, беспризорных ферм и задущенных осиной полей... Отсюда уже и деревушка наша виднеется, с покосившимся куполом каменной церкви и черными вороньими гнездами на вершинах берез. Она забралась под самые небеса и притаилась там без лишнего шума и особо вызывающей красоты. И так властна эта тихость неба с розоватыми краями облаков, и так заунывно прекрасны эти осевшие в снег избушки с жемчужными дымами над крышами! Не слышно ни шорохов, ни голосов...

Проходили века, менялись власти, режимы, системы, забывались лозунги, проклятья и здравицы, с неумолимой последовательностью уходили старые и возносились новые витии России, безжалостно искореняя наивные идеалы старины, но и они срывались, падали ниц, пожираемые беспощадным сфинксом — временем. А земля эта, как ни старались ее убить, унижить, заразить, по-прежнему оставалась землей. Той самой, почти неизменной, на которую пять веков назад сели служивые воины князей Рязполовских, сподвижников Ивана Третьего. Приглянулась она пронырливым вельможам своей дикостью, запущенностью, отрешенностью, позвали те с собой рукодельных мужиков, и пошли они, скинув кольчуги и бердыши, рубить-ставить избы по рыжему косогору, распахивать суглинки и подзолы еловыми сохами. На Толстом носу, они его так и называли — Толстый, который образовала крутая излучина Мезы, появились поля-росчистки с посевами жита и репы, в окружении прясел и изгородей встали мельницы-ветрянки и множество амбаров на «курьих ножках».

Испокон веков исповедовали здесь заповедь: сколько поработал — столько и поел. И на этом принципе держались все нравственные и общественные устои. Только знай не ленись! Хочешь — корчуй лесные пустоши, очищай их под сенокос. Или заводи скот и перегоняй его с выгона на выгон. Ну и лес-кормилец не забывай — можешь здесь траву косить на полянах, грибы-ягоды брать, дичь постреливать, дрова заготовливать — никто тебе и слова не скажет. Один и тот же крестьянин был одновременно и пахарем, и охотником, и рыбаком, и пастухом, и плотником. И, конечно же, владел десятками других профессий и навыков. И жил себе поживал, копил детей, выращивал коров и овец, сенокосничал, гулял до одури на сезонных праздниках, по сути своей языческих, и всегда держал про запас немудрящую пословицу: «Назови хоть горшком, только в печь не сажай»... Примерно в середине прошлого века, сидя в тенечке на завалинке, поэт Некрасов угощал здесь водочкой своего будущего героя — деда Мазаю...

Меня всегда тянуло в дальние лесные деревеньки. Трудно представить себе жизнь в этих отрезанных от мира, засыпанных по горло селениях-букашках в пять — десять дворов, где только одни дымы из труб, да лай собак, да подслеповатые оконца с тусклыми огоньками керосиновой лампы напоминают о присутствии человека. Сколько раз за последние годы я пытался навестить места, где когда-то подолгу гостевал, записывал фольк-

лор, слушая семейные хоры, и сам пел вместе со стариками, — жизнь здесь держалась на коренном и прочном крестьянском укладе. Но проходили одно-два десятилетия, и деревенька принимала нежилой, почти кладбищенский вид, будто сдвинулась с земной оси... В окружении бурьяна и прочих свирепых злаков ненужно высился колодец-журавль. Среди иванчая доживали свой век мельничные жернова, старые кровати с сетками, битые горшки, кастрюли, груды цветастого тряпья. Ветер ворочал незакрытыми дверями, надсадно скрипели ржавые петли. Внутри помещений — спертый запах гниющего дерева и мышинных закоулков, гирлянды пыльной паутины. В углу горницы скорбно и незряче глядел с иконы Георгий, а над ним, как отрицание смерти, испуганно хлопотала ласточка, накрывая крыльями беспомощных деток...

Вся деревня высыпала нам навстречу: Павлина Степановна, восьмидесятишестилетняя баба Сира с двумя клюками и Мария Дормидонтовна Муханова, мать Лизы. У всех троих глаза были красными от слез, и, увидев Егорыча, они разом завыли, запричитали, а Павлина Степановна — громче всех. Истошный крик висел в воздухе. Мы еще не поняли, в чем дело, но сердцем почуяли: беда!

— Ограбили!.. В сенцы залезли, дьяволы!.. Все затайки обшарили, и обои ободрали... Вот какие нынче злыдни пошли!.. Опять придется сиротску корочку глотать!.. — Хватая ртом воздух, не обращая внимания на слезы, которые катились по их усохшим лицам, старухи буквально повисли на Егорыче. Уж сколько они на него помоев вылили и сколько его косточки перетерли острыми, наждачными язычками, а пришла беда — и все бросились к нему, последнему крестьянину и защитнику умирающей деревни. Выговориться им надо и выплакаться.

Доконало старух не то, что свершилось некое воровство, — мало ли краж кругом? всегда кто-нибудь кого-то чистит! — а то, что залезли в самое, казалось бы, неподходящее для жулья время, когда Павлина Степановна отлучилась всего-то на час-полтора. Пошла к тетке Марье Мухановой за солью, заболталась маленько, а вернулась — и ахнула. Открытые настежь двери... взломанные сундуки... ободранные обои. И овцы с коровой по двору гуляют!.. Прямо от четверкинського дома в сторону леса уходит свежий лыжный след.

— А чё унесли-то? — пытается добиться Егорыч.

— Да вроде все цело, — оправдывается жена, утирая глаза концом платка, и пытается улыбнуться. — Токо вот разбой учинили, деньги, видать, искали...

Старик плюется в сердцах — надо же, какой шум устроили! — и отправляется в стайку доить Ветку.

Мы стоим на высоком крыльце, в избу заходить не хочется, весной пахнет. Отсюда видно, как одряхлевшие снега сползают в овраг и медленно распадаются там, сраженные молодыми ручьями. Но зима еще обороняется, крепит лужицы хрусткой корочкой, с подветренной стороны наводит узоры на сугробах.

— Усыхает нынешний человек, — говорит бабка Сира, святая душа на костылях. — Видать, время такое подошло. Чего не воровать-то? А раньше-то люди честнее жили. Как в Священном-то Писании сказано? «Иди с миром, нагого увидишь — одень, босого — обуь, голодного — накорми. И тебя Господь пожалеет». Может, и не шибко грамотные мы были, зато честные, праведные... А сейчас? Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет...

Она вспоминает какого-то Никишку, беспутного парня из бывшей деревеньки Деревеньки, который в послевоенные времена залез в чужой амбар, где хранилась заначка с остатками сыченой браги. Не столько выпил, баламут, сколько расплескал — по этим следам его и нашли лихие вдовушки. Бить не стали, а надели аркан на шею и водили по окрестным селам, заставляя орать во все горло: «Я — вор, мое место — в тюрьме»... Чистая,

здоровая среда крестьянского мира вылечила Никишку не только от воровства, но и от пагубной привычки опохмеляться по утрам...

— Игрич, — кричит мне из-под коровы старик Четыркин. Тугие, почти музыкальные струи бьют в эмалированный подойник. — Ну, ты как вообще... а?

— А что... есть? — включаюсь я в его игру.

— Есть... есть, — шепотком, вместо мужа, отвечает Павлина Степановна и выставляет угощение: сегодня все можно.

— Слышь, Павлинка, — не унимается в стайке старик. — Ставь самовар... закуски ставь... щи мясные. И эту, «энзэ», что за мешками спрятана, тоже ставь.

— Давай не прыгай! — осаживает его властолюбивая супруга. — Пупок надорвешь, ишь разорался-то! От твоего крика Ветка на колени падет. — И вдруг спохватывается, хлопает себя по бокам: — Ой, Егорушко, ми-ло-ой!..

За пятнадцать лет я впервые слышу, чтобы она называла своего благоверного Егорушкой; когда рассердится, тетка Павлина не очень-то стесняется в выражениях и все больше упирает на букву «о»: оболдуй, обормот, оглоед, охлобыст, орясина, — а тут вон как расщедрилась. Даже ее подружки удивились и порадовались.

— Ой, Егорушко, забыла тебе сказать. — Она не знает, плакать ей или смеяться. — Чугун-то со щами... унесли. Прямо из печки вынули... горячий. От оглоеды!

Мы все покатываемся от хохота... Что же это за вор, который бежит по лыжне, держа наперевес горячий чугун со щами? Может, еще и заправляется на ходу?..

— А ложки-то целы? — хватаясь за грудь, лопочет бабка Сира, и ее худенькое тельце, поддерживаемое двумя клюками, прошивают новые судороги смеха. — Я ему, голубчику, так и быть, ложку-ту снесу. — И вроде как собирается на своих ходулях бежать за ним вдогонку...

Что-то мы сегодня очень много смеемся, а это, должно быть, не к добру.

Пока греется самовар, я решаю взглянуть на свое разоренное гнездо. Скоро ударит тепло, вскроются ручьи и речки, и деревушка почти на месяц будет отрезана от мира. Так что мне надо спешить с ремонтом.

Бог миловал: нынешний вор не позарился на мое жилье, да там и брать-то уже нечего. Кладовка забита пустыми банками из-под крупы, перегоревшими лампами, столярным инструментом, ржавыми гвоздями, среди которых сиротливой горкой высится рассыпанная соль. На письменном столе — разбитая бутылка с недопитым стаканом и надкушенный соленый огурец. «Грядущий хам», о приближении которого еще век назад предупреждал Мережковский, правил бал в моих любимых пенатах.

Год за годом я следил-переживал отсюда, что было, что случилось с деревней, какая в ней складывается, так сказать, демографическая ситуация. Но я пребывал здесь не только в роли соглядатая, нештатного летописца, но и возделывал свои законные десять соток, обеспечивал семью картошкой и овощами: на литературные гонорары нынче не проживешь...

Как же обезопасить свой дом от жулья и прочей нелюди? Поменять запоры, повесить новые замки?.. А что, если взять да и поставить кол-пристав? Я ходил по избе, выгребая кучи мусора и осколков, и эта мысль мне все больше и больше нравилась. Действительно, пусть дверь будет открытой и избу охраняет обыкновенная палочка, «народный сторож», как знак моего доверия к любому входящему. Ведь честные люди всегда будут существовать на земле, даже если красть разрешат, даже если перепишут законы и из Библии уберут заповедь «не укради». Долой практичную осмотрительность и да здравствует непрактичная доверчивость!..

А что скажет жена?



ЕЛЕНА ЕЛАГИНА



ВОЗДУШНЫМИ ГЛАЗАМИ

* *
*

Смерти боялась. К плечу прижимаясь щекою,
«Только с тобой и не страшно», — ему говорила.
«Что ж, — в полусне обнимая блаженной рукою. —
Что ж, вот умрем и узнаем, что там, за Рекою...» —
Он отвечал. И недолго до этого было.
Умер внезапно. Обычная повесть. Простая.
В нашей стране безмужичьей такого навалом:
Лгал, что любил, всем, к кому заходил, не питая
Чувства ничуть ни к одной из них, хоть добрым малым
Слыл и при этом, а может, и был им... Но ложью
Так поразил ее — больше, чем смертью своею,
Что отступила любовь пред брезгливою дрожью
И отвращеньем ко лжи, ко всему, что за нею...

* *
*

Я думаю о том, как плачет время
Ночами, как хрипит оно по-волчьи
И как пощады просит у того,
Кому оно вообще-то безразлично
И кто его однажды уничтожит,
Отсрочки просит, обещая быть
Послушным и удобным в обращенье,
Как женщина, податливым и влажным
Тогда, когда захочет повелитель,
Не раньше и не позже, в самый раз.
А тот глядит воздушными глазами
И даже суть не понимает просьбы,
Своими занят думами, не слышит
Мольбы ночной, величьем изойдя.
Он не отступит от своих дерзаний,
Все будет сразу: будущее с прошлым
Сольются в черный свиток, ангел свистнет
В трубу ужасную, как в рог:
«Конец охоте!» Конец! Конец!
Сбегаются собаки,
И волокут убитого оленя
Охотники, кряхтя и веселясь.
И всех, как есть, зовут на Страшный Суд,
Где каждый все узнает о себе,

Как будто бы до этого не знал он,
 Кем был, как жил и скольких предавал...
 О, сонмы душ, как душно станет вам
 В безвременье, когда пространство тоже
 Свернется в точку — попросту исчезнет.
 Мир кончится, останется лишь Слава
 Господняя из пеней и молитв,
 И Божья воссияет справедливость,
 Как русский классик некогда мечтал,
 Поверх страданий бывших... «навсегда» —
 Сказать хотела, но — и осеклась,
 Поскольку времени как раз уже не будет,
 А мне его, беднягу, жальче всех.
 О, бедный Хронос, как же без тебя?
 Без дней недели, месяцев и лет?
 Все распадется в первобытный хаос...
 О Господи, и думать не хочу!
 И нет такого здесь воображенья,
 Чтоб всю картину взором охватить,
 Лишь голые абстракции, слова...
 Рожден из Слова, в Слово обратится
 Наш мир опять. Наверно, так, читатель?
 Но я увидеть это не желаю,
 Хотя когда меня о чем спросили?
 Ни разу. Никогда. И ни о чем.
 И все бы ничего. Все слава Богу,
 Да вот нейдет картинка из ума:
 Классическая русская дворняжка,
 Пушистая, с обвисшими ушами,
 Как водится, бездомная, к тому же
 Сидит в пустынной гулкой подворотне
 И воет правду, будто Диоген,
 Совсем другой мне вой напоминая...

* *
*

Не умысел, а замысел нечист...
 Доверясь только собственному слуху,
 упорствует, как мальчик Кай, флейтист,
 одолевая белую разруху
 гармонией, но не осилит той
 кромешной тьмы, и — как там ни старайся! —
 ни щелочки, ни двери запасной,
 и что ей наши гимны или вальсы?
 И пусть. Он счастлив. И, перетерпя
 земную жизнь с подругой беспечальной,
 над семинотьем яростно корпя,
 расширит вдох нам выдохом прощальным.

Скользи, вьюнок, по каменной стене,
 привить пытаюсь хлорофилл к граниту,
 льни, сумасшедший, льни сильнее! Вдвойне
 любовь страшней, чем лабиринты Крита,
 запутанней, опасней и темней,
 там что ни шаг — обрыв, тупик, развязка...
 Но врет, как заведенный, соловей,
 пока живой, пока трепещут связки.

Незванная гостья

Пред милой гостьей с дудочкой в руке.

А. Ахматова.

Мало, мало утешенья в этой девке с дудкой грубой!
 Никогда я лесбиянкой даже в мыслях не была.
 Губ напрасно шевеленье, раз другое помнят губы,
 И напрасен звук щемящий, если вместо дров зола
 В этой печке, в этом доме... Уходи к другим, паскуда,
 Знаю я твое притворство и грошовую любовь,
 К мужикам иди — те любят путаться с тобой, покуда
 Горячит вино и ляжки им еще волнует кровь.
 Те напишут сочинений на три тома или даже
 Больше — это кто как сможет оторваться от питья
 И от баб других. По нраву им утраты и пропажи
 Выставлять на обозренье: быт под видом бытия.
 Есть у них одна привычка — под чужую пляшут дудку
 С юности, вот им и любо быть с тобой накоротке,
 Поминая миром лиру и ахматовскую будку
 И тебя, простую девку с дудкой треснутой в руке.

* *
 *

Не в погоде счастье, мой друг, и не в ней печаль,
 Не из первых рук эта истина, что ж с того?
 Пусть в изящной словесности, там, где мадам де Сталь
 Столь блистала, мы не добились с тобой ничего.
 Не в погоде счастье — в свободе? И так и сяк
 Повернем слова и посмотрим сквозь них на мир...
 Почему-то важен стал мне любой пустяк —
 Не любовь ли то? Или просто свойство задир:
 Приложить к зрачку это выпуклое стекло
 И бревно в глазу у соседа увидеть, чтоб
 Аргументом веским так его ирипекло,
 Что уже не дернется, будто под дустом клоп.
 Но вернемся к теме — о счастье сегодня речь,
 Не в погоде счастье, я знаю, и не в деньгах.
 Под колеса счастья и мне бы хотелось лечь,
 Только все никак не хочет наехать впотьмах.
 По другим дорогам, что ли, его несет?
 На Творца восстать? — Не скажу, чтобы лучший путь.
 И как счастья ждешь ты зимою солнцеворот,
 С петербургской тьмой коротая дни как-нибудь.



ИВАН ОБЛАСОВ



КОЛОКОЛА И ОБЛАКА

Город Творожок

Ну а теперь давай, дружок,
припомним город Творожок:
река течет мелка, ленива
и непомерно широка,
с зальсынами берега —
и смотрит Чичиков с обрыва.

Он бросил свой кабриолет
и простоял здесь сотню лет.

Да... не ударишься в бега.
Колокола да облака,
с землей стремятся слиться звуки,
и почерневшие века
глядят с сомнением — как старухи.

И кажется, исхода нет
на тысячи грядущих лет.

Пусть медлит вялая река,
и длится целый век мгновенье —
мне бесконечно дорога
Россия в этом проявленье.
Я здесь родился, здесь умру —
и стану с Чичиковым рядом
на пожелтевшую траву.

Две зыбких тени на юру
в пространстве, где просторно взглядам.

1978.

Новогодняя электричка

Электричка пойдет полями,
в Наугольной тупо срезав угол,
годы прошли, показавшись днями,
бревна сгорели — и тлеет уголь.

Это вселенское похолоданье
космоса, бывшего мной когда-то,
он уместился б теперь на длани —
но ладонь пуста и поката.

Ветер в Иванцеве.
 Дождь в Драчеве.
 В Дмитрове — елка, вся в мокром снеге,
 Ленин чугунный, от мысли черный,
 ни одного просвета на небе.

.....
 Жизнь моя — песня моя золотая —
 после дорог и осенних весей
 родину сбывшуюся листает
 в поисках чистого поднебесья.

И, не найдя, усмехается грустно:
 значит, не здесь, не сейчас —
 а в месте,
 что бесконечно и безыскусно,
 светом полно и открыто песне.

Республика Крым

1

В забегаловках, где по именам
 не вспомнишь города страны,
 в забегаловках, где имена,
 в сущности, не нужны,

стопка водки есть, и прямой предел —
 горизонта прямая речь.
 Можешь целить — если еще я цель,
 и рубить, если ты еще меч.

Я плыву над пространством давным-давно.
 Ты плывешь под его водой.
 Нам не встретиться с тобой все равно,
 хоть и не расставались с тобой.

Не хочу на восток. Не хочу на юг.
 И на запад я не хочу.
 Вечный север, которым замкнулся круг,
 оставив лишь щель лучу...

2

Серый крейсер, пришедший сюда сквозь весь
 горизонт, так тяжел и стар,
 что похож на исполнившуюся месть
 державе, ушедшей в пар,

что чугунным утюжила утюгом,
 и стучала по головам,
 и звала врагом, и была врагом,
 говорят — досталась врагам.

3

Здесь в трезубцах ходит морской десант.
 Это признак новых времен.

Но от тех, что были тому назад,
и от этих — мы отдохнем.

Потому что время — лишь пустота
вне пределов живой судьбы,
ну а жизнь — какая-то прожита,
хоть смывает ее следы
понт, вытягивающийся на песке
в двух — а вот уже в трех шагах.

И зажата ракушка еще в руке
в брызгах моря — а не в слезах.



ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ



ТРИ РАССКАЗА

УТКА ПО-ПЕКИНСКИ

— ШШШ естидесятники сдают. У нас у всех скоро полетят моторы.
— Ну, это не про нее. Она крепкая женщина. Из тех, что болеют, а сами живут, живут и всех переживают. Дай Бог ей здоровья, конечно. Просто она никогда не принимала таблеток, а тут наглotalась.

— А я говорю — она упала. Сперва в зале у его гроба, а потом она упала еще раз, когда спускалась с лестницы. Двое держали ее под руки, и вдруг один споткнулся о ковер и отпустил ее, а другой все равно держал, но она рухнула. Упала и потащила за собой.

— Зато она сразу увидела *тех*, когда они пришли со своими хризантемами, и велела сказать им, чтобы они убирались. Значит, она хорошо видела и хорошо соображала. Она всегда хорошо соображала, и за него тоже!

— Но и он не мальчик был. И не ангел!..

...И тут лицо Ярополка, его еще и звали Ярополк, повисло передо мною. Ярополк был совсем не тот человек, о котором говорили сейчас, хотя он тоже умер. Правда, давно. Так давно, что скажи тогда, наступит время — и те дни будут так далеки от этих, из которых оглядываюсь, мы бы и в возможности будущего усомнились, но вот я оглядываюсь — и Ярополк передо мною с этим своим чудным именем и заячьим лицом, в яркосинем чешском пиджаке и галстукe, где на пальме обезьянка, а ворот несвежей рубашки давит мощную шею, и он расстегивает верхнюю пуговицу, Ярополк, всегда-то ворот у него перекручен, лезет в карман пиджака и сморкается. Он редко болел, а вот насморком страдал постоянно. В самый неподходящий момент глаза слезились, а сам он бугрился страданием: чихал, шмыгал носом, промокал, морщился. Аллергия была неведома, и Ярополк всегда искал мятые платки по карманам. Он был самым старым на курсе — ему исполнилось двадцать шесть.

Когда его лицо стало всплывать передо мною и не желавшая вспоминать душа стала вспоминать, перед клеткой в зоопарке с запертым в ней зайцем оторопь взяла, так не похож был косою на зайчика, так по-звериному хмур, с такой тоской к пространству, где, перекидывая наперед крепкие ноги, можно мчать, лететь, скатываться, плутать и путать, и замирать, и снова лететь быстрее волка, лисицы, собаки, мотался заяц по волючему полу, и жесткие усики дрожали от неисполнимого...

Разговаривал Ярополк с нестойким смешком, будто пятки ему шекочут или жмут туфли. Вдруг он отпустил бороду. У него, темно-русого, выросла рыжая борода. Пришлось сбрить, он ее сбрил, а усы оставил, походил в усах, но и усы сбрил через некоторое время. Потом он стал носить берет, синий, как пиджак. От этого берета сердце ломит. Опять пришлось просить чеха из соседней группы, демократа, как тогда говорили; деньги вперед — иначе не везли. Он заплатил из стипендии, хотя, кажется, уже числился помощником коменданта и получал зарплату. Когда начались заня-

тия после практики, он пришел в синем берете и с тех пор ходил в нем, сбивая беретку на лоб, до лохматых бровей, из-под которых глядел неспокойными своими глазами.

А вот самая красивая девушка нашего курса, которую он, по общему мнению, смел любить, называла его Полкаша.

— Полкаша, фу! — говорила красавица Жанночка, беззлобно отпихиваясь, когда он на скакивал на нее при всем честном народе, и, уже заранее отступая и пряча лицо, схватывал ручищами немислимую талию.

— Отстань, Полкаша! Стоять.

Ярополк послушно приставлял к ушам растопыренные ладони, сгибал крепкие ноги в коленках — умильное преданное лицо глядело на Жанну. Игра была в том, что глаза в глаза он слушался и повиновался. Она требовала: «Фас!» — и Ярополк налетал на нашего старосту, к которому в свой черед благоволила Жанна. Но стоило ей отвернуться, забыться, как он в ловком прыжке бросался к своему тонкоталийному кумиру и чмокал плечико, обтянутое черным трикотажем. Если Жанна не сразу, визжа, отталкивала его, он блаженно и странно, не стесняясь припадал к ее острому плечу. А ведь все знали, а он и подавно, что староста и Жанна будут вместе. В этой жизни им было не дано избавиться друг от друга, и, когда они шли по коридору, удлиненная, но правильной формы голова с волнистым зачесом возвышалась над кругленькой женской настолько, насколько *надо*: предопределенность освещала их, гибельною чистотою веяло от безмятежных черт, и сероглазость обоюдная соединяла. Но ничего *такого* о них было и подумать нельзя. Институт знал, что Жанна — девушка. И тут они поехали в ГДР (ну кому же другому было ехать среди специальной группы МК комсомола?), поехали и вернулись такими же, только она в еще более короткой юбке и бескаблучных башмаках вроде балеток, с бантиками на подъеме, а он — с портфелем из свиной кожи. И его, нашего старосту, сразу же избрали секретарем институтского комитета, так что портфель из ГДР был кстати — не то что портфель завкафедрой Ники, облупившийся на сгибах, с перекошенными замками, — а рыжий, гладкий, будто надутый изнутри, с одним, но крупным замочком особой конструкции. Теперь эти портфели из кожзаменителя носят заштатные командированные... А тогда они, то есть Жанна и староста, идут или стоят вместе, молодые боги, а Ярополк глядит-глядит и глазом мигает.

Между прочим, его самого еще на первом курсе двинули по общественной линии. Кем-то он числился в профкоме, собирал взносы, а потом сдружился с комендантом Петром Степановичем, человеком намного старше себя. Вдвоем под лестницей они вечно кипятили электрический чайник, если не молча передвигали шахматные фигуры... Петр Степанович, такой старшина-бессрочник, с крепким стриженным затылком, в сатиновом халате поверх пиджака, а из кармана торчат плоскогубцы или деревянная ручка пилы-ножовки, всегда что-то приколачивал, подкручивал, подделывал: построенное в начале тридцатых, уже не конструктивистское, но еще не в стиле зарождавшегося имперства, учебное здание требовало постоянного патрулирования, и Петр Степанович был по-военному зорек и по-апостольски прост: владел ключами и знал вступающих в царствие его; но, кажется, кроме фамилий, выкликаемых по-армейски, безо всякой интонации, от него никто и слова не слышал. Крикнет Петр Степанович: «Штейнбок!» — и стляга Штейнбок сует в карман «штатной» куртки незатушенную сигарету; «Вяземцева!» — и толстая Вяземцева, только что протопавшая в резиновых ботах по красному паркету, жметя к стенке, лепеча, а Петр Степанович движется мимо и дальше, с ножовкою вместо шашки, inferнально позвякивая ключами, и растворяется в том воздухе, так остро пахнущем бедною скипидарною мастикой...

Петр Степанович и устроил Ярополка на платную должность. Ярополку были нужны деньги, мать у него болела где-то в Ельце или Коврове, и в браке он состоял, Ярополк; на курсе узнали случайно — по медицинской карте, и Жанночка потребовала:

— Сперва разведись, Полкаша, а потом играй в игрушки!

А он однажды пришел утром хмурый и говорит:

— Жанна, я развожусь!

Все-таки деньги были ему очень нужны... Когда объявили первую в стране лотерею, Ярополк купил сто билетов, а выиграл ерунду — парфюмерный набор, но зато обклеил бесполезными билетами стенку над общежитской койкой в комнате, где жил вместе с китайцем Гошей. Гоша был вторым человеком после Петра Степановича, который любил Ярополка, и даже стряпал ему по воскресеньям китайскую еду. Когда у Гоши пропал казенный фотоаппарат, выданный для учебы в Москве, Гоша на всех лекциях строчил трудолюбивыми иероглифами объяснения в посольство, но, как только черный посольский «ЗИМ» появился у институтского подъезда, спрятался в туалете и вышел оттуда только после громогласного зова Ярополка: «Гоша, на выход!»

Конечно, *эти* все равно нашли Гошу и велели вернуться в Пекин. Гошин чемодан в аккуратном полотняном чехле Ярополк сам внес в автобус, где уже сидели и ждали Гошу четверо его соотечественников. Прощаясь, Гоша каждому крепко жал руку, и девушкам тоже. «Возьми меня с собою!» — крикнула Жанночка, а Гоша уже за толстым стеклом автобуса улыбнулся, кивнул головою, и соотечественники тоже закивали, улыбаясь... С той поры Ярополк жил один, никого к нему не подселили, но и на собрание с его годовым отчетом никто, конечно, не пошел, а день запомнился — двадцать девятое февраля. Год был високосный.

...Вот наш комендант, затылок его краснеет от напряжения, крепит канцелярскими кнопками лист ватмана к доске объявлений. Кнопки падают, но аккуратист Петр Степанович велит Ярополку, а тот, конечно, в берете, — «темечко мерзнет!» — острит староста, — Петр Степанович велит подобрать кнопки, а сам достает негнушимися пальцами новые из картонной коробочки. Кнопки летят во все стороны — жесткая белая бумага, скручиваясь, выбивает их из себя.

— Не придешь? — почти утвердительно спрашивает Ярополк, ползая по липкому полу: в ладонях кнопки, беретка синяя — на глаза, а глаза слезятся. Опять он простужен.

Мы еще существовали вместе, в перерывах между лекциями пели хором, деря глотки, и Ярополк пел со всеми и рубил воздух рукой, выкликая «Эх! Дубинушка, ухнем!» и «Как один умрем!»; в столовой поспешно сдвигали столы и сидели плечом к плечу, и мазали горчицей черный хлеб, который в ожидании будущего был объявлен бесплатным по общепиту. Какая-то странная лихорадка нас била, или время так лихорадило, оно и впрямь было безумным, то время... Даже завкафедрой Ника выкинул штуку. В том же феврале сделал предложение руки и сердца своей студентке С., и она благосклонно приняла его предложение. Фельетон в партийной газете назывался «Зачетка для Евы» — сам Ника в партии не состоял, но она, эта шельма, была комсомолкой. И на каждом заседании комитета, объявляя перерыв перед значащимся за скромным «разное» одно и нескромное, наш новый секретарь, а тогда такие только входили в моду на роли руководящих (не рубаха-парень с русым чубом, а крепкий шатен с внятной речью), говорил:

— Ну что, старички? Пойдем покурим, подождем. — И улыбался длинным красивым лицом.

Но она не пришла. Да, верно, и не собиралась приходить. Ее меховая шубка так и мелькала по институту, будто нарочно плохо топили — это чтоб, накинув на плечи только что даренную меховую шубку, когда и полосатый нейлон был роскошью, она зябко поводила плечами среди однокурсников и однокурсниц. А ведь студентка С. была наша Жанночка Силина с тонкой, как у испанки Торрес, талией и крутыми крестьянскими бедрами. Может, в ГДР, куда она ездила рука об руку со старостой, она и решила переменить жизнь? Какие жернова повернулись в этой хорошенькой головке, так мило стянутой светленьким пучком, и все волосы со

лба — назад, и выпуклый лобик еще нежнее выбивающихся из этой аккуратности прядей? Как удалось ей совершить этот ослепительный пируэт в закордонных туфельках с трогательными бантиками? И, перелетев, перемахнув через много-много клеточек, встала на землю так пряменько, ровненько, так невозмутимо после, может, главного в своей жизни прыжка, и легкий-легкий вздох после победы... Староста, конечно, тоже шагнул, но этот ход был нормальным шагом на марше. А Ника как ни в чем не бывало шутил на лекциях, сыпал пепел на себя и на пол, наш новобрачный, и все в том же мятом пиджаке и неизменной кацавейке, которую носил всегда и про которую было известно, что «мамаша вязали сами». Это Ника еще на первой лекции сообщил, когда, распарясь от собственных слов и, разумеется, спросив разрешения у дам, снял пиджак и остался в серой вязаной безрукавке, которую и назвал кацавейкой, и заодно поведал про мамашу, вернувшуюся из ссылки. Никина мамаша, закончившая Сорбонну, была еще жива, когда ее сынок с неожиданной дерзостью провел блестящую, прямо-таки балетную, поддержку Жанночкиного полета.

— Я на все имею право в этот год, — будто бы сказал Ника там, куда его все-таки вызвали, а там, конечно, знали, что в жизни у профессора Ермолаева был совсем другой год, тоже по совпадению високосный. Да, время было головокружительно безумно, если они слушали Нику, — все сошло с мест и двинулось... И мы жадно вглядывались в Нику и Жанночку, пытаюсь понять, как решилась она и неужели у них происходит то, чего никогда не было — мы точно знали! — не было у Жанночки со старостой. А Ярополк посерел лицом, но по-прежнему шутил — Полкаша пришел! — и так далее, и как обычно. Ждал, что она скажет «фас!» — и он кинется, — но на кого? на профессора? на старосту? Сейчас можно лишь гадать, что было скрыто во взгляде Ярополка, когда он подлезал к Нике с очередной семинарской работой или, подбирая кнопки, спрашивал на коленях: «Не придешь?» Но известно, что перед собранием Ярополк и Петр Степанович сыграли, по обыкновению, в шахматы под лестницей, попили чай и вдвоем, так дружили, отправились в актовЫй зал. После собрания они опять сыграли в шахматы, и комендант проводил Ярополка до самых дверей общежития. Он утверждал, что Ярополк был трезвым.

А в третьем часу ночи из двери, за которой жил Ярополк, выпало нечто в крови и блевотине и осталось лежать на ковровой дорожке. Этаж считался привилегированным — для иностранных студентов, для мелкого, не имеющего своей жилплощади институтского начальства, и медсестра Зоя из соседней комнаты выскочила в коридор прямо в рубашке и с бигуди в волосах и закричала, как в страшном сне. Ее вопль всех поднял, и уже на коленях рядом с отходящим Ярополком — он вскрыл себе вены на обеих руках, и его дыхание было пьяным, несчастным — Зоя, обрывая кружева по подолу и закручивая их тесными жгутами, то есть пытаюсь остановить кровь, все подвывала, поскуливала, как деревенская, а Ярополк глядел куда-то в сторону, и только один раз, когда она теми же оборками подобрала свои слезы на его лице, глаза их встретились, и Зоя испугалась сумрачной строгости Ярополка. Он явно не хотел этого поспешного спасательства. И так всех: Ярополка, обвязанного кружавчиками, Зою с рваным подолом, демократических аспирантов в махровых халатах, нашего помдекана в трусах и остальных, набежавших с других этажей в разноперой ночной амуниции того давнего года, — застала «скорая помощь». Кто-то ее все-таки вызвал, и она увезла с собой Ярополка... Медсестру Зою отпаивали до рассвета сперва валерьянкой, затем кислым болгарским вином «Хамза». Ярополку в больнице зашили вены, на этот раз он остался жив.

Институт гудел: наш курс опять ходил в героях. Секретарь-староста летал из дирекции в профком, партком и обратно, а так и не обсужденная Жанночка Силина не таясь курила у деканата. Да и кому было останавливать ее, если Петр Степанович исчез.

...Но перед дверью следователя они столкнутся нос к носу, свидетели по делу, Жанна и комендант, точнее, бывший комендант, и Петр Степа-

нович спросит по-апостольски просто: «Как живешь, Силина?» — и не успеет Жанночка задохнуться слезами, как следователь крикнет: «Заходите, Ермолаева!» — и она войдет к следователю, бывшая Силина, красавица Ермолаева, но всегда Жанна Ивановна. Не звучит? А вы родите девочку в Мытищах! Не в доме номер семь рядом с Телеграфом, где можно и Авдотьей назвать, и ничего, и даже здорово, а в Мытищах?..

Приказное открывание и закрывание фрагм на этажах институтской лестницы, когда прямо из-под носа забирала спичечные коробки с окурками бесстрастная комендантская рука, кончилось раз и навсегда, поскольку эта же рука нынешним утром положила на стол директора заявление об уходе. В густой табачной вони мы стояли на последней, уже чердачной, площадке кружком, как в модном румынском танце, который так лихо плясался на праздничных вечерах, и Жанна была со всеми, пришла и встала рядом со старостой. Дело в том, что Ярополк оказался вор! Он брал деньги из профсоюзной кассы, брал-крал, а задолженность погащал уже из другой кассы, взаимопомощи, и на лотерейный невыигрыш деньги оттуда же; он, кстати, и профвзносы собирал прямо у окошка, где давали стипендию, — его синий пиджак всегда горбился у очереди, и не успеет кассир отсчитать пачку денег, а ассигнации были огромными, сразу видно — деньги, как Ярополк сует тебе под нос ведомость: «Пожалте уплатить! Билета нет? Все равно пожалте. Потом тиснем печатку», — и подмигивает, ухмыляясь, большим ртом, кривит брови и беретку поправляет, сдвигает на лоб. А ведь не лысым был — волнистые русые кудри...

— Цвет волос русый, — прочтет следователь, потому что через двадцать дней Ярополк приведет свой замысел в окончательное исполнение, и каждого из того возбужденного кружка, только рук на плечи друг дружке не клали в том танце на чердачной площадке, будут пытаться — нет-нет, не пытаться! — выпытывать, что да как, да еще швырять фотографии, приобщенные к делу, где неживой, но в беретке Ярополк стоит на коленях в странно живой позе, привалясь головою к дверце славянского шкафа, забытого, на беду, в скученном пространстве именно этой каморки, тогда как в других уже давно были утлые сооружения из древесно-стружечных панелей.

— Славянский шкаф с тумбочкой, — пароль-заклинание знаменитого фильма эпохи любил повторять Ярополк, когда в очередной раз и в лучшие дни они с послушным и любящим Гошей двигали этот шкаф, то перегораживая комнату пополам, то отделяя этим же шкафом пространство якобы кухни с двухконфорной электрической плиткой, на которой и стряпал Гоша свои китайские обеды.

...Гошу расстреляли, как только экспресс Москва — Пекин переехал границу. Его ссадили на первой же станции за Великой Китайской стеной и прямо на вокзале, в комнате специального военного представителя, огласили приговор за дискредитацию чести и достоинства посланника великой республики, именем этой же республики и расстреляли за железнодорожными кассами и туалетом. Но известным стало в то же утро, не в утро казни, там, может, и вечер был, а наутро после Касьяновых, раз в четыре года, именин, когда уже все знали, что Ярополк в больнице и жив. И пропавший из Гошиного чемодана казенный фотоаппарат связался прочными узами с неудачным покушением Ярополка, а сама пропажа таинственно встала в уравнение, потому что если так, то... Последний вывод, правда, повис в табачном тумане, но невозвращение Гоши из Пекина было очевидным. Хотели мы или нет, но Ярополк заставил нас решать громоздкие многочлены своей собственной жизни, противу нашей воли вовлек в это всех, от Ники до Зои, мы еще не были виноваты, а он втащил нас за собою туда, где ничего не сходилась с ответом, ничего из того, что было дано в условии задачи, а тут еще картины Гошиной смерти, эти «неужели» и «за что», в затылок или в лицо, и ожидавшие Гошу в автомобиле и с улыбкой глядевшие на наше прощание понятия или убийцы, и кто такой Ярополк, и зачем ему было все это, и последнее, страшное тоже, «за-

чем», а если из-за Жанночки, то почему сейчас, а не когда староста ездил с ней в ГДР, когда Ника на ней женился, когда она впервые пришла в шубке, ему пристало вскрыть себе вены после профсоюзного собрания, напившись, но выпасть в коридор и остаться живу — до времени? случайно? нарочно? насовсем? — но чтоб мы не торчали тут на лестнице, а мчались к нему, везли мандарины, которые в Грузии еще не померзли, и толпились перед дверью палаты, где он лежал с разрезанными, но зашитыми венами и ждал нас.

Но ни в этот день, ни в следующий, ни в две недели больницы, а потом четыре дня общежития мы к нему не пришли. Ярополк отпал от нас — так отпадает корочка засохшей болячки.

А то, что Петр Степанович и Зоя ездили к Ярополку, было их дело, в конце концов, и Петр Степанович выглядел в этой истории не лучшим образом, а Зоя как медсестра отвечала за здоровье Ярополка, да и свободна была после очередного романа: к возвращению Ярополка наш курс отбыл на засекреченный объект в гости к физикам, только политический эмигрант из Ирака, которому не нравились шахи или шейхи, не отбыл, его не пустили, но он и не в счет, и когда Петр Степанович привез Ярополка на такси и они с Зоей с трудом довели его до комнаты, так он слаб был, Ярополк — а Зоя постаралась и даже цветочки купила, — Ярополк замычал, замотал головою; у него это началось еще на собрании... В президиуме он сидел, и выступила Портнова, о Портновой потом, а Ярополк обхватил руками голову и замотал ею, как от зубной боли, и замычал; тогда еще не знали, что он может сделать, а теперь Петр Степанович испугался, и Зоя побежала по этажам искать кого-нибудь с курса. Они оба не понимали, что это не бойкот и не стечение обстоятельств, а что Ярополка не стало для нас — он *отпал*. Но Ярополк знал, поэтому никого не позвал, ни к кому не позвонил, хотя у него были номера телефонов. По этой его записной книжке-альбомчику с толстыми страницами, без алфавита, но с рифленным колокольчиком на обложке, а в нем не только мы все, но и родственники наши, отцы-родители и племянники — все были обозначены — с именами-отчествами, и даже прозвищами уменьшительными, всех потом и вызывали, даже Жанночкин младший брат-первоклассник Игорек едва не загремел в прокуратуру, не говоря уже о Жанночкиной матери Антонине; это сейчас можно умилиться провинциальной дотошности, с которой он и анекдоты понравившиеся царапал на последней странице, и еще список книг, о которых говорят в столице, а напротив прочитанной — крестик: с ума сойти, как он эти крестики ставил, прочтет — и поставит; так вот, Ярополк сразу понял, чего не могли понять Зоя с отставленным комендантом: все-таки он был один из нас до того, как отпал... И Зоя зря бегала по этажам и зря испугала девушку эмигранта, которая рыбкою нырнула от смуглых бицепсов иракского коммуниста под солдатское одеяло с инвентарным номером. Других одеял в общежитии не было... И тогда Петр Степанович пошел звонить Жанночке, то есть на квартиру профессора Ники.

В вестибюле хлопала дверь, обдавая промозглым уличным воздухом, Петр Степанович долго вращал диск, долго слушал гудки, звоном звучащие в чужой квартире, трубку снял Ника и сразу узнал апостольский тенорок и сказал про стратегический объект, куда укатила со всеми и супруга, и в паузу, наполненную хрустом и треском, когда вконец расстроившийся Петр Степанович замолчал, тем более что за спиной его торчал поляк Богус, с которым недавно рассталась наша Зоя, профессор крикнул, припадая на звонкие согласные:

— Скорблю! Скорблю, что вы покинули нашу альму матер! Теперь у нас остались одни Альмочки!

— Кого? — апостол не понял.

— Сучки Альмочки! Я имею в виду Портнову...

И Ника запустил с перепадами такое, что Петр Степанович скоренько опустил трубку, с опаскою поглядев на усатое ляхское лицо. Лагерник, он

и есть лагерник, хотя и бывший, а Портнова была в институте дама известная, правда никто толком не знал, чем она занимается и к какой кафедре имеет отношение, поскольку казалось, она ко всему имеет отношение, когда носилась по этажам, сверкая сухою определенной фигуркой, — папочка в руке и кокетливый вымытый хною хохолок над нестареющим лобиком. Она первой и выступила на собрании, и она же привела за руку чеха из соседней группы, это и был тот самый чех, который привез Ярополку синий пиджак, а потом, по прошествии года, такую же беретку.

— Ну говорите же! Говорите! — нервно крикнула Портнова чеху — она уже выступила, но со сцены не уходила, и тот начал, спотыкаясь, как будто его не учили русскому целых четыре года; с другой стороны, выступать ему пришлось не с места из зала, а у микрофона на сцене, и Ярополк уже держал свою голову руками и раскачивал ее налево-направо, и глаза закрыл, немудрено, что чех спотыкался и все поправлял очки в золотой оправе и тянул слова, это чтоб не заикаться, а Портнова стояла рядом, и он дужки обтирал пальцами, и сказал, что у всех в СССР есть друзья, и что вот Ярополк тоже друг, и он друзьям привозил вещи по-дружески и совсем немножко, из-за хорошего отношения, и вообще не знал, что это нельзя — привезти, например, клипсы или панталоны... Он так и сказал — панталоны, — и зал оживился, вернее, четверть зала, больше народу они так и не нагнали, и добавил тихонечко:

— У нас в Чехии немножко можно.

— Что можно в Чехии? — Это уже помдекана по иностранным студентам затрубил тромбом — он это собрание и вел... Тут чех уронил очки, но, когда поднял, верно, и сам душою распрямился, потому что, ничего не объясняя более, кинулся к дверям, хотел сбежать, но Портнова прыгнула в зал, только хохолок мелькнул, и поймала его за лацканы.

Замкнутое пространство, обозначенное бордовым плюшем занавеси и штор на окнах и высоких, как окна, дверях, и длинный стол, крытый тяжким сукном, и графин с ритуальным стаканом, а слева или справа (сие зависело от левши или правши распорядившегося, то есть уже на уровне мозжечка и головных полушарий) кафедра с гербом или без герба — последнее не только по статусу, но и по благосостоянию учреждения, а вот высота и устройство — всегда загадка, поскольку никогда не совпадало с естественными размерами выступавшего, и не могло, видимо, по замыслу-умыслу: каждый чувствовал свою физическую несостоятельность, обязательно что-нибудь велико, мало в нем самом — то ноги длинные и надо горбиться, клониться, то, напротив, шею режет и тянуться следует; эта нехитрая декорация, калька с чего-то Главного, всем известного, но и сакрального, поскольку в кажущейся простоте и скрывался вопрос — почему все так просто? Но калька и эталоном была для низшего по рангу (хотя и здесь у нас до верха далеко было), еще более низшего — к примеру, вагончика на колесах, но не на рельсах, а где? — да хоть в пустыне, хоть в тундре, пожалуйста, но тоже с обязательностью стол и графин, и сукно на столе, и шторы на окошках вагонных задергивались, как у нас в зале — а пускай день! — приспускались, и люстра возгоралась, бронзовая, это у нас, а наверху — у них — может, вспыхивал потолок затаенным светом, а тому семьдесят лет закрывали ставни, подкручивая фитилек, но и в прошлом веке опускали шторы — декорация сохранялась, да и сюжет, пожалуй, был один, только жанры менялись чересполосицей, как в театральной афише... И Портнова после нынешнего фарса сосала валидол в трамвае, шмыгая остреньким носиком, — а кто ее дергал? что она так взбаламутилась? Правда ли требовала от Ярополка письменных отзывов о демократах в общезжитии, а тот ее послал, или согласился, но не подал, но ведь и от нее что-то требовали, раз она валидол сосала, хоть и сучкой была, а чех после диплома объяснял, что хрусталь ей был нужен чешский, а он не привез; крюшонницу жаждала Портнова, да не простого хрусталя, а богемского с отливом золотым, и к крюшоннице двенадцать бокалов — маленьких чашечек, призрачно мерцающих, и каждая чашечка-бокал с ручкой, чтоб не

хапать почем зря и не оставлять на солнечном хрустале пятен и чтоб не пролить и не разбить, а держать в лапке крепко, а может, и не держать, а захавать в скромную «хельгу» — эту простолюдинку, эту хилую бастардку от русских буфетов и немецких сервантов, но задняя стенка зеркальная, и потому как заиграет в ней крюшонница, а двенадцать чашечек отразятся, умножившись, и сосед-подполковник и вдовец ахнет, и возрадуется одинокая Портнова... Но тогда на собрании чеху было не до шуток, поскольку до диплома еще не так близко. И через пару дней загредел и он с открывшейся язвой, и в другом разе это бы стало событием, как и выступление молчуна коменданта, тот даже к микрофону сам вышел, сказал, как отрапортовал по-военному:

— Я, старый дурак, во всем виноват. Женина сестра Мария Степановна ботинки для детей просила у чехословака... на микропорке!

— На каучуке! — взвизгнула Портнова, ее как подбросило.

— Ну, — согласился комендант, — стало быть, на каучуке, я и виноват.

Но в кассе все равно была недостача!

Не хватало в кассе трех тысяч рублей, *тех* трех тысяч, послевоенных, которые на исходе оттепели будут меняться, теряя мощный и устойчивый нолик, и без нолика докатятся вместе с нами до нынешнего состояния, а может, поэтому и останутся в памяти заставших *большими* деньгами рядом с нынешними «деревяшками» — а это к тому, что цифра была суммой с другой мерой, и хотя можно было эту, скажем, задолженность погасить — стипендия на последнем курсе была триста шестьдесят, а еще полставки по общежитию — четыреста, но не трудитесь складывать, поскольку заповедь нарушена, камень брошен и круги идут... Нет-нет, Ярополку было не выплыть, не вынырнуть, и не так уж важно, ей-богу, что мы не принесли ему мандаринов. Его должно было сбить по дороге. Ну, кем бы он стал, доживи до сегодняшних дней? Нет, ему было суждено остаться там, там отхрипеть и отморгать свое. Ему было не выкарабкаться, не ухватиться за чужие плечи, не продержаться на плаву! С какой ленивой мерностью после ночного волнения и ветра выбрасывают волны водоемов то, что уцелело, не затонуло, — сор, пух, листики сгнившие, а более всего пленки, синтетические пленки, и еще осколки пористого бесцветного вещества, которое тоже идет на упаковку, и это везде, на всех берегах... А как торчат из мутных вод, а кажется, только что были эти воды веселы и прозрачны, засохшие ветки потонувших деревьев, и мрачными птицами покачиваются на мелкой зыби жирные чайки. А сор все прибывает и прибывает к берегу, но и берег не хочет принимать его, и он лениво, знаком чего-то грозящего плещется у ног, а ноги не прежние, но и почва неверна и зыбка. Господи! Прости нас, переплывших!

Ярополк покончил с собою на четвертую ночь после возвращения: Зоя нашла его мертвым под сенью ста лотерейных билетов, когда явилась с завтраком — компотом и сосисками из буфета.

...Следователь был молодой, но уже нервный и охотно рассказывал, что раньше работал по другому ведомству, объявляя это каждому и предоставляя каждому возможность вычислить время перемен, и кивал, когда по вашему беспокойному взгляду угадывал, что вы получили искомую дату, и улыбался, кивая. Свидетели путались, да еще голова болела, как всегда болит в марте, а стенки кабинета, куда нас вызывали по одному, стыли свежими подтеками, и это ощущение надвигающегося или дпящегося ремонта в запахе мокрой извести вместе с мигренью, от которой нельзя глаз распахнуть, не двойной даже, а тройной контур дрожал на границе фиксируемых предметов, как письменный стол с двумя тумбами, или карта города над прорванным кожаным диваном, или портрет лысого основателя, его теперь везде повесили вместо ученика с шевелюрой; но и лицо нашего следователя дрожало где-то в подбородке, скошенном на одну сторону и с красною царапиной поспешного утреннего бритья. Он о чем-то напряженно думал, но спрашивал другое совсем, а по профессиональной

привычке считал третье, да еще расхаживал, и надо было головою вертеть, чтобы не упустить из виду его самого и его вопросы. Худощавое лицо его было ликом спортсмена — выдохшегося велосипедиста, неизвестного тренера с жилистой неопрятною шеей. После устных ответов приходилось браться за перо, садиться на кожаный диван с продавленными пружинами и разрезами по спинке, из которых вата вылезала, но следовательно туда усаживал и ручку давал перьевую вместе со специальными помеченными листочками. Надо было все время вставать и макать ручку, а своей не разрешал, но тогда и в школе лишь на выпуске писали автоматической, и вот мы мучились с его перьевою, вставая, садясь, а он, видимо, скучал и скалывал листики не подымая глаз, а потом вкладывал в папочки, тогда назывались — дерматиновые, и такая же папочка была у Портновой, а он, может, телепат был или профессия научила, хлопнул эту папочку и закинул в другую, пухлую и картонную, и, завязывая веревочки, спросил про Портнову. Так и спросил:

— С Портновой его часто видели?

И сразу:

— А у вас о чем-нибудь с Портновой разговор был?

И со вздохом:

— Значит, не было разговора?

И:

— Никогда?

И сразу еще:

— А вы это смотрели?

И кинул на диван, ухитрившись, как в карточной игре или будто фокус показывает, веером, чтоб поэффектнее, десять на двадцать, фотографии на глянцевой бумаге, в разных ракурсах и с разными приближениями, и сказал в ухо:

— Вот! Не повесился — удавился. Удаться проще, ничего громоздить не надо. Он это правильно поступил, если решил. На воле обычно вешаются, не осведомлены потому! А он знал. Откуда? А по судьбе. Подростком загремел за кражу. Не знали? А надо было бы! Товарищ ваш. А Портнова знала. Так что Ярополк прошел университеты — как там у классика? Вот я и говорю: там за год на всю жизнь обучат. А к нему ваши Макаренки иностранца поселили, ну, иностранец, конечно, наш товарищ — китайский, но все равно зря. Вот так: и самому не посчастливилось, а про другого не говорю... У них там законы в норме, и порядок, и вождь. Не согласны? Тогда пишите, что не согласны! Вы ведь всегда не согласны! Вы — несогласные...

— Псих! С ним осторожно! Чистый псих. — Староста предупредил, передал по цепочке, что сумасшедший.

— Да не сумасшедший я, не сумасшедший. — Следовательно даже обрадовался. — А вот вы кто? Не задумывались? А я так скажу: с вами разбираться — вот с ума и сойдешь, все у вас шиворот-навыворот, все не по норме. Не имею права? Имею! Вы его загубили! А кто ж еще? Портнова? Не смешите! Она, конечно, переборщила, но она на службе. Деньги, которые он взял? Тьфу, эти деньги!.. Ну, запутался парень, ну, может, по привычке. А откуда вы взяли, что он фотоаппарат украл? А если сам Го Шеньли его и продал? Как вы его звали? Гоша? Вот он... Не подумали? Дома живете, а им на кормежку. Откуда у них деньги были на утку пекинскую, лучше мне скажите? Я это себе позволить не могу еженедельно, а они позволяли. Много вы о жизни знаете! Чего он, покойный, в ваше заведение полез? Такой талантливый был? Да не талантливый, сами знаете. Вот тут у меня его работы — за первый курс, за второй... Мели, Емеля, не разбираемся? А тут и разбираться нечего. Вот я для интересу профессора Ермолаева книжку взял, так у него, у вашего Ники, черт ногу сломит, даже познакомиться захотелось, но его супруга справочку принесла. Болен! Очень разорялась. Не смеете, орала, Нику вызывать. Ника ни при чем! Ника!.. А то, что Нике шестой десяток, это ничего. Тоже кукла! Вообще,

история. Домой придешь — есть не хочется. Такой парень в прозекторской лежит. А что сбоил, бывает. Поправили — и дальше пошел. Да ему все пути у нас открыты были. Мог бы в какой-нибудь другой вуз поступить. Например, в Институт физкультуры. Самое место для него, и разряд был у покойного... У меня тут заключение анатома — там прямо и сказано: атлетического сложения, мускулатура отличная... Воды надо? Она тут у меня стухла давно. Никто не меняет. А я воду не пью. Чай беру у вахтерши... Вы лучше произведение свое заканчивайте и на стол ложьте. Все равно лучше всех староста написал! Так я продолжу: мускулатура отличная, цвет волос — русый...

На похороны Ярополка приехала его жена, провинциальная, стесняющаяся, в узкой юбке, немодно открывающей толстые коленки в тугих капроновых чулках. Над заплаканными глазками вились кудерики псд Целиковскую, и эти заботливо уложенные, просахариненные кудерики — так тогда девушки поступали — растопились, развились от столичного грязного снега, повисли жалобными прядями, и чулки свои она забрызгала на пятках, эта жена, вдова, вдруг свалившаяся на наши души, и все не хотела уходить от снега, от ветра, распрямившего ей волосы, от черного дома с трубами, все не шла в автобус, в котором еще полчаса назад стоял гроб, обитый плиссированным штапелем, а теперь сидели все мы и терпеливо ждали, когда двое наших и Петр Степанович уговорят ее уйти от дома, где мы оставили тело Ярополка в синем чешском пиджаке.

По-моему, она все-таки не поехала с нами, а нас автобус довез до станции метро «Калужская», которую потом назвали «Октябрьская». «Калужской» стала совсем другая, новая станция, не на кольце, а радиальная. «Проспект Мира» переименовали в «Щербаковскую», «Ботанический сад» — в «Проспект Мира», а нынешний «Ботанический сад» где-то далеко у станции «Свиблово». Совсем недавно пропала «Щербаковская», теперь она, кажется, «Алексеевская»... Кто-то путал фигуры, и не вспомнить, как они были расставлены, кем были и за что поплатились. Но тогда, в марте, будущее впервые дохнуло нам в лицо — хотя там и не свет был, а тени легли — и скрылось за семью печатями.

Вопреки всему Гоша оказался жив. Его встретили на симпозиуме в Швейцарии или в Баварии, не важно, он и гражданином стал не китайским. Про всех спрашивал, уверял, что помнит, а когда узнал, что Ярополка нет на свете, замолчал, снял очки и, говорят, долго протирал стекла.

— Очень жаль, что я не увижу больше Ярополка, — тихо сказал Гоша, — он так любил есть утку, которую я ему готовил...

ПЕШТИК И ПЛУШТИК

Closett в этом доме на Взморье был задуман когда-то как туалетная комната, соединяющая две спальни, его и ее, и рядом с мраморной раковиной в медных краниках, должно быть, стояли фаянсовые тазы с растительным орнаментом и такие же кувшины для обливания... Долго ли обливались той водой прежние хозяева, брился ли здесь во время последней войны немецкий офицер, глядясь в зеркальце узким своим лицом, накручивала ли на бигуди волосы, крашенные красным стрептоцидом, теща полковника — почему-то именно теща представляется рядом с полковником, переброшенным сюда с Дальнего Востока, а может, с Украины, — но сейчас на разбитом кафеле пола ни тазов, ни кувшинов не было, а наследники дома, как все, озабоченные хлебом насущным, сдавали комнаты отдыхающим дикарям. А чтобы не бродили мимо хозяйских постелей, в стене прорубили еще одну дверь — прямо на задний двор. Туда от парадного крыльца, огибая дом, вела утоптанная дорожка, в конце ее торчал сломанный венский стул, изъеденный дождями, а на заборе висел цинковый

умывальник с разноцветными мыльницами. Умываться в доме не разрешалось, но и не очень хотелось, потому что, войдя через наружную дверь и заперев ее на щеколду, предстояло срочно позаботиться и о двух остальных — из одной, белой и дворцовой, могла выскочить хозяйка с перманентом на бесцветных волосах, в другой, дощатой, — появиться хозяин, казавшийся десятком лет моложе жены, но весь какой-то слабый, с редкою бородою и в польских вздернутых джинсах. Обе двери по-прежнему вели в хозяйские комнаты, но спальня у супругов теперь была общая, а другая переделана в мастерскую.

— Мой муж-жь художник! — со старательностью произносила хозяйка. Помню жужжание голоса, будто муха вьется, — муж-жь, худож-жь-ник... Работ художника не показывали, но из двери мастерской воняло керосином и красками. Старинный умывальник жалобно позвякивал, когда хозяин шаркал за стеной.

Два раза в неделю он ездил в город.

— Он художник, и он должен продвигать картины по нашему начальству, — зачем-то и в который раз объясняла хозяйка, когда ее муж, так и не переодевшись, брел по гравию навстречу электричке. Странно, при всей subtilности хозяина поступь его была медвежья...

А вот шаги хозяйки казались беззвучными. Она бродила по своему огромному дому в тапочках с помпонами, возникая из воздуха. Захваченный врасплох с обжигающим кипятивником в руках, очередной жилец что-то бормотал, а Муха жужжала:

— Пож-ж-ар будет. Я вам откаж-ж-жу!

Дом был стар, но не достроен. Его поставили накануне совсем давней войны, но и сейчас лестница без перил громоздилась посреди хозяйской столовой, а на нашем коммунальном этаже в полу был просто вырезан люк, куда ночами с грохотом проваливались кавалеры хихикающей девицы из Ленинграда и куда мы спускались с неизбежностью и по одному, как в преисподнюю, постепенно — сперва ноги, потом живот, грудь и, наконец, голова, — попадая под прозрачные, его, и цепкие, ее, глаза хозяев. Он и она всегда оказывались здесь и всегда сидели друг против друга, охраняемые двумя псами, черным и рыжим, с явными следами овчарки или лайки в остроконечных ушах. Собаки согласно рычали, напрягая шеи.

— Тише, Пештик! Тише, Плуштик! — говорила хозяйка и вздыхала — у них одна мать, они братья, Пештик и Плуштик.

Хозяин убивает, а она прячет трупы. В *closette*. Кстати, и слово *closett* было из лексикона хозяйки. Она так важно произносила *closett*, объясняя правила своего дома. Хозяин с жильцами не разговаривал.

Однажды я встретила его в лесу около моря. Он прошел мимо, проскрипев по хвое почерневшими от росы ботинками. Обе корзины, которые он нес, были полны грибов, должно быть, там, за дальнею дюной, его туманный взор становился острым и зорким. Пройдя метров сто, я оглянулась. Хозяин стоял на том месте, где мы повстречались, и тоже смотрел на меня. Его тощая фигура с двумя корзинками была как аптекарские весы, поставленные почему-то на взгорке среди сосен.

Вечерами на заднем дворе хозяйка сортировала грибы: сушить, солить, жарить со сметаной, мариновать. Перед ее стулом на земле стояли четыре кастрюли, и, осмотрев гриб со всех сторон, она кидала его в одну из кастрюлек. Собаки-братья подобострастно виляли хвостами, рыжим и черным, подметая дорожку, а мимо, как раз между умывальником и *closettom*, боязливо и сосредоточенно сновали жильцы, на ходу вытирая лица, прежде чем окончательно разбежаться по своим комнатам-каютам с одинаковыми тумбочками и диванчиками, над которыми висели блеклые эстампы с видами местной столицы.

Как-то хозяйки не было на обычном месте, и только Пештик и Плуштик спали возле пустых кастрюлек, положив друг на дружку кудлатые разномастные головы. Обрадованная отсутствием хозяйки, я толкнула дверцу и сразу же отскочила — оттуда брызнул яркий свет, сама спальня двину-

лась на меня вместе с огромной кроватью под высокой красной периной, но дворцовую захлопнули, стало темно, почудился замирающий мужской вздох, и хозяйка появилась на пороге и прошла мимо, обдав жаром большого горячего тела, с прижатою к животу корзиною, и села на венский стул, и собаки обе разом встали и легли у ее ног.

Неожиданно помягчев, она прошипела:

— Ничего, ничего... В жизни случается.

Потеряв бдительность, я нагнулась к собакам, я хотела их погладить, но хозяйка остановила меня и сказала строго, без жужжания:

— Им это не надо! Нет.

Хозяин вставал рано. Понятие «жаворонок» совсем не вязалось с его настороженными глазами совы, но уже в шесть утра я слышала сквозь сон тяжкую поступь по галерее, опоясывающей наши комнаты по всему периметру второго этажа. Здесь на полу хозяин раскладывал отобранные для сушки грибы, и мы ходили осторожно, глядя себе под ноги, чтобы не раздавить хозяйский гриб или не споткнуться о яблоки, которые тоже сушились здесь, и их терпкий запах смешивался с сырым настоем грибов.

Кончался август. Стояли удивительно ясные дни, но вода в заливе, если войти подальше, обжигала холодом. Жильцы разъезжались один за другим, и наконец во всем доме остались я и его хозяйка.

Это было время, когда моя жизнь складывалась из нелепых случайностей, но они следовали друг за другом с назойливостью оперной судьбы, и вдруг попавшая в этот дом, я задержалась в нем долее других, словно пережидая на повороте шоссе у кромки, когда промчатся бешеные грузовики с неуправляемыми прицепами... Все происходило не здесь, а я вставала поутру, пила растворимый кофе из собственной чашки с синим дулевским цветком, ела тайно сваренное яйцо и спускалась вниз.

Хозяйка сидели по разным сторонам длинного стола и завтракали. Я здоровалась, фальшиво улыбаясь. Они кивали молча. Иногда хозяйка говорила:

— Кофе ждет! Спешите, спешите кушать.

Их завтрак до смешного напоминал мой. Они тоже пили кофе и ели яйца, только их кофе был настоящий свежемолотый, он горчил на весь дом, и хозяйка сама наливала его хозяину в керамическую кружку и стряхивала на тарелку яичницу на шипящих шкварках, заботливо отодвигая ножом кусочки сала. Хозяин брезгливо ежился — сало любила хозяйка. Ее рот уже с утра был обозначен яркою полосой вишневой помады, которая горела на губах отдельно и впереди, не выцветая и не смазываясь, отчего лицо совсем пропадало.

Проскользнув мимо хозяев и миновав двор и садик с увядающими флоксами, я шла к морю. Были дни, когда я выходила к нему совсем одна. Вокруг лежал пустой берег в черных водорослях, по-кошачьи кричали чайки, голову мою кружило. Несуществующая возможность жизни здесь представлялась мне: осенние штормовые ветры, чашечка кофе в задымленном кафе, поездка в город среди чужих людей, читающих свои и немецкие газеты, потом медленная зима...

Одним таким утром, когда я уже спустилась с опасной лестницы, хозяйка остановила меня:

— Можете послужить нам с мужем? Очень нужно, пожалуйста!

Я не успела ответить, как она уже несла допотопный фотоаппарат, а за нею плелся понурый хозяин, но в строгой черной тройке и с галстуком-бабочкой.

— Уже заряжено, — весело крикнула хозяйка, — нужно чик! — и выскочила во двор с шаловливой грацией подростка. Теперь я увидела, что она в незнакомом мне, отливающим в синеву платье, а на ногах вместо тапочек с помпонами — новенькие лакировки.

Пока я вспоминала, какая выдержка нужна для туманной погоды, они уже застыли, приготовившись, и хозяин положил свою бледную руку на ее плечо в нарядном муаре.

— Дальше, дальше, отойдите дальше. — Она была непривычно оживлена... Она хотела, верно, чтобы на будущей фотографии кроме их застывших улыбок, новых платьев и туфель был запечатлен и дом во всей своей бревенчатой мощи. Когда я наконец приготовилась нажать затвор, мимо прошествовали Пештик и Плештик. Ведомые самими духами этого дома, они остановились и замерли по обе стороны супружеской четы.

— Снимаю, — крикнула я и щелкнула затвором.

— Еще надо, еще! — велела хозяйка.

Ослепительно улыбаясь, она притянула к себе мужа, и он покорно прижался к ее бедру. Они стояли теперь совсем тесно. Их руки были сцеплены крендельками, как у школьников. Они были одно. В мире, организованном рамкою окуляра, кроме них не было никого, только собаки-братья с грустной симметрией сидели у хозяйских ног. Они все не шевелились, и я делала снимок за снимком, боясь приблизить или отдалить их смутные фигуры.

Хозяин неожиданно отобрал у супруги свою руку и пошел на меня. Собаки двинулись за ним, хозяйка испарилась.

— Дайте камеру, — произнес он почти без акцента и с презрением, и подобие усмешки шевельнуло его губы, когда он стоял напротив, и я смогла совсем близко увидеть яркие зрачки глаз, устремленные на меня без всякого расположения. Надо уезжать, подумала я, но уже в следующее мгновение шагала к морю, а увидев залив, ожила радостью и таким полным освобождением от всего, что желание бесконечно длить эти дни опять возобладало над тревогой, над необходимостью решений, над тоскою по маленькой еще дочке.

Вечером я нашла хозяйку на заднем дворе. Все в том же шелковом платье, но в тапочках, она курила, некрасиво и крепко держа длинную сигарету.

— Еще поживете? — безразлично спросила она, принимая у меня деньги за неделю вперед, и впервые не пересчитала их. — Мы получим хорошие карточки? Нужны хорошие. Это важно!

— Давайте переснимем, — забеспокоилась я, но она не слышала.

— Они поплывут далеко, эти карточки, — проговорила она, — далеко-далеко. В Австралию. Их ждет дядя Гуннар. Он в Австралии, наш дядя, — и добавила поспешно: — Он уехал из буржуазной республики. Да! Это точно. Из буржуазной. И задержался, и возможности приехать нету. И мы не можем тоже, никогда.

Она и сейчас была отделена от меня, как сегодня утром, когда я смотрела в объектив. Жизнь, недоступная мне, совершалась в ней, она покачивалась на волнах другого пространства, полузакрыв глаза, пока я следила за беспокойной линией рта, замазанного густой помадой.

— Знаете, — сказала она задумчиво и все еще покачиваясь в тех волнах, — раньше я была очень фотогеничная. Дядя Гуннар говорил — Марика Рокк. Я покажу, — вдруг крикнула она с неведомым мне отчаянием, — я покажу вам себя девушкой!

Она бросила сигарету и кинулась к дому, она толкнула наружную дверь и разъяла дворцовую.

— Прошу! Прошу в будуар!

Конечно, ее когда-то учили французскому.

— Вы можете сесть! Пожалуйста! Здесь есть козетка.

Она подала альбомчик старинного картона с золотыми вензелями на плюшевом переплете, взгромоздилась на кровать с красною периной, а псы легли у ее ног.

На всех фотографиях этого альбома, датированных тщательно и даже скрупулезно, кстати, сами даты бросали в жар, поскольку, обозначая время, обнаруживали несходство одних и тех же дней здесь, у моря, и там, где родилась и жила я, на всех фотографиях была запечатлена она, наша жужжащая Муха. У пухлого младенца, опрокинувшегося навзничь на кружевные подушки, так же как и у девочки на тугих еще ножках рядом с муж-

чиною в полосатом пиджаке, наряженном как для кино в стиле ретро, и, наконец, — должно быть, это и есть главная карточка, — у девушки в платье с квадратными плечами и смазливой собачьей мордочкой, действительно напоминающей Марику Рокк, по крайней мере ее больше, чем Дину Дурбин, если уж вспоминать тех звезд, — у всех троих: у младенца, у ребенка и у взрослой — были неизменные, отлитые навсегда черты и узкий рот змеился уныло.

— Смешная мордашка, — вздохнула хозяйка, когда я, почтительно улыбаясь, разглядывала карточки, чтобы на каждой странице встретиться с неуклонно на глазах вырастающей девицей. Ожидая последующих превращений, я переворачивала страницы все медленнее и медленнее. Я тщила остановить время. Сперва одиноко взрослевшая, она стала обрастать сопутствующими ее жизни существами, их становилось все больше, и вот, забытая напрочь в какой-то компании, она теснится совсем сбоку, совсем неприметно, и хозяйкин палец с обгрызенным ногтем показывает мне ее — себя, — иначе не углядишь, но рот там, на фотографии, уже густо намазан, чтобы скрыть унылость губ, не унылость губ даже — унылость пути. Господи, какое несчастье, они наконец оба рядом, и год указан, чтобы не ошибиться, не забыть, и руки сцеплены крендельками. Они такие же, как сейчас, он слаб и худ, она широка в кости. На нем полосатый пиджак... Теперь я листаю альбомчик вспять, назад, до той запомнившейся фотографии, где она девочкой в батистовом платье, а рядом молодой мужчина.

— Дядя Гуннар, — объясняет хозяйка, — он еще здесь, дома. Они похожи, мой муж и дядя Гуннар. Пиджак, конечно, другой, но тоже похож. А вот наш дядя сейчас! — бодро восклицает она и вытряхивает из конверта цветной квадратик современного фото.

Резко стукнула дверь, и хозяин, больше некому было, вошел в спальню и остановился за моей спиной. Хозяйка странным взглядом посмотрела на мужа, собаки на меня. Теперь Пештик и Плуштик сторожили каждое мое движение, казалось, моргни я резче — и никто не остановит их. Только дядя Гуннар взирал по-приятельски, один, в шезлонге за кружечкой пива посреди газонов пустынного австралийского парка.

Нежное всхлипывание обожгло мне затылок. Хозяин плакал.

— Иди отсюда, — немедленно велела хозяйка мужу тем не терпящим прекословия тоном, которым бранила за кипятильники. — Уходи! Мне надоело! — то есть она сказала не по-русски, но я поняла. Половицы заскрипели, дверь охнула.

— Он очень любит дядю. — Хозяйка поджала рот. — Это его любимый дядя. И мой тоже. Мы с мужем троюродные брат и сестричка. И наш дядя Гуннар — наш общий дядя.

Она вывела меня из спальни сразу в столовую, и я, как впервые, увидела остов лестницы, грубо сколоченный стол, два стула на гнутых ножках — два, гостей не предполагалось, — и полку с длинным рядом ступок, от большой к маленькой, и в каждой пестик, наклонившийся от медной тяжести.

— Мой муж вчера их почистил, — объяснила моя новая подружка, — я боюсь чистить. Если упадет такая штука, может прикокошить! — И засмеялась.

Я проснулась ночью... За незастекленную рамой окна бился ветер. Занавеска, отделяющая меня от тьмы галереи (фонарь не горел), вздымалась парусом. Не шевелясь я глядела на пузырящуюся штору, которая, все более задираясь, раскачивалась передо мной. Скоро она доберется до подоконника, взметнется к потолку — и холодная мокрая хвоя посыплется на постель. Я включила настольную лампу, уже заранее зная, что свет не зажжется: в штормовые ночи электричество в поселок не подавалось.

У хозяев не спали тоже. По крайней мере хозяин не спал. Он бродил внизу, открывал и закрывал двери. Под деревянным полом моей каморки, нависающим над первым этажом низким потолком с невымытыми углами, в которых ждали своего часа затаившиеся пауки, в самом сердце дома что-

то происходило. Раздался визгливый, но приглушенный лай, а потом глубокий, прозвучавший на весь дом стон-вздых, полный сбывшихся страхов, какие есть у всякой души. Мысль о смерти, вернее, не о ней, а о том, что надо пережить каждому, пока не умер, была нестерпима, как всякое ожидание. Беспомощно ворочаясь на узком детском матрасике, я пыталась отогнать навязчивые видения, но, подтверждая мой бред, грохотали двери: я узнавала голоса дворцовой, характерный треск несмазанных петель входной, глухой стук той, где скрывалась мастерская. И я увидела комнату, в которой никогда не была и самые окна которой замазаны белой краской. Хозяин бессильно и долго плакал сегодня, лежа ничком на колченогой кушетке или топчане; не мог же он каждую ночь томиться под красною периной. «Мой муж худож-жь-ник!» — и я представила хозяина с его манерой сосредоточения на чем-то, возбуждающем ненависть и внезапную энергичную вспышку. Так мухобойкой он бил на оконных стеклах залетевших в дом насекомых.

...Хозяин душил хозяйку. Долго и сладострастно. Он внимательно слушал сопротивляющееся мычание ее горла в мягких складочках. Собаки мешали ему. Визгливо ворча, они терлись у ног, и он все время отпихивал их пятками. Когда все было кончено, с омерзением убившего муху он встал с супружеского ложа и надел польские джинсы. В изголовье кровати, на тумбочке, рядом с ее очками и стаканом воды, которой она всегда ставила себе на ночь, он нащупал карманный фонарик, зажег его и в смутном свете давно севших батареек стряхнул с себя налипшие пушинки, потом брезгливо, но ловко закатал в простыни тело жены и сестры и поволок свой тяжелый сверток. Он пустил воду и, подставив руки струе, закрыв глаза, бессильно прислонился к стене в керамических плитках с жеманными лилиями. Он еще не знал, что делать дальше. У него кружилась голова. Оставив воду бесконечно литься, так и не закрутив узорного крана, мимо кровати с чернеющей в темноте периною и споткнувшись о козетку с разбросанным бельем, прошел в столовую. Дверь закрипела. Он обвел фонариком стены и увидел вычищенные накануне ступки. Медные бока мрачно поблескивали. Он залез на стул и вынул из ступки пестик...

Я лихорадочно натянула свитер и проверила замок своей комнаты — жалкий крючок, который при желании легко сорвать. И тут я услышала, не во сне — *наяву*: кто-то, шаркая ногами на каждой ступени, медленно поднимался наверх.

...Хозяин шел ко мне. Еще несколько шагов — и он замер у двери. Он не торопился. Он выжидал. Мы оба с тоскою слушали завывание осеннего ветра. Стук хозяина в дверь был почти нежен. Я не ответила; он постучал опять, постоял немного, высморкался и вышел на галерею. Еще несколько секунд, он обойдет этаж — и в проеме окна я увижу его узкую голову. Но пока он крался вкруговую и разложенные для сушки грибы с мерзким чмоканием лопались у него под ногами, была возможность спастись. Я вытолкнула наружу незастекленные створки и выпрыгнула из окна. Дом, как корабль в бурном океане, кренился и трещал, он плыл сквозь ночь к берегам далекой Австралии, где дядя Гуннар пил пиво среди пустынных газонов. Но тут подошвы моих синтетических босоножек, в которых я собралась бежать от злого рока, наконец настигшего меня в маске хозяина этого дома, скользнули по доскам, и, потеряв равновесие, я рухнула на пол. Что-то круглое и твердое во множестве разлетелось и раскатилось вокруг. Самое время было убивать меня пестиком по затылку!

Я лежала среди яблок. Ободренные ладони и колени горели, правое плечо саднило. С трудом я забралась к себе через то же окошко. Досада и холод разбирали меня. Я хотела спать, но боялась уснуть и тряслась под толстым пледом, прямо в свитере и юбке...

Когда я открыла глаза, комнату освещало низкое солнце. Где-то рядом стучал дятел. Я не сразу заметила, что горит настольная лампа. Теперь я выключила ее и спустилась вниз.

В столовой никого не было (правда, и время завтрака давно миновало), но в глубине сада привычно маячил хозяин. Я отправилась на задний двор к умывальнику. Там долго искала мыльницу — ночной ветер сбил ее, она валялась в траве, а мыло стало мокрым и раскисшим. Я еще не успела задуматься, что там делает хозяин с лопатой в руке, как дверь closetta распахнулась — и воскресшая Муха в тапочках с помпонами на отекавших ногах, кривя губы, вышла навстречу.

О, как я любила ее в это мгновенье! С восторгом я глядела на ее широкую фигуру, на бесцветные ежившиеся на висках волосы, на водянистые глаза. Но она лишь настороженно кивнула в ответ на мое приветствие и спросила строго:

— Вы слышали что-нибудь ночью?

— Нет, — ответила я немея.

— Ничего не слышали? Как странно, — она покачала головой, — я думала, вы не спите.

— Я спала, — солгала я, — читала, а потом заснула.

— Я тож-ж-же сплю над книгою, — согласилась она, но все-таки не совсем поверила, — возможно, вы и не слышали. Но было так шумно!

— У вас что-нибудь случилось? — почти без голоса спросила я.

— Да, — сказала она, — случилось. Пештик съел Плуштик.

Ее губы были намазаны, но подбородок дрожал.

...Я собрала вещи и в тот же день уехала. К станции я бежала бегом.

Я никогда не была больше в том месте и доме, да вряд ли буду. Но он снится мне... Бледные хозяева за одиноким столом и две их собаки, Пештик и Плуштик, с кудлатыми сумеречными головами. И горячая тоска охватывает меня с той остротой, которая бывает только во сне, и непонятно откуда взявшееся сожаление — но о ком? и о чем? — давит сердце.

КУДА СКАЧУТ ВСАДНИКИ

В этой истории нет ничего, кроме лошади, привязанной в Орто-токае.

Администратор Абды, в сапогах и шляпе, с университетским значком (университет не закончен, значок есть), прислал телеграмму в город Фрунзе:

СТУДИЯ НЕСМЕЛОВУ ЛОШАДЬ ПРИВЯЗАНА ОРТОТОКАЕ ПРИВЕТОМ АБДЫ КИРГИЗБАЕВ

Тридцать три года назад прислал телеграмму и пропал. Молодой, смуглый, полный соков, фетровая шляпа, новый костюм, ноги кривые твердо стоят, холост, выбрит, глаза — ягоды тутовника. Шелковицы. Смоковницы.

— А что такое Орто-такой? — спросил директора фильма Несмелова сценарист Веня из Москвы и закурил трубку.

— Не Орто-такой, а Орто-токай, — вздохнул Несмелов, — такой город за горами по дороге к узбекам. — А сам подумал: хрен эти национальные кадры. Лучше бы я взял еврея. Вроде Вени.

Несмелов тоже был не отсюда. Судьба завела его в эти степи. Судьба — это война и рана. Он попал в госпиталь и женился, белорусский партизан Несмелов, и остался тосковать по России. Подрастали у Несмелова дочки, и была квартира из трех комнат на первом этаже панельной пятиэтажки в местных Черемушках. Если без служебной машины, на двух автобусах. С пересадкой.

Но жена Несмелова Валентина хорошо закрывала банки, и огурчик хрустел, как подмосковный.

— Подшейте телеграмму в папку! — велел Несмелов татарке, которая работала помрежем. Он видел — она не ленится. Татары с понятием и напором. Но женщины татарские злые.

— Мужчины русские мямли, — рассуждала умная татарка. — Почему они нас победили? Прибрали себе наше Пространство.

Но подшила в папку телеграмму:

**СТУДИЯ НЕСМЕЛОВУ ЛОШАДЬ ПРИВЯЗАНА ОРТОТОКАЕ ПРИ-
ВЕТОМ АБДЫ КИРГИЗБАЕВ**

Из Орто-токае по трассе можно уехать в рощу, где растут грецкие орехи, посаженные македонцем Искандером. Если взять два таких ореха и зажать их в твердой ладони — у них лопнут зеленые шкурки и расколется скорлупка в морщинках, и растает русская Люда, у которой живот из-под груди так плавно переходит в коленки. Она съест орех, согласится, и Абды забудет про лошадь.

— Но то, что я вижу, — не лошадь! — сказал сценарист Веня.

— Почему? — удивился Несмелов. — Это конь. Его зовут Орлик.

Орлик смотрел на обоих нежным щенячьим взором и думал: который наездник? Орлика купил Несмелов в закрытой правительственной конюшне, когда пропал Абды Киргизбаев. Несмелов понял — Орлик послужит. Если снимать про басмачей — хорошо послужит. Правда, в этом фильме нужна кляча, но можно взять общим планом. Или Веня перепишет сценарий.

Зачем я тащил в чемодане тяжелые киргизские саги, как киргизы воюют с Китаем? Ездить в Тулу со своим самоваром! Неужели без подвигов Манаса я не сделаю поправок в сценарии про старую колхозную лошадь? Меня губит психология отличника. Она не дает мне выбиться в люди. Неужели буду вечным негром?

И сказал:

— У автора кобыла!

— А кобыла есть в Орто-токае. — Это к Вене подошел Ваня, шофер Иван Труш, немец, сюда привезли ребенком, на два года раньше чеченов, но он помнил родину — Саратов.

— Не Саратов! Правильно — Сары-тау! — так учил Абды Ваню Труша до того, как пропал, но привязал лошадь.

— Нет, Саратов всегда был Саратов. Это горы в Саратове — Сары-тау.

— Сары-тау будет — желтые горы, — улыбался Абды Киргизбаев.

— Но в Саратове река Волга. Прапрапрадед увидел Волгу, Иохан Труш, и остался в России.

— Прапрапрадед или прапрапрапрадед, а мы помним, по нашему закону, до девяти колен своих предков, а на Волге мы были раньше многих, — гордился Абды Киргизбаев, когда они ели в столовой города Орто-токае. Там была еще буфетчица Люда. И она подавала оладьи.

За лиловыми горами перед голубыми вершинами на желтой земле сады Орто-токае... В Орто-токае — арыки, на базаре — узбеки, а где узбеки, там вьющиеся розы, и высокие смуглые шеи, и белая рубаха под халатом, и тонкие надменные пальцы. А правая рука всегда за пазухой, чтобы держать нож! Так говорят...

У балерины Государственного театра оперы и балета, любовницы автора, который написал повесть про клячу, киргизское имя. Но пляшет на сцене, как паршивая узбечка.

— Любовница автора — узбечка! — говорит киргизка, артистка. — А имя от первого мужа.

Имя Волги — Итиль. Тюркское имя. Итиль впадает в Каспийское море. Гирканское. Хазарское. Хвалынское. Дорца. Шизир. Кюккюз.

Итиль Каспига кооя.

Отношения с Великим Южным соседом — КНДР — постоянно ухудшаются. Как в «Манасе». Гостиницу в центре Фрунзе переименовывают.

Администратор киностудиясы привязывает лошадь и уезжает с буфетчицей. Русской.

...Но не в рощу, где зреют орехи. Он умчал Люду в город Фрунзе, где в небе над гостиницей «Ала-тау» еще светятся мягкие знаки от китайского Тянь-Шань — Небесные горы. Ала-тау — горы голубые. Ало-тоу — голубые по-казахски. В гостинице «Ала-тау» можно получить люкс с ковровой дорожкой от дежурной Займидорога. Оксана Займидорога со всех сторон украинка. По паспорту и по мужу. «Ксан, займи денег!» — шутка. Люкс с фарфоровой белой вазой, в туалете совсем ненужной. На два часа. Пока Веню не заселили...

...пока Ваня грузит чемодан с томом «Манаса» (переводчики: др. и Липкин) в «газик». Пока Веня после трубочного голландского табака вдыхает аромат расцветшего тутовника. Малоросский запах шелковицы. Библейское благоухание. Пока жеребец Орлик безнадежно ждет наездника. Пока киргизская артистка Роза следит за Веней. Она видела бухарских евреев, а московского видит впервые. Еще утро. Еще весна. Не побелела еще полынь и не высохли горные реки. Еще далеко до зноя. Змеи меняют кожу, и нельзя спечь яичко во влажном песке.

— Вот Бишкек назвали именем Прунзе! У нас даже нет такой буквы. — И артистка пыркнула-фыркнула: пу! фу! — Пусть Кишинев назовут Прунзе, если Прунзе вправду молдаванин, хоть родился у нас в Бишкеке. А он не еврей, этот Ф-фрунзе? Ведь отец у него зубной пельдшер. Говорят, сам Прунзе грабил банки! Не еврей. Евреи для другого... Наш сценарист Веня переделал чужую повесть и получил много денег. Но и автор не киргиз, а татарин. А любовница и вовсе узбечка. А мы терпим всех, но все помним. Мы — другие. Мы — не казахи. И язык наш — верблюду двугорбый рядом с верблюдом обыкновенным.

Ворковала красавица киргизка со сладким именем Роза.

— Посмотрите на автора в профиль. У него татарские ноздри. И коварен он, как татарин. А мы добрые киргизы, мы — дети. Но душа у нас — расплавленное солнце.

И она улыбнулась, как кошка, киргизскими горькими глазами, они точно были золотыми, и зрачок дрожал каплей после ливня.

В этой истории нет ничего, кроме лошади.

— Написал про клячу и смылся! — молчаливо негодует Веня.

— Автора вызвали на форум, — понимает Несмелов Веню. И кашляет. Он всегда кашляет весною от болей в сердце и цветочной пыли.

— Переводчик у автора на даче. Переводит повесть на русский. А сам укатил к французам.

— А творцы? — не сдается Веня бывшему белорусскому партизану. — Творцы знают, что нету клячи.

— Творцы знают, что пропал Киргизбаев. А теперь уехали к казахам. Он ищет натуру. Она ищет главного героя.

Фамилия оператора Грач, и он похож на Грача птичьим носом, когда, высоко подымая юные волосатые ноги, бродит в шортах по вспаханной земле, свободно переходя этими ногами невидимую границу дружественных республик — Казахстана и Киргизии. За пашней начинались Кумы — пески, — оттуда прилетали черные бури, но сейчас, тогда, было тихое

утро, и ничто и никто, кроме товарки с блокнотом, не мог помешать голове Грача, надежно спрятанной в пробковый шлем, думать. Грач всматривается в миражи дальноточными глазами орла, но не видит ничего, относящегося к его мыслям... Висят над горизонтом зеркальные озера, колышутся роши. Но явленные чудеса не устраивают оператора из города Харькова. И вечером в культцентре, обклеенном медицинскими плакатами о весеннем наступлении паршады (написано кириллицей), Грач рассказывает чабанам — а он уже выпил водки, и глаза светились — о летающих тарелках и, конечно, о Сайрусе Итоне, американском миллиардере. У Сайруса, как у оператора, птичьи глаза. Выпуклые линзы. Сайрус — инопланетянин. Приезжает в Кремль. Говорит с Хрущевым.

— ЦРУ!

Чабаны читают центральные газеты. Чабаны качают головами. Они слушают Грача, будто он не харьковский оператор с местной киностудии, а настоящий манасчи. К тому же за темными холмами на рассветах вздымаются огненные смерчи, грохочет эхо, и падают с небес обгоревшие железки, пугая табуны и отары.

— Если бы не Сайрус, — грезит оператор, — началась бы Третья мировая. Мы бы давно поубивали друг друга, но сейчас мы можем спать спокойно. Нас остановят! Нас спасет Сайрус Итон!

И товарка оператора спит за фанерной перегородкой, в спальном мешке, на культурно, с зимы застеленных простынях культурного центра в Кумах. Она и во сне боится весенней паршады.

Манасчи запинается. Он — не кинооператор. Его слова — не его слова. Слова деда, отца, прадеда. Он зевает. Поправляет искусственную челюсть, отхлебывает жирный чай. И опять киргизы побеждают Великого соседа. И опять сосед собирает рать на киргизов.

Чеченский сапожник мечтает о Чечне. Он прибывает подошву, оставшую от сапогов Абды, стучит молотком, пока Люда и Абды под тутовым деревом на бульваре молчат сонно. О чем говорить? Жаркий ветер трогает Людины коленки, на которых так розово лежит подол Людиного крепдешинового платья. Через год сапожник выкопает гроб отца и вернется с гробом в Ичкерия. Но теперь, если киргиз после «Советского шампанского», а пробку проткнет и ждет, когда выйдет лишней для вина воздух, придерживает пробку большим пальцем — дикий человек! не знает, что пробка вылетает — хлоп! и женщины ахают — ах! — киргиз тоже с гор и потомок пророка, но если после шампанского киргиз не так посмотрит на чеченского парня, просто *не так*, — как осиный рой, сперва прилипнув друг к другу, — и откуда их столько? жужжа, взвихривая воздух, а талии осиные, и яд до времени в жалах, — чеченцы влетают туда, где разомлевший киргиз посмотрел, и вынимают кинжалы, и все на одного (когда еще киргизы соберутся!), а соберутся киргизы — чечня разлетится.

— Зачем вы бьете киргизов? Хохлы привезли вас сюда в коровьих вагонах по приказу грузина! — кричат киргизы.

И кровь на скатерти, и ножом пырнули...

— Почему грузин? Осетин ваш Сталин, — сердится чечен-сапожник.

— Не осетин! Русский.

Абды знает. Он расплачивается с сапожником. Платит много — два рубля. Так чечен просит за срочность.

— Отец Сталина Пржевальский. Ты был в Пржевальске на Иссык-Куле? Не был? Я был и видел. Памятник Пржевальскому — точно Сталин. Сталин точно как его папа. А усы и лоб как у русских.

Говорит Абды чечену тихо. Не услышала бы русская Люда.

— Мне сказал один грузинский товарищ. Режиссер из Тбилиси. Мингрелец.

Люда из Барнаула сперва работала по найму в Северном Казахстане, но у нее стала болеть поясница после первого неудачного аборта от мастера-

штукатурщика Николая. И жена была у Николая бухгалтером на сахарном комбинате. Он жену бы никогда не бросил. И тогда уехала Люда, но не в Барнаул к маме, а куда повез ее поезд. Из Рыбачьего до Орто-токая она добралась на попутке к подруге по училищу Зое. Зое нравились местные мужчины, безволосые, нежные. Прямо девки. Горячие, глупые. Кутята. Она замуж за них не хотела и аборт, как Люда, не боялась. А когда желтые мужчины своей нацией начинали гордиться, Зоя с полки семечки доставала, и поплеывала, и усмехалась, она думала — пусть их! Нас много!

Зоя никогда не думала о Поднебесной. Поднебесная была за границей. Заграница Зою не волновала. Границу караулили русские парни.

— Поезжай, Людок! — сказала Зоя. — Я Абды Киргизбаева знаю. Он не жадный, не глупый, не подлый. Так быстрее забудешь Николая.

И Абды привязал лошадь.

И пропал.

Но прислал телеграмму:

СТУДИЯ НЕСМЕЛОВУ ЛОШАДЬ ПРИВЯЗАНА ОРТОТОКАЕ...

Потом опять появился. Опять пропал. Но кто пойдет работать за такую зарплату?

Артистка Роза облизала губы. Она была девственница и зорко следила за перемещением мужских тел, разглядывая сами тела внимательно. У сценариста из Москвы короткая челка и лысина, обозначившаяся на макушке.

— Вот текст, который вы написали! — Роза сама подошла к Вене. — Я не понимаю, почему она это говорит.

Она — это была *она* в роли.

Веня стал объяснять. Его нейлоновая рубашка прилипла от жары к выбритой шее. Объясняя, он закурил трубку. Как отец народов. Как Хемингуэй. У девственницы поджались ноздри. Она уже прочла «Фиесту».

— Русская, а сухая, — горевал Абды непонятно. Он ущипнул русскую — не Людю! — товарку оператора за ребро, сказал: — Сухая!

Он сказал это на заднем сиденье «газика», и его велюровая шляпа сползла ему на нос, когда он заснул, захрапел от пыльной дороги в горах после того, как сказал. Дорога вверх; слева, со стороны Абды, — пропасть, а в ней река змеею; справа, со стороны русской, сухой, — поезд тоже змеею по отвесной стене.

— Дорога имеет важное стратегическое значение. — Это опять Абды сказал.

Из вагонов в желтой пыли с желтыми лицами дети смотрят, их везут в пионерские лагеря от военных предприятий, и они весело машут руками. И теперь самое время рассказать, как прошлой весной в автобусе тоже ехали дети и пели. После грозы. Когда асфальт, как арбузная корка, скользкий. На повороте автобус занесло, он встал поперек дороги, а шофер, еще не испугавшись, выруливал осторожно к скале, подальше от кромки. Колеса крутились, но автобус, это видели таксист и шофер самосвала с напарником, медленно-медленно полз в пропасть. Под детское пенье. Таксист бросил «Волгу», бежал и махал руками, и двое из самосвала бежали, а беспечный водитель установил тормоз и вышел. Он сразу все понял, схватился за ручку, но дверца захлопнулась и больше никогда не открылась... И его волокло — сперва по асфальту, потом по гравию, дети уже не пели, а он все тянул на себя ручку, пока не вырвал ее. А сам автобус тихо исчез за краем пропасти, на дне которой — река голубой змеею.

Маленький, в тубетейке, водитель упал на землю. Его подняли, но он отвел чужие руки, шагнул к обрыву — автобус еще падал по склону.

— Моя фамилия Юсупов. Вторая автоколонна.

И прыгнул в пропасть.

— Трус, — говорит проснувшийся Абды, — этот Юсупов трус! Я не знаю его нации. Может быть, и не узбек, а татарин, но он трус. Он ушел от закона!

Такой человек Абды. Всегда говорит что думает. Что подумает, то и делает. Привязал лошадь и уехал.

Есть ли на земле еще такое место, где можно привязать лошадь к целому городу? Огромную, как облака, плывущие в Поднебесную. Как горы на закате. Горы тоже привязаны к местности, как лошадь... Привязать. Бросить. Забыть. Вспомнить. Пропасть... Теперь Абды горюет. Никогда больше Несмелов не пошлет Абды в командировку. Одного. За лошадью для съемки. Как написано в сценарии — клячей.

— Без нас вас скупает Поднебесная, — говорит партизан администратору, — и не поперхнет. И не просите тогда русских, своих растите Манасов. А то на студии все — манасчи, каждый поет как хочет, никто не делает дело.

Оператор из Харькова, сухая русская и бывший белорусский партизан заблудились в горах.

Дорога петляет между холмов, ничего не видно, кроме солнца, неба и ног Грача, который в пробковом шлеме иноземца-инопланетянина бодро шагает впереди партизана, потерявшего бдительность от приступов кашля. Кашель бьет партизана все сильнее, а сухая русская бежит за ними в модных поролоновых юбках — потом мелкие камушки так и посыпятся, острые горные, изодравшие ей ноги, когда она будет вытряхивать юбки... Грач идет Одиссеем, легко ступая, насвистывая «Битлов», гадая о Сайрусе. На исходе третьего часа холмы расступились, и далеко внизу сверкнуло синее блюдце Иссык-Куля. Оно стояло вертикально, а не лежало, как положено блюдцу. Берег был обведен желтым, и белые от зноя хребты холмов дохлыми рыбинами сползали к воде.

— Как высоко! — У Несмелова сразу прошел кашель, и он спросил Грача, как школьный учитель: — Вы что, не знали, куда шли?

— Знал, но забыл, — как ученик, ответил Грач, — теперь вспомнил. Надо было свернуть у ручья.

И бодро пошел назад, а Несмелов и сухая русская молча глядели на далекое озеро в подножии скал, и ветер из Поднебесной обжигал им лица.

Разве я мог заблудиться в своих болотах? Надо уезжать, пока здесь не умер. Надо увозить девочек на Нарочь, в который раз подумал Несмелов.

А сухая русская подумала в первый — нельзя бежать вслепую за харьковской птицей.

Через тридцать три года на рассвете. Атлас Союза Советских Социалистических Республик. И сонник. К чему снится лошадь?

— Ого-го-го! — закричал Грач. Он был уже на соседнем холме.

Чертов хохол! Настоящий фриц в этом своем шлеме. Почему я не взял с собою Ваню Труша? Оставил его около машины. С ним бы мы не заплутались! Умный, тихий, настоящий Ваня... Жалко Ваню, что ссыльный немец!

Так считает партизан Несмелов, который в войну бил немцев.

...Теперь сухая русская и хохол едва тянутся за белорусским партизаном. Партизан время от времени останавливается и ждет их на спуске. Грач и русская идут рядом: оператор наступает ей на пятки, не перегоняя дышит в затылок — так сподручнее говорить о Сайрусе. Не убежать от правды. Нет сил по такой жаре... Только глубокой ночью они спустились с гор,

куда так легко поднялись бодрым утром. И когда внезапно, в лунном блеске, металлическая сигара замрет в черном небе над их головами, у сухой русской обмякнут ноги и она заорет от ужаса — а вдруг Сайрус?

— Дура! — крикнет Несмелов. На другой день извинится. А тогда подумает: все московские — истерички.

Военный вертолет возьмет их на борт, и через полчаса они будут во Фрунзе.

— Скажите спасибо вашему водителю, — говорит командир вертолета в чине старшего лейтенанта, сбоку, голубиным оком, поглядывая на ровные женские юбки, — это он поехал в Рыбачий, связался с войсками. Вас искали по всему Побережью. У него смешная фамилия. Пруш. Круш.

— Труш! — подсказывает Несмелов.

— Точно, Труш, — соглашается лейтенант. — Наверное, с Украины?

— Наверное, — врет Несмелов, и выросшая за ночь щетина колет ему лицо. Он с опаской глядит в сторону оператора, но тот спит, открыв рот, посапывая обгорелым носом; обнимает шлем, как голову девушки.

А может, наш хохол — и не хохол, а нормальный еврей? В Харькове евреев много, смутно догадывается партизан, наблюдая за треугольным хохлацким носом.

Если через пять минут не спустимся — помру, — сухая русская и вправду погибает от болтанки, от вчерашнего ли солнца. Обирают подол ее быстрые пальцы. Камешки с Тянь-Шаня сыпятся перед внимательным старшим лейтенантом.

— У меня тоже смешная фамилия, — говорит вдруг очнувшийся оператор. — Грач!

— Нормально, — радуется лейтенант, — через минуту снижаемся. Прямо по борту — столица Киргизской Советской Социалистической Республики, виноват, город Прунзе! Здесь живет одна моя хорошая знакомая — Оксана Займидорога. Я ей всегда говорю: Ксан! займи денег!

— А я ей говорю совсем другое. — И оператор подмигивает старшему лейтенанту.

...Вертолет приземляется на дальней окраине. На клумбу опускают трап, и по очереди — Грач, Несмелов, сухая русская — прыгают на землю, которой так гордится Абды Киргизбаев, к которой совершенно равнодушен Грач, которую никогда не полюбит сухая русская и от которой так устал бывший белорусский партизан.

Как легко не любить! Мы не любим с Несмеловым эти степи, ветер с Гоби, и пендинскую язву (не любить — как дышать), крокодилчиков пустыни варанов, горы, юрты, запах кошары, и травы чий серебряные нити, и кумыс — вино Магомета. Выпьешь утром — и трясет лихорадка.

— Укусил кумыс, — засмеется старая апа в браслетах.

— Продай, апа, молочка для русской. Кислого молочка. Коровьего.

Но и простокваша пахнет овцою.

В сухой русской много кровей. Текут не смешиваясь. Одна иссыхает от страсти. Другая бьет ключом. Третья впадает в море...

Сценарист Веня глядит на пятки дервиша — на черные пятки, ходившие в Мекку. Веня уже купил в Центральном универмаге остроконечную войлочную шляпу, аксакал, смеется Роза, показывает белые зубы, не зубы — ягнята, так пишут местные поэты или так переводят на русский. Но черные пятки дервиша все равно больше волнуют. Дервиш был в Мекке, вернулся и теперь спит в тени чайханы на базаре.

Мог бы я так спать, сокрушается Веня, если бы побывал у Стены Плача? Дервиш спит, как роженица. Главное дело сделано. Почему я никогда не ношу с собою записную книжку? Это хороший образ. Да, земля здесь уходит не к Уралу, она катится совершенно в другую сторону, откуда и пришли эти ноги. Пришли. Устали. Спят.

Когда зеленая муха садится на пятку, пятка вздрагивает, дервиш перемещается на другой бок и опять спит на базаре, где беспаспортные корейцы торгуют овощами в жгучем засоле. Сюда и пришел Веня, чтобы купить у корейцев острого корейского перца и красной корейской капусты. Все так делают. Этому Веню Роза научила. Она же сказала:

— Смотри, спит дервиш!

И Веня смотрит.

Розе вчера понравилось целоваться с Веней. Высокая грудь девственницы дышит часто и нервно. Запаха трубочного табака ей потом будет не хватать в ее первом мужчине — киргизе, кинорежиссере... Но Роза не ведает, почему блестят Венины глаза так драматически. Веня вспоминает, где Мекка: он морщит лоб, представляя географическую карту. Учительница географии в их школе натянула ему четверку с трудом, незабвенная Эсфирь Соломоновна никак не могла взять в толк, почему еврейский мальчик такой мишигинер... А где же Вавилон? В Иране? В Ираке?

— Эй, товарищ! — манит Веню узбек в синем халате.

— Он зовет тебя, — говорит Роза, — тот парень с урюком.

— Приезжий?

Как скорбно блестят глаза у продавца урюка!

— Из Москвы, — улыбается Веня.

— Еврей?

Веня удивлен. Он считает — у него европейская внешность.

— Еврей. — Теперь и Роза улыбнулась.

Узбек нежно глядит на Веню.

— Тогда пусть у меня купит курагу и урюка. Таких нет на всем базаре. Их сушила моя бабушка. Хоп?

— Хоп! — соглашается Веня. Принимает в руки обширный пакет.

— Еще приходи! Поговорим! Хоп? — кричит узбек вслед Вене и Розе.

— Хоп! Хоп!

Почему Роза так не любит узбеков, задумался Веня в такси между Розой и сухофруктами. Но сказал осторожно:

— Какой красивый узбекский халат!

— Не узбекский — каракалпакский! — сухо поправляет Роза Веню. — У этого узбека и у вас одна нация. А бабушка у него точно из Бухары! Он — еврей! Настоящий! Не такой, как ты! Вот я — настоящая киргизка! А разве ты, Веня, настоящий? Ты не знаешь своего народа, и говоришь ты только по-русски, и называешь себя, как русский. — И Роза смеется: — Веня!

— А разве у киргизов есть имя Роза?

— Роза — это красиво.

Нет, нас спасет только Сайрус! Когда откроются подземные люки и поползут тараканами ракеты, он спасет нас. Он пошлет сигнал *туда*, и мы будем спасены... Но когда это случится, знает только Аллах. Эллоим. Йегова... А сейчас оператор Грач верит в тарелки, белорусский партизан — в коммунизм, сценарист Веня еще не прочел Блаватскую, сухая русская верит в свою звезду, Ваня Труш боится ходить в молельный дом, и попробуй найти мечеть в городе. Время не пришло той весной уверовать, и можно вглядываться в лицо Сайруса со страхом и упованием.

Во время съемок из-за холмов появляются всадники — когда солнце клонится к горам, и тени вырастают, синеют, что, в общем, все равно для черно-белой пленки, — из-за холмов Предгорья...

— Куда они? — спрашивает Веня девственницу. Она морщит нос, чтобы лучше видеть.

Оператор Грач поворачивает камеру и смотрит на всадников в объектив.

— Снять для перебивки?

Директор Несмелов еще по партизанскому прошлому опасается приближающихся объектов, про которые ничего не знает.

Абды знает, но молчит.

— Они к нам? — удивляется сухая русская, а всадники спешиваются молча у съемочной площадки. Шестеро в войлочных шляпах... Как у Вени. Старик аксакал в лисьей. Он что-то говорит войлочным шляпам. Оператору слышится — бешбармак. Обед был еще пополудни...

Теперь они идут к Несмелову. Впереди — старик.

Они все как Абды, хмурится Несмелов.

Абды рядом. Абды Шершенович Киргизбаев. Отчество не совпадает с фамилией. Значит, Абды из такой семьи, где уже отец был записан в русские книги, слева направо. О, многотерпеливая кириллица!

— Салам! — кланяется старик.

Шолом! — екает сердце Вени, салам — шолом. Господи, я тоже с Востока...

— Здравствуйте, товарищи! — выходит навстречу гостям Несмелов.

— Здравствуй, нашальник! — Старик, медленно ворочая языком, перебирает русские звуки.

— Этот аксакал главный в своем роду, — шепчет Абды Несмелову. Из рта Абды пахнет бараниной.

Обманул, вздыхает Несмелов, опять гонял машину в немецкий совхоз «Приволье», сукин сын! Но партизан привык сдерживаться, работая с националами. Иначе нельзя. Он — старший брат из партии интернационалистов.

— Спроси, что надо, — говорит он Абды. — Горючего не дам. Самим не хватает.

— Им не нужно горючего, — смеется Абды, — им нужен Орлик.

... — Продай коня!

Аксакал блестит золотым зубом.

— Зачем тебе легконогий конь? Говно, которое он кидает на землю, — андижанские дыни. Это конь для батыра! Для юноши! Бедро юноши из булата. Талия юноши уже горлышка бутылки московской водки, которой вы нас споили! Смотри, конь ждет своей участи! Глаза его — раскаленные угли, а вы пашете на нем, будто он колхозная кляча. Продай! Я подарю коня внуку! Я устрою той! Я позову ваших! Пусть едят бешбармак досыта, пусть белая, как волосы русских женщин, лапша не вязнет у них в зубах, пусть глотают жирный отвар, пока не срыгнут, пусть жуют барана во славу Аллаха!

Абды переводит запинаясь. Потом просит:

— Продайте, Евгений Петрович! Они вам кошму подарят. Привезут много верблюжьей шерсти, жена свяжет отличный свитер. Не будете простужаться!

— Легкие я лечу в Ялте. Объясняю: конь Орлик в смете. Правда, там написано — лошадь. Но без Орлика — какая съемка?

— Лошадь есть...

Абды вытирает платком потное лицо.

— Она — в Орто-токае.

— Ваша командировка у меня — вот! — Несмелов стучит себя по затылку. — Скажите вашему аксакалу, пусть скачет туда, где у вас привязана лошадь. Орлик не продается! И он — не наш конь!

— Пусть скажет — чей, — говорит старик. — Я заплачу много денег!

— Не заплатишь, — отвечает Несмелов. — Этот конь принадлежит Государству.

И глядит мимо аксакала твердыми серыми глазами. Зоркий взгляд белорусского партизана упирается в нежные, как девичьи груди, холмы Предгорья. Сердце Несмелова мягчает.

И в России, думает Несмелов, пахнет полынью на закате, и это самое солнце через три часа придет на мой Нарочь.

Аксакал знает слово *Государство*. Лисья шапка, качаясь, уплывает.

Орлик заржал, как вскрикнул.

Никогда ему не быть конем батыра! Ему таскать на себе народных артистов, забывших седло и стремя. Путающих текст. Русский. Киргизский. После пьянки.

Неведомы пути на закате. Куда скачут всадники? В аил? На айлоу? Так объяснила девственница. Так гадают умиленный Веня, когда шофер Ваня везет его в город.

В горах ночь наступает, как только скрывается солнце, и сразу темно, и лают шакалы; ползут змеи, чтобы ужалить, весенний веселый скорпион затаивается, как мышь, вонючая землеройка-фаланга, которая ест трупы баранов и на членистых лапках ее смертельный яд, жметя к человеческому жилью. А всадники летят под темным небом, и Млечный Путь горит дугою над лисьей шапкой...

Неужели я никогда не напишу про Эсфирь Соломоновну, думает Веня.

Быстрее бы в душ, как всегда, торопит время сухая русская.

Оператор Грач устал и ничего не думает.

Абды спит. Ему снится настоящая русская — розовая на глаз, влажная на ощупь — Люда, а слова ее — птичий щебет для хищного восточного уха.

По дороге во Фрунзе...

Фрунзе-Прунзе. Вавилон-Бабилон. Шолом. Салям.

В последнюю киргизскую ночь сценариста в номер к Вене ворвалась стая летучих мышей. Веня догадался, что умер, — бесшумные черти метались под потолком.

Почему я умерла здесь? — загоревала Венина душа. Вчера ничего у меня не болело, даже после колбасы из конины. Не надо было браться за этот сценарий. Но всегда не хватает денег! Наверное, поэтому — черти, а не золотоглазые ангелы, как Роза.

А летучие зверьки, один за другим, но все вместе, как овцы по склону, на свет лампы — в туалетную комнату люкса (Веня забыл погасить свет после коньяка и конины) и закружились хороводом там, где недавно Люда из Барнаула мылась.

Дежурная Оксана Займидорога всегда ждала пожара, когда давала ключ киргизским мужчинам, а тут приличный еврей, из Москвы, бронь киностудии, пляшет в белых трусах на ковровой дорожке... Оператор Грач надел пробковый шлем, чтобы мыши не испортили ему шевелюру, не впились в голову когтистыми лапками в перепонках, не запутались в пышных с отливом волосах.

Когда стали видны Небесные горы, мыши заснули живой хвостатою гроздью, повиснув на занавеске, а Займидорога пересчитала их, спящих, беззащитных, крылатых. Она не одна их считала, а вместе с оператором в шлеме. Если начинать от потолка, мышей было тридцать четыре. От пола — тридцать одна мышь. А еще некоторые мыши летали по коридору, куда переместились за Веней. Коридорные мыши не могли заснуть от жужжащих дневных ламп, а Веня спал у Грача на диване, безвозвратно просыпая московский рейс самолета, пока оператор с Оксаной считали.

Крутой локоток Оксаны. Твердые мужские коленки. Оператор снял пробковый шлем. Оксана так и скажет Вене:

— Из-за мышей все случилось. Я вовремя бужу постояльцев.

И мужу так скажет.

Через тридцать три года на рассвете. Весною. К чему снится лошадь?

— Ешь, — сказал киргизский дедушка-аксакал. И улыбнулся металлическими зубами, и положил на тарелку что-то.

— Это глаз барана. Он принесет тебе счастье. Ты, русская, будешь зоркая и храбрая. Не удивляйся, что я дарю тебе этот глаз. Наши женщины не закрывали лиц, как в Хорезме, Бухаре и Багдаде. Они были наездницы наравне с мужчинами, и их нежные лица как хотело ласкало горное солнце. Воины из Поднебесной умыкали наших красавиц.

Почему не съела глаз барана? Не послушалась. Не поняла речей старика... Увидела на тарелке голубые и красные жилки, окаменевшую печаль

зрачка, вываренные нервы — и не съела. Взяла глаз барана, поднесла ко рту, а сама свезла его на подбородок, и глаз сам упал за ворот широкой полотняной рубахи. Жирное пятно так и не отстиралось. А потом случай выбил сухую русскую из седла!

Грач улетел. Где зимуют грачи? В Океании? В Африке? В Тибете? Где зимует Корвус фругелиус? Однажды он опять появится в этом Пространстве, но с новыми синими зубами. Он холодный и респектабельный инопланетянин и приезжает Сайрусом Итоном с предложениями сотрудничества и мира. По его коже заметно, что он выпил тонну оранжевых соков и теперь желтый, как Абды.

Абды, конечно, депутат. И голосует как хочет.

Чечен-сапожник умер своей смертью в Ачхой-Мортане.

Умная татарка выучила арабский.

Люда давно замужем за казахом-шофером Толомушем.

Зоя болеет. Слишком много абортот.

Настоящей киргизке тоже не повезло. Она встретила настоящего еврея, и мать у него была настоящая еврейка.

— Мы не для того страдали, — сказала мать сыну, — чтоб у меня были косые внуки.

Не повезло... Настоящего еврея, брюнета, с темными губами и выпяченным презрительным подбородком.

Настоящее имя Волги — Ра. Написано у Брокгауза и Ефрона. Оба — немцы.

Ваня вспомнит, что он Иоханн.

Автор с татарским профилем наконец женится на любовнице и перейдет на русский. Зачем кормить переводчиков?

Веня купит дачку. На холодной веранде будет заниматься йогой. Чистить чакры. В шкафу его московской квартиры от войлочной шляпы заведется моль.

Несмелов осмелеет. Уедет с девочками на Нарочь. Но случится новый Брестский мир, и белорусский партизан опять окажется за границей. О, Русская земля, ты уже за холмом.

...выбили из седла!

Быть наездницей! Не скрывать лица паранджой. Скакать наравне с юношами. Сжимать бедрами горячую лошадь. Тебя выбили из седла! Скрылись друзья. Умчались враги. Сданы в архив студийные папки. Затеряна телеграмма. Многие умерли. И нет свидетелей.

А лошадь привязана в Орто-токае. И бьет копытом.



ЛЕВ ОЗЕРОВ

*

ИЗ ПОСЛЕДНИХ СТИХОВ

* *
*

Я заброшен в эту эпоху,
В эту волглую полутьму,
В этот край, негодный Богу
И подвластный ему одному.

Я заброшен судьбой или роком,
То ли другом, то ли врагом,
Между Западом и Востоком,
Между святостью и грехом.

Не в свою родившийся пору
И почтивший за благо нужду,
По зеркально-паркетному полу,
Как по минному полю, иду.

* *
*

Я не судья. Я не судим.
Я не был в роли адвоката.
И без того я стал седым,
И без того спина горбата.

И без того мне по нутру
Краюха грубого помола.
И без того меня к добру
Клонила жизни злая школа

* *
*

Поздно. Не оглядываюсь. Поздно.
Нет возврата. Поздно. Погляди —
Исподлобья время смотрит грозно, —
Много ли его там впереди?

Поздно. Озираюсь. Нет возврата.
Не оглядываюсь. Поздно. Ночь.
Очень поздно. Каин ищет брата.
Как, скажите, Авелю помочь?

Этот номер только начинал верстаться, когда пришла печальная весть о кончине поэта.

ЛЕВ КОТЮКОВ



СНЫ ПОГИБШИХ

Московская ночь

Да брось, ничего не надо!
Дойду домой без ножа
По страшным проспектам града,
В затылок себе дыша.

Дойду, позвоню к рассвету,
Откликнешься, коль живой...
А может, давно нас нету?..
Нас нету давно с тобой...

И бездна круги сужает,
И в каменный мрак Москвы
На белом коне въезжает
Всадник без головы.

В смердящую тьму развилок
Уносится вой цепной.
И дышит себе в затылок
Над бездною шар земной.

Памяти матери

1

Далеко до околицы Света,
До незримой Земли далеко...
И тоскует душа без ответа,
И сверкает огонь, как стекло.

И посмертные тайны видений
Белый пепел хранит и зола,
И не ведает дождик весенний,
Что вчера моя мать умерла.

2

Глухая полночь — черной солью тает,
И движется пространство без огней.
О Господи, никто, никто не знает,
Как тяжело нынче матери моей.

Над берегами белыми светает,
И оживает в зеркалах лицо.
О Господи, никто, никто не знает,
Как нынче моей матери легко...

* *
*

Явь ночная без света и смысла
И в потемках гремящая жесть.
И какие-то смутные числа
Сны погибших не могут учесть.

Что мне числа и тайные даты?!
Мне вовек не забыть эти сны...
Неужели взаправду когда-то
Мой отец возвратился с войны?

Невозможно с собой распрощаться,
И мерещится в тягостном сне,
Будто некуда мне возвращаться —
И отец мой погиб на войне.



ЛЕОНИД ЗАВАЛЬНЮК

*

ВСЕ ЛЮБЛЮ И НИЧЕГО НЕ ЖДУ

* *
*

Дорогой дедушка,
Забери ты меня отсюда!..
Догорает в реке
Голубая зарница...
Что, казалось бы, родина,
Если дом твой повсюду.
Но так тянет в остывший очаг
Золотым угольком зарониться!
Не зажечь тот огонь,
Что согрел тебя в давние годы:
Он ушел не из жизни,
Он ушел из земли,
Из природы.
И остался лишь в снах
Да в желании вдруг возвратиться
В те небывшие дни,
Где о прошлом еще не грустится.

* *
*

Ничего не помню, но бывшему верен —
Каждой боли прожитого дня.
Нищенским свирепым откровеньем
Одарила родина меня.
Хлеб? Что хлеб!.. Мне белый свет подарен.
Кем? Не знаю. Взял и не гадал.
Нищий никому не благодарен:
Что подали, это Бог подал.
Господи! По жизненному полю,
Как по вечной паперти, иду.
Всех люблю и никого не помню.
Все приемлю — небеса и землю,
Все люблю и ничего не жду.

* *
*

То ль японка, то ли ее пчелы покусали.
Лик припух. Но этот лик — душа...
Что она там делала на крохотном вокзале,
Кроткими ресницами шурша?
Может быть, ждала кого:
Сейчас вот скрипнут двери...
Но летели мимо поезда,
С деловитым, злым высокомерьем
Прокричав на стрелках: «Навсегда!»
Тыщу лет прошло с тех пор.
Ах, побывать в Японии!..
Впрочем, нет. Что поиски? Тщета.
Я люблю в ней то, что детским стоном помнил:
Обреченность, чистость, доброта.
Обреченность — чудо дальней дали,
Дальше коей только небо без планет.
Что она там делала на крохотном вокзале
Одинокая, случайная, как свет?..

* *
*

Держись за боль. Все остальное рухнет.
А остальное что? Все боль или тщета.
Но вдруг сквозь тлен, сквозь суету и рухлядь
Такая сила, страсть и красота!
О, ближний, кто ты? И откуда свет,
Что из тебя иль сквозь тебя струится?
Ты сон, мираж души?
И слышится в ответ:
— Я то, что есть в любом, кто края не боится.
— А как же с болью быть? —
И слышится в ответ:
— Одна есть боль на этом свете оголтелом.
И эта боль есть Бог.
Душа болеет телом.
А значит, жизнь — болезнь.
А значит, смерти нет.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

В. САДОВНИКОВ



«ОТТЕПЕЛЬ» В ЗОНЕ

В свой первый лагерь я с подельником прибыл в октябре 1961 года. После шестимесячного пребывания во внутренней тюрьме Хабаровска и изнурительного месячного этапа через сибирские пересылочные тюрьмы, в которых довелось услышать много разных историй про лагерь, мы наконец-то попали в свою первую «зону» в мордовских лагерях Дубровлага, под официальным обозначением ИТЛ ЖХ-385, лаготделение № 17.

Лагерь был по тем временам небольшой и состоял примерно из четырехсот заключенных, в основном осужденных по 70 ст. УК РСФСР («антисоветская агитация и пропаганда», старое обозначение 58-10). Впрочем, в лагере имелось также заметное количество «полицаев» (то есть осужденных за так называемые военные преступления) и некоторое число старых «бытовиков», раскрутившихся в уголовных лагерях по политическим статьям.

Однако тон задавала недавно посаженная интеллигентная молодежь, состоящая преимущественно из бывших московских и питерских студентов. Из этой политизированной молодежи выделялось несколько кружков — примерно от трех до десяти человек подельников, — посаженных в первый период хрущевской оттепели, в 1957 — 1959 годах, слишком наивно и всерьез поверивших в либерализацию коммунизма. Молодежь эта была репрессирована за отстаивание и «пропаганду», в основном устную, как тогда говорили, различных «ревизионистских» идей. Пробуждение общественного сознания в период оттепели шло, как правило, в леворадикальном и околomarксистском направлении. Прежде всего отталкивались от вопиющего противоречия между заманчивыми теоретическими обещаниями «классиков» и практической их реализацией. Марксистская окраска тогдашнего диссидентства легко объяснима тем, что никакой философии, кроме диамата, тогда практически в обороте не было.

Из наиболее запомнившихся левосоциалистических кружков хотелось бы отметить следующие. Кружок Михаила Михайловича Молоцова, Алексея Гарианина, Евгения Козлова, Николая Солохина (дело 1958 года) был либерально-марксистского направления; питерский кружок Александра Александровича Голикова, Владимира Тельникова, Виктора Трофимова и других (дело 1957 года) придерживался радикально-социалистической ориентации; знаменитый московский кружок комсомольского актива МГУ во главе с Краснопевцевым с довольно многочисленными подельниками — Николай Обушенков, Марат Чешков, Меньшиков и другие (дело 1957 года) — отличался догматической марксистско-ленинской ортодоксией, и «со стороны» было даже трудно понять, в чем же власти смогли усмотреть вменяемый им «ревизионизм» и прочие идеологические уклонения.

Из более мелких групп мне хорошо запомнился «ревизионист» с югославским уклоном, рабочий Владислав Васильевич Ильяков с одним подельником (осуждены были в Курске в 1961 году); выделялся своей марксистской эрудированностью экономист из Архангельска Сергей Пирогов.

Многие из числа этой молодежи довольно быстро «правели» и переходили к более либеральным, а то и национальным взглядам. Такую эволюцию, например, совершил бывший студент Юрий Машков (в памяти остался один из его подельников, очень скромный и тихий паренек Александр Богачев, которого все звали просто Саня). Из весьма радикального левого социалиста Маш-

ков в лагере стал патриотом праворадикального направления. Во всяком случае, когда я познакомился с ним на 17-м, он уже придерживался крайне правых взглядов. Но были и такие, кто на протяжении всего своего срока не меняли первоначальных убеждений. Например, преподаватель математики из Новосибирска Борис Николаевич Сосновский пришел в лагерь убежденным «революционным» марксистом и таким же вышел. Кстати говоря, не переменял в лагере своих анархо-бакунинских убеждений и я. Разумеется, какие-то мировоззренческие подвижки происходили за это время в головах почти всех мыслящих людей, но далеко не всегда результаты такой внутренней работы сказывались сразу. Довольно быстро стал отходить от своих «югославских» симпатий Владислав Ильяков. Первое время в лагере он был верным учеником и идейным соратником марксиста Сергея Пирогова (и даже горячо болел за югославскую футбольную команду¹), но вскоре решительно перешел на сугубо патриотические позиции и сделался близким другом Владимира Осипова, который, придя с воли левым бунтарем, быстро эволюционировал в национальном направлении. Осипов появился на 17-м несколько позже меня, и кто-то (уже не помню, кто) свел нас друг с другом как близких по взглядам. Запомнилась довольно длинная беседа с Володей, которая, как это было принято в лагере — из-за опасений подслушивания стукачами, — проходила во время променада вдоль запретки за бараком. В ходе этой беседы выяснилось, что Володя все-таки признавал какую-то государственность и какие-то основные начала правопорядка и был весьма далек от моих, в то время совершенно фантастических и апокалиптических, химер о грядущем вселенском царстве Правды после всеразрушительной и всеочищающей всемирной революции... Володя, скорее всего, был просто очень левым в общепобунтарском смысле этого слова, равно как и появившийся вскоре на 17-м его поделщик — Эдуард Кузнецов.

Помимо В. Осипова и Э. Кузнецова, которые получили по семь лет лагерей, к ним в «антисоветскую группу» фактически произвольно присоединен был гэбистами, как тогда каламбурили, «примкнувший к ним» Илья Бокштейн. Последний был полным инвалидом с детства — врожденное повреждение позвоночника, — и осуждение его было сущим варварством. Если не ошибаюсь, он получил пять лет лагерей. Все трое были осуждены за знаменитую тогда «площадь Маяковского». Движение бунтарски настроенной молодежи, собиравшейся у памятника Маяковскому («Маяка») читать свои оппозиционные стихи, было принципиально иным явлением по сравнению с «марксистскими» или левосоциалистическими кружками конца 50-х годов. В этом движении было значительно меньше догматической зашоренности и больше реального антикоммунизма.

Последующее, так называемое правозащитное, или диссидентское, движение несомненно имеет своим истоком именно «площадь Маяковского», а не идеологизированные студенческие кружки, занимавшиеся поиском «правильного» социализма. Между прочим, очень важной инициативой бунтарско-молодежной среды, сложившейся в поэтических тусовках на площади Маяковского, была смелая попытка выпуска первых свободных самиздатских журналов. Вся последующая богатая традиция оппозиционного самиздата, вероятно, обязана этой молодежной инициативе начала 60-х годов.

Что касается Эдуарда Кузнецова, то его идейное развитие всегда оставалось близким исходным началам бунтарско-богемной среды московских литературно-опозиционных салонов. Его интересы были, в основном, обращены на поэзию, литературу, искусство. В мировоззрении Эдуарда преобладал дух культурного индивидуализма с некоторым ницшеанским оттенком, общественные или национальные ценности его мало интересовали. Неудивительно, что скоро идейные пути двух поделщиков довольно резко разошлись.

Несколько особняком от них стоял Илья Бокштейн. Инвалид с самого детства, обреченный на изоляцию, он обладал громадной природной любозна-

¹ Однажды, когда по лагерной радиотрансляции передавали футбольный матч между югославской и советской командами и югославам удалось забить гол в ворота советской команды, Владислав, не выдержав, громко закричал на всю секцию: «Ура! наши побеждают!»

тельностью, самостоятельно прочел и изучил массу серьезной литературы и в лагере слыл признанным эрудитом, хорошо — хотя и не без дилетантских изъяснений — разбирающимся в философии.

Другим общепризнанным и действительно профессиональным эрудитом на 17-м был питерский филолог Александр Александрович Голиков (годы заключения 1957 — 1963), которого друзья звали просто Алик. Он прекрасно знал четыре или пять иностранных языков и очень много и серьезно читал. Его в шутку называли ходячей энциклопедией. Он всегда мог на память дать квалифицированную справку по любому вопросу (например, развернутую характеристику любого видного философа или писателя), но главным его коньком являлись иностранные языки. Он так мне и запомнился: лежит на верхней койке несколько тщедушная фигура с высоким лбом и комично надвинутыми на лоб очками и штудирует какую-то большущую и тяжелую книгу (какой-нибудь словарь). Как филолог Алик также интересовался блатным жаргоном, «феней», и был, как говорили, большим ее знатоком. Впрочем, специально занимался изучением этого жаргона — причем систематически записывая все блатные слова и выражения в особую картотеку — один бывший энкавэдист и писатель, опубликовавший несколько книг на военную тему, — Кирилл Владимирович Успенский-Косцинский. Последнее обстоятельство, вероятно, послужило поводом для наречения его некоторыми зеками немного ехидной кликухой «пис». (Впоследствии он эмигрирует на Запад, где выпустит двухтомный словарь «неформальной лексики», в который войдет вся собранная им в лагерях картотека «фени».)

Было на 17-м много и других групп различной, как правило леворадикальной, ориентации, но среди них, безусловно, выделялась плеяда москвичей с совершенно четкой патриотической направленностью. Причем посадили их именно за патриотические идеи. Я предполагаю даже, что в послесталинский период эта группа явилась первой идейной ласточкой русского патриотического движения. Подельников в названной группе было шестеро: Вячеслав Леонидович Солонёв (получил семь лет), Виктор Семенович Поленов (семь лет), Юрий Пирогов (семь лет), Укуров (пять лет), Сергей Молчанов (четыре года), Леонид Сергеев (два с половиной года). Суд над ними проходил в Москве в мае 1958 года.

Обвинялась группа в попытке создания русской национальной партии и распространении листовок резко антикоммунистического содержания. «Главным идеологом» ее являлся преподаватель английского языка, большой и бескорыстный энтузиаст отечественной истории Вячеслав Солонёв, с которым я подружился, несмотря на заметную разницу в возрасте (он был старше меня лет на пятнадцать). Следует заметить, что патриотическое мировоззрение Вячеслава было относительно умеренного, национально-демократического направления. Как правило, он не разделял известных патриотических крайностей, и для него был характерен широкий и терпимый взгляд на русскую историю. Сам себя Вячеслав причислял к «левым славянофилам».

Как-то он рассказывал, что на воле одно время особенно интересовался движением «народников» и даже написал о них работу, в которой пытался осветить их деятельность в положительном смысле. Однако в то время «протолкнуть» эту работу в печать без протекции было очень трудно. И он с юмором рассказывал, как, ища поддержки, обращался к самому Шолохову, но тот ничего ему не обещал, обнадежив тем, что «время еще не созрело и надо подождать». Очевидно, тема народников была нежелательна даже в период «оттепели» из-за того, что некоторым образом она соприкасалась со славянофилами, а это до самого последнего времени в антирусском советском государстве всегда считалось самым большим криминалом. В патриотических взглядах Солонёва подкупало также то, что он не был — как многие последующие патриотические деятели — заиклен на каком-нибудь архаическом «пунктике» типа средневекового монархизма или политизированного православия.

В хороших отношениях я был и с ярким представителем общедемократического мировоззрения Владимиром Ивановичем Тельниковым, сыном генерала и очень талантливым полемистом. В лагере он был, пожалуй, самым активным пропагандистом либерально-демократических идей. На 17-м, ввиду относительно небольшого и однородного состава, сложилась традиция своеоб-

разной идейной борьбы за любого прибывающего по этапу нового заключенного. Каждое из двух основных конкурирующих направлений, условно говоря — демократическое и патриотическое, старалось перетянуть новичка на свою сторону, для чего с ним активно велась «идеологическая работа» в форме бесед. Со мной такие беседы наиболее настойчиво с демократической стороны проводил Владимир Тельников, а с патриотической — Юра Машков.

По сути дела, оба противоположных воззрения, представляемых Володей и Юрой, являлись весьма точным и коррелятивным прообразом современного идейного противостояния «демократов» и «патриотов», или «западников» и «почвенников»...

Обычно беседы с Юрой проходили во время довольно быстрой прогулки вдоль периметра небольшой зоны 17-го. Правда, эти беседы скорее напоминали монологи, так как Юра с непреклонной уверенностью излагал свои идеи, с заметным неудовольствием встречая мои робкие возражения.

В общем виде тогдашние взгляды Юры вполне укладывались в уваровскую формулу «Православие, самодержавие, народность». Сильную самобытно-авторитарную власть он считал нормальным и естественным состоянием России, а демократию рассматривал в качестве неорганического и пагубного заимствования (своеобразного троянского коня), которое способно только открыть дорогу различным антирусским силам...

В отличие от Юры, Володя главный упор делал на права человека и общечеловеческие ценности. По его мнению, не было существенной разницы между коммунизмом и фашизмом, так как они являлись общей тоталитарной реакцией на современную западную демократию. Тоталитаризм же для него был каким-то иррациональным рецидивом мрачного средневековья. Войну между гитлеровской Германией и сталинским СССР Володя оценивал как схватку двух равноценных хищников, одинаково стремящихся к мировому господству, но все-таки считал борьбу против фашистской Германии правильной и необходимой как с точки зрения наименьшего зла, так и из-за того, что союзниками Сталина были западные демократии, которые он явно идеализировал. В целом по своим взглядам Володя был типичным «западником», но без русофобского элемента, аргументированно критиковал теорию «еврейского» коммунизма, и некоторые из его аргументов мне хорошо запомнились. Например, он резонно указывал, что коммунизм — сверхнациональное явление, порожденное определенными разрушительными общемировыми идеями, и часто утверждается в тех странах, в которых никаких евреев никогда не существовало (или же влияние их было незначительным), — в Китае, Северной Корее, Вьетнаме, на Кубе...

Запомнилась критика Володи мнимой универсальности марксистских экономических законов. Как он небезосновательно утверждал, на базе почти одинаковых хозяйственных условий могут возникать совершенно различные политические режимы.

Возможно, с высоты нашего времени все эти аргументы могут показаться наивными, но надо помнить о том, что идейное пробуждение общественного сознания после сталинского духовного паралича только началось и такого рода поиски были первыми шагами начавшегося гражданского возрождения.

Разумеется, не следует думать, что в нашем лагере интересовались исключительно одной политикой. У лагерной интеллигенции интересы были весьма многообразны: одни — очень многие — увлекались изучением иностранных языков, другие предпочитали чистую философию (этим отличался круг друзей М. Молодцова, философа по образованию), у третьих преобладали общекультурные и литературные интересы: Альберт Новиков, Эдуард Кузнецов, Вадим Козовой и другие всерьез увлекались поэзией. Как раз тогда вышел знаменитый крамольный альманах «Тарусские страницы», наделавший много шума. Помню, как живо и горячо обсуждали его в «демократической секции» одного из барачных зон, в котором каким-то мистическим образом, словно на подбор, сосредоточился весь цвет лагерной интеллигенции и вообще мыслящей части 17-го. Внутренний вид этой секции (то есть большого барачного помещения, вмещавшего несколько бригад) — символически нареченной в зоне «демократической» — был весьма живописен. Все тумбочки, подоконники,

разные самодельные полочки и вообще все свободное пространство было завалено различной литературой, газетами и журналами.

Были еще либеральные хрущевские времена — хотя на исходе, — и администрация 17-го то ли из-за лени, то ли из-за своей удаленности от главного начальства в поселке Явас свирепости не проявляла. В любое время дня в любой одежде можно было валяться на своей койке, да и вообще не убирать ее, курить, читать, петь, слоняться, чифирить и т. д. Сигналы к отбою или подъему понимались здесь только в рекомендательном смысле, а надзиратели даже не пытались настаивать на их директивности. В коечных проемах тут и там собирались компании по несколько человек — почему-то иногда именуемые «колхозами», — в центре которых находилась дочерна закопченная кастрюля или кружка с очень крепким чаем или кофе; день и ночь здесь велись бесконечные разговоры — от самых высокоидейных до просто житейских. Однако серьезные, то есть философские, литературные, политические, темы, безусловно, преобладали. Среди лагерной интеллигенции в демсекции ходило много интересных и практически недоступных на воле книг: Ницше, Шпенглер, Шопенгауэр, Фрейд, редкие философские и исторические работы, не говоря уже о художественной литературе, — все это разными путями и каналами стекалось в зону. Очень большой популярностью пользовался начавший недавно выходить еженедельник «За рубежом», а также журналы и газеты из стран «народной демократии», которые тогда свободно пропускали в зону по почте. Особенно популярной была литература из весьма либеральной в ту пору гомулковской Польши.

Один интересный человек, большой любитель поэзии и сам поэт, Альберт Новиков, имел коллекцию вырезок из польских журналов, которые привлекали не только свободомыслящими статьями, но и броскими фотографиями популярных кинозвезд и прочих полуголых красавиц, что тогда было внове и необычно.

Хорошо помню, как в один из зимних вечеров Альберт рассказал мне о знаменитом лагерном поэте Валентине Петровиче Соколове (поэтический псевдоним Валентин Зека) и прочел наизусть несколько его замечательных стихотворений, из которых особо запомнились два: «Сага о неудачном побеге» и об убийстве доходяги, укравшем «костыль» (хлебный привесок к пайке)... Валентин в то время отбывал второй срок в одном из мордовских лагерей, который ему намотали за свободолюбивые стихи и непокорный нрав, первый же свой срок он отсидел еще в сталинские времена.

Интересных и оригинальных людей в демсекции было много, а ее вечевой и вольный дух был настолько привлекателен, что я с самых первых дней своего пребывания на 17-м страстно хотел перебраться в эту секцию. Однако сделать это было непросто. Дело в том, что я со своим поделником был осужден военным трибуналом при прохождении срочной службы, и вследствие этого мы шли по этапу и попали в свой первый лагерь прямо в солдатской форме (только без погон). Администрация лагеря, вероятно из-за «уважения» к этой форме, решила оказать нам милость, определив нас «придурками» на кухню. Все было бы ничего, но как кухонных работников нас поселили в бараке с лагерной прислугой и рабочими небольшой производственной зоны, которые в основном состояли из «полицаев», западных украинцев и другого пожилого, спокойного и лояльного контингента. В демсекции же жили бригады, занятые на сельхозработах, заготовке дров и прочих трудоемких заданиях, и они почти сплошь состояли из интеллигентной молодежи, которую «полицаи» презрительно называли «студентами», а иногда, не без ехидства, «детьми Сиона»...

В бараке, в который я вначале попал, был образцовый порядок, строгий режим дня, и при почти полном отсутствии книг в помещении царил невыразимая скука. В свободное время заключенные, как правило, поодиночке сидели у своих тумбочек и трескали присланное им сало или еще какой-нибудь полезный продукт.

Другое дело — там, где день и ночь дымились чифирные кружки и велись высоколобые разговоры о тонких материях...

Немаловажным обстоятельством являлось и то, что в силу различных причин на работы за зону бригады демсекции не выводили порой по целым неделям, и вольная богемная жизнь беспрепятственно текла в ней своим чередом.

Таким образом, чтобы перейти в демсекцию, в эту, как мне казалось, почти райскую обитель, следовало предварительно уйти из кухни и перевестись в сельхозбригаду, что было равнозначно смене бараков.

И я решился. Однажды не вышел на работу, а изумленному начальнику столовой заявил, что работать на кухне больше не буду. Это поразило его до такой степени, что он тут же повел меня к начальнику лагеря, который, тоже удивившись, настаивать на моем возвращении на прежнее место работы не стал.

А так как начальство на 17-м было незлобивое, то репрессий за мой отказ не последовало, и скоро я оказался в вождеденной секции. Справедливости ради надо признать, что большого жизненного значения работа на кухне или при кухне на 17-м не имела, ибо «условия содержания» в тот период были довольно сносные. Еще действовала старая, послесталинская, режимная инструкция, допускавшая очень значительные послабления, и в лагерь беспрепятственно шли десятикилограммовые продуктовые посылки, которые регулярно получали многие заключенные из обеспеченных семей. Кормили в столовой, по лагерным меркам, неплохо, и хлеба можно было получать «по потребности». А так как многие обеспеченные посылками зеки иногда вообще не ходили в столовую, еды всегда оставалось достаточно.

Моя койка располагалась недалеко от койки Вячеслава Солонёва, беседуя с которым я узнавал много нового. Оставаясь убежденным анархистом, с интересом слушал рассказы Вячеслава о славянофилах, о русской истории и о тотальной дискриминации русского народа в период большевистского режима. Между прочим, я впервые услышал тогда о патриотической подоплеке «Ленинградского дела», по которому вскоре после войны были осуждены сотни, если не тысячи партийных работников. По своему политическому смыслу «Ленинградское дело» было упреждающим ответом тем наивным «национал-большевикам» в партийном аппарате, которые слишком серьезно восприняли сталинскую патриотическую риторику в годы Отечественной войны...

Ярких людей в демсекции было немало, многие писали стихи. Саня Р., известный на всю зону своими лицедейскими и шутовскими талантами, питерский интеллигент, сам стихов как будто не писал (конечно же, писал, но не афишировал этого), но зато помнил их наизусть великое множество. Он был настоящей поэтической энциклопедией, причем главным его коньком были пииты серебряного века: Бальмонт, Северянин, Гумилев, Блок и другие (к тому же обожал всякую декадентчину, как свою, так и иноземную; особенно ему нравился Оскар Уайльд со своими острыми афоризмами). Бесспорно, что самым выдающимся талантом Сани была декламация стихов.

И вот иногда длинным зимним вечером вокруг Сани собиралась компания любителей декламационного жанра. Никогда в жизни, как до, так и после лагеря, я не слышал подобной декламации! Саня декламировал великолепно, артистично и самозабвенно, но одновременно бесподобно пародируя содержание декламируемых стихов подчас до такой степени, что невозможно было удержаться от смеха.

Это было у моря, где аж-ю-рная п-э-на,
Где встречается р-э-дко городской экипаж...

За Игорем Северяниным в таком же исполнении следовал Бальмонт, но гвоздем программы был, конечно же, Блок, которого Саня, вероятно, знал всего наизусть. Особенно символично и многозначительно звучали строфы:

Я не предал белое знамя,
Оглушенный криком врагов...

Но как-то Саня, человек сложный и неоднозначный, мягко говоря, опростоволосился... Как это было заведено в то время политико-воспитательной частью, периодически по внутрилагерной трансляции передавали покаянные заявления некоторых заключенных, как говорят, «расколовшихся» и пожелавших в какой-то форме сотрудничать с властями, чтобы купить себе досрочное освобождение или улучшить условия жизни в лагере. Надо признать, что таких малодушных или лукавых людей оказывалось немало. Впрочем, это не

обязательно были злостные стукачи — такие как раз с публичными речами не выступали, — но люди, которые «делали свой выбор» в сторону сомнительных компромиссов с администрацией. Как правило, это выражалось в участии в работе так называемой «дружины», структуре, специально созданной властями для разложения «контингента».

И вдруг по лагерной трансляции мы услышали знакомый голос нашего барачного затейника: Саня, что называется, каялся и обещал «встать на путь исправления». И когда он вернулся в барак, прощмыгнув на свою койку, Вольдемар Гофман, молодой немец с узкой полоской усов «а-ля фюрер», громко произнес приговор барачной общественности:

— Саня, мы запрещаем тебе впредь читать «Я не предал белое знамя» и отныне за твою измену даем тебе кликуху Саня-репродуктор. Позорник, ты предал белую идею.

Однако после некоторого замешательства Саня встрепенулся и под общий хохот сумел парировать суровое обвинение:

— Ребята, я не предавал идеи — я ведь не ради идеи, а ради посылки...

Вообще говоря, чудаков-эксцентриков (или, по Лескову, «антиков») в зоне было немало. Однажды с воли прибыл москвич, инженер по образованию и «стиляга» по форме и по призванию, Игорь Спиридонов, который был страшным американофилом и нарекал себя не иначе как Гарри. Поселен он был — как все люмпены и интеллигенты — в нашу «демократическую секцию». Никакой политикой он не интересовался, и самыми излюбленными темами его ярких рассказов — а рассказчиком он был прирожденным — были байки о божественных похождениях, проститутках и живописном «разоблачении» разных смачных тайн «мадридского (то бишь московского) двора». Однако главной страстью Гарри, человека в целом не без способностей, но духовно ограниченного, было общение с иностранцами, преимущественно с американскими туристами. Именно за эти связи он и был осужден. Настоящий фанат английского языка и сленга, в лагере он никогда не расставался со словарем и жмурился от удовольствия, заучивая новое слово. Это американофильство — тоже характерная примета времени!

...В зимний период 1961 — 1962 годов бригадам демсекции наконец-то подыскали работу: километров за тридцать на открытых грузовых машинах стали возить в лес на «заготовку дров». Работа была в значительной мере формальной, так как какого-либо строгого учета не производилось: очевидно, администрации нужны были не столько дрова, сколько исполнение вышестоящего казенного требования куда-нибудь пристроить излишнюю рабочую силу. Самым неприятным была не сама работа — обычный ручной лесоповал, — но долгая и изнурительная езда, часа по полтора в один конец по тряской лесной дороге.

По прибытии на место лесоповала, которое оцеплялось наружной охраной, все заключенные разбивались на рабочие звенья по три-четыре человека и первым делом приступали к разжиганию костра. А затем переходили к дискуссиям и читке различной литературы, которую прихватывали с собой. Как ни странно, но некоторые чистопородные интеллигенты проявляли поразительное трудолюбие. Например, философ М. М. очень добросовестно пилил и пилил заготавливаемые дрова. Правда, быть может, мне просто так казалось со стороны, ибо в тот период я был несколько увлечен приклатненной лагерной психологией, выраженной еще горьковским люмпеном Сатиным в его монологе: «Работать? Для чего? Чтобы быть сытым?»

...Из представителей национального направления на 17-м запомнились еще несколько человек, среди которых, может быть, не было столь блестяще эрудированных интеллектуалов, как у «западников», но по своей самобытности они не уступали им. Интересное превращение произошло с Борисом Хайбулиным, который был посажен за участие в одном левом студенческом кружке. Уже в лагере, под влиянием каких-то сильных душевных переживаний, он стал глубоко верующим православным христианином, что в то время казалось весьма необычным даже представителям патриотического направления, в котором православие рассматривалось скорее в национально-культурном аспекте, нежели как живая вера.

Борис же явно шел к национальному именно через чисто религиозное перерождение и свой внутренний опыт. Однажды в разговоре он высказал мысль, тогда меня сильно озадачившую. По его убеждению, русский народ, как народ своеобразно религиозный, имеет и свой особый взгляд на верховную власть. Этот взгляд характерен религиозно-нравственным доверием к власти как земному подобию власти небесной. Как такое мистическое подобие, государственная власть призвана всегда быть в нравственном союзе с народом, и народ вправе ожидать от нее нравственного служения. В силу того что я тогда был мало знаком с учением славянофилов, это его суждение мне запомнилось. Ведь я, как анархист, в любой власти видел только отрицательную, угнетательскую силу, и такой — нравственный — взгляд на нее показался мне хотя и странным, но интересным.

В памяти, хотя и не очень четко, остался еще один лагерный патриот — Юра Петухов. Как мне кажется, Петухов был человеком несколько эмоционального типа, его патриотические убеждения не являлись следствием какой-то идейно-рациональной работы, а служили выражением его чисто внутреннего влечения. Вид у Юрия был импозантный: рослый, крепкого вида молодой человек лет тридцати, в сапогах, какой-то накидке нараспашку... Одним словом, в нем чувствовалось что-то старомосковское, национально-стихийное. Его образ хорошо бы вписался в эпоху Соляного бунта среди каких-нибудь торговых рядов в Москве или где-нибудь на площади, пламенно взывающим: «Православные!..»

Надо признать, что патриотическое направление на 17-м по численности заметно уступало леводемократическому. Несмотря на резкие различия во взглядах и неизбежные конфликты, «дипломатические отношения» между ними, как правило, всегда сохранялись. Шел постоянный обмен книгами, не прекращались личные контакты, как правые, так и левые совместно противостояли давлению лагерной администрации, вместе сидели в карцерах и изоляторах, и т. д. Правда, необходимо обратить внимание на то, что идейная грань, отделявшая первых от вторых, была зыбкой и неопределенной. Многие приходили в лагерь очень левыми, а затем эволюционировали вправо, но были и обратные случаи.

Зона «оттепельных» времен в зародыше содержала в себе все мировоззренческие направления и оттенки, что на разных уровнях — от официального до подпольного — тлели и в эпоху застоя. А после того, как тоталитаризм пошел трещинами и развалился, все эти течения вышли на поверхность и ведут теперь между собой борьбу за преобладание.

ЮРИЙ ГЛАЗОВ



РАННИЙ САХАРОВ

...В июне 1968-го известный физик-теоретик, правозащитник Валентин Федорович Турчин принес нам домой один из первых экземпляров трактата А. Д. Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Моя жена Марина распечатала его на машинке в четырех экземплярах, тем самым преумножив его хождение в самиздате. К этому времени я уже был изгнан с работы без всякой надежды трудоустроиться.

Года через полтора Турчин вместе с А. Д. и Роем Медведевым написали широко известное тогда Обращение к властям предержавшим — о положении в стране. К Обращению я отнесся с уважением и надеждой, хотя его терминология — близкая к официальной — была мне совершенно чужда, казалась неприемлемой. От Валентина я узнал драматические обстоятельства жизни Сахарова: у него стряслись неприятности на работе и умерла жена, оставив его вдовцом с тремя детьми на руках.

Вскоре — на квартире Вали и Тани Турчиных — мы познакомились. За небольшим столом с чашками чая (вино отсутствовало) расположились философы Борис Шрагин и Григорий Померанц, поэт Наум Коржавин, хозяйева, я.

Все были взволнованы присутствием Сахарова, его имя сделалось уже легендарным. Время было глухое: слово было делом и за слово давали большие сроки. Скорее всего, нас прослушивали. Еще до встречи условились, что каждый выскажется по поводу ситуации в стране. Говорили много и, как чаще всего у нас и бывает, безалаберно. Но А. Д. слушал внимательно.

В тот памятный осенний дождливый вечер меня поразили скромный облик ученого. Поношенный сероватый пиджак, без галстука. Слово перед нами — провинциальный учитель-идеалист. Спокойный взгляд светлых незлобивых глаз. И в лице — полное отсутствие напряженности, характерной для столичной интеллигенции в те годы. В Сахарове пленяли такт, врожденная интеллигентность, совершенная чуждость своекорыстному страху, осквернявшему многих из нас.

В порыве вдохновения и с нарушением оговоренного регламента говорил Коржавин, потом Гриша Померанц — с блеском и большим чувством внутреннего достоинства. Шрагин — сторонник эволюции общества, он — за медленные продуманные шаги. Когда хозяйка дома увлеклась рассуждениями одного из красноречивых гостей, А. Д. с пустой чашкой поднялся из-за стола и, продолжая слушать говорившего, прошел на кухню и долил там себе чаю. Чувствовалось, что Сахарову очень не хватает таких вот откровенных слов, разговоров... И хотя все мы были велеречивы, все-таки в чем-то мы вели себя как школьники на экзамене, хотя и трудно было понять, что это за экзамен и кто нас экзаменует.

Когда А. Д. засобирался домой, мы сгрудились в прихожей, где он надевал плащ. Нащупав в боковом кармане какую-то бумажку, он вдруг сказал, что приехал к нам от Чалидзе, с которым они составили письмо в защиту арестованного А. Амальрика. Он был готов показать нам его, но никто из нас не выразил желания ставить под письмом свою подпись: это грозило неприятностями, которых каждый из нас пусть в малой степени, но успел хлебнуть. В лице Сахарова мелькнуло разочарование... Впрочем, все это длилось считанные секунды. Мы тепло, хорошо простились, и А. Д. ушел в дождь, в темноту — без провожатых.

У Турчиных мы встречались потом несколько раз, в одну из встреч Сахаров дал мне свой домашний телефон. Я принял это просто за жест вежливости и все-таки однажды без видимых причин позвонил.

И был удивлен, когда А. Д. пригласил меня приехать тотчас — он жил в ту пору на Щукинской, неподалеку от «Сокола».

Ехать к нему было и приятно и боязно, я и так стоял уже на краю: меня могли выслать из Москвы. Ощущение было... «оруэлловским». И вместе с тем Сахаров казался и надежным зонтом, укрытием; власти шли ему на уступки, раздражать побаивались.

Органы работали тонко: я не мог заметить даже малейшего намека на присутствие каких-либо посторонних глаз или ушей — ни до того момента, когда я позвонил в тихую квартирку Сахарова, ни войдя в нее, после того как мне открыла дверь милая светловолосая девушка, дочь А. Д. Было около четырех часов пополудни, в середине холодной московской зимы. Из передней я попал в просторную гостиную, уютную и не очень заставленную, где в кресле около окна сидел и занимался Андрей Дмитриевич. Он пригласил меня сесть в кресло рядом с собой *vis-a-vis*; я сел, свет от большого окна шел слева от меня, и мне было хорошо видно лицо А. Д., продолжавшего держать перед собой на ручке кресла несколько листов чистой бумаги с только что сделанными заметками. В квартире стояла какая-то особая тишина — помимо дочери Андрея Дмитриевича, принесшей нам во время нашего дальнейшего разговора на небольшом подносе по чашке чая с бутербродами, из своей комнатки раза два показался симпатичный мальчик лет двенадцати. В комнате, где мы говорили, росло, помнится, несколько зеленых растений в больших горшках.

То были особые минуты в моей жизни. В отдаленных местах изнывали несколько дорогих мне людей, к ним в любую минуту могли присоединиться новые друзья. После двух с половиной лет существования на положении изгоя я не имел ни малейшего понятия о том, что таит в себе будущее.

А передо мной сидел человек, который мог явно позволить себе больше, чем люди моего круга. И я не всегда умел отделить, что для меня здесь особенно привлекательно: сам ли А. Д. — со своей простотою и ровным голосом — или окутывавшая его легендарная слава?

Андрей Дмитриевич с некоторым возбуждением и даже нервозностью начал припоминать, как он вынужден был вступить на путь социальной активности. Он возвращался к своим спорам с Никитой Сергеевичем Хрущевым и людьми из его окружения. Речь шла о событиях в начале шестидесятых годов, в связи со встречей Хрущева и Кеннеди в Вене. Хрущев посчитал Джона Кеннеди «мальчишкой» и, предлагая применить по отношению к Америке «шоковую терапию», решил возобновить в одностороннем порядке испытания атомной бомбы с нарушением, таким образом, двустороннего атомного моратория. Сахаров решительным образом возражал против новых ядерных испытаний, но его самым вероломным образом обманули высокие советские руководители. Хрущев, выступая перед советскими учеными-ядерщиками, силился им внушить, что они, ученые, мало что понимают в политике, тогда как в политике происходит то же самое, что и в анекдоте, рассказанном по этому случаю главой советского правительства:

«Двое едут в поезде, и один спрашивает другого:

— А куда ты едешь?

— В Житомир, — отвечает тот.

— Ах, так. Значит, ты хочешь обмануть меня. Говоришь, что едешь в Житомир, чтоб я подумал, что ты не едешь в Житомир, тогда как на самом деле едешь именно в Житомир!»

Андрей Дмитриевич рассказал этот анекдот с мягкой улыбкой, и мне врезались в память и манера его пересказа, и сам этот поразительный анекдот. Хрущев дал ученым-физикам понять, что их дело — выполнять приказ партии и создавать бомбу, обо всем другом позаботится сама партия. Мне думается, что этот любопытный анекдот врезался в его память и сознание прежде всего потому, что противоречил всем установкам и этическим ценностям его благородной натуры. Академик Сахаров не мог согласиться, что его личное мнение, его достоинство не принимались в расчет.

Андрей Дмитриевич подробно рассказывал о своих встречах с советскими лидерами, признаваясь, что больше всего его поразили нескрываемое раболепие и угодливость, написанные на лицах «соратников» Хрущева, которые через какое-то время, и глазом не моргнув, отстранили своего лидера. Все же я не смог обнаружить в А. Д. какого-либо драматизма в связи с его решающим участием в создании водородной бомбы на потребу той олигархии, в отношении которой он не питал больше иллюзий. Как и много раз впоследствии, он выражал уверенность, что наличие мощного оружия в руках советского правительства помогло предотвратить третью мировую войну, установив, таким образом, баланс сил. Такое утверждение и ныне остается выше моего понимания. До сих пор я вспоминаю не только высказывания Солженицына по этому поводу, но и мои разговоры с теперь уже покойным отцом Сергием Желудковым. Признавая достоинства Андрея Дмитриевича и великий вклад в развитие нашего общества, внесенный благородной деятельностью Сахарова и его вышеупомянутыми «Размышлениями...», этот милый и удивительно незлобивый священник только пожимал плечами и приговаривал: «Не знаю, совсем не понимаю, как можно было давать в руки этих бандитов такое страшное оружие?»

Думаю, что именно здесь проходит водораздел между физиками и лириками, между гуманитариями и «технарями». Сколько раз в ту пору я спорил с Валей Турчиным. Он настаивал на том, что даже в партию можно и должно вступить, чтобы расшатать, изменить и подорвать ее изнутри. Для меня такая установка была неприемлемой, чтобы не сказать — аморальной. Бесстрашный Андрей Дмитриевич даже в самые темные годы не вступал в партию, открыто ссылаясь на коллективизацию как на основное препятствие на пути его приобщения к ее рядам. Но довольно долго он явно верил в идеи социализма: иначе как бы он мог писать свои письма и теоретические работы, где социалистические постулаты ставятся во главу угла? И вместе с тем мне сдается, что, внося свой громадный вклад в укрепление военной мощи «первой в мире страны социализма», Андрей Дмитриевич всерьез уповал на то, что в будущем он сможет как-то влиять на выправление политической линии государства.

Я не заметил, как стемнело, не помню, как добирался до дому. После встречи с Сахаровым что-то изменилось во мне; жизнь щедро вознаградила меня за все недавние невзгоды. Я ждал следующей встречи с Андреем Дмитриевичем.

...И вот я вновь в его комнате.

На этот раз он заговорил о своем происхождении: дед — священник, в жилах предков текла польская и даже цыганская кровь... С огромным уважением рассказывает об отце, потом — о Игоре Евгеньевиче Тамме, своем наставнике и друге несмотря на четвертьвековую разницу в возрасте.

Церковным человеком Сахаров не был. Когда в Светлое Христово Воскресенье я позвонил ему и поздравил, он не понял, о чем речь. Православную церковь под коммунистами он рассматривал как один из придатков идеологической тоталитарной машины. Но А. Д. не был безусловно и атеистом. Это был невоцерковленный русский интеллигент-идеалист.

Речь заходила о Солженицыне. Сахаров признавал его неординарный талант, но к мировоззрению относился не без настороженности. Вспоминаю одну из встреч с писателем, А. Д. грустно заметил: «Солженицын сказал мне, что со мною готов встречаться, но не ниже. А на таких условиях не могу с ним общаться я». Солженицыну, очевидно, была не интересна та «диссидентура», что плотно окружала А. Д. Порой Солженицын не считал нужным скрывать своего пренебрежения к диссидентам, «правозащитникам», право на отъезд из страны считавшим едва ли не основным. Сахаров же входил в возглавляемый Чалидзе Комитет прав человека, хотя и признавался с полуулыбкой: «Я у них там для вывески...»

Слабость к спиртному Петра Ионовича Якира ни для кого не была секретом. О нем интеллигенция болтала разное, кто-то окрестил даже его «Петром Гапоновичем». А. Д., помню, обронил однажды: «На месте Якира я бы приостановил свою общественную активность». Учтывая, что произошло с бедным П. И. через два года, нельзя не признать, что Сахаров как в воду глядел, когда опасался за последствия деятельности Якира.

Уже не помню, кто пригласил меня к Н. Зоркой, киноведе, на квартире которой популярный тогда эстетик-марксист Леонид Баткин читал лекцию об утопии Кампанеллы. Взгляды собравшихся были устремлены больше на присутствовавшего на чтении А. Д., чем на Баткина.

...Я перенес сложную операцию. Сахаров, узнав об этом, захотел навестить меня сразу после моего возвращения из больницы. А. Д. сидел у меня в комнате, оклеенной зелеными обоями, спиной к окну, за которым виднелся купол Тропаревского храма.

Втроем с Мариной мы расположились вокруг моего письменного стола, и справа от А. Д. я мог видеть распятие, подаренное мне литовским ксендзом. Разговор наш, естественно, начался с болезни и операции. Марина принесла чайник. Разливая левой рукой чай в чашки, она призналась, что, будучи в детстве левшой, она переучилась и стала свободно владеть обеими руками. А. Д. оживился и сказал, что он тоже свободно владеет обеими руками. Он даже захотел что-то написать, и я протянул ему большой сдвоенный лист бумаги. А. Д. написал ручкой сначала правой рукой на одной стороне листа, а потом левой — на другой свое имя и фамилию. Сделал он это очень быстро, большими буквами, и подписи его были неразличимы. Мы были, конечно, удивлены. А. Д. весело на нас поглядывал и по-детски улыбался. Не могу простить себе, что во время наших последующих бесконечных переездов этот сдвоенный лист оказался затерянным среди остальных бумаг.

Потом пришла минута и мне что-то написать на отдельном листе и протянуть А. Д. К тому времени мною были закончены две книги. Одна — «Тесные Врата», о нашей интеллигенции, а другая — автобиографическая, о моем пути к Богу. Я довольно серьезно опасался, что в нашей квартире установлено подслушивающее устройство, и, блюдя понятную для того времени конспирацию, спросил А. Д., интересуют ли его мои книжки. Он спокойно и без всякого удивления прочитал мою записку и сказал, что хотел бы это прочитать. Я дал ему папку с рукописью «Тесных Врат». Забавно, что в его квартире я никакой конспирации себе не позволял.

Через несколько дней А. Д. пришел снова. В руках он держал папку с рукописью моей книги. Папка не только не была перевязана, но листы рукописи в некотором беспорядке торчали оттуда, и чувствовалось, что А. Д. дочитывал рукопись по дороге ко мне. Я не спросил его, приехал ли он к нам на метро или в такси, но конспирация моя была сведена на нет.

Мы опять расположились в той же комнате по обе стороны моего письменного стола, стоявшего направо от входа. А. Д. начал говорить о моей книжке, которую с интересом прочитал. Он обратил внимание на страницы о Михаиле Сперанском. Поразительным образом впоследствии судьба самого А. Д. повторила судьбу Сперанского: деятельность на высоком государственном уровне — ссылка — новое возвышение. Наступили сумерки, и моя жена пошла проводить А. Д. на остановку автобуса.

...Март 1971 года. Усилия евреев вырваться из СССР, вызывавшие во мне большое сочувствие, обернулись волной преследований. И передо мной тоже стоял выбор: бороться ли за отъезд или идти в лагерь. Но как ни странно, свободу моего выбора морально сковывало присутствие Сахарова, я чувствовал перед этим человеком свои и долг и ответственность.

Тогда я решился на «ход конем»: написал письмо в защиту пострадавших евреев и пошел с ним к Сахарову. Благословит он меня на его огласку — значит, выброшу мысль об отъезде и пойду следом за А. Д.

День был пасмурный, со свинцовыми тучами. Сахаров пригласил меня в небольшую комнату, служившую ему кабинетом. Может быть, с излишней горячностью я сразу сказал ему, что чрезвычайно обеспокоен судьбой задержанных отказников, среди которых много моих друзей. Мы сидели друг против друга, я достал и показал ему проект моего письма. Сахаров заметил, что я перевозбужден, нарочито спокойно принял от меня письмо, пробежал его глазами и — задумался. Потом вдруг — совершенно неожиданно для себя — я услышал от него несколько резких слов в адрес тех, к кому все последние годы я относился с надеждой — как к борцам за свободу. Было ясно, что подписывать письмо мое он не намерен.

Несколько дней все во мне кипело; потом я понял, что Сахаров в России более меня не удерживает.

Наша размолвка никак внешне не проявилась. Я звонил ему раз весной, потом позвонил летом. Прежней охоты встречаться со мною у него больше не было. Пару раз мы чуть не столкнулись буквально в дверях: на вечеринке у певца Михаила Александровича и у Александра Галича, выгнанного из всех творческих союзов. Галич лежал с сердечным недомоганием, по транзистору пытался ловить «голоса», чтобы что-нибудь услышать о себе и своем деле. Ничего не поймал, выключил приемник и сообщил, что только-только «ушел Андрей». Потом, глядя на меня, попросил: «Юра, хоть что-нибудь!» Два раза я писал тогда в защиту Галича.

Это было на второй день Нового года, а в конце марта мы получили разрешение на выезд.

...Ранней осенью 1973-го ведомство Андропова нанесло по диссидентству удар, организовав «показательный» процесс Красина и Якира, расколов их обоих и выставив на всемирный позор. Следом за тем началось массивное наступление на Сахарова и Солженицына: сорок с лишним академиков выступили с «решительным осуждением антисоветской и антинародной позиции академика Сахарова».

К этому времени я жил уже в предместье Бостона, преподавал в Бостонском колледже, но русская история и культура по-прежнему интенсивно подпитывали меня. Я решился позвонить человеку, который так много значил для меня в прежние годы.

К моему немалому изумлению, заказав через международную связь все еще не забытый номер, я почти тотчас услышал столь дорогой и до боли знакомый голос А. Д. Признаюсь, я не без опаски приступил к разговору — после всех перипетий в наших отношениях и моей эмиграции. Но А. Д. стал спокойно расспрашивать меня о том, как идут наши дела. Я сказал, что счастлив разговаривать с ним, что все мы, его друзья, оказавшиеся на Западе, очень за него волнуемся и переживаем.

Постепенно наши телефонные разговоры приняли регулярный характер.

Между тем на Ближнем Востоке разразилась война, оставшаяся в истории под названием «войны Судного дня». А. Д. пользовался нашими телефонными разговорами для передачи в американскую прессу своих заявлений по поводу мировой ситуации. Разговоры наши, безусловно, прослушивались, но А. Д. не обращал на это никакого внимания и говорил все, что считал нужным. Трудно было не поразиться его мужеству. А. Д. открыто говорил о своих симпатиях к народу Израиля; Бостон и вся Америка были столь же решительно настроены в его пользу, заявления Сахарова печатались на видных местах в главных американских газетах, передавались по центральным каналам — вызывая всеобщее восхищение.

Кремлевские власти продолжали нападать на Сахарова, ставя перед собой, вероятно, цель не только исключить Андрея Дмитриевича из Академии наук, но вслед за этим подвергнуть его еще более суровому наказанию. Видные ученые Америки выступили в защиту Сахарова, и советские власти пошли — не в первый раз — на изощренные трюки. Они «разрешили» некоторым советским ученым совершить поездку на Запад и разъяснить своим западным коллегам их «заблуждения». В одном из наших телефонных разговоров той осенью А. Д. попросил меня выяснить и сообщить ему, какую работу среди своих коллег в Америке проведет академик Энгельгардт, крупный советский биолог. Мне удалось составить некоторую картину того, что предпринял в своей поездке по Америке академик Энгельгардт, кстати, подписавший письмо академиков против Сахарова перед своим приездом в Америку. Я сообщил А. Д. по телефону примерно следующее, что подтверждается сохранившейся записью: «Академик Энгельгардт побывал в Бостоне вместе со своей дочерью и произвел на здешних ученых очень выгодное впечатление. Он не выступал с публичными заявлениями, но в частных разговорах говорил приблизительно следующее: „Академик Сахаров — святой человек, и то, что он говорит, — чистая правда. Но действует академик Сахаров слишком прямолинейно и поэтому, можно сказать, недостаточно эффективно. В свое время я боролся против засилья

Лысенко и проводил более гибкую линию — в конечном счете с успехом. То письмо, которое я подписал в отношении Сахарова, было третьим вариантом, и этим письмом мы его спасли. Те американские ученые, которые выступили в защиту Сахарова, формулировали свои мысли слишком резко, и этот метод нельзя признать достаточно эффективным». Меня удивило, что наш телефонный разговор не оборвали. Андрей Дмитриевич очень внимательно выслушал то, что я ему сказал, и прокомментировал: «Я уже слышал нечто подобное от Наума Коржавина из Рима. Но то, что я только что услышал, представляется мне более серьезным».

Надо признать, что рассуждения академика Энгельгардта находили в среде американской академической интеллигенции благодатную почву и воспринимались с гораздо большим сочувствием, чем свидетельства политических эмигрантов. В Америке того времени (и это в значительной степени сохраняет свою силу и по сей день) образованные слои общества не только отличались пацифистскими настроениями, но питали-таки большую симпатию к социалистической идеологии. Антикоммунизм выходцев из СССР их, мягко сказать, шокировал.

В заявлениях Сахарова того времени чувствовался большой духовный рост; кажется, он окончательно изживал в себе социалистические иллюзии.

Солженицына на Западе стали обвинять не только в изоляционизме, но и в... фашизме. И, едва сдерживая возмущение, Сахаров отвечал на это, что так могут говорить только те, кто понятия не имеет, что такое фашизм.

Мои американские коллеги по университету тут не были исключением и едва ли питали какое-либо расположение к диссидентам; один из них, профессор Лоуренс Джоунз, во время выступления Павла Литвинова, прибывшего в первые месяцы 1974 года в Америку, почти дрожал от негодования и, нервно прохаживаясь по коридору в перерыве, бросал мне в лицо: «Я ненавижу все это». Его наставник, ведущий американский славист, знаменитый Роман Якобсон, после смерти своего друга Владимира Маяковского в течение более чем двадцатилетнего периода деспотии Сталина не сказавший ни слова о преследованиях русских писателей, поэтов и ученых, открыто говорил своим коллегам, смотревшим ему в рот, что приехавший в Бостон Юрий Глазов занимается «политикой» и начал строить против меня козни с намерением выжить из Бостона. Мои студенты, учившиеся в Массачусетском технологическом институте, заметили, что объявления о митингах в защиту Сахарова и русских диссидентов кто-то регулярно срывает со стендов. Оказалось, что этим украдкой занимается жена Романа Якобсона — профессор Кристина Поморска, специалистка по Пастернаку и Солженицыну, постоянно навещавшая в те годы Советский Союз с научными целями. Левая, промарксистски настроенная западная интеллигенция ничего хорошего для себя от выступлений Сахарова и Солженицына не ожидала.

В другой раз А. Д. подробно стал расспрашивать о Народно-трудовом союзе русских солидаристов (НТС) — политической эмигрантской организации с еще довоенной историей. Многие рядовые члены НТС, которых я лично знал, мне по-человечески очень нравились. В трудных условиях, почти без средств и при постоянной угрозе со стороны советской разведки, одно время буквально на них охотившейся, они проявляли стойкость, порядочность и верность идеалам свободы. Вместе с тем некоторые лидеры НТС представлялись мне и моим друзьям весьма ограниченными политиками.

В конце 1973 года и в январе следующего в наших разговорах с А. Д. несколько раз поднималась тема о его выезде в Америку. Помнится, Принстонский университет направил А. Д. приглашение на чтение лекций, но советские власти через свои каналы дали понять администрации Принстона, что выпустить из Союза могут Солженицына, но не Сахарова. А. Д. несколько раз касался этой темы, но весьма осторожно. В одном из разговоров в январе 1973 года он подчеркнул, что желательно говорить о поездке, но не о выезде. Елена Георгиевна была более решительно настроена в отношении выезда. В один из моментов редкого эмоционального возбуждения А. Д. подтверждал свое намерение поехать в Америку и цитировал слова М. Михайлова: «Родина там, где свобода». Хотя сам я весьма сдержанно говорил о перспективах его выезда, не могу скрыть того факта, что это намерение А. Д. приехать в Америку, равно как перемена в его социалистических концепциях и его недавняя

позиция в отношении ближневосточного конфликта, проливалось бальзам на мое сердце в свете наших разногласий весной 1971 года.

В начале нового, 1973 года у нас состоялся большой разговор, в котором мы с А. Д. сердечно поздравили друг друга с наступившим Новым годом и он, как обычно, передал свои поздравления и привет Марине. Но Новый год предвещал не так уж много утешительного. Не прекращая своих атак против А. Д., власти готовили каверзный удар по Солженицыну, основательно подготавливая общественное мнение к своему новому силовому приему, одновременно изгоняя из Союза писателей таких талантливых людей, как Лидия Корнеевна Чуковская и Владимир Войнович.

...В конце января в Нью-Йорке намечалась представительная профсоюзная конференция в союзе с социал-демократами, на которой было решено присудить Сахарову почетный диплом за мужественное отстаивание прав человека в стране, где они были попраны. Устроители конференции буквально умоляли меня срочно позвонить А. Д. и попросить его продиктовать Обращение к конференции, в свою очередь обещая опубликовать его на отдельной полосе «Нью-Йорк таймс». Я сообщил А. Д. про эту уникальную возможность (место в этой газете стоит бешеных денег, а аудитория огромная). В Москве был уже вечер; А. Д. колебался, но в конце концов попросил позвонить ему через два часа. Я перезвонил в полночь, и Сахаров зачитал мне волнующий документ о преследованиях диссидентов — о брошенных в тюрьму Петре Григоренко, Вл. Буковском, о репрессиях против писателей и попрании прав национальных меньшинств.

Когда я зачитывал этот документ в переполненном зале большой нью-йоркской гостиницы, где проходила конференция, я видел возбужденные, взволнованные лица сотен американцев...

Подготовка этого документа к печати потребовала, разумеется, времени, но резонанс был огромный — по всей Америке. Американцы искренне сочувствовали Сахарову и нашим правозащитникам. Среди своих друзей не могу не упомянуть бостонского бизнесмена Роберта Гордона, финансировавшего мои телефонные разговоры с А. Д., мне они были в материальном отношении, разумеется, не по силам.

...Кампания против Солженицына между тем набирала обороты. Я спрашивал Сахарова о его прогнозах относительно ее исхода. Он не исключал и того, что дело может ограничиться «выстрелами в воздух» — и только. Я, однако, решился попросить у него солженицынский телефон. Предупредив, что в данном случае следует поступать осторожно, А. Д. продиктовал его мне.

13 февраля 1974 года после полудня мне вдруг позвонили из университета: из Москвы пришло сообщение об аресте А. И. Солженицына. Средства массовой информации еще ничего об этом не сообщали.

Я немедленно набрал московский номер, продиктованный мне Сахаровым. И как ни поразительно — услышал взволнованный, но уверенный голос Натальи Солженицыной. Представился и сказал, откуда звоню. Она сообщила, что Солженицына арестовали и увели и она не знает, где он и что с ним.

Я тотчас передал эту информацию на телевидение и в прессу. Странно сказать, но я был первым в Америке, кто дозвонился в Москву к Солженицыным. И хотя вариант высылки казался мне наиболее в данном случае реальным, на сердце было тревожно. Протесты Сахарова и наших общих друзей в Москве могли потонуть в океане зла и насилия.

Многие в Америке провели тревожную ночь с 13 на 14 февраля. Пробыть по телефону в Москву стало невозможно. Казалось, что возвращаются самые лютые времена.

Еще до рассвета к моему заснеженному дому, в 25 километрах от Бостона, стали съезжаться телевизионные машины. Но что нового я мог сообщить?

Но вот пришла весть: Солженицын в ФРГ у Генриха Бёлля...

Изоляция же Андрея Сахарова с годами только росла: связь с ним была оборвана, и оставалось лишь выступать в его защиту по мере того, как усугублялось его положение.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ

*

СВОЙ СРЕДИ СВОИХ

Савинков на Лубянке

И он вдруг — сразу и окончательно — понял, что его никогда не выпустят из тюрьмы. И что хуже — на свободе он уже никому не нужен: ни белым, ни красным, ни зеленым, ни вчерашним друзьям, которые стали врагами, ни вчерашним врагам, которые не стали друзьями, — никому, даже любимой женщине, и она предпочтет ему вольную жизнь. Все отреклось от него. И всего невыносимее — его презирают, его — кумира, героя, вождя, — обреченного теперь на жалкую роль статиста, на вечный плен в одиночной камере.

А свобода, вот она — в нескольких шагах — в распахнутом окне. Но выйти нельзя — можно только лететь. И он шагнул к окну...

Человек-театр

Правительственное сообщение

В двадцатых числах августа с. г. на территории Советской России ОГПУ был задержан гражданин Савинков Борис Викторович, один из самых непримиримых и активных врагов рабоче-крестьянской России. (Савинков задержан с фальшивым паспортом на имя В. И. Степанова.)

«Известия», 29 августа 1924.

Так завершилась блестящая операция ОГПУ, вошедшая в историю под названием «Синдикат-2», операция, на которой будут воспитываться несколько поколений советских чекистов как на образце ловкости и бесстрашия.

Сообщение об аресте Савинкова и последовавшие затем события произвели впечатление разорвавшейся бомбы, стали мировой сенсацией.

Борис Савинков! Легендарный революционер-террорист! Он же Адольф Томашевич, хранящий бомбы в несгораемом ящике банкирского дома, поляк Кшесинский, занимающий деньги на террор у самих царских сановников, скромный француз Леон Роде — съемщик меблированных комнат в Петербурге, английский инженер Джемс Галлей — представитель богатой велосипедной фирмы, бельгийский подданный Рене Ток, подпоручик в запасе Дмитрий Евгеньевич Субботин, а еще Константин Чернецкий, Крамер, Вениамин... Человек с многими лицами, человек-театр.

Под кличкой «Театральный» он и значился у полицейских филеров. И при большевиках нарком Луначарский говаривал о нем то же: «Артист авантюры, человек в высшей степени театральный. Я не знаю, всегда ли он играет роль перед самим собою, но перед другими он всегда играет роль».

Если мы спросим о Савинкове его современников, то услышим в ответ разноречивый, возбужденный хор: кавалергард революции, смердящий труп революции, охотник на львов, дешевый клоун у ковра истории, гениальный индивидуалист, сентиментальный палач, Ленин — только с другой стороны, одинокий нигилист, презрительный истукан...

Писатель Александр Куприн, всю жизнь менявший свое отношение к Савинкову, начал с такой оценки: «Великолепный экземпляр совершенного человеческого животного... Страстный игрок, размеров почти грандиозных, пус-

кавший то с холодным расчетом, то с бешеной стремительностью свою и чужую жизнь ребром, как копейку, к чертовой матери...» А кончил так: Савинков — «выползень. Это редкое словечко означает тонкую внешнюю оболочку на змеиной шкуре. Каждый год, линяя, змея трется между камнями и вылезает из нее, как из чулка. Выползень так и остается валяться на земле».

А вот Уинстон Черчилль, не раз встречавшийся с Савинковым, дал место ему в своей книге «Великие современники» и увидел в нем «мудрость государственного деятеля, качества полководца, отвагу героя и стойкость мученика».

Ни одна из биографий его не смогла вместить этой пестрой и противоречивой судьбы, ни один портрет не выразил, не исчерпал до конца его образ. И до сегодняшних дней время добавляет к ним все новые факты и штрихи, не разрешая, а умножая загадку Савинкова.

Итак, прежде всего — рыцарь террора, видный деятель партии эсеров, один из руководителей ее боевой организации, «генерал Бо», как его называли. Опытнейший подпольщик и конспиратор, он организовал в годы первой русской революции несколько нашумевших убийств высших царских сановников: министра внутренних дел Плеве, московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, — участвовал во множестве других покушений, готовил казнь самого царя. Не раз арестовывался полицией, бежал из северной ссылки, снова попал в тюрьму в Севастополе и был приговорен к смерти, но накануне казни опять бежал...

В 1917 году Савинков — военный и морской министр Временного правительства — пытается соединить демократию с твердой властью и, убедившись в мягкотелости Керенского, поддерживает генерала Корнилова. Узнав об Октябрьском перевороте, звал казаков на защиту Зимнего дворца от большевиков, но потерпел неудачу: казаки за ним не пошли... В армии генерала Краснова наступал на Петроград, а после провала наступления метнулся было на Дон, к другим белым генералам, но те встретили его враждебно, в их глазах он был революционером. Савинков подался в Москву.

Ярый враг Советов, главарь подпольного «Союза защиты Родины и Свободы», он поднимает волну восстаний в Ярославле, Муроме, Рыбинске — неудачно, все они были подавлены. Тогда Савинков бежит в Казань — дерется с большевиками в отряде полковника Каппеля, — потом в Сибирь и дальше, через Японию, — в Европу. Там он представляет Сибирское правительство Колчака, вплоть до разгрома белого адмирала. Потом, в 1920-м, став во главе Русского политического комитета в Варшаве, неутомимо создает и снаряжает против красных добровольческую армию, да и сам не отсиживается в штабах, воюет в конном полку. Но и тут его рать терпит поражение — разбитая, уползает за границу.

Другой бы на его месте давно опустил или наложил на себя руки. Но не таков Савинков. Опять оказавшись за границей, он меняет флаг: громогласно порывает с Белым движением, воссоздает свою партию с призывным названием «Народный Союз защиты Родины и Свободы» (НСЗРС) и, став ее полномочным лидером, разворачивает так называемое «зеленое движение», с опорой на крестьянство: партизанскую войну, безжалостное истребление коммунистов всеми возможными способами — главным образом террором, своим излюбленным методом. Это он, Савинков, плетет по Белоруссии, Украине и России сеть подпольных конспиративных групп, засылает через границу истребительные отряды, кровавыми стежками — пулями и саблями, поджогами и грабежами — прошивающие страну, и как когда-то готовил казнь Николая II, теперь планирует покушение на Ленина.

И, наконец, он же — писатель В. Ропшин, оригинальный прозаик, тонкий поэт, зажигательный публицист, автор знаменитых повестей «Конь Бледный» и «Конь Вороной», романа «То, чего не было», «Воспоминаний террориста», книги очерков «Во Франции во время войны». Псевдоним не случаен, с намеком на потенциальное цареубийство: Ропша — так называлась усадьба, в которой был убит Петр III в результате заговора, организованного его женой, будущей императрицей Екатериной II. Цареубийство Савинкову не удалось, зато имя Ропшин стало известно. Беллетрист, которого внимательно читал, безусловный дар которого отмечал сам Лев Николаевич Толстой. Стихотворец, для

которого, по мнению такого изысканного мэтра в поэзии, как Зинаида Гиппиус, слово «талантливость» было слишком мало. Журналист, статью которого об организации революционной работы в массах В. И. Ленин назвал «замечательной по своей правдивости и живости»...

Многоликий, почти фантастический образ.

И вот теперь это мифическое существо, в судьбе которого отпечатались вся история революции и Гражданской войны, в котором враги советской власти видели свою последнюю надежду, которое западные правительства прочили в будущие диктаторы будущей России, — оказалось на Лубянке!

Какой же из них, двойников Савинкова, попался в руки чекистов? И что с ним случилось потом?

Написано о Савинкове немало. Но это, в основном, или тенденциозные версии самих чекистов и их литературных помощников, или беллетризированные жизнеописания, полные догадок, выдумок и кривотолков.

Исследователям не хватало фактов, а документы были скрыты за семью печатями и замками, в сверхсекретных хранилищах. Или вовсе уничтожены — так думали многие, — уничтожены, чтобы никто никогда не докопался до правды. Все же тоненькой, дозированной струйкой что-то время от времени просачивалось в печать: в конце шестидесятых появился роман «Возмездие» писателя В. Ардаматского, близкого к чекистским кругам, с вкраплениями из документальных источников, естественно, препарированными в духе официальной пропаганды, — повесть-панегирик доблестным органам. И снова — молчок, рот — на крючок. Уже совсем недавно, в эпоху бесшабашной, обваль-ной гласности, обнародовал кое-что о Савинкове сам КГБ — в своем ведомственном журнале «Служба безопасности», — тоже с зияющими купюрами, не забираясь вглубь...

И мне, уже поработавшему с секретными архивами не один год, изучившему десятки досье, к этому доступ открылся отнюдь не сразу. Тянули, переадресовывали из отдела в отдел, убеждали в абсолютной неинтересности — возможно, придерживали не из-за самого Савинкова, он-то им за давностью лет был совсем не нужен, — блюли славу своих предшественников, прятали методы действий ОГПУ, которые в официальном каноне были так же далеки от реальности, как клюквенный сок от крови...

И когда все же удалось открыть досье Бориса Савинкова, и там, под грифом «Секретно», кроме следственных документов обнаружилось немало другого, а главное, неизвестные рукописи, в том числе осколки его литературного архива, — то, что он успел написать в тюремной камере, — стало возможным рассказать еще об одной, последней роли, которую этот человек-театр сыграл на подмостках большой истории. И в то же время — об одной из самых загадочных и зловещих историй, какие знает Лубянка.

«Крот»

Секретное следственное дело Н-1791 — «ВЧК. Особый архив. НСЗРС (Западный областной комитет)» — дело «Крот», так на Лубянке окрестили операцию по раскрытию и уничтожению савинковской организации. Шестьдесят восемь объемистых томов, три из них посвящены самому Савинкову.

«Общая справка», которой начинается первый том, дает представление о савинковском НСЗРС — разумеется, с точки зрения чекистов:

«После разгрома органами ВЧК в 1918 году контрреволюционной организации Союз защиты родины и свободы основатель и руководитель данной организации Борис Савинков эмигрировал за границу и обосновался в Варшаве. Здесь ему удается при помощи 2-го отдела Польгенштаба и французской военной миссии в Польше создать в 1921 году крупную боевую террор-организацию, которую он назвал НСЗРС... НСЗРС стал политическим центром многих других заграничных контрреволюционных групп... Контингент членов НСЗРС вербовался без различия политических убеждений, начиная от монархистов и кончая эсерами и меньшевиками, по принципу подчинения НСЗРС и участия в боевой работе против Советской власти. Завербованные члены этой контрреволюционной организации перебрасывались (при помощи

польской разведки) на территорию РСФСР как целыми бандами, так и в качестве организаторов боевых действий... За короткий срок НСЗРС удалось насадить на территории РСФСР ряд крупных организаций с областными, губернскими, уездными и волостными комитетами, которые наряду с систематической контрреволюционной агитацией и подготовкой вооруженного восстания занимались шпионажем, террором, диверсией и бандитизмом. На протяжении 1921 года деятельность всех этих организаций была пресечена органами ВЧК. Западный областной комитет, во главе которого стоял член Всероссийского комитета НСЗРС Опперпут, был ликвидирован в мае 1921-го (списки обвиняемых прилагаются)...»

Дальше идут эти многочисленные списки — на сотни и сотни лиц, большей частью расстрелянных или отправленных в концлагерь, разных национальностей, крестьян, служащих, солдат и офицеров, священников и дворян; наряду с действительными врагами советской власти есть здесь и дряхлые старики, и подростки, даже дети; уничтожались порой целыми семьями — за укрывательство «антисоветского элемента», или недоносительство, или вообще без всякого обоснования, видимо как заложники. Списки тех, кто был втянут в братоубийственную бойню Гражданской войны и оставил после себя память разве что только вот на этих жутких, словно написанных кровью страницах.

Уже упомянутый Опперпут Александр-Эдуард, руководитель Западного областного комитета НСЗРС, выполнявший прямые указания Савинкова, предстает перед нами как фигура химерическая, провокационная. Царский офицер, после революции он служил то белым, то красным, потом переметнулся к Савинкову, но, будучи арестован чекистами, как сказано в деле, «своими показаниями дал ключ к раскрытию и ликвидации всех савинковских организаций в пределах Западного фронта». Помещенный во внутреннюю тюрьму Лубянки, Опперпут 7 июля 1921 года шлет вопль о скорейшем разрешении своей участи — начальнику Особого отдела ВЧК Менжинскому.

Письмо это в то же время — великолепная автохарактеристика, и не только лично его, Опперпута, а целого типа порожденных тем временем авантюристов и профессиональных убийц, темных духов, выпущенных на поверхность революцией и Гражданской войной, людей савинковского образца.

«...Движимый отчаянием, осмеливаюсь обратиться к Вам.

Моя жизнь с 1915 по 1920 год включительно складывалась так, что я вынужден был вести образ жизни, полный самых опасных приключений и острых ощущений. Достаточно сказать, что целый год я провел на турецком театре войны и весь 1919-й — в усмирении различных восстаний против Советской власти, причем не раз пришлось действовать против неприятеля в десять и более раз многочисленного. Непрерывная цепь приключений и опасности в конце концов так расшатала мои нервы, что вести спокойный образ жизни я уже не мог. Как закоренелый морфинист не может жить без приемов этого яда, так я не мог жить без острых ощущений или работы, которая истощала бы меня до обессиления. Моей энергии в этих случаях удивлялись все, кому пришлось со мной сталкиваться... Я не буду задерживать Вашего внимания на факте своего падения. Это было стечение массы благоприятных для этого обстоятельств. Но сейчас у меня одно желание: самоотверженной работой на пользу Советской власти загладить свой проступок и проступки тех, мной вовлеченных в заговор, которые не являются врагами Советской власти. Это представилось бы мне возможным сделать, если я был бы отпущен в Варшаву. В месячный срок я сумел бы дать Вам возможность полностью ликвидировать все савинковские организации, польскую разведку, частично французскую разведку и представил бы ряд документов в подлинниках, обрисовывающих истинную политику Польши. Для этого Вам придется рисковать только потерей одного, уже не опасного для Вас арестанта, ведь возвращение в лагерь врагов Соввласти после моих показаний... мне отрезано навсегда... Что же касается наказания по отношению лично ко мне, то я частично его понесу, ведь я перед отъездом должен буду нанести себе довольно серьезное огнестрельное ранение, чтобы не вызвать в Варшаве сомнений в действительности моего побега и иметь возможность оставаться необходимое для меня время работы там. Ни средств, ни документов я у Вас не прошу. Умоляю только дать мне воз-

можность работать и клянусь Вам тем, что у меня есть дорогого и святого, что Вам, товарищ Менжинский, никогда в своем доверии разочароваться не придется... Если все же этих гарантий недостаточно, я готов взять на себя до моего отъезда выполнение самых опасных, рискованных поручений, лишь бы доказать правдивость своих слов. Я уже не раз был на волосок от смерти за Советскую власть и готов пожертвовать собой... Мои нервы требуют сильной реакции. Я терплю невероятные муки и дохожу до отчаяния, когда я готов разбить голову об стену или перерезать горло стеклом. Я уже дошел до галлюцинаций. Каждый лишний час моего здесь пребывания равносителен самой невероятной пытке. Еще раз умоляю решить мою судьбу скорее».

И судьба Опперпута была решена: «по обстоятельствам дела» его освободили из-под стражи и использовали — в каких именно целях, дело умалчивает. За границу Опперпута отпустить не рискнули, но идею его взяли на вооружение: к Савинкову будет послан свой, более хладнокровный и надежный человек.

Чего только нет в этих шестидесяти восьми томах! Отчаянные крики из тюрьмы и любовные письма, разговоры по прямому проводу между чекистами и агентурные донесения, денежные квитанции и фотографии, вероятно единственные, на которых уцелели и дошли до нас лица тех, кто, втянутый в борьбу с их вождем и идеологом Савинковым, преданный провокатором Опперпутом и уничтоженный коммунистами, стал «навозом» истории, на чьих костях строилось первое в мире государство социализма. Огромный черновой материал для нашей, еще не написанной, «Илиады».

Такой ценой оплачивалась политическая программа боевой и террористической организации Савинкова — НСЗРС, хотя на словах эта программа выглядела куда как красиво и привлекательно. Тот же Опперпут приводит ее текст, в котором, кстати, слово «террор» не упомянуто ни разу:

«— Мы боремся и зовем всех, кому дороги родина и свобода, бороться против Советской власти и кучки насильников-коммунистов, ее возглавляющей, обманом и ложью исторгнувшей у народа власть в октябре 1917 года.

— Мы боремся за народовластие, то есть за передачу власти единственному полномочному хозяину земли Русской — Всероссийскому Учредительному собранию, которое будет выбрано всеобщим, равным, тайным и прямым голосованием.

— Мы боремся за восстановление свободы слова, печати, собраний...

— Мы боремся за передачу всех помещичьих, церковных и крестьянских земель крестьянам в полную и неотъемлемую их собственность.

— Мы стоим за восстановление мелкочастной собственности.

— Так же стойко, как мы боремся против Советской власти, мы будем бороться против всех приверженцев царя и всяких поползновений на власть народа справа.

— Мы признаем право на самоопределение за всеми народами, раньше входившими в состав Российской империи...

— Мы зовем все свободные народы объединиться вокруг нас в борьбе с Советской властью, как с опасной всему цивилизованному миру заразой, несущей с собой насилие, произвол и анархию».

Но там же, среди «вещественных доказательств», есть «Присяга», которую принимали те, кто вступал в члены Союза, и в которой вполне проявлен инквизиторский стиль его вождя:

«Клянусь и обещаю, не щадя сил своих, ни жизни своей, везде и всюду распространять идею НСЗРС: воодушевлять недовольных и непокорных Советской власти, объединять их в революционные сообщества, разрушать советское управление и уничтожать опоры власти коммунистов, действуя, где можно, открыто, с оружием в руках, где нельзя — тайно, хитростью и лукавством».

Вот то кредо, с которым выступал тогда Савинков — политик и идеолог «зеленых», которое в десятках вариантов и тысячах листовок, подписанных им — для крестьян, для красноармейцев, дезертиров, партизан и, наконец, просто граждан, — рассеивалось по городам и весям, созывая в поход на большевиков все новые и новые отряды.

«Поистине таинственна наша матушка Россия, — писал Савинков своему другу и помощнику Александру Дикгоф-Деренталю во время одной из боевых

операций против Советов. — Чем хуже, тем ей, видимо, лучше. Язык ума ей недоступен. Она понимает или запоминает только нагайку да наган. На этом языке мы теперь с ней только и разговариваем, теряя последние признаки гнилых, но мыслящих русских интеллигентов».

«Синдикат-2»

Уже первые строчки следственного дела опровергают правительственное сообщение об аресте Савинкова: он был арестован не «в двадцатых числах августа» 1924 года, а 16 августа... Смысл этой манипуляции понятен: скрыть подробности той тайной игры, которая велась против Савинкова, механизм операции, столь успешно завершённой. Эта тенденция — спрятать концы в воду — будет прослеживаться и дальше в официальной версии дела. Внешне выглядит так просто: перешел границу и был задержан, — в реальности же все происходило куда драматичнее...

Операция ОГПУ против Савинкова под кодовым названием «Синдикат-2» была задумана еще в 1922 году. Цель — завлечь этого преступника из преступников на родину и обезвредить, а если удастся, то и превратить в свое орудие. По чекистской легенде, Дзержинский доложил о хитроумном замысле Ленину, который его одобрил, добавив только, что это такая крупная игра, проиграть которую непозволительно.

Мозговым центром операции был заместитель Дзержинского Вячеслав Рудольфович Менжинский, конкретным же воплощением ее в жизнь руководил начальник Контрразведывательного отдела ОГПУ Артур Христианович Артузов (Фраучи), на нее неустанно, в поте лица работали лучшие сотрудники контрразведки. Для вовлечения Савинкова в игру чекистам даже пришлось создать целую фиктивную антибольшевистскую организацию «Либеральные демократы» со своей программой, фракциями и разветвленной сетью — и заставить в нее поверить: поставить множество правдоподобных инсценировок, сфабриковать кучу подложных писем и документов, в том числе и «секретных» — о деятельности Красной Армии и Коминтерна... В деле были использованы и те агенты самого Савинкова, которые засылались им в Россию и попали в руки чекистов, — адъютант его Леонид Шешеня и начальник комитета НСЗРС в Вильно Иван Фомичев.

Специальный посланец мифических «Либеральных демократов» Андрей Павлович Мухин (чекист А. П. Федоров — ему отводилась в операции центральная, самая сложная роль) совершил несколько пропагандистски-разведывательных вылазок за границу и, добравшись до Парижа, куда к тому времени переместился Савинков, принялся убеждать его, что антисоветскому подполью в России не хватает вождя и что таким вождем может быть только он, Савинков, — словом, армия готова, приди и веди к победе!

Великий конспиратор, конечно, поддался не сразу: для начала послал вместо себя свою «правую руку» — отчаянно смелого, жестокого, не раз проверенного в боях полковника Сергея Павловского. Был схвачен и Павловский. На первых порах отпирался, менял тактику, пытался даже бежать с Лубянки (откуда никто никогда не выходил по своей воле): вымывшись в бане, лихой полковник оглушил дежурного кирпичом. Но тут же был скручен и после этого сломался, стал работать на ОГПУ — забросал шефа завлекающими письмами.

Письма Павловского действовали, — Савинков дрогнул. В конце концов, рутинная жизнь в эмиграции, уже истомившая его, человека азарта и дела, упреки в бездеятельности толкали к решительному шагу. Ему казалось, что непосредственное участие в борьбе внутри России даст его организации второе дыхание, заставит западные правительства поддержать ее. Денежные субсидии от них уже иссякли, а новых не предвиделось. Последний из политических лидеров Европы, с которым встречался Савинков, — Муссолини. И как ни давал понять, что фашизм близок ему и психологически, и идейно, дуче денег не предложил, вручил только свою книгу с дарственной надписью.

«Живу в водосточной трубе и питаюсь мокрицами», — повторяет Савинков в письмах излюбленную фразу из Чехова. А в дневнике записывает: «Не забыть — неукоснительно, каждое утро — 5 стр. из Достоевского, час на прав-

ку рукописи, чистить ногти (1 раз в 3 дня подстригать)...» Страсть к порядку, конечно, похвальная вещь, но разве это про того человека, жизнь которого всегда вертелась, как вестерн, боевик о боевике?

Пока Савинков томится, основательно запутанный и опутанный чекистами, которые на длинном поводке начинают постепенно тянуть его к себе, здесь, на Лубянке, уже знают о нем если не все, то гораздо больше, чем он может предполагать.

Из показаний арестованных Сергея Павловского и начальника террористического отдела НСЗРС М. К. Гнилорыбова известно до мельчайших подробностей: и диктаторство Савинкова в организации, и то, что он занимается продажей информации, получаемой от своих агентов, западным правительствам и разведкам, и что штаб его находится в Париже, где проживают и ближайшие помощники — личный секретарь Любовь Ефимовна и ее муж Александр Аркадьевич Дикгоф-Деренталь.

Павловский расписывает место и времяпровождение своего шефа по минутам. Вот он встает в восемь часов утра в своей квартире на тихой улочке де Любек и отправляется в парикмахерскую, бриться, — «улица за углом, на левой стороне». На голове котелок или соломенная шляпа, костюм темно-серого цвета, пальто — тоже серое, однобортное, в руках камышовая трость. Затем возвращается домой и завтракает — завтрак готовит экономка — в привычной компании: с ним, Павловским, и Любовью Ефимовной... Перед обедом — прогулка, минут на десять. Затем сам пишет корреспонденцию или «роман из современной войны, который скоро должен быть закончен». В 5 — 6 часов — обед, без определенного места. По вечерам, часов в девять, иногда уходит в гости, все к тем же супругам Деренталь, откуда возвращается домой к полуночи...

Павловский словно дразнит ОГПУ — вот она, мишень, такая отчетливая, яркая, — достаньте, если сможете!..

В досье Савинкова есть сведения, проливающие свет на стратегию его «обольщения» чекистами в Париже, — сведения, которые при публикации материалов дела в советской печати старательно вымарывались и до сих пор не были известны. Прежде всего — из показаний самого Савинкова на допросе 21 августа 1924 года. Борис Викторович утверждает, что в последнее время он уже усомнился в правоте своей борьбы и даже склонен был заявить о прекращении ее...

«Заявления я не сделал. Я не сделал его потому, что ко мне из России приехали люди, посланные ГПУ. Эти люди сказали мне, что, конечно, возлагать надежду на нас, «старорежимных антикоммунистов», нельзя, но что в России народилось новое поколение и что оно во имя русского народа борется с коммунистами.

Это была неправда, но я этого, конечно, не знал. И я сказал себе: «Если это так, если действительно в России нашлись такие революционные силы, то, может быть, я не прав, и, может быть, русский народ не с РКП». И я решил ехать в Россию.

Да, я подозревал, что со мной играют. Да, я считал, что у меня есть 80 процентов на арест, но моя революционная совесть не позволяла мне оставаться в Париже. Я должен был все равно какой ценой решить для себя вопрос: ошибся ли я, начиная борьбу против РКП, или нет?.. Я ехал... с тем, чтобы увидеть все своими глазами и услышать своими ушами и, увидев и услышав, решить, что делать, бороться ли дальше или сложить оружие. Если бы посланные ко мне люди сказали бы, что народ с РКП, я бы еще в Париже заявил, что прекращаю борьбу...»

О том же Савинков будет говорить и на суде (в опубликованной якобы «полной» стенограмме суда это место изъято):

«Вот тут-то как раз приехали ко мне из России... приехали и ввели меня в очень глубокое и очень тяжелое заблуждение. Это глубокое и тяжелое заблуждение было уже окончательно для меня ударом. Они мне сказали... что в России происходит очень значительный процесс, такой: те молодые люди, которым в момент революции было шестнадцать — семнадцать лет и которые теперь становятся уже более или менее взрослыми людьми... восприняли очень многое от коммунистов, но не все... Они говорили новые для меня вещи. Я же был в эмиграции... И что эти вот новые люди борются с вами, и что вот это и

есть настоящая борьба, потому что она не из-за границы и не с помощью иностранцев, а потому что она идет из глубин России, это русские люди, и русские люди из народа борются с вами.

Я должен сказать, что я мало поверил в глубине души этим людям. Мало. Я должен вам сказать, что много и много сомнений они во мне возбудили, разных сомнений, но я без внимания оставить то, что они говорили, не мог.

Вот пять лет моей борьбы, моего боя с вами. Я стоял на пороге полного отказа от этого боя. Приходят новые люди и говорят: мы новые люди, и вы были правы, ведя этот бой, он кончился неудачей для вас, да, но мы продолжали и продолжим по иному пути, чем вы... И я стал думать о том, что я должен во что бы то ни стало поехать в Россию... и проверить — насколько эти люди, очень толковые, но очень мне подозрительные, насколько они правы...»

В признаниях Бориса Викторовича есть, конечно, изрядная доля лукавства: разоружаться в Париже он вовсе не собирался. Был случай, когда его пригласил к себе советский полномочный представитель Красин и предложил явиться на родину с повинной. Савинков гордо удалился, дав понять, что ни на какие сделки не пойдет, чем вызвал шумное одобрение эмиграции. Да и вряд ли теперь он, будучи на 80 процентов уверен в обмане, пошел бы так легко на заклятие. Все это надумано уже потом, на Лубянке, под гнетом новых обстоятельств. Но в фактической стороне дела, в решающем влиянии гостей из Москвы, — в этом сомневаться не приходится. Именно так: был на распутье, а они — ввели в заблуждение, увлекли, заманили, подтолкнули...

Операция «Синдикат-2» близится к завершению. 4 августа 1924 года, почти уверенные в успехе, руководящие работники Контрразведывательного отдела ОГПУ Пузицкий и Сосновский (Добржинский) подписывают «постановление о мере пресечения», то есть постановление на арест Савинкова.

А сам объект их внимания — уже в дорожных заботах. Под присмотром приехавшего за ним из Москвы представителя «Либеральных демократов» Андрея Павловича Мухина пишет последние распоряжения, передает свой архив вызванной из Праги сестре Вере и укладывает чемодан.

Его неразлучные друзья и помощники Любовь Ефимовна и Александр Аркадьевич Деренталь тоже собираются в путь.

Только ли общая борьба связывала эту троицу?

Они познакомились еще до революции, в Париже. Вместе вернулись в Россию в 1917-м, а через год дом Деренталей стал конспиративным убежищем Савинкова. И дальше их пути уже не расходились, куда Борис Викторович — туда и они. Восстания в Верхнем Поволжье, бои в Казани, колчаковская Сибирь, Париж, Варшава, Мозырский поход, снова Париж — всюду вместе. Дружба, проверенная временем, лишениями и опасностями войны.

Александр Аркадьевич, хотя ему было далеко до славы Савинкова, тоже имел революционное прошлое: будучи членом партии эсеров, он участвовал в убийстве царского провокатора, священника Гапона — и тоже проявил себя как литератор и журналист, хотя не так ярко, как его друг. В их отношениях он как-то естественно занял второе, скромное место — за лидером. Тем не менее это был очень эрудированный человек, знавший несколько языков, хорошо ориентировавшийся в хитросплетениях мировой политики, — недаром Савинков называл его «моим министром иностранных дел».

У Любви Ефимовны главными достоинствами были красота и молодость, достоинства для женщины и сами по себе достаточные. Тем более если учесть, что она умела ими пользоваться. Ее отец, присяжный поверенный из Одессы Броуд, проиграл когда-то казенные деньги в Монте-Карло и вынужден был стать эмигрантом, осел в Париже, занялся журналистикой. Так его дочь стала парижанкой. В 1914 году она вышла замуж за Деренталья, но не увязла в быту и в пристрастии к шляпкам — занималась балетом, пыталась сниматься в кино, зарабатывала переводами. Вероятно, и теперь в Париже, после долгих скитаний, она — способная, сообразительная, умеющая расположить к себе и очаровать — стала неплохой помощницей суровому рыцарю долга Савинкову, не говоря уж о том, что скрасила своей женственностью его холостяцкое житье. К тому времени Борис Викторович успел дважды жениться, был отцом троих детей, но семейная жизнь не сложилась, и еще раз обременять себя брачными узами он не хотел: теперешнее положение его вполне устраивало.

Зинаида Гиппиус, питавшая к нему нескрываемую симпатию и опекавшая его как писателя, ревниво отмечала в Любви Деренталь как раз чисто женское: розовый пеньюар и обилие цветов в доме, запах духов... «Типичная парижанка, преданная мне до могилы», — исчерпывающе определил свою секретаршу в разговоре с Гиппиус сам Савинков.

Интимная жизнь — не тема для исторической хроники, но тут случай особый. Слишком уж важны для последующих событий личные отношения Деренталей и Савинкова, чтобы обойти их молчанием.

Все говорит о том, что перед нами не просто три человека, а любовный треугольник. Об этом свидетельствуют и современники наших героев, и, вслед за ними, исследователи их жизни, это же подтверждают найденные теперь материалы. Причем стиль отношений между Савинковым и Деренталами, баланс внимания и чувств убеждают: треугольник этот не драматический, с острыми углами, а сглаженный неким примирением, взаимным согласием.

Как разомкнулся он, мы узнаем дальше. Пока же рок событий неудержимо несет его к советской границе. В сопровождении двух спутников — Андрея Павловича и Ивана Фомичева, савинковца из Вильно, уже затянутого в провокационную игру ОГПУ.

Поезд Париж — Варшава. В польской столице остановка лишь на день, под чужими именами. Прощальный ужин с соратниками — 12 августа. Один из них — пронцательный и едкий писатель Михаил Арцыбашев — говорит Савинкову про Андрея Павловича:

— Что-то ваш провожатый смахивает на Иуду...

— Я старая подпольная крыса, — парирует Савинков. — Я прощупал его со всех сторон. Это просто новый тип, народившийся при большевиках и вам еще не знакомый...

Тот же Арцыбашев оставил кроме этого свидетельства еще и описание внешности своего визави и его спутников, описание выпуклое, хотя, может быть, и чересчур злое:

«Бледная маска со странным разрезом глаз и лысым черепом... Невысокий, худощавый, с бритым лицом не то актера, не то иезуита... Это Савинков... Длительное пожатие небольшой, но твердой руки... Улыбка оживляет его лицо: оно становится нежным, тонким и привлекательным...» «Тоненький, белокурый Деренталь — тип офранцузившегося русского бульвардье — рассказывал анекдоты...» И «только высокая, черная и худая, хотя небогато, но с парижским шиком одетая мадам Деренталь сидела молча, поставив на стол острые локти тонких рук, увешанных слишком большими и слишком многочисленными браслетами. Она, казалось, внимательно и осторожно следила своими мрачными, черными еврейскими глазами за всеми нами, но преимущественно — за самим Савинковым. Можно было подумать, что она боится какой-нибудь неосторожности с его стороны...».

На вопрос Арцыбашева, не страшно ли ей, женщине, ехать в Россию, Любовь Ефимовна небрежно бросила:

— Я привыкла ко всему!

Ужин не затянулся — ждал поезд. Несколько напутственных фраз. «Савинков галантно приподнял свой парижский котелок, зашелестело шелковое манто, как-то незаметно скользнул белокурый Деренталь... а затем все исчезло».

Впереди — граница. С властями Польши переход согласован заранее.

Возвращение Савинкова в Россию было тщательно спланировано и подготовлено, назвать его добровольным можно лишь условно: через границу его вели за руку чекисты, хотя сам он об этом только подозревал. Подозревал, но верил в свою звезду, в то, что ему, как всегда, повезет.

Ловушка расставлена — надо только, чтобы ничто не спугнуло зверя.

Западня

Что произошло дальше, мы узнаем из уникального документа, сохранившегося в архиве Лубянки, — дневника, который вела Любовь Деренталь. Собственно, это даже не дневник, а воспоминания, написанные по свежим следам событий. И поскольку содержание их представляет ценность как для этой ис-

тории, так и для истории вообще, приведем их здесь возможно полнее, следуя вместе с героями шаг за шагом по их тернистому пути:

«15 августа. На крестьянской телеге сложены чемоданы. Мы идем за ней следом. Ноги наши вымочены росой. Александр Аркадьевич двигается с трудом — он болен.

Сияет луна. Она сияет так ярко, что можно подумать, что это день, а не ночь, если бы не полная тишина. Только скрипят колеса...

Холодно. Мы жадно пьем свежий воздух — воздух России. Россия в нескольких шагах от нас, впереди.

— Не разговаривайте и не курите!..

На опушке нас окликают:

— Стой!

Польский дозор. Он отказывается нас пропустить. Мы настаиваем. Люди в черных шинелях начинают, видимо, колебаться. Борис Викторович почти приказывает, и мы проходим.

Фомичев вынимает часы. Без пяти минут полночь. Чемоданы сняты с телеги. Возница, русский, плохо соображает, в чем дело. Но он взволнован и желает нам счастья. Теперь мы в мокрых кустах. Перед нами залитая лунным светом поляна. Фомичев говорит:

— Сначала я перейду один. Андрей Павлович ждет меня на той стороне.

Он уходит. Он четко вырисовывается на белой поляне. Вот он ее пересек и скрылся. Через минуту вырастают две тени. Они идут прямо на нас.

— Андрей Павлович?.. — спрашивает Борис Викторович, близоруко вглядываясь вперед.

Двенадцать часов назад Андрей Павлович в Вильно расстался с нами. Он поехал проверить связь с Иваном Петровичем, красным командиром и членом нашей организации.

Мы берем в руки по чемодану и гуськом отправляемся в путь.

Из лесу выходит человек. Это Иван Петрович. Звенят шпоры, он отдает по-военному честь. Сзади кланяется кто-то еще.

— Друг Сергея, Новицкий, — представляет Андрей Павлович. — Он проводит нас до Москвы.

Мы выехали в Россию по настоянию Сергея Павловского. Он должен был приехать за нами в Париж. Но он был ранен при нападении на большевистский поезд и вместо себя прислал Андрея Павловича и Фомичева...

Я смотрю на Новицкого. Он похож на офицера. На молодом, почти безусом лице длинная клинышком борода [ярко-красного цвета]... (в квадратных скобках даны вычеркнутые в рукописи слова. — *В. Ш.*)».

Вот они — один за другим — начинают обступать Савинкова, окружают его плотным кольцом, чтобы конвоировать дальше. Иван Петрович — это Ян Петрович Крикман, сотрудник Минского ГПУ, который отвечал в операции за «окно» на границе. Роль Новицкого играет помощник начальника контрразведки ОГПУ Сергей Васильевич Пузицкий, подписавший постановление на арест Савинкова.

«Мы идем быстро, в полном молчании. За каждым кустом, может быть, прячется пограничник, из-за каждого дерева может щелкнуть винтовка. Вот налево зашевелилось что-то. Потом направо. И вдруг всюду — спереди, сзади и наверху — шумы, шорохи и тяжелое хлопанье крыльев. Звери и птицы...

Пролетела сова. Это третий предостерегающий знак: утром разбилось зеркало и сегодня пятница — дурной день.

Мы идем уже больше часа, но усталости нет. Мы идем то полями, то лесом. Граница вьется, и мы мало удаляемся от нее. Но вот в перелеске тарантас и подвода. Лошади крупные — «казенные», говорит Иван Петрович. Андрей Павлович и Новицкий достают шинели и полотняные шлемы. Шлемы по форме напоминают германские каски. Борис Викторович, Александр Аркадьевич и Андрей Павлович переодеваются. Их сразу становится трудно узнать. Я шучу:

— Борис Викторович, вы похожи на Вильгельма Второго...

Борис Викторович, Новицкий и я размещаемся на тарантасе. Андрей Павлович правит. Маленького роста, широкоплечий и плотный, с круглым, зарос-

шим щетиной лицом, в слишком длинной шинели, он имеет вид заправского кучера. Я смотрю на него и смеюсь.

До Минска нам предстоит сделать 35 верст.

Деревня. Лают собаки. Потом поля, перелески, опять поля, снова деревня. И опьяняющий воздух. А в голове одна мысль: поля — Россия, леса — Россия, деревни — тоже Россия. Мы счастливы — мы у себя.

Высоко над соснами вспыхнул красноватый огонь. Что это? Сигнал? Нет, это Марс. Но он сверкает, как никогда...

16 августа. На заре мы сделали привал в поле. В небе гаснут последние звезды. Фомичев объявляет со смехом:

— Буфет открыт, господа!

Он предлагает водки и колбасы. Мы браним его за то, что он забыл купить хлеба.

[Иван Петрович стоит в стороне. У него на губах насмешливая улыбка. Или это мне показалось?]

Лошади трогаются. Вот, наконец, и дома. Приехали. Минск. Борис Викторович и Александр Аркадьевич снимают шинели и шлемы [и отдают Ивану Петровичу свои револьверы]...»

Важный момент! На суде Савинков скажет об этом иначе: «Вы, может быть, подумаете, что я ехал с бомбой в кармане, а я ехал и револьвер свой, перейдя границу, бросил...» И дальше: «Я револьвер бросил на границе...»

Так бросил или отдал? Как все было на самом деле? Сегодня мы можем судить об этом лишь предположительно. В одной из промелькнувших в советской печати публикаций появилось еще одно свидетельство, взятое из каких-то неназванных конфиденциальных источников: будто бы при въезде в Минск между 6 и 7 часами утра Савинков резко изменился, замкнулся, стал более официальным и настороженным. Что случилось с Савинковым — почуял опасность или уже понял, что его ждет? Но так или иначе — разоружился...

«Мы останавливаемся у одного из домов на Советской. Здесь мы отдохнем и вечером уедем в Москву.

Поднимаясь по лестнице, я говорю:

— В этой квартире живет кто-нибудь из членов нашей организации?

— Да, — улыбаясь, отвечает Новицкий.

Мы звоним. Нам открывает высокий молодой человек в белой рубашке. У него бледное, очень суровое, хотя и с мелкими чертами лицо и холодные небольшие глаза. Я колеблюсь: такими за границей представляют себе комиссаров.

Молодой человек не в духе. Вероятно, он недоволен, что его разбудили так рано. Он идет доложить о нашем приходе. Кто он? Вестовой? Из передней мы проходим в столовую, большую комнату с выцветшими обоями. На столе остатки вчерашнего ужина. Мои товарищи направляются в кухню, чтобы почиститься и помыться.

Я чувствую смутное беспокойство. Я присаживаюсь к столу. Неожиданно открывается дверь. На пороге стоит человек огромного роста, почти великан. Он в военной форме, с приятным лицом. Он удивлен. Это, наверное, хозяин (по некоторым свидетельствам, хозяина квартиры изображал начальник ГПУ Белоруссии Медведь. — *В. Ш.*). Я встаю и подаю ему руку.

Приносят завтрак. Александр Аркадьевич не ест ничего. Он ложится в этой же комнате на диван. Я несколько раз прошу хозяина сесть вместе с нами за стол. Но он отказывается. Он говорит:

— Визита дамы не ожидал. Позвольте, я сам буду прислуживать вам.

Я спрашиваю Андрея Павловича, почему с нами нет Фомичева.

— Он в гостинице, с Шешеней. Он вечером придет на вокзал.

Бывший адъютант Бориса Викторовича Шешеня служит теперь в Красной Армии. Он приехал в Минск из Москвы встретить нас. Он уже взял билеты на поезд. Андрей Павлович показывает мне их. Потом он поднимает рюмку [водки] и говорит:

— За ваше здоровье... Мне нужно быть в городе. До свидания.

За столом остаемся мы трое: Борис Викторович, Новицкий и я. «Вестовой» приносит яичницу. Вдруг с силой распахивается двойная дверь из передней:

— Ни с места! Вы арестованы!

Входят [восемь или девять] несколько человек. Они направляют револьверы и карабины на нас. Впереди военный, похожий на корсиканского бандита: черная борода, сверкающие черные глаза и два огромных маузера в руках. Тут же в комнате «вестовой». Это он предал нас, мелькает у меня в голове, но в то же мгновение я в толпе узнаю... Ивана Петровича! Новицкий сидит с невозмутимым лицом. Со стороны кухни появляются [вооруженные] люди. Обе группы так неподвижны, что кажется, что они восковые.

Первые слова произносит Борис Викторович:

— Чисто сделано!.. Разрешите продолжать завтрак?

Красноармейцы с красными звездами на рукавах выстраиваются вдоль стен. Несколько человек садятся за стол. Один, небольшого роста, с русою бородой, в шлеме, располагается на диване рядом с Александром Аркадьевичем. Он хохочет. Он хохочет так сильно, что содрогается все его тело и колени поднимаются вверх.

— Да, чисто сделано... Чисто сделано, — повторяет он. — Не удивительно: работали над этим полтора года!..

— Как жалко, что я не успел побриться... — говорит Борис Викторович.

— Ничего. Вы побреетесь в Москве, Борис Викторович... — замечает человек в черной рубашке, с бритым и круглым спокойным лицом. У него уверенный голос и мягкие жесты.

— Вы знаете мое имя и отчество? — удивляется Борис Викторович.

— Помилуйте! Кто же не знает их? — любезно отвечает он и предлагает нам пива.

Человек с русой бородою переходит с дивана за стол.

Он садится от меня справа. У него умное и подвижное лицо.

Я говорю:

— Нас было пятеро. Теперь нас трое. Нет Андрея Павловича и Фомичева

— Понятно, — говорит Борис Викторович.

— Значит... все предали нас?

— Конечно.

— Не может этого быть!..

Человек с русой бородою поворачивается ко мне.

— Надо слушать, что старшие говорят.

Но я должна верить Пилляру. Он один из начальников ГПУ.

(Роман Александрович Пилляр — заместитель начальника отдела контрразведки ОГПУ. — *В. Ш.*)

...Все. Андрей Павлович... Фомичев... Шешеня. А Сергей?... Сергей, наверное, уже расстрелян...

— Им много заплатят? — вежливо осведомляется Александр Аркадьевич.

— Андрей Павлович никогда не работал против нас. Он убежденный коммунист. А другие... У других, у каждого есть грехи... Ну, получают прощение грехов...

Входит Новицкий и снова садится за стол.

— Вот один из ваших товарищей... — иронически замечает Пилляр, обращаясь ко мне.

— Да... И он даже обещал мне сбрить свою бороду...

— Он не сбрит ее, — говорит Пилляр [с раздражением]. «Друг Сергея» — Новицкий — не кто иной, как Пузицкий, его ближайший помощник.

— Кажется, вы недавно написали повесть «Конь Вороной»? А раньше «Конь Бледный»? — спрашивает Бориса Викторовича Пилляр.

— Целая конюшня. Не так ли?

— А теперь, — смеется Пилляр, — вы напишете еще одну повесть — «Конь Последний».

— Лично мне все равно. Но мне жалко... их...

Александр Аркадьевич протестует. Пилляр опускает глаза и говорит почти мягко:

— Не будем говорить об этом...

— Почему вы тотчас же арестовали нас, не дав нам возможности предварительно увидеть Москву? Мы были в ваших руках.

— Вы слишком опасные люди.

Нас обыскивают...

[Борис Викторович выходит из комнаты с завязанной головой. Это сделано для того, чтобы его не узнали на улице.

— Но это самое лучшее средство для того, чтобы обратить на него внимание, — говорит Александр Аркадьевич.

Как-никак, Борис Викторович — в роли современной «Железной Маски» — садится в один из автомобилей, ожидающих нас внизу...]

17 августа.

— Москва!

Пять часов утра. Мы выходим поодиночке. Около каждого из нас караул. Борис Викторович садится в закрытый автомобиль с опущенными занавесками на окнах. Александр Аркадьевич и я — в другой, открытый. Гудин (вероятно, Гендин С. Г., чекист, принимавший участие в операции. — *В. Ш.*), «хозяин дома» и несколько человек красноармейцев садятся с нами. Мы покинули Москву в 1918 году, мы возвращаемся прямо в тюрьму.

В поезде Гудин с гордостью сообщил, что мы делаем 65 верст в час. Теперь он обращает мое внимание на чистоту города.

Театральная площадь. Огромный портрет Ленина, сделанный из цветов. Потом какая-то улица. Потом здание.

— Это и есть знаменитая Лубянка... — говорит Александр Аркадьевич.

Лубянка. Тюрьма, из которой никто не выходит...»

Начинается тягостная процедура превращения свободного человека в узника, упаковка его в клетку. Бесконечные лестницы, коридоры и кабинеты Лубянки, которые все больше и больше отдаляют и отрешают от мира.

Впрочем, Савинкова и его спутников поначалу встречают с особым обхождением, любезно, как почетных гостей, даже заводят «светские разговоры» — не столько для того, чтобы сделать приятное, сколько от собственной гордости: вот, мол, какое у нас событие! Какая птичка залетела!

— А что, у вас пытаются? — не выдерживает Александр Аркадьевич.

Сопровождающий чекист смеется:

— Невероятно, что вы в 1924 году можете этому верить... Да, в первые годы был террор. Да, тогда изредка встречались садисты. Но они уже давно расстреляны все...

Для Савинкова даже устраивают вернисаж: показывают картины его младшего брата Виктора, художника, эмигранта, живущего теперь в Праге. Объясняют:

— Мы нашли эти картины при обыске. Они подписаны таким именем, что пришлось перенести их сюда...

На этом торжественная часть кончается. Начинаются тюремные будни.

Номер пятьдесят пятый

Любовь Ефимовну отделяют от остальных, уводят.

Обыск. Женщина с суровым лицом монотонно приказывает:

— Снимите шляпу... Снимите платье... Снимите кольца...

— И обручальное?

— Да.

Обыск уже был, в Минске. Но тогда его проводила девушка, казалось, очень смущенная своей миссией. Чтобы снять неловкость, Любовь Ефимовна что-то рассказывала ей о Париже и предложила в подарок маленькое ожерелье. Та отказалась, мягко, но категорически. Впрочем, дело свое она знала — двенадцать долларов, зашитых в складке платья, не остались незамеченными.

А эта запускает руку в волосы. Забирает вещи. Оставляет туфли, шелковые чулки и ночную рубашку, приняв ее, видно, за платье.

И молодая парижанка, в ночной рубашке и сползающих чулках (подвязки отобрали), идет дальше по коридору, за надзирателем, в камеру № 55.

Щелкает замок. Заперта.

А совсем рядом, может быть, в нескольких шагах, в камеру № 60 вводят Савинкова, который с этой минуты становится главным узником, гордостью Лубянки.

Любовь Ефимовна меряет шагами камеру. Довольно большая и высокая, но очень темная комната. На окне изнутри — решетка, а снаружи — спереди и с обеих сторон — железный щит. Свет проникает только сверху.

Койка из досок с соломенным тюфяком. Стол. Пол паркетный.

Каждую минуту открывается «иуда» — глазок, и в него вставляются глаза надзирателя.

Как ни странно, она спокойна. Она уверена: пощады не будет.

Кто прежде обитал здесь, до нее? Вспоминаются статьи о зверствах чекистов, которые она переводила в Париже. Очень хочется спать...

Электричество горит всю ночь, мешает заснуть. Она зовет надзирателя, просит выключить — в ответ только удивленный взгляд. Вдруг шум — в углу начинают скрестись мыши, а она их не выносит. В стену летит туфля — безрезультатно, мышиная возня не утихает. Хочется плакать...

Так проходит первый ее день в тюрьме. И еще один. И следующий.

Распорядок отшлифован до мелочей. Утром будят и вручают метлу — мети камеру. Ведут в уборную. Завтрак: чай, сахар, черный хлеб, папиросы. В середине дня обед: суп, лапша, чай. Вечером — снова суп и чай. Еще одно посещение уборной. В 10 часов — отбой, спать.

Кроме пайка, как знак особого отношения, дают еще булку, молоко и свежий номер «Правды». Жадно ищет она какое-нибудь сообщение об их аресте. Нет, глухо. Мир пока ничего о них не знает. «Может, хотят ликвидировать втихомолку?» — гадает Любовь Ефимовна.

Каждое маленькое нарушение одиночества кажется событием: шаги в коридоре, появление надзирателя, визит в уборную. Вчера на вопрос, нет ли у нее заявлений, она попросила дать ей вещи из ручного саквояжа. Выбрала: зеркальце, пудру и большой красный шелковый платок, подарок своей подруги, юной, очаровательной Пепиты — жены Сиднея Рейлли¹. Разрешили только платок. Теперь она кладет его в изголовье на жесткий тюфяк и вспоминает. Милая Пепита, как она плакала, как умоляла не ехать с Андреем Павловичем в Россию! Все повторяла: «Он коммунист! Коммунист!..»

Сегодня в камеру принесли две книги. Одна из них — «Сердца трех» Джека Лондона. С каким наслаждением бросилась читать! Вот где героини так героини — красивые, храбры, благородны! Не то что этот Андрей Павлович! Сердца трех... Их тоже сейчас трое здесь — Борис Викторович, муж и она, — трое, таких близких и таких недостижимых... Спать, спать...

Только заснула — будят:

— На допрос!

Такие здесь привычки — допрашивать ночью.

Пустые коридоры. За открытой настежь дверью ходит человек в белой блузе. Наверное, доктор, на случай, если допрос произведет слишком сильное впечатление...

Снова лестницы, коридоры. Лабиринт.

Надзиратель отворяет наконец дверь.

В большом полуосвещенном кабинете вокруг стола сидят три человека. Один из них — Пилляр. Указывает на кресло напротив себя, приглашает садиться.

«19 августа. ...Стоячая лампа с желтым абажуром освещает моих следователей. Из них старшему тридцать лет. На стене, в тени, портрет Ленина. Ленин читает «Правду».

— Мы вас не будем допрашивать. Мы хотим с вами побеседовать и ничего не запишем. Расскажите вашу биографию.

¹ Рейлли Сидней (Розенблюм; 1874 — 1925) — близкий друг Савинкова, знаменитый английский разведчик. Одновременно с операцией «Синдикат-2» чекисты вели еще одну игру — под названием «Трест», в результате которой Рейлли был завлечен в Россию и убит.

Я рассказываю.

— Значит, вы больше парижанка, чем русская?

— Да, я всегда жила во Франции и во Франции же училась — в одном из лицеев Парижа. Я была в России только однажды, в 1917 году, после революции.

— Вы говорите, что были членом «Союза защиты Родины и Свободы», а товарищи ваши отрицают это. Что же, значит, они говорят неправду? — строго перебивает Пилляр.

— Да, они хотят меня спасти. На их месте вы, вероятно, сделали бы то же...

Меня расспрашивают о Ярославском восстании и о нелегальной работе в Москве. Но я не чувствую никакого давления: никто не требует, чтобы я называла фамилии. [Называть их я отказалась сразу...]

— Вы говорите, что вы патриоты. Как же вы могли идти против России вместе с поляками? Сообщать полякам наши военные тайны и исполнять обязанности шпионов? Я не патриот, но этого я понять не могу, — говорит Пилляр с негодованием.

Я возражаю:

— Мы не шли против России. Мы шли против вас. Во время русско-японской войны многие русские революционеры радовались победам японцев. Они полагали, что поражения ослабляют царизм и подготавливают революцию. Так и мы. Борясь против коммунистов, мы боролись за родину и свободу.

— Аналогия довольно эффектна, но едва ли убедительна, — иронизирует Пилляр.

— Я не пытаюсь вас убедить и не хочу защищаться.

Он улыбается. Мне кажется, что высокопоставленный чекист смеется надо мной. Я начинаю сердиться. Я говорю:

— Ваша вечная улыбка меня смущает. Я бы предпочла, чтобы меня допрашивал кто-либо другой.

И я поворачиваюсь к моему соседу направо.

— Вы, например. На вашем лице не написано ничего.

Пилляр соглашается...

— Есть у вас жалобы?

— Нет. Наоборот. Признаюсь, я поражена той корректностью, которую я встретила здесь.

— Вы нас принимали за диких зверей?

— Почти. Я очень боялась пыток и хамства. Я даже хотела взять с собой яду, чтобы не отдаться живой в ваши руки. Я не успела вовремя его получить...

— Тем лучше. Было бы жалко...

Меня уводят...»

Номер шестидесятый

В этот же день допрашивали Савинкова, и тоже без протокола. О содержании «беседы» он скажет потом, в одном из черновиков его письма Дзержинскому:

«Я так поставил вопрос на первом же допросе с Менжинским, Артузовым и Пилляром: либо расстреливайте, либо дайте возможность работать; я был против вас всей душой, теперь я с вами, тоже всей душой, ибо жизнь меня привела к вам. Быть же ни за, ни против, то есть сидеть в тюрьме или стать обывателем, я не хочу и не могу».

Савинков пришел на эту встречу, основательно продумав свою позицию и взвесив все шансы, сделав выбор, пришел с готовым предложением. И получил вполне недвусмысленный ответ. «Мне сказали, что мне верят, что я вскоре буду помилован, что мне дадут возможность работать...»

Помилуют? Его, злейшего врага советской власти, боровшегося с нею с первого боя в октябре 1917-го — у Пулкова и до последнего в начале 1921-го — у Мозыря? Почему? На каких условиях? Об этом Савинков умалчивает. Но из дальнейшего его поведения и заявлений становится ясным, что он должен был сделать, чтобы спасти себе жизнь: публично покаяться, признать полное пора-

жение, неправоту и свою лично, и всей своей партии и, соответственно, — правоту и победу его вчерашних врагов, и больше того — призвать всех своих соратников внутри страны и за рубежом явиться с повинной...

Таковы условия сделки между Савинковым и его стражниками, теми, в чьих руках теперь была его жизнь.

Савинков принял эти условия не сразу. В деле хранятся его собственноручные показания от 21 августа, полные мучительных колебаний. Сделка, предложенная чекистами, принята только наполовину: он признает свою неправоту и поражение как поражение от врага. Но признать себя побежденным еще не значит признать советскую власть и тем более призывать других к этому. Часть этих показаний, которая не соответствовала уготованной Савинкову в политическом спектакле роли, была при их публикации утаена.

«Если за коммунистами большинство русских рабочих и крестьян, то я как русский должен подчиниться их воле, какая бы она ни была. Но я революционер, а это значит, что я не только признаю все средства борьбы вплоть до терактов, но и борюсь до конца, до той последней минуты, когда либо погибаю, либо совершенно убеждаюсь в своей ошибке...

Я не преступник, я — военнопленный. Я вел войну, и я побежден. Я имею мужество открыто это сказать. Я имею мужество открыто сказать, что моя упорная, длительная, ни на живот, а на смерть, всеми доступными мне средствами борьба не дала результатов... Судите меня как хотите...»

«Геройское, но бесполезное дело» — так называет он свою борьбу и подводит итог:

«...еще раз говорю: судите как хотите. А передо мной стоит все тот же страшный вопрос, не ошибся ли я, как и многие другие?..

Теперь отвечаю на вопросы. О себе готов сказать все, о других говорить не хочу, ибо никогда не обманывал никого...

Год рождения — 1879-й.

Происхождение — родился в Харькове. Отец был судьей в Варшаве, был выгнан со службы за революционный образ мыслей в 1905 г. Мать из Польши, урожденная Ярошенко, сестра художника. Русский...

Род занятий — революционер...

Имущественное положение — никакого имущества никогда не имел.

Образовательный ценз — был исключен из Петербургского университета за студенческие беспорядки в 1899 г.

Партийность и политические убеждения — член «Союза» (см. «Программу Союза»). Крестьянский демократ...»

На вопрос о террористической деятельности Савинков отчеканил:

— Как революционер всегда стоял за террор, но всегда агитацию за него считал ненужной. На террор нельзя звать, можно только на него идти.

О жизни в эмиграции еще короче и резче:

— Всегда в стороне от всех, а последнее время буквально в щели...

Савинков и раньше не сомневался, что, если попадет в руки чекистов, — его расстреляют. А теперь даже спросил Пилляра:

— По суду или без суда?

Тот ответил:

— Этот вопрос еще не решен.

Номер пятьдесят пятый

«22 августа.

... — На допрос!

Может быть, я что-нибудь, наконец, узнаю!

...Меня вводят в большой кабинет. За столом сидит человек — тот самый, который по моей просьбе заменил во вторник Пилляра. Его зовут Иваненко. (Вероятно — Николай Иванович Демиденко, оперуполномоченный, принимавший участие в следствии. — В. Ш.)... В открытое окно сияет весело солнце, и видна часть Москвы. Это очень приятно после темной камеры со щитом.

Мой следователь крепкого телосложения. Он украинец. У него черные, живые глаза. Перед ним моя сумочка. Ее у меня отобрали при входе в тюрьму.

— Вы парижанка. Вы не можете обойтись без пудры. Я буду читать газету... и ничего не увижу... В вашей сумочке есть все, что вам нужно...

Я не верю своим ушам. Я открываю сумочку и достаю зеркальце. Я шесть дней не видела своего лица. Оно мне кажется странным — более молодым, потому что без косметики. Как можно так похудеть в такое короткое время!..

Несмотря на «сумочку», Иваненко допрашивает меня с соблюдением всех правил. Он записывает мои ответы.

— Какова ваша роль в Москве, в 1918 году, в тайной организации? В Рыбинске, во время восстания? В Париже в 1919 и 1920 годах, в бюро антикоммунистической пропаганды «Унион»? В Варшаве в 1920-м, в Русском политическом Комитете? На фронте, во время Мозырского похода?

Я говорю о себе правду, но не называю ничьих фамилий...

Иваненко берет телефонную трубку:

— Уведите номер пятьдесят пять».

Номер шестидесятый

Только в этот день, 22 августа, когда ОГПУ уже разработало план дальнейших действий, было заведено следственное дело на Савинкова. И в тот же день Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР — высшего государственного органа страны — на своем заседании поддержал решение чекистов: передал дело на рассмотрение в Военную коллегия Верховного суда. Без постановлений о привлечении Савинкова в качестве обвиняемого и об окончании следствия, без обвинительного заключения — эти документы начальник 6-го отделения Контрразведывательного отдела Игнатий Сосновский подпишет только на следующий день!

ОГПУ установило своеобразный рекорд: одним махом начало следствие закончило его и передало дело в суд. Савинков в один день превратился из арестованного в подследственного и из подследственного в подсудимого. С законностью здесь не церемонились. Зачем она, если есть высшая революционная целесообразность? В борьбе все дозволено. Совсем по Савинкову!

Работа закипела. Был конец недели, но и в воскресенье на Лубянке лихорадочно трудились — готовились к процессу. Еще бы, ведь за ним будет следить весь мир. То-то гром грянет. Крупнейшее политическое событие! Суд истории!

Спешно писались, переписывались и подписывались документы, шли согласования, намечался сценарий суда, подбирались охрана. Раскалялись телефоны, носились курьеры, окна высоких кабинетов над Лубянской площадью светились до утра. Заседала и Военная коллегия Верховсуда, под председательством Василия Ульриха, — было решено открыть процесс в среду, 27 августа, в центре Москвы, в одном из судебных зданий на Гоголевском бульваре, и проводить «без участия сторон, ввиду ясности дела».

Предписывалось действовать в режиме величайшей секретности: до суда — никакой утечки информации!

В субботу, в половине двенадцатого ночи, Сосновский вызвал к себе главного виновника происшествия и вручил ему копию обвинительного заключения. В нем было десять обвинительных пунктов — и каждый предполагал расстрел!

Свидание

Звон колоколов разбудил Любовь Ефимовну. Воскресенье. В этот день, 24 августа, Иваненко опять допрашивал ее.

«— Продолжим. Где вы жили в Москве в 1918 году?

Я молчу.

— Вы вправе не отвечать. Но этот адрес имеет только исторический интерес: ваша квартира служила штабом «Союза защиты Родины и Свободы».

Кого я могу скомпрометировать? Камни? Я говорю:

— Гагаринский переулок, 23.

— Где жил Борис Викторович?

— Не знаю.

— В таком случае, как он держал связь с Александром Аркадьевичем?

— Через одного офицера.

— Кто был этот офицер?

— Я не желаю отвечать.

Иваненко смеется.

— Любовь Ефимовна, вы не хотите назвать даже Флегонта Клепикова, знаменитого Флегонта, который отказался подать руку министру-председателю Керенскому и который всюду, как тень, сопровождал Бориса Викторовича. Но ведь это уже история.

— А если вы к Флегонту пошлете другого Андрея Павловича?

Иваненко смеется еще громче.

— Теперь, когда Борис Викторович в наших руках, никто из его организации нас больше не интересуется. С савинковцами покончено... Кстати, Андрей Павлович хотел бы поговорить с вами...

— Я не хочу видеть этого господина.

— В таком случае, я не настаиваю.

Входит Пузицкий.

— Борис Викторович попросил свидания с вами. Свидание состоится в два часа, в моем кабинете...

Я определяю время приблизительно, — по медному чайнику. Вода сохраняет свою теплоту в продолжение трех часов. Она уже холодна. Час, назначенный для свидания, наверное, уже пришел. Я хожу из угла в угол, хожу без конца.

— На допрос.

Опять бесконечные коридоры. А надзиратель, который идет впереди меня, не торопится и волочит ноги.

В комнате несколько человек. Я с трудом узнаю того, который поднимается мне навстречу. В казенном, смятом, слишком широком костюме, без воротника, без пуговиц на рубашке...

Я жму ему руку. Я смотрю на его лицо. Оно похудело. Но нет ни подергиваний, ни тика. Оно дышит полным спокойствием. Раньше, чем Борис Викторович заговорил, я уже поняла все.

— У вас довольно мужества?

Я шепчу:

— Да.

— Военная коллегия судит меня через день или два. Вас и Александра Аркадьевича будут судить отдельно. Я счастлив: меня заверили, — он оборачивается к кому-то, — что ни вам, ни ему не грозит смертная казнь.

Я закрываю лицо руками.

— Но вы же сказали, что у вас достаточно мужества...

Мужество у меня было. В камере, когда я думала, что нас, всех троих, ожидает одинаковая судьба. Но это неравенство неожиданно лишило меня его.

В Париже Вера Викторовна, Рейлли и его жена, провожая нас, тревожились больше, чем мы. Теперь мне надо пережить смерть Бориса Викторовича...

— Успокойтесь... — говорит Борис Викторович, почти сердито.

— Любовь Ефимовна, выпейте пива. Пиво лучше, чем валериановые капли, — советует Елагин. («Елагиным» в дневнике назван чекист, «человек в черной рубашке», который участвовал в аресте Савинкова и его спутников в Минске. — В. Ш.)

Мы сидим за столом. Я с трудом овладеваю собой.

— Вы очень похудели, — говорит Борис Викторович. — Вы должны быть довольны. В Париже для того, чтобы похудеть, вы делали бог знает что...

Он шутит. Я знаю, что он хочет, чтобы я была на высоте положения, — чтобы я не заплакала.

— Очень тяжело в тюрьме? — спрашивает он меня. — Щит? Одиночество?

— Нет, не очень.

— Тем лучше. Ведь вам, вероятно, долго придется сидеть... И у вас никого нет в России. Ни родных, ни друзей. Я не могу себе простить, что я согласился на ваши просьбы, что я позволил вам обоим ехать со мной... Любви Ефимовне и Александру Аркадьевичу будет разрешено писать, когда меня больше не будет? — спрашивает он, обращаясь к Елагину и Пузицкому.

— Конечно.

Мы беседуем. Минутами я перестаю понимать, о чем говорим, и слезы мешают мне видеть. Тогда Борис Викторович смотрит на меня строго.

Он говорит о своем сыне, маленьком Льве.

— Я взял с собой одну фотографическую карточку — моего сына. Но у меня ее отобрали.

Пузицкий встает и уходит в соседнюю комнату. Он приносит фотографическую карточку:

— Вот она, Борис Викторович.

Борис Викторович доволен. Он показывает Елагину маленького мальчика с голыми ногами. Мальчик стоит у стога сена. А я думаю: «Тому, кто должен умереть, не отказывают ни в чем, даже в Совдепии».

— Мне не разрешают свидания с Александром Аркадьевичем, потому что его еще не начинали допрашивать... Но, может быть, эти последние два дня мне разрешат видаться с Любовью Ефимовной возможно чаще? Например, сегодня вечером, после допроса?

К моему удивлению, Пузицкий кивает головой в знак согласия. Допрос должен начаться в девять часов и, значит, окончится не раньше одиннадцати.

Свидание окончено. Меня уводят. Борис Викторович целует мне руку. Он так спокоен, что мне хочется громко кричать.

Я выхожу из комнаты, я прохожу через другую, ноги мои подкашиваются, и я хватаюсь за ручку двери. Я не падаю, потому что меня подхватывают чьи-то сильные руки. Надзиратели почти относят меня в мою камеру. Мне дают воды.

Сколько времени я лежу без чувств — я не знаю. Надзиратель входит с ужином и ворчит:

— Надо есть.

Как много доброты умеют вкладывать простые русские люди в слова и в жесты... Я спрашиваю себя: а если этот так называемый допрос не что иное, как суд над Борисом Викторовичем? Быть может, Борис Викторович хотел избавить меня от напрасного ожидания?

Уже, наверное, очень поздно. Никто не пришел за мной. У меня нет сил. Я ложусь. И сейчас же — кошмар.

Четырехугольный двор, высокие стены. Лестница. На лестнице человек в смятом, слишком широком костюме, без воротника, без пуговиц на рубашке, — Борис Викторович...

— Он бежит из тюрьмы!

Я вижу: двор наполняется солдатами и людьми в черных костюмах. Их видит и Борис Викторович...

Меня разбудили два выстрела.

Я вскакиваю. Я схожу с ума. Я не знаю, где кончается сон и где начинается явь. А если действительно его судили сегодня? Сколько раз я читала, что «они» не расстреливают, а убивают сзади, из револьвера!»

Ультиматум

Наступил понедельник, 25 августа.

В этот день произошла встреча Савинкова с Дзержинским и Менжинским, встреча, определившая его судьбу. О содержании их разговора история умалчивает, однако сейчас можно кое-что о ней сказать — на основании обнаруженных в деле материалов.

Железный Феликс говорил со своим узником сурово, подчеркивая величайшую, неизмеримую степень его вины. Савинков потом расскажет Любви Ефимовне: «Дзержинский мне сказал, что сто тысяч рабочих без всякого давления с чьей-либо стороны придут и потребуют моей казни, — казни «врага народа!» Это, несомненно, потрясло Савинкова.

На обвинение в том, что Савинков пользовался в борьбе помощью иностранцев, тот скажет:

— Да, мы пользовались помощью иностранцев. Нам казалось, что все способы хороши, чтобы свергнуть тех, кто во время войны захватил власть, не брезгуя золотом неприятеля...

Савинков имел в виду немецкое золото.

— Это клевета! — резко ответил Дзержинский. — Большевики не получали германских денег! Мы начали Октябрьскую революцию почти с пустыми карманами. Истощенные блокадой, нуждались во всем — и все-таки сломили белых! Мы победили их, потому что русский народ был с нами. А кто был с вами? Иностранцы...

Как мы теперь знаем, деньги от Германии для своей революции большевики получали, и в больших количествах, так что Дзержинский здесь просто наводил тень на плетень.

И, наконец, третий, самый важный момент встречи — о нем Савинков позднее напомнит Дзержинскому в своем письменном послании:

«Я помню наш разговор в августе месяце. Вы были правы: недостаточно разочароваться в белых или зеленых, надо еще понять и оценить красных...»

Это было прямое требование, ультиматум: нам нужно, чтобы вы не только признали свое поражение и отказались от борьбы, разоружились, нам надо, чтобы вы встали на нашу сторону, признали нашу правоту и публично заявили об этом всему миру. А это, естественно, будет призывом ко всем врагам нашей власти, которые стоят за вами, разоружиться и прийти с повинной — то есть нашей двойной победой.

За этим условием читается и другое: только тогда и вы можете рассчитывать на какой-нибудь шанс для себя...

Под взглядом «иуды»

«25 августа. Бессонная ночь, потом заря, потом утро, потом уборная, потом надзиратель с чаем. Я лихорадочно ожидаю «Правду». Обыкновенно ее приносят вместе с обедом...»

«Правду» не принесли.

— Сегодня ничего не передавали, — бурчит надзиратель на вопрошающий взгляд Любви Ефимовны.

«Они не хотят, чтобы я знала. Значит, ночью Бориса Викторовича...»

Я не схожу с койки весь день. Ежеминутно приоткрывается «глазок». Я слышу в коридоре шепот, шаги...

Вечером кто-то входит:

— Идите за мной.

Без мысли, как автомат, я иду вслед за кем-то.

Отворяется дверь, и предо мной стоит Борис Викторович...»

Итак, ее приводят в камеру Савинкова. Еще один дар лубяных богов — «тому, кто должен умереть, не отказывают ни в чем»... Они одни. Но не наедине — из «иуды», дверного глазка, на них уставлен глаз надзирателя!

«В моих первых словах нет смысла:

— Вы живы?

— ?

— Вас не судили вчера?

— Нет. Только допрашивали.

— Я слышала два выстрела ночью, и утром мне не принесли «Правду». Я подумала...

— Выстрелы были довольно далеко. Я их тоже слышал. Что же касается газеты, то она по понедельникам не выходит.

Мы одни, но я не смею говорить. Разоблачения парижской «Русской газеты» о приемах Чека еще свежи в моей памяти. А что, если автоматический аппарат будет записывать наш разговор?

— Басни, — говорит Борис Викторович.

Мы говорим о девяти днях, которые только что пережили, — об аресте, об Андрее Павловиче, обо всем:

— Вы знаете, я рад вас видеть, но...

— Но что?

— Пилляр мне обещал дать свидание с вами наедине перед расстрелом.

Радость видеть Бориса Викторовича исчезает. Я молчу.

— А Александр Аркадьевич?.. Ведь он ничего не знает... Когда вас судят?

— Позавчера Тарновский (Сосновский. — *В. Ш.*), очень молодой человек с большими голубыми глазами, кстати сказать, прекрасно воспитанный, вручил мне обвинительное заключение.

— И?

— Обвинительное заключение требует моей казни не один, а десять раз.

Молчание. Потом Борис Викторович говорит:

— Знаете ли вы что-нибудь о Сергее? У меня не хватило духу спросить про него Пилляра. Мне так же страшно было бы узнать, что он нас предал, как то, что он расстрелян.

— Это он написал письмо. И он на свободе.

Борис Викторович только что говорил о своей смерти, как будто речь шла о постороннем человеке. Но это известие о Сергее потрясает его.

— Я все предвидел. Я не предвидел одного — что организация, которая была моей последней надеждой, существовала только в воображении чекистов и что Сергей мог нас предать.

(Любовь Ефимовна говорит об освобождении полковника Сергея Павловского со слов Пилляра. На самом деле Павловского в это время уже не было в живых. По официальным данным, он был убит при попытке к бегству в июле 1924 года, но скорее всего просто «ликвидирован», когда надобность в нем отпала. — *В. Ш.*)

Борис Викторович ходит по камере:

— Вы не понимаете... Когда восемнадцать лет назад я ждал, как сегодня, смерти, в царской тюрьме, я был спокоен. Я чувствовал, что вся Россия со мной. Если я мог бежать из Севастопольской крепости, то единственно потому, что простые люди, солдаты, мне помогли... Горский, бывший начальник Минской Чека, дал мне прочитать показания наших агентов в Белоруссии. Сожженные деревни, расстрелянные крестьяне, звезды, вырезанные на теле у коммунистов... Это превосходит все, что можно вообразить... И подумайте. Ведь до сих пор отряды, прикрывающиеся моим именем, действуют в белорусских лесах!

Борис Викторович не столько разговаривает со мной, сколько думает вслух.

— Еще в 1923 году я отдал себе отчет в поражении не только белых, но и зеленых. Это отразилось на «Коне Вороном». Но Андрей Павлович и Фомичев приехали из Москвы. Они рассказывали о «новых» людях, которые ведут борьбу против коммунистов. Я знал, что монархисты побеждены, что кадеты побеждены, что социалисты-революционеры побеждены и что мы побеждены тоже. Но как я мог прекратить борьбу, зная, что в самой России, не за границей, а в России русские люди, демократы, продолжают бороться и что они надеются на меня, — на мою помощь и руководство?.. А в Минске мне в одну минуту стало ясно, что вся эта организация не что иное, как умная ложь, ловушка, расставленная чекистами для меня! «Новые» люди не борются против коммунистов. Они с ними. Даже Сергей...

26 августа. Я спрашиваю:

— Нет никакой надежды?

Борис Викторович улыбается:

— Мне сорок пять лет. Какое имеет значение, десять лет больше или меньше?..

Он говорит о людях, встреченных нами, о чекистах.

— Они имеют вид честных и фанатически убежденных людей. И ведь каждый из них не раз рисковал своей жизнью... Пилляр... он из помещичьей семьи, и у него два брата убиты красными в начале террора. (Пилляр происходил из рода прибалтийских немецких баронов, настоящая его фамилия — Пилляр фон Пилау. — *В. Ш.*) Когда поляки взяли его в плен во время польской войны, он выстрелил себе в сердце и не умер только случайно... Пузицкий... он бывший офицер. В Октябре он встал на сторону коммунистов и сражался вместе с ними на баррикадах... Гудин... он сын врача и с шестнадцати лет в боях, — сначала в Москве, потом против Деникина и Врангеля... В таком же роде и остальные... Они плохо одеты, жалованье получают маленькое

и работают по двенадцать часов в сутки. Вместо отдыха, в воскресенье, они уезжают в деревню для пропаганды. А эмиграция представляет их себе как злодеев, купающихся в золоте и крови, как уголовных преступников!..

Начальники? Жизнь Дзержинского и Менжинского достаточно известна. Они старые революционеры и при царе были в каторге, в тюрьме, в ссылке. Я их видел вчера. Менжинского я знаю по Петрограду. Мы вместе учились в университете. Он умный человек. Что же касается Дзержинского, он сделал на меня впечатление большой силы...»

Поразительно, что Савинков успел уже столько узнать о чекистах! Откуда? Стало быть, встречались не раз и беседовали «по душам»... И они ему нравятся! Да и он им, судя по всему, чем-то импонирует. Чем? Бесстрашием? Умом? Размахом? Что их сближает? Не в том ли дело, что и он, и они, если задуматься, — при всех различиях — люди одной породы? И он, и они — революционеры, и он, и они — террористы, причем террористы талантливые, по призванию, и профессиональные, то есть умеющие и привыкшие убивать, жертвовать и своей, и чужой жизнью, относящиеся к человеку как к материалу — необходимому для осуществления умозрительных идей. Хотя и сражались под разными флагами! Профессия подбирает людей — в ЧК — ОГПУ попадали, в основном, одержимые жаждой тайной власти и неразборчивые в средствах.

В письме из тюрьмы к своему парижскому знакомому, доктору Пасманику, Савинков признается: «Вы знаете, я видел всех «вождей» и всех «великих людей». Ну, так я Вам прямо скажу, а Вы думайте, что хотите. Если бы мне пришлось выбирать между бормотальщиками слева и справа и теми людьми, которых я встретил здесь, то есть чекистами... то я бы выбрал чекистов. Я думал встретить палачей и уголовных преступников (опять эмигрантская психология), а встретил убежденных и честных революционеров, тех, к которым я привык с моих юных лет...»

И чекисты чуяли в нем своего. Один из большевистских вожаков — Григорий Зиновьев — напишет позднее: «Между судьями и подсудимым разыгралась притча о блудном сыне... Не оттого ли, что его революционной душе всегда были ближе эти враги?.. Вот почему, может быть, никогда не был так искренен этот авантюрист, ненавидевший лучшей, революционной частью своей души своих давальцев и союзников, как здесь, перед этим народным судом. «Военнопленный» оказался, в сущности, взятым в плен своими от чужих. Тюрьма оказалась освобождением...»

Те, с кем имел дело Савинков, еще не чиновные автоматы карательных органов, которые придут им на смену при сталинском режиме, — это еще романтики и фанатики революции, социальные идеалисты и утописты, увлеченные замыслом переделать весь мир и самого человека, — а не таков ли и их узник?

«Борис Викторович говорит:

— Александра Аркадьевича еще не допрашивали, и поэтому я его не увижу до моего процесса. И после процесса тоже не увижу, конечно... Бедняга! Он ничего не знает и, разумеется, каждый день ожидает расстрела. Но Пилляр сказал мне, что жизни его не грозит опасность и что вам угрожает самое большое три года тюрьмы. Я так измучился мыслью, что из-за меня вы оба попали в ловушку!..

Сосновский мне объяснил, что настоящей тюрьмы теперь в России не существует... Не знаю, но мне кажется, что у коммунистов две меры. Одна для тех, кто был связан с царизмом, другая для рабочих и крестьян и для тех, кто при царе участвовал в революционном движении, например, для эсеров. Посмотрите, как они обращаются со мной, с их злейшим врагом!.. Правда, были случаи, когда социалистов расстреливали на фронте, но взятых в бою, с оружием в руках.

Но тут же Борис Викторович, заметив впечатление, произведенное на меня его словами, прибавляет:

— Не увлекайтесь иллюзиями. Я не эсер и не меньшевик. Ко мне это относиться не может.

Отворяется дверь:

— Номер шестьдесят!

Борис Викторович выходит и возвращается через минуту:

— Суд назначен на завтра, в десять часов утра.

Он шагает из угла в угол.

— Кстати, знаете ли вы, кто сидел раньше в этой камере? Патриарх Тихон... Передо мною стоит дилемма. Для меня ясно, что я ошибался, что мы все ошибались... Одно из двух: либо умереть, не признаваясь в своей ошибке, и смертью своей снова звать на борьбу, а борьбу эту я считаю уже бесплодной, если не вредной, — или иметь мужество умереть, признавшись в своем заблуждении. В первом случае за границей заклеят моих «палачей». Но еще тысячи русских людей погибнут зря, без пользы для России. Во втором случае — заклеят мою память... Чтобы понять, что мы совершенно побеждены, надо бороться так, как боролся я, надо пережить крушение последних надежд, как я его пережил в Минске, и быть здесь, в России. Пусть в тюрьме, но в России... В 1922 году почти остановился приток эмигрантов. В 1924-м русские не покидают России, хотя Наркоминдел выдает теперь заграничные паспорта. Что же до эмиграции, то она живет воспоминанием о терроре и гражданской войне. Люди, приезжавшие в последнее время из России, в один голос рассказывали, что многое изменилось, но мы считали, что они «куплены Москвой». Мы не верили ни фактам, ни статистическим данным. «Ах, Советы экспортируют хлеб!» — иронизировали мы. «Какой же может быть экспорт, если крестьяне не засевают полей?..» Но поля засеяны, и 1924 год не похож на 1920-й...

Да, завтра меня судят... И для меня, старого революционера, ясно, что я шел против народа, то есть против рабочих и крестьян».

Как легко поддается Савинков советской пропаганде, когда это в его интересах!

Нет тюрем? И тюрьмы наполнились, и страна все больше обрастала колючей проволокой концлагерей. Эсеры? Истреблялись, хоть и постепенно, но повсеместно и поголовно, как, впрочем, и все другие социалисты, кроме коммунистов. С 1922-го нет эмиграции? Именно в этом году из страны были насильственно высланы лучшие представители научной и творческой интеллигенции — целый «философский пароход». «В 1924-м русские не покидают России...» — попробовали бы! Что же до «засеянных полей», то на то они и крестьяне, чтобы сеять и жать, — ради хлеба насущного, а не родной советской власти. А голод придет — когда эта власть обрушит на народ сплошную коллективизацию, новую, самую страшную волну террора.

(Окончание следует.)



ЕЛЕНА ОРЛОВСКАЯ-БАЛЬЗАМО



ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ: СОЛЖЕНИЦЫН И ИПОЛИТ ТЭН

Солженицыну было восемнадцать лет, когда он задумал написать историю русской революции и, минуя официальную советскую мифологию, объяснить истоки тех потрясений, которые принес России 1917 год. Однако, сохраняя в течение всей жизни этот замысел и воплотив его наконец в «Красном Колесе», Солженицын оставался в первую очередь писателем, а не историком, и, соответственно, жанр «Красного Колеса» определен им как опыт художественного (а не исторического) исследования.

Одна из причин такого парадокса — невозможность работы в архивах и отсутствие в публичном обращении многих документов, относящихся к русской революции. Эту причину называл и сам Солженицын. Но не она в конечном счете определила литературный способ осмысления истории. Как объяснял Солженицын в своих интервью 1975 — 1976 годов, «художественное исследование — это такое использование фактического (не преобразённого) жизненного материала, чтобы из отдельных фактов, фрагментов, соединённых, однако, возможностями художника, — общая мысль выступала бы с полной доказательностью никак не слабей, чем в исследовании научном» (*Публ.*, т. 2, стр. 515 — 516); «художественное исследование выступает не просто как эрзац научного, не просто потому, что научное невозможно — так будем искать нечто другое. Но потому что (это моё глубокое убеждение) — художественное исследование по своим возможностям и по уровню в некоторых отношениях выше научного. Художественное исследование обладает так называемым тоннельным эффектом, интуицией. Там, где научному исследованию надо преодолеть перевал, там художественное исследование тоннелем интуиции проходит иногда короче и вернее» (там же, стр. 483).

Однако, думается, вопрос о глубине «тоннеля интуиции» — это вопрос не о разнице между историком и писателем, а о степени таланта конкретных людей, пишущих об истории.

Качественное их различие — только в формах выражения ими своих интерпретаций. Историк, считающий себя ученым, не может позволить себе представлять события повседневной жизни в формах самой этой жизни. Язык историка — метаязык: он предназначен для описания событий с точки зрения человека другой, позднейшей эпохи.

Автор — французская исследовательница русского происхождения; выпускница Московского университета, с начала 80-х годов живет во Франции (в Шартре); историк, автор ряда статей по русской литературе, переводчица на французский язык современной скандинавской прозы.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

А. И. Солженицын: *Публ.* — Публицистика. Т. 1 — 2. Париж. 1989.

«Красное Колесо». Париж: *Август 14* — Август Четырнадцатого. Т. 1 — 2. 1983. *Октябрь 16* — Октябрь Шестнадцатого. Т. 1 — 2. 1984. *Март 17* — Март Семнадцатого. Т. 1 — 3. 1988. *Апрель 17* — Апрель Семнадцатого. Т. 1 — 2. 1991.

И. Тэн: *Истоки* — Истоки современной Франции (Taine H. «Les origines de la France contemporaine». Т. 1 — 3. Paris. 1986).

Журнальный вариант.

В подавляющем же большинстве исторических романов, чья художественная парадигма задана романами Вальтера Скотта, — при всей их исторической познавательности — главенствует, так сказать, «актерство» писателя, литературная игра в события прошлых времен и лишь затем ответы на коренные вопросы, поставленные историей, типа «что делать?», «кто прав — кто виноват?», «кому править?» и т. п. В исторической беллетристике этого рода имитация повседневного быта первична: главное — разговоры, жесты, антураж, предметный антураж, любовные интриги и личные страсти; коренные же вопросы истории второстепенны, и, как правило, ответ на них сводится к элементарным моральным императивам (например, добрые и честные люди лучше злых и подлых). Чтобы убедиться в этом, достаточно припомнить череду последователей Вальтера Скотта — от его современников и ближайших потомков Фенимора Купера, Загоскина и Дюма до писателей наших дней Пикуля или Мориса Дрюона. На их фоне, естественно, резко выделяются немногие литературные инсценировки исторического материала, где литературная игра подчинена интеллектуальной цели — решению глобальных историософских задач.

В русской литературе первый опыт подобного рода произвел Лев Толстой в «Войне и мире», последний по времени — Солженицын. «Все цитаты истинны, — подчеркивает Солженицын, — но не все дословны, концентрация действительности есть требование искусства» (*Октябрь 16*, т. 2, стр. 587). Примерно то же можно сказать и о персонажах «Красного Колеса»: вымышленные герои, так же как исторические лица, истинны в том смысле, что концентрируют в своем мышлении и поведении действительность своей эпохи — это не индивидуально неповторимые «характеры», а «типажи», «герои времени».

В одном из телеинтервью 1976 года на вопрос, по каким критериям — историческим или художественным — следует оценивать публикацию фрагмента «Красного Колеса» «Ленин в Цюрихе», Солженицын отвечал: «...цель моя — восстановить историю в её полноте, в её многогранности. Для этого, однако, приходится применять видение, глаз художника, потому что историк пользуется только фактическими, документальными материалами, из которых значительная часть уничтожена <...>, и он ограничен в возможностях проникнуть в суть событий. Художник может больше и глубже увидеть благодаря пронзающей силе этого метода — художественного видения. Так что это не роман, но это применение всех художественных средств для того, чтобы глубже проникнуть в исторические события» (*Публ.*, т. 2, стр. 503).

«Красное Колесо» тем и отличается от обычной исторической беллетристики, что искусство здесь подчинено «проникновению в историю»: установлению исторических истин — тех истин, что в иных историософских построениях принято называть «причинами», «началами», «истоками», «корнями» (и т. п.) исторических происшествий. Именно историософская нацеленность Солженицына позволяет нам рассматривать «Красное Колесо» в одном ряду с собственно историческими исследованиями и, соответственно, позволяет сравнивать «Красное Колесо» с сочинениями именно этого ряда.

Ближайшим аналогом «Красного Колеса» в этом ряду является многолетний труд Ипполита Тэна «Истоки современной Франции» (написан за сто лет до «Красного Колеса» — в 1870 — 1880-е годы). Привлекает нас этот труд прежде всего потому, что и культурная ситуация, в которой создавались «Истоки...» и «Красное Колесо», и глобальные намерения их создателей, и система приемов построения исторических сюжетов поразительно похожи.

В «Истоках современной Франции» нет «художественного» вымысла, то есть нет выдуманных персонажей, их взаимодействий с лицами историческими, нет внутренних монологов и проч., и проч. Но сам отбор фактов создает эффект вполне равнозначный тому, что достигается вымышленными литературными эпизодами. «Его сюжетные ходы блистательны: каждая глава — самостоятельный фрагмент, но при этом теснейше связанный с предыдущей и следующей главами. Все, кажется, происходит под давлением некой неотвратимой силы, как бы навязывающей Тэну очередной поворот сюжета, хотя на самом деле такое впечатление создает у читателя сам Тэн»¹. Эти слова биогра-

¹ Leger F. Monsieur Taine. Paris. 1993, p. 251.

фа Тэна отлично применимы к Солженицыну. И в «Истоках...», и в «Красном Колесе» даже простой пересказ событий несет на себе явственный отпечаток чисто литературной, рассчитанной на зрительное восприятие «картинности». И часто эффект «силы, как бы влекущей за собой повествование», создается за счет того самого литературного приема, который мы назвали имитацией повседневности. Вот два примера, и пусть читатель попробует, не заглядывая в следующие после них сноски, угадать, кто это пишет — Тэн или Солженицын? «Караулы, посылаемые на охрану, напивались вслед за громилами. В одном складе пиво стало затоплять подвал — солдаты пили его пригоршнями. Там же почему-то хранились и бутылки с купоросным маслом, некоторые хватили бутылки, вливали жидкость в рот, обжигались, отравлялись»; «На следующий день, 13-го, <...> они, взломав топорами двери, стали сокрушать на своем пути все подряд — библиотеку, лабораторию, шкафы, картины; наконец устремились в подвал, где принялись вышибать днища у винных бочек, и — начался пьяный разгул; на другой день в подвале нашли тридцать мертвых тел, утонувших в вине; — и мужчин, и женщин, среди них была даже одна на девятом месяце беременности» (первая цитата из Солженицына — *Апрель 17*, т. 2, стр. 432; вторая из Тэна — *Истоки*, т. 1, стр. 342).

Случайные бытовые детали (девятый месяц беременности, купоросное масло, «пили пригоршнями») создают эффект чисто литературный: как бы автор ни пояснял подобные сцены, его исторический комментарий все равно окажется вторичен по сравнению с художественным впечатлением, производимым самой сценой.

Вряд ли можно говорить о каком-либо влиянии Тэна на Солженицына (в какой мере Солженицын знаком с «Истоками...» — нам неизвестно)². Здесь не влияние, а сходство культурных ситуаций, в которых интерпретируется структурно сходный исторический материал, а это, в свою очередь, влияет и на задачи, которые ставит перед собой историк.

Во Франции XIX века революция 1789 года стала идеологическим мифом, составившим одно из оснований французской постреволюционной культуры (вплоть до сегодняшнего дня — достаточно вспомнить торжества 1989 года в честь 200-летия революции). Поэтому первостепенной задачей Тэна была демифологизация революции — преодоление того, что он сам называл невежеством, — освобождение от ложных понятий об историческом событии, предопределившем дальнейший ход жизни французского общества. Надо ли объяснять, как обстояли дела в Советском Союзе 70 — 80-х годов с интерпретацией революции семнадцатого года? Поэтому ту же задачу, что ставил перед собой Тэн (усложненную, впрочем, недоступностью архивов), мы видим и в «Красном Колесе»: надо рассказать то, что было на самом деле, расчистить завалы лжи и предъявить истину.

Ни Тэн, ни Солженицын не были сами участниками описываемых ими событий. Но тот и другой сформировались в первую послереволюционную эпоху и воспринимают революцию не в давно прошедшем, а в только что миновавшем времени. «Каждый из нас в молодости, — писал Тэн, — был знаком хоть с кем-то из живших тогда, во время революции» (*Истоки*, т. 1, стр. 5). «Может быть, моё поколение, — говорил Солженицын, — последнее, которое может ещё этот материал писать не совсем как историю, не в полном смысле историческое повествование, а ещё почти по живой памяти. Моя детская память всё-таки очень сохранила послереволюционный воздух. В 20-е годы ещё жило население в России почти всё дореволюционное, ещё этот воздух я ощущаю, он помогает мне в обработке материала» (*Публ.*, т. 2, стр. 524).

И Тэн и Солженицын ставят перед собой одинаковые сверхзадачи — осознать то, как революция определила современное состояние страны (соответственно — Франции в 70 — 80-е годы XIX века и России в те же годы двадцатого столетия). И для того и для другого (в отличие от многих их современников) революция — это катастрофа, разрушение нормального хода истории. Оба противопоставляют естественное состояние нации и общества (органическая эволюция, постепенный и ритмичный ход событий) революционным

² Труд И. Тэна переводился на русский язык: Тэн И. Происхождение современной Франции, т. 1 — 5. СПб. 1907. (*Примеч. ред.*)

скачкам, разрушающим нормальное движение жизни. Тэн: «Форма, в которой воплощено содержание национальной жизни, полностью зависит от национального характера и течения истории; если эта форма не является естественным слепком с национального характера, она треснет, и вся жизнь разобьется вдребезги» (*Истоки*, т. 1, стр. 4). По Солженицыну же, история — река, у нее свои законы течений, поворотов, завихрений. Но, продолжает писатель, приходят умники и говорят, что она — загнивающий пруд, и надо перепустить ее в другую, лучшую, яму, только правильно выбрать место, где канаву прокопать. Но реку, но струю прервать нельзя, ее только на вершок разорви — уже нет струи. «В здоровом нормальном развитии ничто живое не знает революций. Революция — это всегда катастрофа, распадаются государственные связи, и общество переходит в расплавленное состояние» (*Апрель 17*, т. 2, стр. 530).

Почти одинаково Тэн и Солженицын определяют причины революционных катастроф. Во французской революции виновно дворянство, игнорировавшее свой долг перед обществом: «Франция ослабла задолго до краха монархии, и виновником упадка была привилегированная часть общества, забывшая о своем назначении» (*Истоки*, т. 1, стр. 67). Дворянство, замкнувшись в границах своего сословия, изолировало себя от всего общества и сосредоточилось на своих утопических представлениях. Когда же началась политическая неразбериха (1789 — 1791 годы), власть захватили те, кто решил немедленно реализовать утопические теории, — якобинцы. Все кончилось террором 1793 — 1794 годов. Нечто подобное легко увидеть и у Солженицына. Вина за революцию возлагается на интеллигенцию, которая вместо того, чтобы искать пути к национальному согласию, сделала все, чтобы расширить трещину между обществом и властью до масштабов пропасти: «Интеллигенция сумела раскачать Россию до космического взрыва, да не сумела управлять её обломками» (*Публ.*, т. 1, стр. 85). В итоге обломками «управили» те, кто готов был реализовать интеллигентские теории практически, — большевики.

Революция — процесс, состоящий из событий и для Тэна, и для Солженицына неравных по своему значению. Среди прочих встречаются эпизоды, которые как бы концентрируют весь смысл происходившего доселе и являются эмбрионом последующих происшествий. Эти эпизоды — точки поворотов истории. У Тэна такие точки названы моментами; у Солженицына — узлами.

«В этой кривой истории, — говорил однажды Солженицын, — то есть в смысле математическом кривая линия истории, — есть критические точки, их называют в математике особыми. Вот эти узловые точки — как Узлы, — я их подаю в большой плотности, то есть даю десять, двадцать дней непрерывного повествования. Я выбираю эти точки главным образом там, где внутренне определяется ход событий, не внешние обязательно события, а внутренние, — те, где история поворачивает или решает» (*Публ.*, т. 2, стр. 525). Разумеется, «момент» Тэна и «узел» Солженицына определяют лишь структурное сходство их повествований. Конкретный смысл этих ключевых эпизодов подчинен разным понятиям того и другого о ходе истории.

«Момент» Тэна — это яркое проявление тех закономерностей, которые в скрытом виде таились в предшествующих событиях. В тэновской истории нет ничего случайного — все происходящее должно было произойти (и Тэн всегда находит объяснение тому, почему что-то должно было случиться и к чему это случившееся должно было привести). История революции Тэна — это цепь логично вытекающих друг из друга событий. Поэтому исторические эпизоды, не укладывающиеся в схему выводимых Тэном закономерностей, или вовсе не учитываются, или интерпретируются согласно заданной модели объяснения. Так, бегство Людовика XVI в Варенн интересует Тэна только в качестве катализатора predeterminedного хода событий — это лишь очередная ступень на исторической лестнице, по которой восходят к власти якобинцы. Что было бы, если бы побег состоялся? если бы короля не узнал случайный человек? если бы его не вернули в Париж? Эти вопросы даже не подразумеваются. Согласно Тэну, то, что произошло, не произойти не могло, и обсуждать варианты нет смысла.

«Узлы» Солженицына, напротив, подразумевают прежде всего вопросы типа что было бы? и что могло бы быть? «Узел» — это точка в истории, содержащая массу потенциальных возможностей для самых непредсказуемых поворотов исторического сюжета. И Солженицын всячески подчерки-

вает, что в «узлах» истории совершаются события, результат которых мог бы быть прямо противоположен тому, что мы имеем. «Август Четырнадцатого» — разгром русской армии, «Март Семнадцатого» — низложение монархии, «Апрель Семнадцатого» — общественный хаос, давший большевикам шанс для захвата власти, — все могло бы произойти иначе: и поражения можно было бы избежать, и трон устоял бы, и порядок можно было бы восстановить... Если бы люди, находившиеся в эпицентре этих событий, и прежде всего люди, располагавшие реальной властью, сумели понять смысл происходящего. Точнее даже, не понять — почувствовать.

Любимые герои Солженицына отличаются специфическим свойством — своего рода историческим чутьем, позволяющим внезапно почувствовать, как следует вести себя в критической ситуации. Это чутье выражается неожиданно нахлынувшим воодушевлением, потребностью говорить с людьми, убеждать их, влиять на них (как, например, случается с Воротынцевым, после разговора с которым солдаты отправляются добровольцами на защиту Найденбурга).

«Исторический» энтузиазм пробуждается в героях Солженицына не часто, пробуждается далеко не во всех, иные вовсе не способны почувствовать момент и демонстрируют полную историческую недееспособность — неспособность повлиять на ход событий. Так, жизнь Николая II в «Красном Колесе» — это вереница нереализованных возможностей, предоставлявшихся человеку, который мог изменить ход истории. Вот взятый на выбор эпизод: царь встречается с представителями Думы: «Если бы этот человек не был вечно скован заклатою непростотой от неуверенности в себе — ещё и в этот день ему доступно было изменить историю России: вдруг бы глянув открыто, улыбнувшись широко, руки депутатам пожимая по-мужски, да даже взоидя быстро на думскую трибуну под свой же холодный длинный портрет и оттуда с широкой душой открывшись российским подданным <...>. Но ещё со смертью Александра III умерла энергия династии и её способность говорить открытым полным голосом» (*Октябрь 16*, т. 2, стр. 328).

Историческое чутье важно в любом поступке человека, хоть как-либо касающемся общественной жизни: «Да знал Воротынцев: с любой тёмной толпой — всегда можно столкнуться, только объясняй чётко, смело — и не зевай подхватывать момент» (*Апрель 17*, т. 1, стр. 107) — то есть умеи использовать случай, чтобы переломить неблагоприятный ход событий. Можно сказать, что история по Солженицыну — это не predetermined, а вероятностный процесс и движущей его силой являются не безличные закономерности, а конкретные люди. И если люди ошибаются или бездействуют в тот момент, когда требуется их волевое усилие, вина за последующую катастрофу лежит на них самих.

Требования Солженицына к отдельным людям полностью применимы и к той общности, которую они образуют, — к обществу в целом, к народу, к нации. Отдельные ошибки, ложный выбор отдельных людей, их бездействие или попустительство этим ошибкам и этому выбору со стороны других создают в конечном счете коллективную вину и ответственность: «В том и особенность единых организмов, что они вместе пользуются и вместе страдают от действия каждого их органа. Даже когда большинство населения вовсе бессильно помешать своим государственным руководителям — оно сбречено на ответственность за грехи и ошибки тех. И в самых тоталитарных, и в самых бесправных странах мы все несём ответственность — и за своё правительство, каково оно, и за походы наших военачальников, и за выслуги наших солдат, и за выстрелы наших пограничников, и за песни нашей молодёжи» (*Публ.*, т. 1, стр. 52).

Это сказано еще в ту пору, когда Солженицын лишь приступал к работе над «Красным Колесом», — в начале 70-х. И имел в виду он вполне конкретный выбор, который мог сделать тогда простой советский человек, в те годы этот выбор, по убеждению Солженицына, мог заключаться лишь в одном — в отказе от участия во всеобщей лжи. Не обсуждая вопроса о степени утопичности подобного отказа в те времена, обратим внимание лишь на то, что проблема коллективной вины для Солженицына не метафизическая, а вполне конкретная, можно даже сказать, практическая проблема, относящаяся к повседневной жизни каждого человека. Тогда, в начале 70-х, сделав собственный конкретный выбор, Солженицын звал к нему и своих соотечественников, бо-

лее того — давал конкретные указания, какой выбор в каких ситуациях следует совершать (см. статью «Образованщина»). Нечто подобное мы видим и в «Красном Колесе», с тем естественным отличием, что речь идет не о потенциальных возможностях («Будущее <...> в наших руках. Если мы будем делать правильные выборы» — «Образованщина» /Публ., т. 1, стр. 112/), а о возможностях упущенных, лежащих тяжким грехом на всех: «...законы личной жизни и законы больших образований сходны. Как человеку за тяжкий грех не избежать заплатить иногда ещё и при жизни — так и обществу, и народу тем более, успеется» (*Октябрь 16*, т. 1, стр. 61).

Каждый несет груз своей ответственности, и чем шире вероятный диапазон действий человека, тем тяжелее этот груз: «Но: никакими добродетелями не загородится, не оправдается тот, кто взялся вести судьбы тысяч — и худо вёл их. Пожалеет солдата-новичка под первыми пулями и разрывами в захвате злой войны, а генерала-новичка, как бы ни было муторно ему и тошно, — не пожалеем, не оправдаем» (*Август 14*, т. 1, стр. 384). В этом убеждении Солженицын — прямой антипод Льва Толстого: «И тут бы утешиться нам толстовским убеждением, что не генералы ведут войска, не капитаны ведут корабли и роты, не президенты и лидеры правят государствами и партиями, — да слишком много раз показал нам XX век, что именно они» (там же, стр. 383).

Идеи Толстого относительно того, что ход истории зависит от инстинктивных, неосознанных движений народов, что отдельное лицо не может влиять на ход событий, — эти идеи, с точки зрения Солженицына, ведут в конечном счете к оправданию безответственности. Если действия отдельного человека не могут изменить общего хода событий, зачем вообще что-то предпринимать? Во время спора с Варсонофьевым Саня Лаженицын, когда-то толстовец, заключает: «Толстовское решение — не ответственно. И даже, боюсь, по-моему <...> не честно» (*Август 14*, т. 1, стр. 403).

Настойчиво, на протяжении всех шести тысяч страниц своей эпопеи, Солженицын повторяет: необходимо действовать; история — это поле действия личных волей, и побеждает тот, чья воля упорнее.

Поэтому история нации (история страны, история народа) всегда производна от индивидуальных усилий самостоятельно действующих личностей: «...один полк — один народ, другой полк — другой народ. И тот же самый полк — утром один народ, вечером другой. А вообще всякий полк занимает только протяжение, содержит невыразительное число, а войну делают охотники, разведчики, смельчаки, первые атакующие. Как и историю делает — отборное меньшинство» (*Октябрь 16*, т. 1, стр. 332).

Этого отборного меньшинства не оказалось в России 1914 — 1917 годов. Едва начинается Первая мировая война, «с первого же сражения мелькают русские генеральские знаки как метки непригодности, и чем выше, тем безнадежней, и почти что не на ком остановить благодарного взгляда» (*Август 14*, т. 1, стр. 383). Люди, стоящие у власти, не способны стать лидерами нации и сами же доводят страну своими ошибочными действиями или бездействием до революции.

«Эта война перешла пределы, перешла размеры войны во всех прежних пониманиях. Это стало народное повальное бедствие — но не от природы, а от нас, направителей» (*Октябрь 16*, т. 1, стр. 146). Отсутствие талантливых «направителей» — лейтмотив «Красного Колеса»: «Вождя! Вождя бы! Быстро, умного, энергичного генерала, которому сразу поверила бы Армия и за ним пошла! — и все было бы решено! Такому вождю-спасителю Воротынцев готов был отдаться безоговорочно. И в военной истории такие вожди сколько раз появлялись в нужный момент. А вот у нас — нет. С нами так худо — что уже и нет» (*Апрель 17*, т. 1, стр. 103 — 104).

Для Солженицына несостоятельность власти прямо обусловлена системой служебных отношений — той государственной (и в том числе военной) иерархией, что сложилась на вершинах властной пирамиды. Это хорошо разъясняют друг другу Воротынцев и Шингарёв: «Шингарёв понимал так: „...всё разваливается из-за тупого сопротивления власти. <...>” — „Какая-то чёрная полоса, никого не рождающая. Не рождаем великих деятелей. Покинули Россию и пророки, и великие писатели. Но самое удивительное: почему не выдвига-

ются полководцы? Третий год небывалой войны, какой Россия никогда не вела, 14 миллионов перебивало под ружьём, — отчего же Суворова нет? Ни даже Скобелева?» — Полководцы? <...> Воротынцев ли не думал о них! <...> „Что они не рождаются — не случайность. Они — рождаются, но верхи служебной лестницы непроходимы для них, из-за тупости. На дивизиях, на корпусах, даже на армиях по сравнению с началом войны сейчас толковых генералов немало <...> А выше — не пройти им. Ну, как и у вас с министрами”» (*Октябрь 16*, т. 1, стр. 326).

«Верхи служебной лестницы»... Монархия, и тем более самодержавная монархия, — это вовсе не цепь гор с вершинами большей или меньшей величины, но регулярно выстроенная пирамида, широкая у основания, как и положено пирамидам, сужающаяся к своему верху — к своей единственной вершине. Эффективность действий «направителей» определяется в такой пирамиде тем, в какой степени эти действия находятся «под твердой рукой». «Под чьей же это твердой рукой?» (*Октябрь 16*, т. 2, стр. 475).

И тут мы подходим к тому пункту, в котором сравнение «Красного Колеса» с «Истоками...» Тэна может помочь пониманию особого статуса Солженицына в историософии XIX — XX веков. Убежденность Солженицына в том, что осознанные и вовремя совершенные действия отдельных лиц могут изменить ход истории, явно расходится с пониманием исторических процессов, возобладавшим в европейской и русской историософии последних двух столетий. С тем способом понимания истории, согласно которому значение личности в ней ставится в прямую зависимость от факторов сверхличных.

Сверхличными факторами в разных историософских системах XIX — XX веков считаются воля Провидения, или сила вещей (обстоятельств), или социально-экономические показатели, или космическое влияние, или коллективное бессознательное (и т. д., и т. д.). При всем разнообразии названий и интерпретаций этих факторов суть их едина: историософ концентрирует свои логические способности или мистические проникновения на доказательстве объективного существования надчеловеческих сил, управляющих ходом событий помимо воли отдельного человека. Гегель, Шпенглер, Тойнби, наши славянофилы и евразийцы, новейшие специалисты по психоаналитической истории или историческому этногенезу, авторы советских и постсоветских учебников истории — все они, каждый на свой лад, доказывали и доказывают не преодолимую отдельным лицом силу сверхчеловеческих факторов — силу общих законов, согласно которым то, что произошло, не могло не произойти.

Основанием таких доказательств служит свойственная (как рационально, так и мистически настроенным) историософам вера в предопределение. Кто или что предопределяет течение жизни (абсолютный дух, общественные формации, космическая пассионарность, русский Бог или что-либо еще), для наших рассуждений сейчас не принципиально: это особый вопрос, который требует особого разбора. Для нас сейчас важно констатировать, что разные по именованию и аргументации сверхличные факторы — это факторы, которыми историософия последних двух столетий ограничивает свободную волю индивидуума в истории и снимает вопрос о свободе его выбора.

Блестящим выразителем такого взгляда на ход истории был Ипполит Тэн. Сравнение его построений с сюжетами Солженицына тем любопытнее, что события, послужившие материалом их книг, как уже говорилось, сходны по своей структуре и, естественно, сюжеты «Истоков...» и «Красного Колеса» изобилуют персонажами, выполняющими одинаковые функции.

В «Истоках...» и в «Красном Колесе» есть целый ряд героев, сопоставление которых неизбежно при сравнении этих двух произведений. Во-первых, это фигуры самодержцев (у Тэна — Людовик XVI, у Солженицына — Николай II); во-вторых, фигуры новых политических лидеров, вынесенных историей на вершины власти (Наполеон — у Тэна, Столыпин и Ленин — у Солженицына); в-третьих, это теоретики революции (философы — в «Истоках...», либеральная интеллигенция — в «Красном Колесе») и практики революционного мятежа (якобинцы и большевики).

Людовик XVI и Николай II

«Недуг начинается там, откуда управляют страной: здесь очаг всех несправедливостей и несчастий; здесь зреет нарыв, здесь он и прорвется» (*Истоки*, т. 1, стр. 66). Эта фраза Тэна фокусирует его отношение к несчастному королю Франции.

Людовик XVI в «Истоках...» — не исключительный персонаж, а только представитель своего класса — дворянства. На протяжении всей второй книги «Истоков...» Тэн проводит параллели между королем и дворянами, демонстрируя, что качественной разницы между ними нет. Описав жизнь в Версале, Тэн продолжает: «Каков царь, таков и псарь: дворяне подражают монарху, <...> и жизнь короля дублируется дворянами, в меньших, конечно, масштабах, но в любой даже самой окраинной дворянской усадьбе» (*Истоки*, т. 1, стр. 88).

Людовик XVI как личность абсолютно не интересует Тэна, поскольку его личные качества почти не выражаются в его исторически значимом поведении. Единственная во всех «Истоках...» реплика, характеризующая короля как человека, лишь подчеркивает отсутствие в жизни Людовика XVI какого-либо общественного смысла; эта реплика относится к дневнику короля: «Это дневник псаря. Попробуйте отыскать здесь знаменательные даты, и вы будете изумлены их отсутствием. Он пишет только в те дни, когда при дворе была охота; другие события его не волнуют» (*Истоки*, т. 1, стр. 87). Роль короля, роль двора, роль парижского дворянства, роль провинциального дворянства — у Тэна все это даже не роли, а скорее декорации в театре общественной жизни. Надо ли удивляться тому, что в «Истоках...» не нашлось места даже рассказу о мученической смерти короля? То была смерть частного человека, а личный героизм не может стать предметом анализа общественных закономерностей.

Невнимание Тэна к судьбе Людовика XVI в конечном счете определяется его общей концепцией французского предреволюционного общества. Тэн убежден, что даже если бы Людовик XVI пытался проявить себя в роли верховного правителя, он не смог бы изменить общий ход событий, ибо сам институт монархии в том виде, в каком он сформировался за сто лет до Французской революции — еще при Людовике XIV, — не позволил бы королю полноценно использовать свои властные права. Для того, чтобы подобное могло произойти, «надо было бы полностью переделать все французское дворянство» (*Истоки*, т. 1, стр. 85).

Позиция Солженицына — прямо противоположна тэновской. Русский царь в «Красном Колесе» — отнюдь не первый среди равных. Он не венчает общественную пирамиду, а заперделен ей. На протяжении всего своего повествования Солженицын не перестает подчеркивать глубокое качественное различие между государем и всеми другими людьми, какого бы ранга и таланта они ни были и как бы они ни любили Россию. Даже в момент величайшего царского унижения — в сцене отречения — заклятый враг Николая II Гучков вынужден признаться, что «всё-таки, несмотря на всю его простоту, что-то в нём не давало забыть, что он — царь» (*Март 17*, т. 2, стр. 722).

Николай II Солженицына страстно предан своей стране; он настолько проникнут сознанием своей ответственности, что готов иногда отождествить себя с государством, как, например, когда он оказывается перед необходимостью подписывать манифест 17 октября: «Решение было страшное <...>. Ведь он изменял пределы царской власти, неущербно полученные от предков. Это было — как государственный переворот против самого себя» (*Август 14*, т. 2, стр. 431). Когда позднее преследуемый со всех сторон Николай вынужден согласиться на конституционную монархию, он понимает свое согласие как акт отступничества: «Самому — ему нисколько не нужна власть, он не любит её, нисколько за неё не держится. Но он не может вдруг посчитать, что он не ответственен перед Богом. <...> И не может Государь сложить с себя ответственность перед русскими людьми... Да как бы он был вправе: передать управление Россией людям, которые к этому не призваны? Которые сегодня, может быть, принесут ей вред, а завтра — уйдут в отставку, — и где тогда вся их ответственность?.. Как же можно оставить Россию без верной преемственности? Как сможет Государь смотреть на легкомысленную деятельность таких людей — и притворяться, что не он, монарх, отвечает перед Богом и Россией,

но думское голосование? Если он уже ограничил в Девятьсот Пятом свои права или ещё ограничит их сейчас — вся ответственность всё равно остаётся на нём» (*Март 17*, т. 2, стр. 457).

Именно это убеждение и становится фатальным: груз ответственности парализует Николая, не позволяя ему принимать ответственные решения. С одной стороны, он достаточно ясно сознает свое положение: «Николай перед собой и перед Богом знал свои недостатки. Он не только считал себя царём неудачливым, но — и недостойным. И не было у него ни грана тщеславия. И никогда не гнался за популярностью. Однако с годами всё больше, а от войны и полностью он отдавал себя всего этому званию, этому бременю — и уж теперь-то знал его вес и давление» (*Март 17*, т. 1, стр. 621). С другой же стороны, сознавая свою единственность в отношениях с Россией, он не может признать, что кто-то другой способен управлять страной. Так, Столыпин в его глазах непригоден для этого только потому, что он — не царь: как может он знать, что лучше для страны, если он не имеет той внутренней связи с Россией, какую чувствует царь?

Груз царской ответственности утяжелен запутанностью конкретных вопросов, ждущих царского решения. Все проблемы русской жизни предстают перед Николаем II сквозь призму противоречивых частных мнений: «Всегда все добиваются с докладами, мнениями, одни хотят одного, другие противоположного, всё надо выслушивать, прочитывать, подписывать» (*Март 17*, т. 2, стр. 619). В результате личная воля Николая II, его личный выбор в пользу того или иного решения, лишается того высшего смысла, который он сам ему придает (ибо зависит от мнений докладчиков), а сама проблема все равно не решается, ибо другие частные мнения, противоположные тем, что предпочел царь, начинают немедленно противоречить первым. «А когда в своей жизни Николай был волен решать? Всегда он был сжат обстоятельствами и людскими требованиями. <...> Но как ни реши — всегда общество свистит, улюлюкает, недовольно» (там же, стр. 460, 619).

Тем не менее Солженицын утверждает: Николай II мог действовать, мог повлиять на ход истории. Как бы ни противоречило ему общественное мнение, он обладал огромной властью, и его преступление — в том, что он ее не использовал. Можно было бы избежать войны с Японией. Можно было бы не вовлекаться в Мировую войну... Многое можно было бы повернуть иначе. Причина неспособности царя исполнить свою царскую миссию — не в недостатке интеллекта, не в отсутствии личного мужества, не в недостаточной любви к своей стране, а в его исторической глухоте: Николай не чувствует пульсации времени, не различает его «узлов».

«Николай заходил, заходил по комнате, как раненый, еле скрывая, что ломает пальцы. Его изводило, тянуло в разные стороны, разрывало. Он должен был вот сейчас, вот сейчас принять величайшее решение! — и ни присутствующие, ни отсутствующие, никто не мог помочь ему советом, а голос Господа не слышен был явно. <...> решать он всегда обречён был сам, колеблющейся, измученной душой!» (*Август 14*, т. 2, стр. 449). Не слышащий историю, не умеющий выбирать, не способный к решительному действию, император тем не менее обязан действовать. Но ему требуются хоть какие-то ориентиры — какие-то принципы, хоть какие-то практические правила, ибо, сознавая свою слабость как государственного деятеля, не может же он руководствоваться в своих решениях бросанием монетки: орел или решка? И тогда Николай II начинает действовать исходя из человечески близких и понятных ему законов — законов частной жизни.

Он верен этим законам не только в отношениях с собственными министрами, но и в отношениях с императором Вильгельмом: разрыв между Россией и Германией для Николая — это «как разрушение семьи» (*Август 14*, т. 2, стр. 455). Теми же законами продиктовано его поведение в начале революции. В «Марте Семнадцатого» Воротынцев пытается понять политическую ситуацию, чтобы определить свое место в ней, и более всего озадачен внезапным отъездом царя из ставки: «И вздорная, непонятная, самоубийственная поездка Государя! Все эти дни ведь он знал о событиях с самого начала — и что же он решил? Куда поехал? <...> Воротынцев <...> пошёл в ресторан — и пообедать, и поразмыслить, выиграть время, отстояться, не делать пустых движений. И

тут, над тарелками, вдруг подумал: а Государь-то едет просто-напросто к жене...? Всего-навсего...? — Тогда он — погиб. И всё погибло» (*Март 17*, т. 2, стр. 398 — 399). Итак, Николай едет «всего-навсего» к жене, и эта поездка стоит ему трона. И когда чуть позже, попав в западню, император подписывает указ об установлении конституционной монархии — один из документов, который, как он прекрасно сам понимал, ведет его к полному поражению, он думает опять прежде всего о своей семье: «И тут вдруг черезусильная и стеснительная улыбка выказалась на его больших губах под густыми усами: — А как вы думаете, Николай Владимирович, теперь смогу я проехать в Царское Село? Ведь у меня, знаете, дети больны корью» (там же, стр. 482), — говорит император одному из генералов, вынудивших его пойти на уступку. И наконец, когда наступает финал и Николай должен подписывать акт об отречении, он собирается сначала отказаться от престола в пользу своего сына Алексея (лишь бы спаслась Россия!), но, поскольку в этом случае ему придется расстаться с сыном, он отменяет такое решение: «Так вот, господа. Сперва я уже был готов пойти на отречение в пользу моего сына. Именно это я подписал сегодня в три часа пополудни. Но теперь, ещё раз обдумав, я понял... Что расстаться с моим сыном я не способен» (там же, стр. 725 — 726). Выбор вполне логичный для солженицынского Николая II: забота о семье оказывается первостепеннее, чем спасение России.

Итак, причиной трагедии Николая и краха его царствования оказывается смешение разных сфер жизни — личной и общей. Он их смешивает потому, что, в сущности, частная семейная жизнь — единственный центр притяжения его души, а остальное — только досадное приложение к ней. Поэтому не случайно на протяжении всего его внутреннего монолога в «Красном Колесе» звучит рефреном мечта частного человека: «А как хорошо бы, правда, всё это бросить да поехать доживать век в Ливадию!» (*Март 17*, т. 2, стр. 619).

Начиная с момента отречения — после того, как Николай из царя делается частным человеком, — поведение его становится иным: он ведет себя в высшей степени достойно и уже не совершает промахов. Так происходит не потому, что он изменился (он остался тем же, что был, — просто теперь, оставаясь только внутри своей семьи, он живет истинно своей жизнью), — изменяется взгляд романиста. К Николаю — частному лицу Солженицын отнюдь не так строг, как к Николаю — государственному деятелю.

Наполеон. Ленин. Столыпин

Наполеон — единственное лицо, удостоенное Тэном подробного рассказа и, так сказать, портрета в полный рост. Две глобальных исторических функции Наполеона в «Истоках...» — это разрушение старого порядка и создание нового. У Солженицына эти функции распределены между двумя персонажами, следующими в русской истории в обратной хронологической последовательности: созидателя Столыпина заменяет разрушитель Ленин.

Наполеон добился прекращения революции и стал строить новое французское общество. На фоне общего тэновского детерминизма могущество Наполеона может показаться нелогичным. Однако это не так. Наполеон тоже вполне детерминированный персонаж. Для Тэна «совершенно очевидно, что он не француз и не человек XVIII века: он принадлежит другой расе и другому историческому поколению» (*Истоки*, т. 2, стр. 372). Итальянец по происхождению, он «никогда не учил и не выучил французской орфографии, не чувствовал французского языка, не понимал глубинного смысла и связи французских слов» (там же, стр. 381). Ничего чудесного в его появлении на исторической сцене для Тэна нет: он тоже, как и всякое историческое лицо, — закономерное следствие predeterminedного хода событий, детерминистичной истории — только истории не французской, а корсиканской.

Основная функция Наполеона в «Истоках...» — быть Иностранцем, и именно это позволяет ему сделать французское общество, подавленное революционными испытаниями, своей добычей. Он потому так удачлив, что свободен от жесткой исторической обусловленности, связывающей действия французов, — свободный от детерминизма французской истории, он свободен в своих действиях по отношению к Франции и действует там, как удачливый

пират. Франция для Наполеона — только средство достижения его главной цели — обладания властью. Он хочет стать властелином Европы, а затем и всего мира. Поэтому Тэн и пишет, что, строя новый порядок во Франции, Наполеон действовал прежде всего как полководец, обеспечивающий тылы и формирующий во Франции плацдарм для наступления на Европу и мир.

Наполеон систематически уничтожал национальную память французов, сохраняя только одно — то, что Тэн называет «классическим духом», ставшим основой нового государства. Он заново создавал «Францию могущественную, подлинную, прочную, и при этом — единообразную, одетую в униформу, сделанную всю из одного куска, согласно одному принципу, единому и простому, Францию централизованную, администрированную <...>, словом, ту Францию, о которой мечтали еще в XVII веке Ришелье и Людовик XIV <...> — Францию, основанную на союзе философии и сабли» (*Истоки*, т. 2, стр. 461). Отличительная черта этой новой Франции — всемогущество государства: все решает государство, а любые естественные для органического развития общества движения подавляются; общество в этой новой Франции — «большая казарма» (там же, стр. 464, 467).

Функциям Наполеона в «Истоках...» структурно соответствуют функции Ленина в «Красном Колесе»: тот же излюбленный жест — рука за обшлагом жилета; тот же методический и постоянно действующий ум («ум Наполеона <...> умел делать не только общие и частные выводы, но и схватывал мельчайшие детали; <...> все происходившее в данный день отпечатывалось с абсолютной точностью» — *Истоки*, т. 2, стр. 392 — 393; «Вечно-работающий мозг Ленина никогда не замедлялся ни от какой внешней внезапности: он перерабатывал всякое вторгшееся событие, усваивал его и работал дальше» — *Апрель 17*, т. 1, стр. 390). Ленин у Солженицына, как и Наполеон у Тэна, не испытывает никаких теплых чувств к стране, являющейся главным объектом его действий: «Мы — антипатриоты!» (*Август 14*, т. 1, стр. 221). Презрение и инстинктивная ненависть лежат в основе его отношения к России. «А-а, попался хищный стервятник с герба! — ликует Ленин, узнав о начале Мировой войны, — схвачена лапа, не выдернешь! Сам ты выбрал эту войну! Об-корнать теперь тебя — до Киева! до Харькова! до Риги! Вышибить дух великодержавный, чтоб ты подох! <...> Ампутировать Россию кругом. Польше, Финляндии — отделение! Прибалтийскому краю — отделение! Украине — отделение! Кавказу — отделение! Чтоб ты подох!..» (*Август 14*, т. 1, стр. 230). Его интернационализм — не что иное, как форма русофобии. Узнав о кровавых событиях 9 января 1905 года, он (а вместе с ним и вся лениноцентричная русская эмиграция) торжествует: «Шли январским вечером с Надей по улице — навстречу Луначарские, радостные, сияющие: «Вчера, девятого, в Петербурге стреляли в толпу! Много убитых!» Как забыть его, ликующий вечер русской эмиграции!» (*Март 17*, т. 2, стр. 667). «И зачем он родился в этой рогожной стране? Четвертушкой ли крови он связан так, что привязала судьба к дрянной российской колымаге? Четвертушкой крови, но ни характером, ни волей, ни склонностями нисколько не состоял он в родне с этой разляпистой, растяпистой, вечно пьяной страной. Ничего не знал Ленин противнее русского амишонства, этих трактирных слёз раскаяния, этих рыданий якобы загубленных натур» (*Октябрь 16*, т. 2, стр. 119 — 120). В такой стране, прежде чем что-то менять, надо прежде все разрушить.

Как для Наполеона Франция, так Россия для Ленина — это страна, служащая материалом самореализации, это часть грандиозного проекта переустройства Европы и мира — проекта мировой революции. Однако, в отличие от французского императора, лидер большевиков — только прожектер, его мечтания соотносятся с реальной жизнью лишь в одном пункте — в деле захвата власти; все прочие его замыслы, по Солженицыну, — абсолютно утопичны. Его теории — результат чтения философских и экономических трудов — имеют чисто отвлеченный смысл, а гигантская практическая деятельность, по существу, сводится либо к умозрительным спорам, либо к мелочной и безостановочной борьбе с политическими антагонистами. В этом последнем занятии его энергия неиссякаема: «...политик — это тот, кто совсем не зависит от возраста, от чувств, от обстоятельств, в ком во всякое время года и дня есть постоянная машинность — к действиям, к речам, к борьбе. И у Ленина есть эта

отличная бесперебойная машинность, неиссякающий напор...» (*Октябрь 16*, т. 2, стр. 120). Но лишь только возникает необходимость реального действия — он бессилён: «Ленин — писал статьи. Брошюры. Читал рефераты. Произносил речи. Агитировал молодых левых. Всеевропейски сек оппортунистов. Он, кажется, досконально успел узнать вопросы промышленный, аграрный, стачечный, профсоюзный. Теперь, после Клаузевица, и военный. Он понимал теперь, что такое война, и как ведётся вооружённое восстание. И с настойчивой ясностью мог это всё разъяснить, кому угодно. И только одного он не мог — сделать. Только не мог он — взорвать броненосца» (там же, стр. 212). Реальность внушает ему страх своей непредсказуемостью, разрушает расчеты, ломает распорядок абстрактной работы ума: «Лишь два часа назад, к обеду, так было всё ясно: раскалывать шведскую партию и что для этого надо читать, писать и делать. Но вот пришло со стороны недостоверное, невероятное и ненужное событие и как будто даже не задело, не столкнуло, — а вот уже сталкивало. Уже отвлекало силы и ломало распорядок» (*Март 17*, т. 2, стр. 670).

Когда же Ленин явился в Россию, размятую двумя месяцами полной анархии, и столкнулся с ситуацией, казалось бы, для него созданной, — ситуацией разрушенной реальности, он мог бы наконец начать претворение своих теорий в практические дела. Но и тут Солженицын отказывает ему в самостоятельной исторической роли: в 1917 году, готовясь к захвату власти, Ленин выступает пешкой в грандиозной игре по «экспорту революции», затеянной Парвусом. «Совместный взрыв революции социальной и революции национальной при германской денежной и материальной поддержке» (*Октябрь 16*, т. 2, стр. 180) — в «Красном Колесе» это заслуга реалиста Парвуса, а не утописта Ленина.

Антиподом вождя мирового пролетариата является в «Красном Колесе» Столыпин: для него Россия — это прежде всего живой организм, и любые изменения, которые в ней необходимо произвести, должны быть органичными. «Главный узелок нашей жизни, всё будущее ядро её и смысл, у людей целеустремлённых завязывается в самые ранние годы, часто бессознательно, но всегда определённо и верно. <...> У Петра Столыпина таким узлом завязалось рано <...>: русский крестьянин на русской земле <...>. Не знание, не сознание, не замысел — именно острое слитное чувство, где неотличима русская земля от русского крестьянина, и оба — они от России, а вне земли — России нет. Постоянное напряжённое ощущение всей России — как бы целиком у тебя в груди» (*Август 14*, т. 2, стр. 167 — 168). Характерно, что здесь одно из ключевых слов Солженицына — «узел» («узелок») — применено к судьбе отдельного человека: факт существенный, ибо Столыпин в «Красном Колесе» — это воплощение того типа исторического деятеля, чья частная судьба органически слита с судьбой нации. Столыпин обладает теми важнейшими качествами, которые в совокупности образуют лидера, способного организовать нормальную жизнь нации (и следовательно, её историю). У него — обостренная ответственность перед своей страной («Ответственность — величайшее счастье моей жизни» — там же, стр. 234), он энергичен, любит действовать решительно и весь отдаётся своим действиям. Эти качества по отдельности есть, как мы помним, и у Николая II, и у Ленина — но Николаю, при его чувстве ответственности, недостает решимости преодолеть свои частные, семейные чувства, а у Ленина, при его неумемной энергии, нет ни ощущения реальности, ни ответственности. И самое главное, оба они глухи к Истории.

Не то Столыпин. Он умеет чувствовать те моменты, когда завязываются исторические узлы, и поэтому может иные из них вовремя развязать. Так, он сумел погасить революцию 1905 года, «и Россия из безнадёжного Смутного времени вдруг переплыла в мерные воды нормального государственного существования» (*Август 14*, т. 2, стр. 217). Он остановил волны терроризма анархистов и эсеров. Наконец, он заложил основу для коренного (но органического!) переустройства русского общества: «От этого столыпинского стояния мог начаться и начинался коренно-новый период в русской истории. <...> Эта обширная программа переустройства России к 1927 — 1932 годам, быть может, превосходящая реформы Александра II, простёрла бы Россию ещё невиданную и небывавшую, впервые в полном раскрытии своих даров» (там же, стр. 201, 243).

У Столыпина нет личных амбиций, собственные достижения он без колебаний приписывает Николаю II, не упускает «случая прославить Государя,

поставить в центре народных торжеств <...>, упоминать его только в тонах высочайших, приписывать ему заслуги собственных догадок и законов» (*Август 14*, т. 2, стр. 220). Он пытается повернуть депутатов Государственной думы от партийных интриг и мелкой политической борьбы к общему делу для блага России: «Он всё выступал перед 2-й Думой, надеясь образумить её и спасти для работы», «призывал к терпеливой работе для родины»; «Быть может, и он ожидал встретить здесь не этих, по арифметике населения он мог бы рассчитывать встретить здесь Думу крестьянскую, но вот оказалась такая — он и к ней обращался со всей серьёзностью, надеясь и этих убедить, несколько не подлаживаясь под оттенки их стиля, несколько не стыдясь обруганного понятия „патриот“» (там же, стр. 201, 175).

Но Столыпину не суждено спасти Россию. Его провиденциальная миссия так и осталась только одним из неразвязанных узлов вероятностной истории России. Само его появление в первом ряду государственных деятелей Солженицын квалифицирует как чудо: «Среди сотен государственных назначений — почти всегда ошибочных, близоруких, даже ничтожных — чудо русской истории было это назначение 26 апреля 1906 года в первый думский кабинет <...> на рубеже нового, думского периода России» (*Август 14*, т. 2, стр. 173). Однако по мере развертывания своей реформаторской деятельности Столыпин оказывался во все более глубокой изоляции среди того общества, которое он намеревался лечить: общество было не готово сознать собственное благо. Сначала в поддержке Столыпину отказали октябристы во главе с Гучковым, затем — вся Дума (за исключением крайне правых, преследовавших, впрочем, по разным причинам собственные цели), и, наконец, полусумасшедший террорист, своего рода воплощение отношения к Столыпину левых радикалов, его убил. Вся эта последовательность событий имеет один источник — идеологию.

Столыпин, имевший в виду практическую, реальную пользу России и строивший свою реформу на органических основаниях, принципиально чуждался всякой идеологии, тем более идеологий отдельных политических партий. «Любя Россию, а к партиям равнодушный, он не примыкал ни к одной, был свободен от давления любой из них и поднялся над ними всеми, при нём партии потеряли свою опрокидывающую силу. Вокруг него было прополото всё мелкое политиканство. Он был чужд мелочей, а потому и — мелкого самолюбия» (*Август 14*, т. 2, стр. 223). Общество же, десятилетиями приучавшееся к популистской и революционной пропаганде, ни понять, ни оценить масштаб личности Столыпина не могло — общество собственной волей выбрало не реформы, а — идеологию.

Общество открыто радовалось смерти премьер-министра. «Ни всё почтенное сословие присяжных поверенных <...>, ни вся почтенная пресса, включительно до «профессорских» газет, — за важнейшим вопросом, можно ли считать Богрова честным революционером, не задались вопросом другим: а имеет ли право 24-летний хлюст единолично решать, в чем благо народа, и стрелять в сердце государства, убивать не только премьер-министра, но целую государственную программу, поворачивать ход истории 170-миллионной страны?» (*Август 14*, т. 2, стр. 282).

Смерть Столыпина облегчила и дальнейший выбор Николая II — выстрел Богрова прозвучал в тот момент, когда отставка премьер-министра была уже предрешена. Выбор царя совпал с выбором радикальной интеллигенции, и Столыпин был вычеркнут из русской Истории.

И вновь перед нами проблема ответственности тех, кто мог бы совершить верный и осмысленный исторический выбор, но не сделал его. В результате потенциальный спаситель России гибнет, а торжествует антагонист Истории, мастер мелкопартийной интриги — Ленин.

Философы и либералы. Якобинцы и большевики

Французские философы эпохи Просвещения и русская либеральная интеллигенция начала XX века выполнили одинаковую функцию в революционных сюжетах каждой из стран. Нащупывая слабые места государства, они ме-

тодически расшатывали его основания, нимало не заботясь о том, чем кончится такое расшатывание.

Конечно, вряд ли есть смысл сравнивать саму интеллектуальную деятельность и последующую историческую репутацию Монтескьё, Вольтера, Руссо, Дидро — с одной стороны, и, скажем, Милюкова — с другой. Слишком различен в глазах потомства вес тех и других. Но в рамках сравнения «Истоков...» и «Красного Колеса» подобная параллель вполне уместна, тем более что те и другие являются идеологами революции.

Французскую философию эпохи Просвещения принято называть философией во многом благодаря тому, что во французском языке слово «идеология» отнюдь не приобрело того значения, каким обладает в русском. По-русски же философию Монтескьё, Вольтера, Дидро, Руссо, Мармонтеля, Мабли подобало бы именовать как раз идеологией, ибо философская мысль их сочинений слишком была направлена на повседневную реальность и слишком легко, независимо от их собственной воли, преобразовалась в устах площадных ораторов в систему революционных лозунгов и кличей.

Тэн редко употребляет слово «идеология», но смысл деятельности философов сводится у него к тому же, что и смысл политической активности русской либеральной интеллигенции у Солженицына, — к разрушительной идеологической игре. Разница лишь в том, что для французских философов игра идей так и осталась чистой игрой — почти никто из них не дожил до 1789 года, а для русских либералов эта игра стала частью того политического спектакля, в котором они сами исполнили первые роли и который они так бездарно провалили.

Провал русской либеральной интеллигенции в 1917 году объясняется Солженицыным как раз идеологической зашоренностью тех, кто встал у власти во Временном правительстве. Имея прямую возможность повлиять на ход истории, либеральная интеллигенция «сробела, запуталась, её партийные вожди легко отреклись от власти и руководства, которые издали казались им такими желанными, — и власть, как обжигающий шар, отталкиваемая от рук к рукам, докатилась до тех, кто ловили её и были кожей приготовлены к её накалу» (Публ., т. 1, стр. 85), — до большевиков.

Параллель «якобинцы — большевики» слишком очевидна независимо от сравнения «Истоков...» и «Красного Колеса», ибо большевики на своем пути к власти воспроизвели многие приемы якобинцев, и нет смысла повторять здесь вещи общеизвестные. Остановимся лишь на том, что, с точки зрения Тэна и Солженицына, является движущими импульсами тех и других.

Как о якобинцах, так и о большевиках можно сказать словами Тэна, определяющими смысл деятельности Робеспьера: «От философии он взял только один мертвый субстрат, заученные формулы, несколько ярких фраз, смысл которых, плохо понимаемый их авторами, в исполнении их последователей и во все улетучивается» (*Истоки*, т. 2, стр. 114). Доказывать идеи общественного договора, устанавливать религию разума, утверждать историософскую формулу неизбежности перехода от капитализма к социализму с помощью гильотины и пулемета — такое могут допустить только люди больные. Это та же болезнь, что у философов и либеральных интеллигентов, — зараженность идеологией: «...она передаётся от соприкосновения, и никак нельзя устоять» (*Октябрь 16*, т. 1, стр. 348). Когда не человек «владеет идеями, а идеи владеют им» (слова Тэна о Дидро — *Истоки*, т. 1, стр. 199), дело плохо: реальность ускользает, и начинается бред. «И куда-то <...> всё понесло, ещё сильнее, покружило, или посыпало <...>, но несло их куда-то прочь от человека, желающего определить себе правильные действия. Смысл мелькал до того карусельно, что его нельзя было придержать...» (*Октябрь 16*, т. 1, стр. 343).

Разница между философами и либералами, с одной стороны, и якобинцами и большевиками, с другой, — не качественная, а количественная. Если философы у Тэна выглядят только психически неуравновешенными личностями (Дидро «не может справиться с собой»; Руссо «болен душой и телом»; Вольтер «не способен сдерживать себя» и «раздражителен, как никто из людей», — *Истоки*, т. 1, стр. 199, 201, 197), то лидеры якобинцев предстают клинически больными людьми: «У большей части новых властителей наблюдаются психические расстройства» (*Истоки*, т. 2, стр. 156). Марат находится постоянно «в состоянии чрезмерного возбуждения», у него «приступы раздражительности,

бессонница, свинцовый цвет лица, испорченная кровь», — все это в конечном счете выливается в «манию преследования» и «параноидальный страх за свою жизнь». Робеспьер «измучен внутренним разладом», его душевный «механизм, разъедаемый изнутри своим же собственным ядом, сломался» (*Истоки*, т. 2, стр. 97 — 98, 125).

У Солженицына все, конечно, сложнее, ибо его герои представлены читателю не в монологическом авторском повествовании, а через разнооценочные мнения других. С учетом этого и надо воспринимать те определения лиц, которые встречаются на страницах «Красного Колеса». Среди них легко обнаружить вполне тэновские: «бледный сброд», «истерики» (это думает Набоков о Временном правительстве), «самоупоённый поджигатель и с театральным вывертом» — Керенский, «неуравновешенный идиот Владимир Львов», «и ещё один неуравновешенный, романтик Шульгин» (а это Гучков — о том же Временном правительстве) (*Апрель 17*, т. 1, стр. 418; *Март 17*, т. 3, стр. 95).

При изображении же большевиков Солженицын стягивает своих героев к единому центру — Ленину: «И все, все эти разные люди пересекались как в центре — в Ленине. Взаимодействовали с ним — и уже как бы истекали из него» (*Апрель 17*, т. 2, стр. 244). И тут необходимо обратить внимание на тот страшный образ ленинского мозга, который является одним из важнейших смыслообразующих центров «Красного Колеса»: «Но — голова... Но голову носил Ленин как драгоценное и больное. Аппарат для мгновенного принятия безошибочных решений, для нахождения разительных аргументов, — аппарат этот низкой мстительностью природы был болезненно и как-то, как будто, разветвлённо поражён, всё в новых местах отзываясь. Вероятно, как прорастает плесень в массивном куске живого — хлеба, мяса, гриба — налётом зеленоватой плёнки и ниточками, уходящими в глубину: как будто и всё ещё цело и всё уже затронуто, невыскребаемо, и когда болит голова, то не всю ощущаешь её больную, но такими отдельными поверхностями и ниточками. <...> От этой головы отделаться — некуда! Всё в мире ждёт твоих оценок и решений! всё в мире можно направить твоею волей! — а сам ты уже стиснут, и вырваться — невозможно!» (*Март 17*, т. 2, стр. 671).

* * *

Повествование Солженицына обрывается на апреле 1917 года — времени, когда власть еще находится в руках Временного правительства, времени, аналог которого описан Тэном в конце третьей книги «Революции». Дополнение Солженицына к изданным «узлам» «Красного Колеса» содержит подробный план последующих шестнадцати «узлов», рассказ о которых потребовался бы, чтобы создать полнейшую картину русской революции: предполагаемый финал эпопеи происходит в 1922 году — закончена Гражданская война, власть полностью сосредоточена в руках большевиков, и страна переходит из бурного состояния анархии и явного террора в состояние скрытого террора при показном благополучии.

В сущности, этот план ненаписанных «узлов» соединяет «Красное Колесо» с другим историческим сочинением Солженицына, написанным раньше, — «Архипелагом ГУЛАГ». Не удивительно, что революционный террор, ставший некогда у Тэна кульминацией его повествования о Французской революции, остался за пределами повествования Солженицына в «Красном Колесе». Эпоха большевистского разгула растянулась в России на семьдесят с лишним лет дольше, чем Французская революция (и если согласовывать послереволюционные события во Франции и России, Россия только сейчас вступает на порог своего Термидора). В «Архипелаге...», в отличие от «Красного Колеса», показано остановившееся время — время, в котором нет места потенциальным историческим возможностям личности. Конечно, Солженицын признает эволюцию нового режима в России, но это эволюция форм, не сущности. Сущность же его на протяжении всех семидесяти с лишним лет однородна: это режим концентрационного лагеря. Поэтому характерно, что в «Архипелаге...» нет никаких «узлов»: при изучении советской эпохи диахронический анализ неуместен — в лагере один день слишком похож на другой, и история останавливается там свое течение.

Таким образом, место, которое занимает эпоха террора в творчестве Солженицына, вполне эквивалентно месту, занимаемому террором на страницах «Истоков...» Тэна, — большевистский террор оставался центром творчества Солженицына, и в «Красном Колесе» автор предпринял опыт исследования истоков этого феномена.

Почему же Солженицын остановился в своем повествовании? Видимо, потому, что, дойдя до февраля 1917 года и рассказав затем о первых месяцах Временного правительства, он обнаружил, что дошел до того истока, откуда вытекают все дальнейшие события в русской истории XX века.

Сам Солженицын говорил, что чем внимательнее изучал предоктябрьскую историю России, тем более убеждался: все решилось уже в феврале 1917 года, а Октябрьский переворот — это лишь заключительный момент в цепи нереализованных возможностей русской жизни. «Но вник я в Февральскую революцию — и всё мне переосветилось. Я-то рвался к Октябрьской, Февраль казался только по дороге — а тут я понял, что несчастный опыт Февраля, вот, его осознание — это и есть самое нужное сейчас нашему народу» (*Публ.*, т. 2, стр. 355).

По мере приближения солженицынского повествования к кульминации в феврале 1917-го ход рассказа все замедляется и замедляется. Происходит так, бесспорно, потому, что, приступая к изображению решающего момента в русской истории, поставившего на карту судьбу целой нации, Солженицын ощущает особенную ответственность за раскрытие «всей правды» того периода, когда история распадается на мелкие фрагменты, когда человек, все больше и больше освобождающийся от привычных общественных обязательств, предоставлен сам себе и действует по своему собственному усмотрению, когда каждый становится действующим лицом истории, когда важен каждый личный выбор, когда в раздробленном на части обществе ничего больше не стоят законы, а единственный способ выявить закономерности будущего развития новообразовавшегося государства, кажется, заключается в описании жизненного пути каждой отдельно взятой личности. «Невозможно писать плавно повествовательные главы, когда события происходят по часам, по минутам и когда через три дня страна уже не та, что была три дня назад» (*Публ.*, т. 2, стр. 530).

Такая позиция объясняется, может быть, и другой, более глубокой причиной: автор вероятностной истории, Солженицын не мог отказаться от повода как можно более подробно рассказать о ситуации полной свободы в русском обществе — о ситуации, когда все еще можно изменить. Впрочем, конечно же, «полная свобода» — иллюзия, и Солженицын это прекрасно сознает, показывая, как ход истории постоянно колеблется между свободой выбора и жесткой заданностью в действиях людей. Тот, кто в момент предоставившейся ему свободы ошибается в выборе или вовсе отказывается от него, неизбежно окажется скоро во власти непреодолимых усилий воли обстоятельств. Чтобы подчеркнуть это, Солженицын увеличивает количество «узлов», больших и малых, предполагающих возможность изменения исторического процесса. Но он не может не признать, что каждый новый «узел» «стянут» куда туже, чем предыдущий, и что с каждым новым «узлом» предлагаемая свобода выбора оказывается все более и более ограниченной, пока наконец, с приближением октября 1917-го, русская история не становится фатальной.

В конечном счете все зависит от воли Провидения. «Слово Провидение не хочется употреблять всуе. Произнося это слово — вступаешь в область торжественного. Я — убежден в присутствии Его в каждой человеческой жизни, в своей жизни, и в жизни целых народов. Только мы так поверхностны, что во время ничего не можем понять. Все изгибы жизни нашей мы различаем и понимаем с большим-большим опозданием. Так, уверен я, когда-нибудь поймём мы и замысел о Семнадцатом годе» (*Публ.*, т. 2, стр. 371).

Если исходить из этого утверждения, можно полагать, что революция — это испытание, ниспосланное России Провидением. Такой вывод напрашивается сам собой, даже если он и не сформулирован четко в «Красном Колесе». Однако если замысел Провидения непостижим в тот момент, когда этот замысел осуществляется, как обыкновенный человек может угадать, в какой мере его свободная воля противоречит или соответствует Вышнему замыслу? На этот вопрос в «Красном Колесе» есть ясные ответы, как бы обрамляющие все повествование. Это реплики генерала Мартоса в «Августе Четырнадцатого» и

Сани Лаженицына в одной из последних глав «Апреля Семнадцатого»: «...продолжать напористо, как продолжает играть опытный актёр, всё равно уже выйдя на сцену, хотя бы видел он, что партнёры его сбились и несут окошечку, что у героини отклеился парик, что отвалился щит от декораций, что сквозняком несёт, что публика громко шепчется и почему-то жмётся к дверям. Продолжать играть-воевать с отчаянной лёгкостью: пусть только не от него провалится спектакль, а может, ещё и вытянем» (*Август 14*, т. 1, стр. 337); «...я думаю... Простой человек ничего не может большего, чем... выполнять свой долг. На своём месте» (*Апрель 17*, т. 2, стр. 531).

Проблема долга прямо связана у Солженицына с вопросом о личной ответственности человека. Даже в тех фатальных условиях остановившегося времени, описанных в «Архипелаге...», удавка обстоятельств не всегда давила горло с равномерной силой. Поэтому и тогда возможно было искать момент выбора для исполнения долга. «Всякий путь надежды должен быть испытан. Всякий тупик должен быть доказан» (*Март 17*, т. 2, стр. 322). Этим испытанием надежд и доказательством тупиков человек и может нащупать ответ на вопрос о загадках, задаваемых ему Провидением.

Наиболее точно сам Солженицын сформулировал эту идею на конференции для прессы в 1975 году в Париже, когда объяснял смысл своего «Письма вождям»: «Моё «Письмо вождям» было во многих отношениях неправильно истолковано здесь. Прежде всего, то, что написано в «Письме вождям», не есть никакой универсальный совет для всего мира, это не есть теория: давайте в каждой стране вот такой путь изберём. Это только — с болью в сердце предвидение, что произойдёт в нашей стране, если нынешние правители Союза доведут до взрыва. У нас начнётся не социальная революция, у нас начнётся национальная резня, и целые народы лягут в могилы. До того довело советское правительство национальные отношения. Так что речь идёт <...> о том, как спасти нас от полного уничтожения. <...> то, что я предлагал вождям Советского Союза, есть некоторый плавный выход, без взрыва и без кровопролития. <...> нам нужна демократия, но откуда мы её возьмём? <...> Остаётся просто Бога молить: Господи, пошли нам завтра внезапно полную демократию! Но Бог не вмешивается так просто в человеческую историю. Он действует через нас и предлагает нам самим найти выход» (*Публ.*, т. 2, стр. 179).

Когда были сказаны эти слова, Россия еще пребывала в состоянии вполне коммунистическом, а Солженицын только что начал работу над «Красным Колесом». Когда был дописан «Апрель Семнадцатого» и составлен план следующих «узлов», Россия уже вступила в эпоху своего Термидора, причем для Солженицына было очевидно, что выход из коммунистического тупика — это как бы возврат к тем потенциальным возможностям, которые не были реализованы до февраля 1917-го. И характерна первая реакция автора «Красного Колеса» на тот наплыв свободы собраний и мнений, который накатила на страну в последние два-три года перестройки: «Вот, в кипении митингов и нарождающихся партиек, мы не замечаем, как натянули на себя балаганные одежды Февраля — тех злоключных восьми месяцев Семнадцатого года. А иные как раз заметили и с незрячим упоением восклицают: „Новая Февральская революция!“» Это сказано в статье «Как нам обустроить Россию?».

Понятны слова человека, лучше многих знающего, что такое Февраль Семнадцатого и чем он кончился. Понятен и смысл его предостережения. К этому, однако, можно добавить слова Воротынцева из «Красного Колеса»: «Не сами ли мы эти параллели нагоняем? А как бы усилия приложить — распараллелить? Мало нам хорошего — ту историю повторять» (*Октябрь 16*, т. 1, стр. 332).

Смысл истории не может быть сведен к повторению старых путей в знакомые тупики. В каждую новую эпоху завязываются новые «узлы» и возникают уникальные возможности для реализации замысла Провидения, была бы для исполнения этого замысла свободная воля чувствующих историю и свой нравственный долг людей. Не факт, конечно, что жизнь от их свободного выбора станет лучше. Но точно — будет иной.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

СЕРГЕЙ КОСТЫРКО



О КРИТИКЕ ВЧЕРАШНЕЙ И «СЕГОДНЯШНЕЙ»

По следам одной дискуссии

Наверно, самый непродуктивный способ мышления — это спор: слишком много энергии уходит в пар и свисток.

Дискуссия о феномене современной газетной критики начиналась корректно и обещала плодотворный разговор. Но дошло до личностей — и все раскалилось, вздыбилось¹. Дымом затянуло сам предмет разговора. Начались выяснения (разборки), кто есть кто в критике. А жаль. Жаль, что важнейшие — принципиальные для нынешнего состояния литературы — понятия проговариваются слишком разгоряченными людьми и слишком на бегу. Я предлагаю остановиться, может быть, чуть вернуться назад. Даже и понимая, насколько спокойный — с повторением пройденного, с апелляцией к очевидному — разговор будет проигрывать в увлекательности.

Итак. Предмет разговора: роль критики сегодня. То есть кому, зачем и в каком качестве нужен критик.

Почти маниакальное постоянство, с которым критики обращаются к этому вопросу, не значит, что разрешить его невозможно. А значит, что на каждом этапе развития общества и литературы она, эта роль, разная. И разговор об этом имеет смысл, только когда анализируются взаимоотношения между сегодняшней жизнью, сегодняшней литературой и сегодняшней критикой. Именно так, как делается это в статьях Павла Басинского и Евгения Ермолина. На содержании этих статей мы остановимся еще и потому, что в них «концептуально» прописана одна из характерных для нынешней критики и существенных для нашего разговора позиций.

Начнем со статьи Евгения Ермолина. «Середина 90-х. Хмурое утро неясного дня. Полюс холода упразднен. На время или навсегда в края оцепеневшего холода пришли тепло и свет. Льды сошли, снега растаяли. Обнажились грязь и копоть, смрад и бред миновавшей эпохи. Только день никак не разгуляется. Старое, кажется, кончилось — а новое так и не началось, несмотря на все уговоры», — такой представляется автору ЖИЗНЬ. А вот КРИТИКИ на фоне этой жизни: «И вдруг из этой тошнотворной обыденности вы попадаете в совсем не будничный мир, в чудесную оранжерею с экзотическими растениями, диковинными цветами». Кто обитает в этой оранжерее, что это за так некстати расцветшие «диковинные цветы»? Это критики и обозреватели раздела культуры газеты «Сегодня» и «Независимой газеты»: «отборное общество эрудитов, экспертов, талантов. Ослепительная публика, объединенная сознанием собственной отмеченности, принадлежности к культурно-авангардному бомонду». «Страницы культуры и искусства (в этих газетах. — С. К.) вовсе не рас-

¹ Имеются в виду статья Евгения Ермолина «Примадонны постмодерна, или Эстетика огородного контекста» («Континент», 1995, № 84) и статьи в «Литературной газете» Павла Басинского, Александра Архангельского, Дмитрия Бака, Дмитрия Быкова, Вячеслава Курицына и других.

считаны на заинтересованное внимание сколько-нибудь широких читательских масс. Скажу больше: здесь делается все, чтобы оттолкнуть обычного, так сказать, рядового читателя». Культивируется эстетическая и прочая самодостаточность. Критики укрылись от реальной жизни в некоем ими же самими придуманном и созданном «контексте». И потому — «здесь ли заводить разговоры о доблестях, о подвигах, о славе, ставить вопросы о человеческом уделе, о путях России, о красоте и художественной правде»?

Еще более безотрадную картину рисует в своих статьях Басинский. Если у Ермолина пусть хмурое, но все же — утро, то у Басинского — черная мгла опускается на литературу. Пафос почти апокалипсический. Свет над литературой угас окончательно, мы «после захода солнца, когда уже невозможно различить: кто есть кто». Вокруг «общая атмосфера цинизма и прагматизма», «чехарда кризисного времени (когда начальство ушло)», в которой мечутся «новоиспеченные главные редакторы» журналов, сменившие «старых, советских». «Самое тусклое время в русской литературе». Читатели ушли от литературы. Журналы, в которые она, эта литература, переселилась, теряют подписчиков. «Тиражи «толстых» журналов приближаются к нулю. Я не хочу даже поднимать вопрос, КТО ЕЩЕ их выписывает: реальные фанаты читатели... или организации...» На опустевших просторах литературы разбойничают и распутничают приговы и ерофеевы (Викторы). И только некоторые блаженненькие неистовцы критики, не заметившие, что огонь в их печах давно погас, все мечут и мечут туда дрова. Бесплезно. Нынешние журналы и литература, в них представленная, — это жизнь после смерти. Театр восковых фигур.

И так далее.

Сильно пишет Басинский. И потому вот здесь, тормозя разбег в самом начале, я вынужден остановиться и выступить в роли зануды. Ибо от исходных положений зависит ход дальнейшего разговора. А в лихо набросанных обоими критиками образах меня, например, останавливает осязаемое присутствие хорошо знакомой интонации, предполагающей наличие словосочетаний типа «само собой разумеется, что...», «общеизвестно, что...» и т. д. Важно не проскочить бездумно мимо таких общеизвестностей. Потом спорить будет поздно.

На мой взгляд, здесь демонстрируется особое полемическое щегольство. Оно заключается в игнорировании очевидного, много раз говоренного и давно не вызывающего возражений. Ну, например, в игнорировании неопровержимого факта, что среда обитания литературы изменилась и что литература, соответственно, меняет некоторые свои функции. Что в этом процессе есть и обретения, и потери. Что сказать «случилось страшное» или «свершилось замечательное» — ничего не сказать. И т. д. Об этом писалось особенно много года три-четыре назад. Но для Ермолина и Басинского в данном случае, похоже, не важно, правы были те писавшие или нет.

Они начинают с белого листа: хмурое утро (темная ночь), тошнотворная реальность, омертвевшие журналы и прочее, и все это — в интонации констатирующей. И отсутствие аргументов в защиту столь мрачного восприятия действительности вынуждает на такие же ответные лирико-публицистические отступления.

Да, не спорю, тиражи журналов лет десять назад были гораздо выше. И значили журналы в определенных смыслах несравнимо больше, чем сейчас. Была, действительно была некая гармония во взаимоотношениях журналов и читателей. Была и кончилась — нет того читателя, нет тех журналов.

И можно, конечно, посокрушаться над утратой.

Но можно ведь и вспомнить, чем оплачивалась та гармония.

Вспомнить почему-то умиляющую сегодня многих, а по мне, так крайне унижительную для человека, «которому повезло родиться в одной из культурнейших европейских стран» (Басинский), почти подпольную, почти кротовью атмосферу нашего культурного общения, вспомнить ее атрибуты: бледные ксерокопии или третьи (из-под копирки) экземпляры машинописи романа Набокова, кухонные ночные разговоры про Солженицына или Аксенова под магнитофонный голос Галича. Можно вспомнить писателей, годами носивших по редакциям одни и те же папки; состарившихся, поседевших, полысевших под шепоток друга-редактора: ну потерпи, старик, еще немножко, вот свалим/отметим пятидесятилетие (столетие, «предсъездовскую вахту») — и тогда попро-

буем: вдруг да пройдет! Или писателей, которые, не выдержав, отдавали тексты в «Континент» или «Грани», и долгожданный для пишущего праздник выхода в свет его произведения становился началом его персональной голгофы.

Да, тогда слово писателя значило больше. И в самом начале «оттепельных» времен, когда толпы рвавшихся на читательскую конференцию по роману «Не хлебом единым» сдерживала конная милиция. И уже в более близкие, предзакатные для той литературной эпохи времена, когда пяти-шести рассказов, рассеянных по журналам, хватило Татьяне Толстой, чтобы стать (на время) знаменитым русским писателем.

Прав Басинский. Конной милиции на читательской конференции сегодня не представишь. И чтобы стать даже не знаменитым, просто — известным, пяти рассказов сегодня будет, пожалуй, маловато.

Ну и что из этого вытекает? «Самое тусклое время в литературе»? «Тошнотворная реальность»?

А может, просто **НОРМАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ**? Литературная — во всяком случае.

Меня, например, всегда немного пугала легкость, с которой вот так, походя, мимоходом, можно мазнуть: «тошнотворная реальность», «самое тусклое», «цинизм и прагматизм», и дальше, дальше — к частностям. С общим все как бы уже и ясно. А мне — нет. Мне хотелось бы разобраться. Поспорить. Но как спорить с «тошнотворно»? Тут ведь не анализ, не рассуждение, тут — физиология. Такие «психомоторные» аргументы в принципе неопровержимы. Не будешь ведь всерьез ссылаться на собственную физиологию: «А вот на мой вкус, например...»? Речь у нас не о вкусах. Речь — о понимании. Поэтому, не вступая в спор, а чтобы просто была понятна логика моих дальнейших рассуждений, для справки скажу, что нынешнюю реальность тошнотворной и циничной не считаю. Превенная для меня была несравненно более тошнотворной и циничной. В своих рассуждениях о взаимоотношениях литературы с наступившей жизнью исхожу из убеждения, что, несмотря на драматическую неустойчивость нынешнего политического и экономического равновесия в стране, несмотря на зыбкость перспектив и на звероватость нашей свободы и демократии, нынешнее положение России можно назвать если не нормальным, то двинувшимся в сторону **НОРМЫ**. Убеждаюсь в этом каждый раз, обращаясь к отечественной истории.

Да, времена изменились. И журналы уже не претендуют на роль общественных лидеров. В таком качестве они, похоже, уже не нужны. Журналы становятся прежде всего **ЛИТЕРАТУРНЫМ** явлением.

Соответственно изменилась и читательская аудитория. Не исчезла, а — изменилась. Читают по-прежнему много. Во-первых, газеты. И это естественно, это не так унижительно, как вылавливание новостей сквозь радиозаглушки и знакомство с современной общественной мыслью по намекам из процеженной через цензуру критической статьи в толстом журнале. Во-вторых, читают любовные (детективные, сентиментальные, «жизненные» и прочие) романы. И это тоже естественней, чем выписывать годовой комплект «Иностранной литературы» ради одного романа Хейли или двух-трех повестей, где есть не стесненное идеологией изображение нормальной свободной жизни. И наконец, вот он — сидит и читает в толстом журнале повесть Пелевина. Один-разъединный на весь вагон электрички, шелестящей газетами. Мало? Сколько есть. На мой взгляд, вполне достаточно для существования Литературы.

Не думаю, что кто-нибудь из моих современников помнит такое цветущее и богатое время в литературе. Еще лет десять назад при перелистывании убористо набранных страниц толстого журнала с тоской думалось: неужели среди такого количества текстов — а сколько умов и талантов над ними работали! — неужели не найдется ничего для чтения? И, как правило, не находилось. (Не поленитесь, полистайте, скажем, «Новый мир» или «Юность» рубежа 70 — 80-х годов.) Сегодняшние журналы закрываешь с другим — тоже отчасти тяжелым — чувством: каждый второй номер хочется отложить, чтобы потом, выбрав время, сосредоточенно прочитать, прочувствовать, продумать. И... уже не откладываешь. За последние годы — завал непрочитанного. Это раньше, раньше надо было читать — свободно и не-

стесненно — и Соловьева, и Набокова, и Барта, и Джойса, и Борхеса, и Вячеслава Иванова, и Миллера, и Степуна, и Хейзингу, и Пауля Тиллиха. Раньше, когда и журналы были журналами, и главные редакторы — главными редакторами, только почему-то для чтения предлагали толченые опилки в исполнении г.г. Маркова и Феликса Кузнецова со товарищи.

«Старые» журналы переживают свое новое и, на мой взгляд, удивительное время. Добавьте к ним огромное количество новорожденных журналов и альманахов — «Соло», «Вестник новой литературы», «Вавилон», «Митин журнал», «Новое литературное обозрение», «Несовременные записки», «Уральскую новь» и так далее, и так далее, и так далее. И это не просто новые названия, это обозначения все расширяющегося и расширяющегося пространства литературы. За каждым из них — свой круг писателей и читателей, свой круг тем, своя эстетика. Появились даже такие изыски, как журнал «Диалог. Хронотоп. Карнавал», посвященный изучению творчества Бахтина, или журнал «Мир Пастуховского» — свидетельство развитой здоровой культуры.

Надеюсь, что ни Ермолин, ни Басинский, ни их единомышленники не станут оспаривать самого факта сложности и многообразия нынешней культурной жизни. Другое дело — оценки. Басинский однажды употребил выражение «цветущая сложность», правда с прибавлением слова «якобы» и в тональности, в какой обычно произносится словосочетание «пир во время чумы». Примерно так, как Ермолин оценил наличие эстетствующих интеллектуалов в отделе «Искусство» газеты «Сегодня»: оранжерейные цветы на фоне хмурого утра. Зачем они такие яркие и прихотливые — в условиях общего нездоровья?

Но независимо от оценок факт почти кардинального изменения ситуации в культуре признан всеми, и для всех очевидно, что этим предполагаются определенные изменения и в действиях современной критики. Как, в каком качестве, с какими целями должен выступать сегодня критик? — такой вопрос прозвучал бы актуально лет пять назад. Сегодня же, когда мы накопили некоторый опыт жизни и работы в условиях «эстетического плюрализма» и «цветущей сложности», вопрос следует сформулировать иначе: какие из представленных в современной критике эстетические принципы и модели профессионального поведения критиков наиболее соответствуют нынешней литературной ситуации?

Прежде всего — произошло разделение функций газетной и журнальной критики. В сущности, до недавнего времени газетной критики как особой, специфической формы просто не существовало. Газетная статья или рецензия отличались от журнальной меньшим размером и, может быть, некоторой облегченностью языка.

Не вдаваясь в подробный анализ этого разделения, отметим: журналы как бы молча согласились на лидерство газет в оперативной практической критике. К этому понуждали, во-первых, многообразие и динамичность новой культурной жизни, неохватность ее для любого ежемесячника. Во-вторых, журналы оставили за собой ту работу, которую могут делать только они. А именно, анализ составных нынешнего литературного процесса в «концептуальной статье» и развернутой рецензии — единственно, где в разборе художественного произведения привлекается накопленный современным литературоведением инструментарий.

Газетная же критика стала более мобильной и информационной. Менее «фундаментальной», менее установочной, но более живой, эскизной. Взаимоотношения той и другой отдаленно могут напоминать взаимоотношения между фундаментальной наукой (журнальная критика) и прикладной. Понятно, что журнальная критика, более укорененная в теории, в эстетике, изменилась сравнительно мало. То, к чему она крепится, вообще меняется медленно. Ну а газетная изменилась совершенно. Я не буду касаться здесь некоторых специфических ее форм, скажем «коммерческой критики», то есть рекламы, замаскированной под рецензию, под интервью с писателем или под информационную заметку. Речь о критике, ищущей новые формы взаимоотношения с литературой и культурой.

И разговор об этом — тут я согласен и с Басинским, и с Ермолиным — удобнее вести как раз на материале критической практики газеты «Сегодня». Как наиболее характерной, знаковой, для нынешней ситуации.

Сам проект полосы — сужу по исполнению — предполагает максимальную широту охвата культурных событий при относительно скромных возможностях. Здесь представляются — регулярно и оперативно, то есть сразу по выходе каждого номера — обзоры ведущих журналов («Знамя», «Новый мир», «Дружба народов», «Иностранная литература», «Октябрь», «Звезда», «Нева», «Волга», «Урал», «Вопросы литературы» и др.). Рецензируется подавляющее большинство сколько-нибудь значительных художественных и гуманитарных изданий. Помещаются обзоры наиболее интересных видеолент. Музыкальных записей. Рецензии на все заметные теле- и кинопремьеры. Репортажи с театральных и кинофестивалей. Описания всех значительных выставок изобразительного искусства. И все это не в бесстрастно-регистрирующей, перечислительно-аннотационной манере, а перьями одаренных, обладающих каждый своей индивидуальностью обозревателей. Обозревателей постоянных, практически несменяемых, образующих некую единую команду.

Уже эта, на первый взгляд, чисто техническая сторона организации дела имеет свое содержательное, если угодно, концептуальное значение. Для нас все же привычнее старые, более традиционные способы отслеживания событий культурной, в частности литературной, жизни. Те, которых, на мой взгляд, до сих пор придерживаются и старые газеты («ЛГ»), и часть новых («Общая газета»). Способы, дошедшие до нас с тех, впрочем, недавних времен, когда литература воспринималась читателем (и писателем) прежде всего как дело общественное. Критика — тем более. Эстетическая проблематика, бытийная были в критике все-таки на втором месте, после проблематики остросовременной. Заниматься поэтикой та «критика никогда не любила. Литературоведу — литературоведово. И о стихах писали как о прозе, опять-таки в контексте общегуманитарного разговора. Бахтин и Тынянов, Эйхенбаум и Лидия Гинзбург — отдельно, современная литература — отдельно: сферы влияний практически не соприкасались»². Можно сказать, что тогдашняя критика и, соответственно, тогдашние критические разделы газет, отчасти и журналов, откликнулись не на художественное произведение, а на некое действие, которое им производилось или могло быть произведено. Это была естественная и необходимая практика — так общество защищало себя.

Сегодня же литература из части Общего дела сама становится Делом. Событием уже может считаться сам факт появления художественного произведения как такового, побуждающего критика в разговоре об этом произведении исходить не из общественно-политического контекста, а из заданного самим произведением круга тем и уровня их осмысления. И вот здесь, на мой взгляд, более естественны принципы подачи критического материала в газете «Сегодня».

И наконец, вопрос, поставленный с самого начала: нынешняя роль критики (критика) сегодня.

Басинский и Ермолин предлагают свои, во многом сходные, определения: «Критик — это идеальный посредник. Он прокладывает пути и строит мосты. Связывая писателя и читателя...» (Ермолин). «Насколько я понимаю роль комментатора — спортивного, политического, литературного... — она заключается в том, чтобы из непонятого делать понятное. Вот по стадиону бегают человечки в цветных майках. Они забавно прыгают, суетятся, толкают ногами мяч. А комментатор говорит: это такой-то, это такой-то. Первый — защитник. Второй — нападающий» (Басинский). Казалось бы, просто и ясно — посредник, комментатор. Но простота и очевидность такого определения, если хоть чуть-чуть вдуматься, оказывается мнимой. Есть писатель. Он пишет книги. Кому? Читателю. Но, оказывается, чтобы читатель понял писателя, нужен критик, который должен перевести эту книгу на язык понятий, доступных читателю. И наоборот — критик должен осуществлять обратную связь, объяснять писателю, чего читатель от него, писателя, ждет. Вот такая необходимая в литературе фигура — человек, в отличие от читателя и писателя владеющий сразу двумя языками: читательским и писательским. И возникает вопрос: если писатель не в состоянии сам объясниться с читателем — зачем взялся? И если писатель во-

² Иванова Наталья. Между. О месте критики в прессе и литературе. — «Новый мир», 1996, № 1.

обще не знает, что он как писатель должен делать, о чем и как говорить с читателем, почему он писатель? И наконец, если критик может лучше писателя объяснять сложные и нужные читателю вещи и лучше писателя знает, чего от него ждет читатель, зачем он сам не писатель?

Выше я привел только половину ермолинского определения, ту часть, которая совпадает с формулировкой Басинского. Цитирую Ермолина дальше: «...связывая писателя и читателя, человека и человека, человека и Бога, критик не может существовать в совершенно автономном статусе. ...Самоизолировавшись от мира, она (критика. — С. К.) отдается бесцельному словопроизводству, не обеспеченному высшей целью, лишенному вектора серьезной и ответственной воли. Автор монолога, летящего в пустоту, не знает своего долга: долга критика перед литературой и читателем, долга гражданина перед обществом, долга человека перед Богом».

Ключевые здесь слова — о наличии «высшей цели», перед которой критик в первую очередь и ответственен и которая подразумевает «вектор серьезной и ответственной воли». Критик, по убеждению Ермолина, присутствует в диалоге читателя и писателя представителем некой Воли, естественно не писательской и не читательской.

В известном смысле можно сказать, что основная проблематика развернувшейся дискуссии — это как раз «проблематика представительства»: от кого? по какому праву и, соответственно, с «какими полномочиями»?

В ермолинской формулировке, необыкновенно емкой, но написанной как раз с ощущением «вектора воли», и в продемонстрированном критиком применении ее к конкретному материалу мне, например, слышится многое от нормативно-«советской» или нормативно-«прогрессистской» традиции. Той, которая в реальной практике предполагает, что критик «ведет за собой литературу». А из этого, в свою очередь, должно следовать, что критик изначально знает, какой должна быть литература.

Детский вопрос: откуда?

Из науки? Я, например, не знаю такой науки. Есть, скажем, литературоведение, в философии есть такая дисциплина — эстетика, но и там и там занимаются изучением уже созданного, но отнюдь не изобретают вечный двигатель.

Про недавнее «раньше» все более или менее ясно. Часть критиков получала Истину и полномочия от Единственно Верного и Вечного Учения, из соответствующих абзацев Установочного Доклада на Главном Съезде. Независимая же критика также нисколько не стеснялась употреблять литературное произведение в прикладных целях. Лучшие критики того времени «главной своей (не обязательно сформулированной) целью ставили разъяснение и воздействие... они были движителями общественного сознания, учителями и проповедниками» (Наталья Иванова). И язык не повернется сказать дурное слово о критике того времени — о Кардине, Лакшине, Дедкове, Сарнове...

Но времена, когда идеологическая нагрузка литературы казалась важнее ее собственных, глубинных задач, отошли. Или отходят. Что сегодня?

Попытки представительства «от Православия» для меня, например, в определенном смысле ничем принципиально не отличаются от претензий на водительство от Компартии или от любого другого Самого Нового и Самого Истинного Учения. В каждом из этих вариантов критик мыслится обращающимся к публике с некоего возвышения. Или как «идеальный посредник», разъясняющий читателю и писателю то, чего они не знают. Или как комиссар от имени Передовой Идеологии.

И там и там критик нарушает естественную иерархию, в границах которой литература изначально больше и выше критики. Суждение о творении не может быть выше творения уже по определению. (Я не говорю здесь о взаимоотношениях критика с такими литературными текстами, которые предполагают выполнение только одной — санитарной — функции.)

Как раз художественное произведение, литература и есть тот орган, с помощью которого мы непосредственно соприкасаемся с бытийной проблематикой. Именно здесь, в этом общении, формируется круг понятий, составляющий наши представления об этике. Если бы я воспользовался терминологией

Ермолина, я бы сказал, что с Богом мы общаемся и через искусство, через литературу. В этом общении она — литература — первична. Остальное, в том числе и критика, — вторично. Критика помогает нам максимально приблизиться к тому, что содержит литература, и только.

Сегодня, когда литература получает возможность нестесненно выполнять собственное предназначение, естественной для природы взаимоотношений писателя и читателя позицией критика, мне кажется, следовало бы считать представительство его от лица (от имени) публики. То есть критик как один из читателей. Пусть специально обученный для этого, но прежде всего — читатель. Направление его взгляда не сверху вниз — от учителя к ученику, а снизу вверх. Критик публично, то есть вместе с читателями, пытается разобраться в литературном произведении, пытается дотянуться до его смыслов. Он не выносит приговоров, не учит, а — учится. Это не значит, что критик не имеет собственных представлений об истине и добре; не значит, что критик не может сочетать в себе и эксперта, и посредника, и даже проповедника, но выступает он каждый раз от себя лично, а не от имени партии, какой угодно, даже — Партии Добра и Истины, и не от имени какой-то Эстетической Концепции, даже самой Научной. Выступает как читатель. Его субъективное восприятие всегда первично, концепция — вторична. То есть каждое прочтение критиком талантливого произведения является проверкой его (критика) концепции, а не наоборот — не проверкой на «доброкачественность» художественного произведения с помощью концепции.

Только выбрав такую позицию, он избавляется от гордыни лидера. И как раз эта позиция дает критику, на мой взгляд, наибольшие возможности для проявления ума, культуры, таланта. При этом она не стесняет читателя, отводя ему роль ученика. А главное, мешая критику при истолковании деформировать литературу в угоду той или иной идеологии.

Приведенная выше (прошу прощения за ее громоздкость) формулировка во многом складывалась у меня в процессе чтения полосы «Искусство» в газете «Сегодня». Не потому, что помещенные там тексты самые лучшие, но потому, что — самые характерные для нынешней ситуации. Именно там критика пробует себя в новой роли, демонстрируя и ее, этой новой роли, преимущества, и ее серьезные недостатки.

Причем недостатки этой полосы, как водится, оказываются продолжением ее же достоинств. Первым и основным в перечне этих специфических достоинств-недостатков я бы назвал стиль³ ее авторов. Сложилась парадоксальнейшая ситуация. В принципе, стиль, которым начали писать критики, был рожден прежде всего стремлением к максимальной открытости, демократичности критического текста. Критик не делит читателей на равных себе собеседников и на «обычных», «рядовых». Он изначально уважает умственные и культурные возможности своего читателя. Критик обращается к читателю как к себе, не делая различия. Он уважает читателя, и он уважает Литературу. Он как бы изначально предполагает, что литература выше нас с вами, она требует, чтобы мы дотянулись до нее, а не опускает ее на уровень «обычного», «рядового» читателя (определения «обычный», «рядовой» взяты из цитированного выше текста Ермолина, — так и вижу этого «обычного, рядового», за волосы отрывающего себя от телевизора с «Просто Марией» для прочтения в «Сегодня» очередного текста Ю. Гладильщикова или А. Ковалева).

Но чем больше свободы, тем больше требуется самодисциплины. Вот место, которое, на мой взгляд, оказалось скользким для некоторых обозревателей «Сегодня». Они слишком обрадовались тому, что теперь можно быть публично умными, публично образованными, талантливыми, оригинальными, раскованными. И эта свобода в какой-то момент начала становиться для них само-

³ О стиле критики газеты «Сегодня» (а ранее — «Независимой газеты») писала в уже цитированной здесь статье Наталья Иванова: «...открытость, «гамбургский» счет, изящество рубрик, неподдельная образованность, культурологическая игра, отсутствие пафоса. Элегантный остроумный стиль: именно он и делал музыку заметок...» И соответственно критик должен «писать хорошо и быстро; знать предмет — не только сегодняшнее состояние литературы, но и ее историю; разбираться (хотя бы приблизительно!) в истории живописи, музыки и архитектуры; любить литературу и уважать ее — помнить, что книга пишется несколько лет, а отзыв — иногда — за час».

ценной. Только так я могу объяснить чрезмерное увлечение обозревателей «Сегодня» терминологией, прихотливостью изложения, интеллектуальной игрой. Или такую, например, загадочную для меня особенность текстов талантливого Кузьминского, у которого обаятельная раскованность может вдруг обернуться размашистой (если не сказать больше) категоричностью: «скурвились на кольцевых линиях метро», «клинический идиот» — это все о реально существующих людях, коллегах... Оказалось, что в стремлении критиков к предельной открытости перед читателем можно прийти и к противоположному — недемократичности и почти тусовочной закрытости иных текстов.

Вот этот недостаток и был в первую очередь замечен оппонентами газеты, поставившими телегу впереди лошади. Благо примеров оказалось предостаточно. Разборы отдельных пассажей Кузьминского или Курицына, скажем, в статье Ермолина, на мой взгляд, точны убийственно.

В общем, ошибок и просчетов у «сегодняшней» полосы «Искусство» столько, что и половина их способна погубить любую газету. Но несмотря ни на что, именно эта полоса «Сегодня» остается самой читаемой и, соответственно, — одной из самых влиятельных в литературном мире. «Малозаметные критики» — назвал обозревателей «Сегодня» Ермолин и даже как бы засомневался, а стоит ли вообще о них писать. И все-таки написал огромную горячую статью, демонстрирующую живейшую заинтересованность, даже пристальность регулярного чтения этой газеты. «Микроорганизмы», попробовал отмахнуться от критиков «Сегодня» Быков, но и его снисходительного высокомерия хватило на полосную статью в «ЛГ», и если судить по темпераменту, с которой она написана, если судить по некоторой, для куртуазного маньериста удивительной даже, крепости выражений, то нельзя не отметить, что фактом существования этих «микроорганизмов» он задет не на шутку.

Ну и что же — неужели все они, критики из «Сегодня», такие невозможно яркие, значительные? Нет, разумеется. Дело в ситуации, которая складывается в литературе и в критике и которую первой уловила как раз эта газета, предложившая новый тип общения и с читателем, и с культурой. И попала в точку.

Теперь время перейти к самому типу критика, представленному газетой. Возьмем для этого конкретную фигуру. Какую? Увы. К сожалению, ответ на этот вопрос предопределен. Андрея Немзера. Почему «к сожалению» — об этом позже.

А пока мне хотелось бы договориться с читателем вот о чем. Я не собираюсь писать портрет критика Немзера — мы говорим здесь о критике, а не о критиках. Мне бы хотелось обратиться к нему как к некой знаковой фигуре. Как к некой модели литературного поведения. Понимаю, что такое условие несколько щекотливо. Но что делать: выбрав публичную форму существования, имярек обречен принимать и все блага, и все тяготы ее. К тому ж у меня есть предшественник — Павел Басинский, литературно-критическими средствами создавший художественное произведение «Человек с ружьем» и назвавший героя Немзером. Будем считать, что я продолжаю уже возникший жанр.

Итак, «феномен Немзера» — в чем он?

Абсолютно согласно и друзья и недруги признают Немзера одним из заметных явлений нашей критики.

И одновременно ни одна фигура не вызывает столько раздражения. Им недовольно — тут я вряд ли ошибусь — подавляющее большинство коллег по цеху (оговорюсь, что к большинству этому не принадлежу). Не любят критика и те, кого он задел в своих текстах, и те, кого он вообще никогда не замечал, и те, у кого таких претензий быть не может. Удивительна эта повсеместная нелюбовь. Чем она вызвана?

Перечислю очевидные, я бы сказал, неизбежные при той работе, которую делает он, недостатки и тем сниму вопрос о них сразу же.

а) Бывает небрежен, бывает, что неточно, неглубоко прочитывает рецензируемые тексты, о чем свидетельствуют главным образом его ежемесячные обзоры журналов. Аннотационная краткость в сочетании с лихостью суждений иногда вынуждают его снимать только верхний слой рассматриваемых вещей. Это, конечно, плохо. Но не любить за это глупо — любой практикующий кри-

тик прекрасно понимает почти стопроцентную неизбежность таких огрехов в работе регулярного обозревателя.

б) Излишне категоричен. Грань между «я так думаю» и «так есть» часто им не различается. (Другой вариант — «считает литературу своим личным делом и соответственно ведет себя в ней».) Недостаток? На мой взгляд, да. Но понимаю, что допустим и такой контраргумент: а как иначе? если критик не уверен, что «так есть», он вообще не может (не имеет права) писать.

Теперь о недостатках, относительно самого наличия которых мнения расходятся диаметрально.

Ермолин обвиняет Немзера в излишней бесстрастности: автор «дежурно-равнодушных откликов». Исключение, на его взгляд, составили только рецензия на повесть Рошаля и малопонятная перепалка с неким Коноваловым, в которой «Немзер впервые по-настоящему азартно вступил в полемику» «за многие месяцы и даже годы литературно-критической деятельности». Но спустя некоторое время появляется статья Басинского, предъявившего критику обвинения в нетерпимости, неистовстве, а в случае с рецензированием повести Варламова — чуть ли не в садистском сладострастии, с которым он разделяется с неугодными.

Упрек в архаичности морализма Немзера, в отсутствии «духовных нажитков» Ермолин подкрепляет вот таким размышлением: «Иногда кажется, что критик мировоззренчески прошел мимо почти всего XX века... — до такой степени «старорежимны» его крайне неопределенный гуманизм, его степенный оптимизм, его полнейшая душевная безмятежность и благородство намерений à la Степан Верховенский». Как это сочетается с утверждениями того же Ермолина, что в компании «интеллектуальных босяков», «богемно-столичных» спесивцев и принципиальных аморалистов Немзер «играет первую скрипку»? И как совместить ермолинский образ бесстрастного, безмятежного критика с образом «человека с ружьем», нарисованным Басинским?

У Немзера нет концепции, утверждают и Ермолин, и Басинский. Оценки его зависят от весьма прихотливо меняющихся симпатий и антипатий, они «комильфотны», по определению Быкова. С этим можно было бы согласиться или поспорить, если бы недоброжелатели Немзера потрудились прочесть его большие, как раз концептуальные для критика, статьи 1992 — 1993 годов в «Дружбе народов» и «Новом мире». Тогда, возможно, разговор бы пошел о другом — о том, насколько последовательно критик реализует свои же принципы. А из газетных, часто по необходимости отрывочных, заметок вычленить концепцию действительно бывает трудно.

Наверно, можно вспомнить еще какие-то обвинения. Но основные я перечислил. И ни один из этих недостатков, на мой взгляд, не объясняет такую стойкую неприязнь к Немзеру. И тут, видимо, прав Басинский, заметивший, что Немзера просто не любят. Нелюбовь здесь — причина, а не следствие.

И поэтому настороженность вызывают даже те его черты, которые, будь они явлены другим, вызвали бы восхищение. Скажем, работоспособность. Уже в ней самой чудится какая-то чуждость. Басинский даже вспомнил про Обломова и Штольца: «Неутомимость и педантизм Немзера потрясают воображение — они представляются почти фантастическими расхлябанной славянской натуре. Он настоящий Штолец в русской критике».

Момент существенный для нашего разговора. Забавно, что никому не кажется фантастическим поток людей, ежедневно с шести до половины восьмого утра текущий к метро и автобусным остановкам, — люди едут на работу. И работают там по семь-восемь часов. И ничего. Штольца никто не поминает. А теперь представьте выработку критика, сумевшего бы вот так организовать свою работу. Да еще в нашей «тошнотворной реальности», когда все, что ты смог написать, можно напечатать. Сколько тогда Немзеров появится в критике?

Нет, скажут, то — механический труд, а мы — о творчестве. Литературная работа имеет свою специфику. Да, имеет. Я, например, знаю литераторов, находящихся в достаточно почтенном возрасте и до сих пор обремененных службой, иногда на редкость тяжелой и изматывающей, но при этом выдающих свои две страницы нового текста каждый день несмотря ни на что — ни на самочувствие, ни на погоду за окном — политическую, экономическую, гео-

магнитную и проч. Просто в детстве и отрочестве они успели перенять выучку работников и плотность своей работы считают нормой.

Похоже, дело не в нашем менталитете национально-«обломовском». А в нашем, простите, советском. Доставшемся от прежней эпохи, которая культивировала определенный дилетантизм в работе литератора. Больше одной-двух статей да пяти рецензий в год и писать было бессмысленно. Не напечатают. Да еще подождать нужно было два-три месяца, прежде чем уже принятый материал сдвинется с места. Много и регулярно могла печататься разве только идеологическая обслуга. Может, потому еще таким событием было каждое появление статьи Дедкова, Виноградова, Рассадина, Золотусского и других. К тому же было у них время и мыслей накопить, и начитать материал как следует, и момент выбрать, когда ты на подъеме сил. Но окажись критики той поры в условиях дисциплины нынешней обозревательской работы (когда писать нужно каждодневно, невзирая ни на степень «накопленности», ни на «настрой», и появляться перед читателем с двумя-тремя материалами еженедельно) — смогли бы они сохранить имидж властителя дум? Или пришлось бы менять его на не в пример менее импозантный имидж Работника, Газетного Обозревателя? Кстати, откройте как-нибудь на досуге Белинского, и не черный трехтомник, а академическое собрание, почитайте подряд его журнальную «мелочь». Вы обязательно почувствуете, как пахнёт на вас «сегодняшним».

Модель поведения в критике, которую выбрал себе Немзер, — это прежде всего модель поведения профессионала. И разногласия с ним у части коллег коренятся, на мой взгляд, как раз вот в этой разности, если так можно выразиться, «критических менталитетов»: полудилетантском «советском» — и «сегодняшнем».

Отсюда и недоразумения — от попыток судить критика другого типа по собственной шкале. Давно уже висел в воздухе как абсолютно неизбежный и характерный для наших традиционных способов ориентации в литературе упрек Немзеру в претензиях на диктаторство. Озвучил его Басинский в своей по-своему масштабной статье «Человек с ружьем». Мне эта статья кажется опять же знаковой. Содержание ее шире, чем обличение одним критиком другого. Здесь сталкиваются два разных подхода к литературе. И статья может быть интересна только этим.

В двух словах напомню ее сюжет: некий Критик с не очень внятной позицией и пристрастиями и как бы даже не очень внятно пишущий, но, впрочем, очень работоспособный, воспользовавшись тем, что в литературе наступило самое тусклое время, что читатель от нее ушел и воцарилось смятение и кризисная чехарда, самовольно занял место Главного Критика. Стал Человеком с ружьем. И с этого места безуспешно пытается руководить всей литературой.

Похоже, что автор статьи не почувствовал некоторый комизм ситуации, в которой оказался, произнося этот упрек всерьез. Он повел себя так, как если бы уже был издан некий Правительственный Указ, обязательный для исполнения всеми гражданами, считать газету «Сегодня» Главной Газетой, а литературного обозревателя этой газеты Главным Критиком. Но указа того не было и по нынешним временам вроде как и быть не может. Мы сами выбираем на это место критиков, если такое место образуется. Да не читайте вы «Сегодня». Не читайте Немзера. И не будет проблемы. Но, значит, зачем-то его нужно читать. Что-то заставляет. Что? Возможно, чувствуя, каким убийственным для всей его концепции может оказаться ответ, Басинский сосредоточивается на другом. На некой изначальной ненормальности понятия Главный Критик. И опять в ход идет нечто иррациональное — национальный менталитет. Нашему славянскому менталитету — не свойственно. Вот для Франции или Дании — пожалуйста. А у нас — нет. У нас даже просто критик, то есть литератор, сделавший своей литературной профессией литературную критику, — нонсенс. У нас критикой занимались писатели в свободное от художественного творчества время. Наличие всяких Чернышевских, Антоновичей, Страховых, Дружининых, Добролюбовых, Писаревых и т. д. автором в расчет не принимается. Упоминается один Белинский. Но как фигура в литературе до известной степени тяжелая, «диктаторская». И само пребывание его на посту Главного Критика подозрительно, ибо «не нашлось в замысле русской литературы такого места — Главный Критик». Но откуда ж тогда понятие взялось:

критик как властитель дум читающей России? Кем же тогда были все те же Чернышевский или Писарев? И как занимали они свое место — по штатному расписанию? за выслугу лет? или сами они очень уж сильно подсустились, изловчились? Я бы не стал спорить с историей. Разумнее признать очевидное: как раз для русской литературы и была характерной фигура критика как Учителя жизни. И с роли этой — учительской, просветительской, — может, и вообще начиналась когда-то наша литература? Ну а если представить, что до Белинского дошли бы сокрушительные слова Басинского о неуместности положения, которое он занимает, и он устыдился бы и сказал: все, ребята, ухожу, не хочу быть «жандармом при русской литературе», — что бы произошло? А ничего. Просто в истории русской литературы на этом месте мы имели бы другое имя. Или несколько имен — все-таки талант был редкостный.

Забавно другое. Если суммировать некоторые претензии автора к критику, занимающему несуществующее место Главного Критика, а именно — где твоя концепция? где ясно выраженная позиция? какой идее ты служишь в критике? — то логическим продолжением мысли Басинского как раз и должно стать наличие в ней фигуры Главного Критика. В своем понимании литературы Басинский исходит из того, что Высшие Цели ее следует искать не в ней самой, а в не литературы. «Культура, — пишет он в статье о современных журналах, — не штучный товар, а мистический «эйдос» или «трансцендентная умопостигаемая форма, существующая отдельно от единичных вещей, которые к ней причастны...» Вот такой и была журнальная культура в России в XIX и XX веках. Не отдельные хорошие или плохие журналы, а Империя, Царство, Синклит». «В советских журналах вершились судьбы людей, целой страны...» «Неслыханным оскорблением, которое нанесло государство нашим журналам», явилось, по мнению Басинского, то, что «мемуары президента не появились ни в „Новом мире“, ни в „Знамени“, тогда как стареющий генсек Л. И. Брежнев не посчитал лишним „освятить“ свою трилогию в старом „Новом мире“». Лишившись ауры вершителей судеб «людей и страны», журналы умерли. «Да напечатайте вы хоть десять гениальных текстов в одной журнальной книжке рядом, вы все-таки останетесь гробами». Вот что, по мнению Басинского, никогда не понять «либералам с их вечной мелкой правотой». Иными словами, для него такие понятия, как «талантливо», «гениально», могут обозначать нечто близкое к понятиям «умело, мастеровито, безупречно». И только.

Тогда как для «либерала» талантливость произведения, а тем более — гениальность, как раз и обозначает присутствие в произведении высшего смысла, высшей цели, ради которой и существует литература и общение писателя с читателем. Ее «эйдоса». Вряд ли можно считать нормальной ситуацию, когда критик берется судить талантливое произведение с некоего возвышения. Басинский, например, недрогнувшей рукой мог написать в статье «Пафос границы» о том, какой должна быть литература. Более того, он согласен на то, что если журналу, например, будет предложено произведение пусть и талантливое, но расходящееся с «правильными установками» литературы, то это произведение печатать не надо. Для того чтобы сохранить литературу в чистоте и здравии, лучше будем печатать вещи не очень талантливые, а может, и вообще — слабенькие. Но верные. А там, глядишь, и появится произведение талантливое и уже «правильное». Этот своеобразный комплекс «партийности литературы» и определяет методологию анализа и критерии не только Басинского, но в известной степени — и Ермолина.

А вот настоящих либералов даже в партию не соберешь. Слишком они любят свободу и жизнь саму по себе. Слишком любят литературу саму по себе.

Немзер, например, не учит Литературу, он может быть излишне категоричным в высказываниях об отдельных писателях — и в этом смысле «учит» их. Но все-таки — не Литературу. Он идет за ней. Если хотите, он принципиально неопределенен, то есть не забегает вперед произведения, не перечисляет признаки того, каким оно должно быть, а потом, читая произведение, сверяется с этим списком. Этот критик предпочитает размышлять над литературой. Точны или неточны его размышления, это уже другой вопрос.

В заключение — еще об одном недостатке Немзера. Главном. Кардинальном. Собственно, и определившем отношение к нему среди коллег. Недостаток этот в том, что Немзер, увы, один.

И вместо того чтобы обличать его, сделайте так, чтобы в нескольких газетах появились, пусть по-другому, но так же грамотно, в соответствии с запросами времени, как в газете «Сегодня», выстроенные полосы «Искусства», найдите для них образованных, талантливых и обязательно дисциплинированных, трудолюбивых критиков-обозревателей. И пусть эти полосы и эти обозреватели продержатся хотя бы полгода. Уверен, фигура Немзера перестанет так тревожить внимание коллег.

А суждения, высказанные о состоянии современной критики в этой статье, может, покажутся не столь спорными.

ИРИНА РОДНЯНСКАЯ



ГЕРМЕНЕВТИКА, ЭКСПЕРТИЗА, ДЕГУСТАЦИЯ, САНЭПИДНАДЗОР —

«**Н**ет, это еще не песнь», — как сказано поэтом. Это еще не критика. Во всяком случае, не та, с какой жила новоевропейская литература последние триста лет и русская — лет сто пятьдесят — двести.

Пишу эту реплику по желанию автора предложенной выше статьи: он захотел, чтобы я откликнулась на его суждения не только устно, в дружеском «цеховом» разговоре, но и печатно. Исполняю просьбу, не будучи, впрочем, уверена, что затея эта так уж нужна читателям...

Итак, я готова признать, что прежняя критика кончилась или кончается. Меня это не слишком удивляет, а огорчает — умеренно. Не потому лишь, что на мой век хватит. Человека, привыкшего к мысли, что и у мира есть конец, у эпохи — тем более, вряд ли выбьет из колеи весть об иссякании некоего литературного подвида или модуса существования словесности. Но хотелось бы напомнить, что «вчерашняя», точнее, классическая критика была не совсем тем, о чем пишет Сергей Костырко.

Герменевтика («искусство понимания») родилась из интерпретации сакральных текстов, из поисков их глубинного, сокрытого, «герметического» смысла. Оттуда она еще в античные времена перекочевала в филологию, позже — в философию, и дожила до наших дней (в том числе в гротескной форме «деконструкции», этой разоблачительной герменевтики наизусть). Известно, что в каждой культуре есть набор текстов, признаваемых ее духовными и эстетическими святынями (Гёте для Германии, Пушкин для России и т. д.). Герменевтик, истолкователь — это действительно тот, кто идет за литературой, за такой литературой — несомненной, как полагают, в своем качестве проводника к основам бытия, к основам культурного космоса. Обычно интерпретатор этого рода — Хайдеггер, обращенный к Гёльдерлину и Рильке, Бердяев, углубившийся в Достоевского, — критиком себя не считает и даже (как опять-таки Бердяев в своем «Миросозерцании Достоевского») с брезгливостью отмахивается от подобного звания. Не надо объяснять, что критическая оценка не входит в его задачу. И точно так же не надо объяснять, что на столь безусловное отношение могут претендовать разве что вещи вершинные, доподлинно путеводные.

Конечно, не грех быть настолько старомодным, чтобы, вослед шеллингианцам, Искусство вообще, Поэзию — почитать «органом» Истины и возводить на опустевший в обмирщенном обществе трон Откровения. Сергей Костырко, судя по им написанному, полусознательно исповедует именно такой взгляд¹. Но Литература с прописной буквы, за которой надо «идти» и которую

¹ Думаю, что и «культурологист» Андрей Немзер — той же ориентации: держится рыцарем Литературы, готовым сразиться за ее честь, и часто таковым и является. Ермолин ду-

нельзя «учить», — такое же фиктивное, контрабандное олицетворение, как Природа в системах позитивистов прошлого века. Реально существует не Литература, а литературная жизнь, литературное движение («процесс»). И, конечно, — литературные творения, взаимодействующие меж собой и с «большим» контекстом культуры и бытия.

Всем этим до сих пор и занималась критика, во всем этом участвовала. Родилась она в Новое время как саморефлексия литературной жизни, как следствие и осознание того факта, что одна литературная эпоха сменяет другую, — если угодно, как непрерывный спор между «архаистами» и «новаторами». Она была неотделима от журнализма, от естественной историчности повременных изданий, но и журнализм тогда был другим, не нынешним.

От кого «представлял» критик (главный для Костырко вопрос)? Будучи в первую голову читателем, все же — не от читателей. Будучи, в самом первом приближении к тексту, экспертом и дегустатором, полагающимся на натренированность своих вкусовых рецепторов, — все же не от своего частного пристрастия. Критик представлял от своих убеждений. Убеждения — вещь, глубоко, даже интимно связанная с личностью их носителя, но в то же время и надличная. Они поднимают нас над частным существованием, соединяя с единомышленниками в общем мирозерцании. А так как речь — о «созерцании» (слово подходящее, когда имеется в виду восприятие искусства) именно мира изящной словесности, критик представлял от своей литературной партии — так в старину и говорили, и это, если воспользоваться любимым оборотом Костырко, было нормально. Каждая же литературная партия косвенно корреспондировала с более широкой общественной, культурной и философской ориентировкой, о чем прекрасно знают историки идей.

Конечно, истины, живые и недолговечные истины литературных партий — будь то классицисты, романтики, натуралисты, символисты... — относительно. Но, зная угол преломления художественной реальности сквозь призму каждого из этих воззрений, я, даже будучи других взглядов, могу с опорой на суждение критика вынести адекватное представление о предмете разговора. Мотивированное искажение — уже не искажение, а разворот в определенном ракурсе; в нем есть грань непреходящего. В случае же совпадения взглядов критика и произвольных намерений художника акт постижения оказывается в высшей степени состоятельным (Белинский о «лермонтовском элементе», Страхов о Льве Толстом). Это пока еще обнаружимо и сегодня. Сколь ни чужд мне «хаосмос» М. Липовецкого, но, в чем-то совпав с Людмилой Петрушевской, он, мне кажется, написал одну из лучших статей о ней. И даже В. Курицын, приложив к новой прозе Солженицына мерку постмодернизма, сказал о ней нечто неожиданно точное, потому что это действительно постклассическая проза. Удачу принесло наличие — у каждого специфической — литературной идеологии. От нее, а не «от публики» критики и представляли, и публике было что почерпнуть.

Изменилось ли что-нибудь в наше, нынешнее, время? Костырко прав, тысячу раз прав: изменилось! Критика перестает быть органом литературных направлений, их взаимодействия и столкновения; недаром слово «тусовка» завоевало прочное место в нашем профессиональном жаргоне — как объединение не по принципиальным, а по житейским и деловым мотивам.

Процесс этот — общемировой. (Я вообще стараюсь толковать здесь о «глобальном» и потому не касаюсь вовсе тех наших времен, когда критика глаголила эзоповым языком, а кто не хотел — уходил в ту самую герменевтику, в истолкование беспорочной классики.) В условиях все большей атомизации, приватизации и потребительского уклона современной культурной жизни идейная установка неизбежно вытесняется из критики — как сферы квалифицированных оценок — установкой товарной. И в авангарде этого перемещения идут, конечно, именно газетные жанры.

мал его задеть, сравнив со Степаном Трофимовичем Верховенским, но, как водится, вместо проклятия изрек благословение. Верховенский-отец — из числа любимейших, удостоенных авторской нежности героев Достоевского; в inferнальном мире «Бесов» ему одному даровано увидеть свет, и это в награду за то, что он, идеалист, оставался верен свидетельству искусства о высшем начале в человеке.

Говорю вовсе не о коммерческих настроениях и интересах в узком смысле слова. Просто, когда литературная продукция поступает не на форум больших культурных течений, а в мозаичную среду частных предпочтений и пристрастий, кто-то ведь должен информировать индивидуальных потребителей о ее качестве (есть все же планка, при занижении которой раздаются сигналы вышеупомянутого санэпиднадзора), информировать о ее адресовке, о предполагаемом эффекте. Такой информатор обязан быть (или слыть) независимым и подкованным — иначе кто ж ему поверит, изобретательным и лаконически-красноречивым — иначе кто же станет вникать в его тирады. Как у всякого, у него могут быть свои убеждения, но удобнее, чтобы они не пересекались с его профессиональными усилиями. Однако взамен ему совершенно необходим публичный набор прихотей и идиосинкразий — как личное клеймо, как фирменный знак его сугубо частного предприятия.

Критик этого разлива и впрямь представляет не от мира ценностей, а от публики, облегчая каждому в ней акт выбора среди пестроты возможностей, и он действительно «идет за литературой», за любой литературой, потому что и не уполномочен, и не имеет что-либо добавить к составляемому им сертификату качества. До тех самых глубинных смыслов, искать кои в создании искусства вменяет ему в обязанность Костырко, он добираться не станет, ибо прежде чем искать что-то, будь то Господь Бог или ускользящий кварк, надо хотя бы предположить, что «оно» существует. То есть иметь идейную, смысловую предпосылку, то якобы предвзятое а priori, которого Костырко так боится. Никому еще не удавалось выстроить беспредпосылочную философию или беспредпосылочную науку. Но беспредпосылочная критическая практика возможна — это будет как раз «товарная», условно говоря, критика, критика литературы как предмета дифференцированного спроса.

Если бы дегустатор вин стал изъясняться не на языке терминов, присущих его специальности, а на языке метафор, перифразов, аллюзий (вино — столь поэтическая субстанция, что вполне это допускает), он мог бы отлично вписаться в полосу изящных искусств газеты «Сегодня». Мне такая критика совершенно неинтересна как факт литературы, мысли, — разве только как наводка или предостережение (ведь и я, как все, бываю в шкуре потребителя). Уж на что я люблю оперу от молодых ногтей, и уж на что А. Парин — оперный критик высшего пилотажа, талантливый на редкость. А вот — неинтересно. У меня нет возможности ездить по белу свету, чтобы на деле воспользоваться его блистательным каталогом оперных премьер. А обобщающей эстетической идеи во всем, что он пишет, я никак не восчувствую. Так зачем и читать?

Между тем эта приветствуемая моим новомирским коллегой критика безусловно имеет преимущественное будущее, и я берусь предсказать, что она не останется в функциональных рамках «прикладничества» — что, сколь ни консервативны толстые журналы, лет через пять (а может, и раньше) она распространится и на них. Не стану скрывать, что расцениваю это как один из множества признаков культурного упадка. Но тут я настроена фаталистически (что, впрочем, не исключает личного противостояния).

Ведь все куда-нибудь движется. Или вверх, или вниз.

ПО ХОДУ ДЕЛА

АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ



ПРОЩАЙ... И ПОМНИ ОБО МНЕ

Россия пошла на сближение с Белоруссией — и это хорошо, хотя и дорого. Полукоммунистическая Дума денонсировала Беловежские соглашения — и это плохо, хотя и дешево. Разговоры «казахского Горбачева» Нурсултана Назарбаева о перспективе нового конфедеративного Союза уже не столь фантастичны, какими казались еще два года, год назад... Но выйдем за пределы политического пространства, переместимся в пространство поэтическое; здесь идут те же процессы.

Чабуа Амирэджиби сам переводит свой роман «Гора Мборгали» на великий могучий язык «империалистов».

Юсиф Самедоглу на страницах «Литературной газеты» обвиняет родимый Народный фронт в подкупленности КГБ — и грустит о многонациональных временах.

Человек совсем иного поколения, принципиально иной ментальности, Игорь Клех тоже указывает на окраины погибшей империи как на место, откуда вскоре воссияет свет Новой Российской Словесности...

И лишь статьи украинских письменников, верных однажды заявленному принципу литературной независимости, если и появляются на полосах российских газет, на страницах «имперских» журналов, то с единственной целью — вновь и вновь напомнить великороссам о вине перед малыми, угнетенными народами Кавказа, Польши и, конечно, Украины.

Языковой выбор Амирэджиби, суждения Самедоглу — людей талантливых и умных — льстят моему великодержавному самолюбию: приятно лишний раз услышать, что твоя культура играет синтезирующую роль, что без нее обойтись трудно... Построения Клеха заставляют вспомнить о бесконечных спорах конца 70-х: откуда придет Новый Пушкин — из Москвы или из Сибири?.. Что же до украинских претензий, то они понятней дружелюбно-ностальгических сентенций об утраченном «едином культурном поле» и проч., и проч. Было такое поле? Да, было. Давало оно некоторые преимущества писателям? Давало, и еще какие. Грузия отгревала полуопальных российских поэтов; русские переводы открывали многим сочинителям из республик окно в Европу... И все-таки цена, которую приходилось платить за эти преимущества, была неоправданно высока.

Хорошо, забудем о явной начальственной лжи, о номенклатурном торге (вы переводите Проскурина и Дангулова, мы — Шарафа Рашидова... мы смотрим сквозь пальцы на не вполне «каноничные» рассуждения Авижюса о последней войне, вы подтверждаете, что Вилис Лацис выражал чаяния не только латышских стрелков, но и всего латышского народа...). Забудем — потому что все равно останется, о чем вспомнить. И за пределами официоза многое, слишком многое держалось на обоюдных недомолвках, взаимных уступках отнюдь не самого лучшего свойства.

Вот пример. Никто не спорит, что грузинский роман, эстонская повесть, армянская лирика стали яркими явлениями «общесоюзной» литературы 70-х годов. Но, положа руку на сердце, разве это был уровень Маркеса, Борхеса, Бёлля, Поля Целана? Нет, увы; то была хорошая, подчас самобытная словесность среднего — по мировым меркам — уровня. Однако с нею положено было — не предписано свыше, а именно положено по молчаливому уговору литературной элиты — обращаться как со скопищем шедевров. Так смещались ценностные ориентиры; так система мелких либеральных приписок встраивалась в механизм Большой Лжи —

лжи не только литературной. А ближайшим «культурным» следствием всего этого было искаженное представление писателей — и русских, и «многонациональных» — о себе самих.

Случайно ли словесность 70-х, обещавшая так много, буквально перенаселенная сверходаренными сочинителями, тем не менее оставила по себе воспоминание о несбывшихся надеждах? Попробуйте объяснить современным студентам, что, скажем, Трифонов вполне мог стать писателем чеховского масштаба. Или, например, Чингиз Айтматов — он претендовал (и по праву) на участь гораздо более счастливую, нежели участь автора немногих достойных книг...

Конечно, дело не только в искусственности «имперского контекста»; кроме того, были писатели, которые слушали, как кукушка хвалит петуха, — и все-таки не останавливались в росте. Их много; назову хотя бы — из старшего поколения — Виктора Астафьева; из среднего — Владимира Маканина; из эмиграции — Георгия Владимова; о Солженицыне и Бродском напоминать излишне. И все-таки куда больше тех, кто поддался самообману, кто принял правила игры — и в конце концов жестоко поплатился за это. Я пробовал читать последний роман Отара Чиладзе «Мартовский петух», последние вещи Айтматова и Пулатова; пробовал — и этим все сказано.

Так к чему же я клоню? К «национальной гордости великороссов», к отторжению «имперского» контекста — и замыканию в еще более тесный круг внутрироссийской культуры? К «запрету на профессию» для писателей из бывшего СССР на территории новой России? К анализу на «чистоту крови»? Ну уж нет. Я не желаю зла родной стране и родимой словесности; такой выбор обернулся бы катастрофой для обеих. Мы должны быть открыты миру — и Западу, и Востоку, и дальнему зарубежью, и ближнему. Если Амирэджиби нуждается в русском языке — это замечательно; если Юсиф Самедоглу зовёт к культурному обмену — это великолепно; если Игорь Клех отыщет нового гения в потемках Империи — мы радостно встретим обоих. (Или одного — если гений отыщется в ближайшем зеркале.) Обмен — не обман; обмениваться всегда хорошо, особенно в условиях свободной и равной конкуренции.

Плохо другое. Плохо то, что в повсеместно распространяющихся «реставраторских» настроениях, в бесконечных разговорах о необходимости восстановить «литературный СССР» слишком различима тоска по искусственной тепличной атмосфере, по взаимным похвалам и протекциям, по царству лилипутов, в котором всякий человек среднего роста немедленно становится Гулливером. Вот этого самообмана допустить нельзя ни в коем случае — по множеству взаимосвязанных причин. (Ну, потому хотя бы, что новое литературное поколение только-только начинает обретать «лица необщее выраженье»; столь явных лидеров, как в поколении предшествующем, в нем нет; только медленная и мучительная работа — и над собой, и над своими текстами — сулит некоторые достижения по гамбургскому счету, поместить же их в «постсоветский инкубатор» — значит погубить генерацию на корню.)

Так что никакого протекционизма, никаких «особых условий» друг для друга, никаких скидок на то, что русский язык не родной, никаких подмен, никаких «квот», никакого литературного феминизма. А значит — никакого возврата в культурное прошлое, которое, надеюсь, навсегда прошло. На равных, свободно, открыто — только так можно вести диалог культур, только так они будут действительно обогащаться, только так они смогут содействовать сближению народов — не политическому, а умственному и сердечному.



ФИЛОСОФСКИЕ КАМНИ В ПЕЧЕНИ

Венедикт Ерофеев. Оставьте мою душу в покое: Почти всё. М. Изд-во «Х.Г.С.». 1995. 408 стр.

Теперь, когда вышло ерофеевское «почти все», стало ясно, что почти все в этом «почти все» — это «Москва — Петушки». И это — не беда, не позор и не ущерб Венички, а его величайшее торжество. «Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек; чтобы человек был грустен и растерян».

Поэма не выходила на русской земле 18 лет... Достигла совершеннолетия. Мы, те, чьи родители принадлежат к ерофеевскому поколению, выросли без нее, чтобы выросшими встретить ее — вышедшую — и полюбить навеки. Все происходило медленно, но так ли уж неправильно?

Так повелось (и, конечно, не случайно так повелось), что, заговорив о Венедикте Ерофееве, нельзя тут же не заговорить о мифе. Они как-то — даже на фоне нынешней одолеваемости литературы мифом и мифологическим сознанием — особенно родственны, интимно близки друг другу, они, несомненно, объясняют один другого. И понимание творческой личности Ерофеева будет зависеть от того, что разумеется под «мифом», как понято слово, которое, все это чувствуют, является ключом к Веничкиной загадке. Вот и Михаил Эпштейн в блистательной статье, послужившей предисловием к выпущенному тому, начинает анализ ее с определения «мифа». «Любой миф, как считает наука, — пишет он, — есть попытка разрешить противоречие, примирить крайности, свести концы с концами». В соответствии с данным определением вся его статья — попытка ответить на вопрос: «Какую же загадку разрешает Венья? Какие крайности примиряет?»

А что будет, если взять другой ракурс, оставить в покое Леви-Стросса, вспомнить Лосева? Как изменяется вопрос и ответ?

Предположим, что миф — это не «попытка разрешить противоречия», сим определяется лишь одно из действий, производимых мифом, да и то неточно. Миф не разрешает, а объединяет противоречия на ином, выходящем за пределы сферы действия противоречий, основании. Другими словами — миф создает новое единство расколотого мира. Это и пытался сделать Венедикт Ерофеев в своем творчестве. И когда возможности творчества были исчерпаны, остались еще возможности личности. И в рану расколотого мира лег сам Венья — чтобы она затянулась мифом. Он, в отличие от тайного советника Иоганна фон Гёте, не заставлял своих героев совершать опасные для жизни поступки за себя, он сам совершил их за всех своих героев.

В центре мифа мы всегда находим личность, творящую или преобразующую мир; творящую или преобразующую его своим существованием или своим действием. Именно этот смысл заключен в лосевской формуле «миф — развернутое магическое имя». Здесь личность, бесконечно униженная рядом восстаний своих на Бога, вновь обретает свой истинный масштаб и свое достоинство. Галина Ерофеева писала: «Наверно, нельзя так говорить, но я думаю, что он подражал Христу». И действительно, для уха человека двадцатого века — применительно к пьянице, которого будущая жена Галина «буквально на помойке нашла», — это звучит почти как святотатство. Между тем это не просто дозволенное, но предписанное религией поведение для каждого человека. В девятнадцатом веке Ф. М. Достоевский писал: «Христианство есть доказательство того, что в человеке может вместиться Бог. Это величайшая идея и величайшая слава человека, до которой он мог достигнуть». В веке двадцатом, чтобы восстановить этот — столь ранее естественный — масштаб, от В. Ерофеева потребовались невероятные усилия и решимость.

Именно из этой попытки творить мир мифом возник и такой радикальный — я бы сказала, «тектонический» — сдвиг в литературе. Как наиболее чуткий в своем поколении, В. Ерофеев и отразил его, этот сдвиг, с наибольшей очевидностью —

став своим собственным героем, соединив себя с героем не абстрактным «я», породившим такое количество измышлений о дистанции между автором и лирическим героем, что уже почти невозможно себе представить, чтобы у них могло оказаться что-нибудь общее, но и м е н е м, которое, по Лосеву, и представляет собой миф. Именем была уничтожена внушенная школьными учебниками нетождественность авторского «я» и персонажа, автор стал героем, роман стал поэмой — и смог воплотить в себе не судьбу личности, но судьбу мироздания. Но именно поэтому Веничке и суждено было стать автором единственной поэмы — ибо все остальное, им написанное (если это не жанр «исследования», как в «Моей маленькой лениниане» или «Василии Розанове глазами эксцентрика»), на фоне «Москвы — Петушков» представляется не неудачей, конечно, а подготовительными материалами, не важно, когда это было создано — до или после написания поэмы. Именно поэтому наиболее адекватным и оказывается жанр «подготовительных материалов»: почти так же захватывающи, как «Москва — Петушки», записные книжки.

В этом смысле особое внимание интерпретаторов поэмы должно было бы привлечь «Благовествование», написанное за восемь лет до «Москвы — Петушков». Ф. М. Достоевский любил употреблять слово «поэма», имея в виду глобальный замысел, художественную идею романа вне ее конкретной, детальной разработки, вне ее окончательного словесного и сюжетного воплощения. На мой взгляд, такой «поэмой» для поэмы «Москва — Петушки» является «Благовествование». Замысел долго вызревал, да и несколько видоизменялся, пока ему наконец удалось обрести окончательную — и совершенную — форму, но «поэма» возникла уже тогда, при первой попытке своего воплощения, и тем интереснее было бы проследить, куда же все-таки пошел Веня от этой обозначенной исходной точки: направо, налево или прямо, — раз мы уж знаем, что пришел-то он все равно к «Москве — Петушкам».

А произведение, которое может пролить свет на пройденный путь, — это, безусловно, «Василий Розанов глазами эксцентрика». Оно вообще-то относится к жанру, который я бы назвала «Перед зеркалом». Он не так уж редок — как не так уж редко родство душ: автор пишет о своем герое лишь потому, что его герой многими чертами так похож на него самого. Оттого он и может его так хорошо понять — а заодно поведать нам и о себе самом. У меня еще до всякого знакомства с какими-либо произведениями Ерофеева, кроме «Москвы — Петушков», возникло ощущение, что непосредственным образом он стилистически связан лишь с двумя авторами: Розановым и Достоевским. Именно с последним на самом деле связан прием, названный В. Муравьевым «противоиронией» и несколько поверхностно интерпретированный Эпштейном.

Но сначала о первом. Ибо именно в словах Вени о Розанове раскрывается его идеал человека. «Баламут с тончайшим сердцем, ипохондрик, мизантроп, грубиян, весь сотворенный из нервов без примесей, он заводил пасквильности, чуть речь заходила о том, перед чем мы привыкли благоговеть, и раздавал панегирики всем, над кем мы глумимся, — все это с идеальной систематичностью мышления и полным отсутствием системности в изложении, с озлобленной сосредоточенностью, с нежностью, настоянной на черной желчи, и с „метафизическим цинизмом“». И именно в ерофеевской любовной песне Василию Розанову с наибольшей очевидностью проступает его, Венин, прием построения образа. «А если скажут мне бабы, что выглядел он прескверно, что нос его был мясист, а маленькие глаза постоянно блуждали и дурно пахло изо рта, и все такое, — я им, засранкам, отвечу так: „Ну, так что ж, что постоянно блуждали? Честного человека по этому признаку и можно отличить: у него глаза бегают. Значит, человек совестлив и не способен на крупноплановые хамства, у масштабных преступников глаза не шевелятся. У лучшей части моих знакомых — бегают. У Бонапарта глаза не шевелились. А Розанов сказал, что откусил бы голову Бонапарту, если бы встретил его когда-нибудь. Ну, как может пахнуть изо рта у человека, кто хоть мысленно откусил башку у Бонапарта?..”». Для грубого физического факта, для традиционно внушающей омерзение физической черты человека Ерофеев находит метафизическое объяснение. Не только метафизическое — но и героическое.

Проще всего показать это в сравнении. Петрушевская, скажем, вводит в образ (даже более того — она строит образ именно в этом плане!) низменные элементы без о ц е н о ч н о, как нечто естественное, и тем отнимает глубину, возвышенность и порыв даже у высоких чувств и движений души (читатель может даже заподозрить, что она с ними не справляется). Веничка же, твердо помня о наличии

у человека трех сторон («Ведь в человеке не одна только физическая сторона; в нем и духовная сторона есть, и есть — больше того — есть сторона мистическая, сверхдуховная сторона») и твердо помня о неразрывном единстве этих трех сторон в человеке («Так вот, я каждую минуту ждал, что меня, посреди площади, начнет тошнить со всех трех сторон»), самые низменные элементы вводит в образ как наполненные метафизическим смыслом — и в результате образ, полный, казалось бы, низменных элементов, строится в высоком плане. А низменные элементы подаются не как естественное, но — требующее жалости и снисхождения (или — восхищения и уважения, как в случае с «дурным запахом» изо рта Василия Розанова), требующее любви и причастности, то есть не разрушающее, но будто впервые создающее трепетный и беззащитный человеческий образ, только и делающее этот образ человеческим. Низменные элементы не становятся у Вени агрессивными, не стремятся захватить главенствующее положение, объявив все остальное второстепенным и производным. Нет, они — совсем не главное, что есть в человеке, но они — то, что делает человека сокрушенным, унижая его, а человек, сокрушенный и униженный, сознающий и принимающий свое унижение, — и есть, наконец, человек (который не «звучит гордо» и в которого нельзя запихнуть разом «тебя, меня, Наполеона и Магомета» — он и сам-то в себе еле еле помещается). Это «низменное» не отменяет «возвышенное», но лишает его возможности заноситься. (Излюбленный, кстати, прием Ф. М. Достоевского. Вообще, совершенно по-ерофеевски звучит у последнего описание отношения простолюдина к питью водки, особенно когда из дальнейшего становится ясно, что здесь проведена явственная параллель с отношением его к спасению души: «Попросите простолюдина что-нибудь для вас сделать, и он вам, если может и хочет, услужит старательно и радушно; но попросите его сходить за водочкой — и обыкновенное спокойное радушие переходит вдруг в какую-то торопливую, радостную услужливость, почти в родственную о вас заботливость. Идущий за водкой, — хотя будете пить только вы, а не он, и он знает это заранее, — все равно ощущает как бы некоторую часть вашего будущего удовлетворения...»)

«Все переменялось у нас, — рассказывает Веничка Розанову, — ото «всего» не осталось ни слова, ни вздоха. Все балаганные паяцы, мистики, горлопаны, фокусники, невротики, звездочеты — все как-то поразбежались по границам еще до твоей кончины. Или, уже после твоей кончины, у себя дома в России поперемерли-поперевешались. И, наверное, слава Богу, остались только простые, честные и работающие. Говна нет, и не пахнет им, остались только брильянты и изумруды. Я один только — пахну... Ну, еще несколько отщепенцев — пахнут...» Так, в мире «брильянтов» и «изумрудов» запах «говна» оказывается отличительным признаком человека. Веничка не переставляет акценты — он все смещает, переворачивает «на фиг наоборот». Самым ценным в человеке оказывается то, чего человек должен был, обязан был (да и — есть!) в себе стыдиться. Считалось хорошо, когда человек — такой, как все, только лучше, удачливее, счастливее. А у Вени — хорошо, когда человек не такой, как все, и при этом — гораздо хуже, неудачливее, несчастнее. То есть опять-таки не то чтобы хорошо, но только тогда он, собственно говоря, и человек. «Выше всего в человеке ценить непоправимость», — записано в Веничкиной книжке.

«Жертва Богу — дух сокрушен».

Но вернемся к мифу, а вернее, к тому, зачем он понадобился столь настоятельно современному миру. Вообще-то на то, что мир вывихнут, обратил внимание еще принц Гамлет. Но постепенно вывихнутость мира стала восприниматься как его нормальное состояние. Еще недавно нас запальчиво уверяли, совсем как либеральный князь Щ. в романе «Идиот» Достоевского, что преступлений было и раньше не меньше, чем теперь. Но дело не в количестве преступлений. «Они в полном неведении, — сетовал Веничка, — «чудовищное неведение Эдипа», только совсем наоборот. Эдип прирезал отца и женился на матери по неведению, он не знал, что это его отец и его мать, он не стал бы этого делать, если бы знал. А у них — нет, у них не так. Они женятся на матерях и режут отцов, не ведая, что это, по меньшей мере, некрасиво». Сейчас он уже мог бы констатировать, что для весьма многих красота именно в том и состоит, чтобы зарезать отца и жениться на матери.

Вывихнутый мир возникает как следствие опустошения слов (заповедь, закон — это ведь слово), деградации слов. Герой «Вальпургиевой ночи...» потрясающе демонстрирует эту деградацию на примере русских пословиц: «Прежде, когда

посреди разговора наступала внезапная тишина, — русский мужик говорил обычно: «Тихий ангел пролетел»... А теперь в этом же случае: «Где-то милиционер издох!..» «Гром не прогремит, мужик не перекрестится» — вот как было раньше. А сейчас: «Пока жареный петух в жопу не клюнет». ...Или, вот еще: ведь как было трогательно: «Для милого семь верст — не околица». А слушай, как теперь: «Для бешеного кобеля — сто километров не круг»...» Так вот, против того, чтобы слова были «только слова», и пытаются бороться и миф, и Веничка, который, при всей своей ненависти к подвигам, все же произнес: «И тогда я понял, где корыто и свиньи, а где терновый венец, и гвозди, и мука. И если придется, я защищу все это, как сумею». «Ерофеев никак не мог и не хотел воплощаться, — пишет Михаил Эпштейн. — Он себя разрушал, скорее всего, сознательно. Он разрушал себя как автора — и это отзывалось в погибающем персонаже. Он разрушал себя как персонажа — и это отзывалось в погибающем авторе. Он закончил поэму о себе: «Они вонзили мне шило в самое горло... С тех пор я не приходил в сознание и никогда не приду». Если бы не легкость Вениного саморазрушения, как посмел бы он так пророчить о себе?» Так вот, здесь дело не в Вениной безалаберности. Просто если он хотел и брался восстановить полновесность слова до того первоначального Слова, которым творился мир, нужно было прожить и выжить свою поэму — до «шила в горле», до «опухоли на ране». Это не пророчество и не предсказание, это — творение. Просто он знал, что хотел защитить, и защищал это, как умел. Он слишком знал, что в мире нет ничего шуточного, чтобы накликать на себя такое случайно или по безалаберности. «Спаси меня Боже, ибо воды дошли до души моей».

Розанов явился Вене как спаситель. То есть... но, впрочем, лучше он сам скажет: «Нет, я не о том, я не о себе, у меня-то все началось давно, и не с Василия Розанова, он только «распалил во мне надежду». У меня все началось лет десять до того, все влитое в меня с отроческих лет плескалось внутри меня, как помой, переполняло чрево и душу, и просилось вон — оставалось прибечь к самому проверенному из средств: изbleвать все это посредством двух пальцев. Одним из этих пальцев стал Новый Завет, а другим — российская поэзия, то есть вся русская поэзия от Гаврилы Державина до Марины (Марины, пишущей «Беда» с большой буквы).

Мне стало легче. Но долго после этого я был расслаблен и бледен. Высшие функции мозга затухали оттого, что деятельно был возбужден один только кусочек мозга — рвотный центр... Нужно было что-то укрепляющее, и вот этот нумизмат меня укрепил — в тот день, когда я был расслаблен и бледен сверх всяких пределов.

Он исполнил функцию боснийского студента, всадившего пулю в эрцгерцога Франца-Фердинанда. До него было скопление причин, но оно так и осталось бы скоплением причин. С него, собственно, не началось ничего, все только разрешилось, но без него, убийцы эрцгерцога, собственно, и ничего бы не началось. Если бы он теперь спросил меня: — Ты чувствуешь, как твоя поганая душа понемногу теитезируется? Я ответил бы: — Чувствую. Теитезируется.

И ответил бы иначе, чем еще позавчера бы ответил».

Здесь, собственно, Веня описывает становление своей творческой системы. Сначала устанавливаются «зеркала» — в отражениях которых будет осмысляться мир. Новый Завет и русская культура XIX века — то, что должно высветить смысл происходящего, смысл, который не виден и невоспринимаем изнутри описываемой системы (плескавшейся внутри Вени, как помой), смысл, которого там и нет, если смотреть и з н у т р и. Розанов дает стиль, то есть точку, фокус. Он указывает пальцем, где Вене нужно встать. Он показывает, где встать, — своим примером. Ибо где могут быть собраны эти несходящиеся лучи? Только в личности. Сбравшая их в себе личность воспламеняется и сгорает — если действительно соединила их в себе, как в фокусе.

Поэтому все наши мифы — о сгоревших. Они приняли на себя первый удар, чтобы мы могли видеть и не сгорать. Они все были философами — ибо истинные философские камни лишь те, что ворочаются у вас в печенках, не давая вам ни на миг отвлекаться от постижения заключенной в них мудрости. Все остальные рекомендуется сразу выбрасывать, предварительно оглядевшись — чтобы не попасть кому-нибудь по голове.

Может показаться, что не очень-то они, эти философы, нам теперь и нужны, не так-то и важны. Они, конечно, не свет и воскресение, нет. Они лишь заслон от жала тьмы и смерти. Потому что они искали в поистине кромешной тьме. И

не теряли мужества. Не важно, в каких формах оно проявлялось. Иногда, чтобы быть малодушным, потребно больше мужества, чем для того, чтобы быть braveм и отважным. Ибо лишь Бог видит страх отважного. Так же как и мужество малодушного. Нужно большое мужество, чтобы не казаться перед людьми, а быть пред Богом.

А теперь о «противоиронии». Прием, постоянно используемый Веничкой для освоения двух своих «зеркал», двух систем, сделавших для него возможным осмысление мира, — тот прием, что и в примере, который приводит М. Эпштейн для иллюстрации «противоиронии» (насчет сравнения стигматов святой Терезы с розовым крепким за рупь тридцать семь), древен, и называется он — травестия. Ирония — инструмент разрушения слова, опустошения его. Она заставляет слово заключать в себя смысл «антиномичный», то есть «свинский» (в соответствии с Вениным словоупотреблением). Травестия — переодевание. Она не разрушает эстетической или любой другой ценности задеваемого ею слова или вещи. Она лишь предлагает им сменить «хитон» и «гиматий» на плащ и майку. Она приближает их к нам.

Иногда травестия в Вениной поэме очевидна, и тогда не так поражающа («Раздели со мной трапезу, Господи!» — это ведь он выпить Ему предлагает!). А из каких компонентов должен был состоять, к примеру, коктейль «Звезда Вифлеема»? Или «Иорданские струи»? Или вот его «белобрысая дьяволица», которой, как Христу, говорят: «Вот он, во гробе. И воскреси, если сможешь». И которую он все хочет одеть в виссон, а об этом вот что сказано в Откровении: «...ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых» (Откр. 19: 7 — 8).

Нам этот прием, его цель и способ действия более понятны, когда он работает с русской историей и литературой. Она была — окаменевшая, вся в памятниках. Дети, видя эти портреты в школьных классах, так и думали, что родился Пушкин, творил, умер, после него родился Лермонтов, творил, умер, после него родился Гоголь, творил, умер, и т. д. Веня заставляет нас увидеть людей («Модест Мусоргский, весь томный, весь небритый», «Николай Римский-Корсаков с цилиндром на отлете» и «похмелиться не дает», и т. д.), а памятниками оставляет лишь «классиков марксизма» — ибо он-то хорошо понимает, что памятник — это не жизнь, это смерть после смерти. Веня так пересказывает сюжет поэмы А. Блока «Соловьиный сад»: «Там в центре поэмы, если, конечно, отбросить в сторону все эти благоуханные плеча и неозаренные туманы, и розовые башни в дымных ризах, там в центре поэмы лирический персонаж, уволенный с работы за пьянку, блядки и прогулы», — что ее читают у него монтажники ПТУСа. А в наших родных школах ее не читали и любознательные десятиклассники. Литература у нас была в памятниках, а Бог — в музеях. Было необходимо вывести и Бога и литературу на улицу, более того — привести их в петушкинскую электричку. «Не смех со слезами, но утробное ржание с тихим всхлипыванием в подушку, трагедия с фарсом, музыку со сверхпрозаизмом, и так, чтоб это было исподтишка и неприметно. Все жанры слить в один, от рондо до пародии, на меньшее я не иду». Как окрестить этот Веничкин коктейль? Может быть, жизнь?

И последнее — о названии тома: «Оставьте мою душу в покое». Может быть, он и хотел, чтобы его оставили в покое, но нас-то он в покое оставлять не собирался. Он как-то обмолвился: «Но ему-то надо привлечь 2 — 3 — 8 сердец, а мне-то надо 20 — 30 — 80 сердец. Вот отсюда разница». Он ставил себе воспитательные задачи: «Понемногу суживать тот круг вещей, над которым позволительно смеяться». Он ценил свои достижения: «А вот еще одна моя заслуга: я приучил их ценить в людях еще что-то сверх жизнеспособности». Даже пьянство для него было дидактическим: «И еще раз о том, что тяжелое похмелье обучает гуманности, т. е. неспособность ударить во всех отношениях, и неспособность ответить на удар». И именно это его качество — невозможность оставить в покое души человеческие, из опасения, что утонут они в этом покое, как в трясине, — блистательно доказывает его принадлежность великой русской литературе.

«О мне толкуют сидящие у ворот, и поют в песнях пьющие вино. А я с молитвою моею к Тебе, Господи; во время благоугодное, Боже, по великой благодати Твоей, услышь меня в истине спасения Твоего; извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне; да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод... Увидят это страждущие и возрадуются. И оживет сердце ваше, ищущие Бога».

Татьяна КАСАТКИНА.



МОРОК АЛЕКСАНДРА БОРОДЫНИ

А. Бородыня. Гонщик. — «Октябрь», 1995, № 10.

А. Бородыня. Шелковый след. М. 1995. 575 стр.

А. Бородыня. Цепной шенок. — «Знамя», 1996, № 1.

С каждым годом роспись становилась все гуще... и теперь уже ничего не видно через это страшное драгоценное стекло, и кажется, что если разбить его, то одна лишь ударит в душу черная и совершенно пустая ночь... От этих озорных узоров, не для всех к тому же вразумительных, его искусство стало еще гаже и мертвее...

Набоков, «Весна в Фиальте».

Реализм — вежливость писателя.

Я не знаю обстановки («обстановочки») советского концлагеря, но, когда я читаю, что старшина конвойных войск отгрыз голову овчарке, я сомневаюсь. Взял и отгрыз? Да позвольте, да как же это? Шерсть, поди, в рот набьется, неудобно ведь...

Это, понимаете ли, фантазмагория. Гротеск... А... Понимаю, понимаю.

Бывшая спортсменка, заключенная Лиля раздобыла шест, разбежалась ночью — и перепрыгнула... колючую проволоку, запретку, перелетела, так сказать, — и бегом в тайгу.

Вокруг концлагеря бродят и рычат амурские тигры. Страшно. Жуть... (Недавно опубликовано постановление, из которого явствует, что амурских тигров осталось штук сто пятьдесят — не больше. Очевидно, все они собрались вокруг лагеря, описанного Бородыней.)

Гротеск, фантазмагория, что вы к мелочам придираетесь?

Где-то в середине книги (повести? романа? — нет-нет, здесь все жанровые определения расплываются, исчезают; скажем так: беллетристика с бредовинкой) можно сообщить недогадливым: «...легкое отражение таежного солдатского следа лежит на кухонном столе далеко от тайги, в городе. Иллюзия... Все только игра ума, трудно поверить в другое. Человек сидит за своим столом... „Разве я когда-нибудь писал книги? Нет, не писал и не буду... Придут мальчишки, расскажу им о том, как нетрезвые солдаты беглую спортсменку в лесу не нашли, откроют рты. Расскажу, как она с шестом через колючую проволоку под током перепрыгнула... Не нужно бы ничего такого детям рассказывать (да ничего «такого» и взрослым не надо бы рассказывать. — *Н. Е.*), но раз уж начал...» («Гонщик»).

И что тут придираться? «Игра ума»! Страшное драгоценное стекло, на котором нарисованы «озорные узоры»! Надо не придираться, а продираться — к сокровенному, к тайному тайных текста. Можно даже написать эссе: «Миры Александра Бородыни», или «Видения Александра Бородыни», или «Мифы А. Бородыни», или «Гофманиана А. Бородыни»...

Даже начало такой статьи видится вполне глубокомысленное: «Всякий писатель — солипсист. Ибо всякий писатель создает свой мир. Он — Бог этого мира. Миры писателя остаются после его смерти. Все писательство — солипсизм и отчаянная борьба за бессмертие. Крик Фауста: «Остановись, мгновенье! Ты — прекрасно!» — на самом деле крик писателя, и мгновенье не обязательно прекрасно, оно может быть отвратительно, но писатель все равно жаждет его остановить, задержать... А. Бородыня заранее согласен с тезисом солипсиста «Мир — мое представление», однако он создает сразу несколько миров, несколько представлений. Бред и явь на равных сосуществуют в его книгах. Возможность события равнозначна самому событию. Прошлое, будущее и настоящее сливаются в одно мгновение, застывают. Кто еще так играл с читателем? У кого действительность была пронизана, пропитана бредом? У кого фантазмагория произрастала из реальности; корни реальности и сна у кого были переплетены — не разорвешь? Гофман, Кафка...»

А можно еще и так:

«Штопала осторожно, поглядывая на часы, думала, чтобы палец не уколоть. За спиной отзвонили часы, она обернулась на блестящий римский циферблат. Паль-

цы попали под кожу» («Гонщик»). Это под какую кожу попали пальцы, под чью кожу попали пальцы? Думайте хоть сто лет, все равно не догадаетесь, — я вам сразу скажу: под кожу кресла. Штопала осторожно кресло, и пальцы попали под кожу кресла. На то я и критик, чтобы по сему поводу быстро и ловко написать: «Кресло набито седыми женскими волосами, поэтому автор называет обивку кожей. Ему нужно, чтобы читатель почувствовал, ощутил своей кожей этот образ, образ из пыточной камеры — «пальцы попали под кожу»... Однако все эти рассуждения будут неправдой. Автор просто не знает, что, хотя кресло кожаное, у кресла не кожа, а обивка.

«Военврач вглядывался в женщин (заключенных. — *Н. Е.*), в заостренные лица на ветру. Иногда, бывало, он ощущал в себе некоторую способность к экстраполяции, к удивлению своему, он видел теперь эту способность в других, проверяя по очереди лицо за лицом. Способность простая, природа позволяла» («Гонщик»).

Я опять вынужден прерваться. Я не понимаю, что это может обозначать: «способность к экстраполяции». Загляну-ка в словарь иностранных слов 1993 года издания: «Экстраполяция, экстраполирование (экстра + лат. *polire* делать гладким, отделывать) — 1) метод научного исследования, заключающийся в распространении выводов, полученных из наблюдения над одной частью явления, на другую его часть; 2) нахождение по ряду данных значений функции других ее значений, находящихся вне этого ряда»...

Нет, военврач какую-то другую способность имеет в виду, когда «проверяет лицо за лицом»...

«Способность простая, природа позволяла. Только сам человек не хотел. Уже не боялся, страх ему не мешал, не толкал резиновой стеной назад, на нары, на проволоку, под пулю охраны. Любая из этих женщин спокойно могла шагнуть прямо отсюда из строя в благоустроенную квартиру, скинуть черную тюремную робу, надеть халат и теплые домашние тапочки. Щелчок выключателя — и вошла в другое, завалилась в большую уютную постель, раскрыла книгу» («Гонщик»). Вы подумайте, как все просто: щелчок выключателя — и пожалуйста... Только называется это не экстраполяцией, а «нуль-транспортировкой в пространстве»... или еще как-то... в фантастических романах. В жизни, понятное дело, такое не случается. Щелчок выключателя — и в другое... «„Кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле?“ — „Сам человек и управляет“, — поспешил сердито ответить Бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос». Разумеется, сам, и никто другой. Не важно, что человек «телесно» присутствует в строю заключенных, — «бестелесно» он там, в большой уютной постели, читает книжку...

Готов предположить, что у Александра Бородыни — большой жизненный опыт, но опыта стояния в строю заключенных, как и опыта охранника, у него все-таки нет. Заключенный не может так думать, мол, это грешная плоть моя на морозе мучается, дух-то мой веет, где хочет. Так не может думать, успокаивая себя, надзиратель. Мол, все относительно. Не все ли равно, где — на нарах или в теплой постели.

Полагаю, что не все равно...

Но и в сем последнем случае кощунственной «экстраполяции», перенесения себя из строя зеков в уютную квартиру, опытный критик нашел бы что сказать: «Миры Александра Бородыни взаимобратимы. Протекание событий в его романах можно прокрутить назад, как пленку кинематографа. Щелчок выключателя — и вошла «в другое» любая из женщин — читательниц его романа, завалившаяся «почитать книжку». Вот она «скинула халат», «сняла теплые домашние тапочки», натянула черную тюремную робу — и из благоустроенной уютной квартиры на плац перед бараками. Экстраполяция. Нуль-транспортировка...»

Я понимаю (мне Набоков растолковал), каждый писатель играет с читателем. Но пусть со мной играют честно. Пусть не нарушают конвенций.

(«Одноглазый (*внезапно*). Виноват, сир. Крапленые карты!..

Людовик. Вы пришли ко мне играть краплеными картами?)»

«Желание провести следственный эксперимент теперь же возникло в нем от состояния неуверенности, от грустного кофейного взгляда покойной... Он прошел на кухню... открыл духовку новенькой белой плиты, встал на обшитый линолеумом пол на колени и засунул голову внутрь. Покрутил головой, пытаясь уяснить себе, что видит в точности то, что видела в последний миг своей жизни ушедшая из нее молодая проститутка. Для полноты картины Михаил Михайлович, лежа в

темноте головой на ржавом противне, левой рукой открыл на секундочку газ (он хотел ощутить даже запах ее смерти), а правой проник внутрь, в глубь железного ящика. Пальцы наткнулись на что-то шуршащее, мягкое. Михаил Михайлович потянул. «Неужели она спрятала здесь свой дневник? Не расставалась с ним до последней минуты?!» Он сдвинул сухие листы в комок и неожиданно от радостного возбуждения находки полной грудью вздохнул. По глазам ударил ржавый мрак противня. Михаил Михайлович попытался выбраться, но застрял боком в узком черном шкафу...» («Спички»). Как вы догадываетесь, следственный эксперимент прошел удачно. Следователь умер. Текст текстом и законы текста законами текста, но хоть какое-то соответствие законам... природы должно иметься в тексте?

Каюсь... Я специально проделал «следственный эксперимент» Михал Михалыча: застрять в «узком черном шкафу» духовки можно только в том случае, если очень хочешь «уйти из жизни»... или если пьян до безобразия...

Но это же — фантасмагория, «игра ума»... По одной версии романа «Спички», следователь гибнет во время следственного эксперимента. Тут же, по другой, «обследуя старенькую газовую плиту — орудие самоубийцы, — Михаил Михайлович глубоко, по локоть, засунул туда руку и вытащил, к своему удовольствию, сильно помятую тетрадку, лишенную обложки и сплошь сверху донизу исписанную мелким почерком покойной. Следователь удобно устроился в комнате в кресле, распахнув предварительно шторы на окнах». А по третьей, следователь не пошел осматривать комнату самоубийцы — поехал на кладбище на ее похороны. А в четвертой части... «Виноват, сколько всего частей?» — «Одиннадцать...» — «Аа...» Даа...

В последней, одиннадцатой, части читатель может предположить, что все предыдущие части были компьютерной игрой подростка-сутенера Володечки. Но это предположение очень смутное, очень приблизительное, поскольку персонажи одиннадцатой части ведут себя в точности так же, как персонажи всех предыдущих. Очень точный образ (отдадим, наконец, должное Александру Бородине) он нашел для собственного творчества. Компьютерная игра. Его герои — неживые механические человечки. Они падают, вскрывают себе животы, травятся газом, погибают — их ни капельки не жалко. Их — нет. Это — куклы, мультипликационные фигурки, резиновые манекены:

«Этот крупный, горячий человек оказался всего лишь большой жировой подушкой. Только подступиться было страшно, а взял за горло руками, и делай все что хочешь с ним, мни мышцы, как розовое желе. Легко завернув за спину руки кряхтящего повара...» Это с бандитом так легко, играючи, справляется шестнадцатилетний мальчик? Сомнительно («Цепной щенок»).

Любопытно, что «кукольность», «невсамделишность» героев Бородины лучше всего видна не в его мистических «сноподобных» книгах — «Гонщике» и «Спичках», а в будто бы реалистической, под Агату Кристи сделанной повести «Охотник на ведьм».

Это в «Спичках» и «Гонщике» можно блефовать, «наводить тень на плетень», мол, отсутствие психологической мотивировки — великое достижение автора. Мол, автор понял и отобразил духовную опустошенность человека России XX века. Беспочвенность, нелепость поступков тоже можно закамуфлировать. Извольте: «В мирах Александра Бородины отсутствует причинно-следственная связь, нарушена временная последовательность, ибо его миры — не упорядоченная Вселенная рационалиста, но пространство разъятого атома, четвертое измерение сна, вклинившееся в нашу убого-жестокую действительность...»

Детектив — дело другое. Здесь не сыграешь краплеными картами мистики. Здесь — жесткие условия. Конвенция, которую невозможно нарушить. Нарушил? И ты гол как сокол, как тот король из сказки Андерсена.

Судите сами: молодой человек выходит на двадцать минут из домика в кемпинге. Возвращается — и обнаруживает труп любимой женщины. Завязка. Вот мысли и чувства молодого человека. Первые, непосредственные: «Что делать?.. Ладно! Предположим, я сейчас уйду. Возьму свои вещи, сотру носовым платком отпечатки пальцев и перелезу через забор, он низкий, это нетрудно. Но, во-первых, я буду бояться всю оставшуюся жизнь, что меня найдут, бегство только подтвердит мою вину, а во-вторых, да, конечно, сроки давности равняются максимальному сроку заключения... Лет пятнадцать буду бояться... Потом, конечно, привыкну... Вариант второй: пойти вызвать милицию и рассказать, как все на са-

мом деле... Кто мне поверит? На минуточку вышел в туалет и — на тебе!.. И третий, третий вариант... Что же я такое думаю?! (Спохватывается писатель, вспомнив, что, когда видят труп любимой женщины, сначала расстраиваются, огорчаются, а уже потом «думают». — *Н. Е.*) Она, Рита, умерла, а я думаю!.. А почему мне, собственно, и не думать? (Действительно. — *Н. Е.*) Любой гражданин имеет право думать все, что хочет... имеет право на мысли... Кто она мне? Любовница с двухлетним перерывом в любви?.. Значит, всё (писатель растолковал непонятливому читателю, что любой человек имеет право, увидев труп своей «любовницы с двухлетним перерывом в любви», думать, как стереть отпечатки пальцев. Читатель с этим согласен. — *Н. Е.*), третий вариант: у меня есть полторы недели отпуска, никому ничего не говорить и найти убийцу самому!» («Охотник на ведьм»).

В конце повести выясняется, что никакого трупа и не было. Была кукла, манекен.

На самом деле это выяснилось в тот момент, когда молодой человек решил «стереть отпечатки пальцев» и дать стрекача. С этого самого момента стало ясно: и он, и его «любовница с двухлетним перерывом в любви» — не более чем куклы, манекены. Автор их придумал, «завел»; они двигаются, открывают рты, говорят, как живые.

Я полагаю, что лучше, чем писатель сам о себе, никто о нем не скажет. В предисловии к своему роману «Мегера в мехах» А. Бородыня пишет: «Чернобыльская авария до сих пор остается такой болевой точкой, где совсем несложно напугать и запутать».

В действительности не одна чернобыльская авария — та болевая точка, где совсем несложно «напугать и запутать». Войны в Афганистане и Чечне, грузино-абхазский конфликт, российские тюрьмы, мир городского дна — пугай и запутывай...

Правда, встает небольшой, но очень важный вопрос: если это так несложно, то для чего же идти по пути наименьшего сопротивления? Может быть, достойнее все-таки не пугать и запутывать, а распутывать и пытаться понять?

«Жабу, поразмыслив, Володечка все же не отпустил, а, раздавив босой ногой, долго рассматривал, как расплывается на песке и превращается в вонючую лужу дергающееся зеленое пятно с глазами. (Эта несчастная жаба — единственное живое существо у Бородыни. Ее — жалко. — *Н. Е.*) Через час, лежа на земле и рыдая в голос, Володечка сам себя ощущал такой же раздавленной жабой» («Спички»).

Я не могу избавиться от ощущения, что передо мной — писательский метод Александра Бородыни. Вот так — раздавить выдуманного тобой же героя «босой ногой», присесть и наблюдать, как человекоподобное существо превращается в вонючую лужу, в дергающееся зеленое пятно с глазами.

«Он прицелился. Удивительно, но раскаленная палочка вовсе не дрожала в его руке. Острый кончик казался безобидным, будто его обмакнули в красное масло. Когда красное масло на острие прикоснулось к пухлой щеке повара, мягкая щека чмокнула, вжалась, как лягушка (разрядка моя. — *Н. Е.*), раздалось шипение, завоняло горелым и живым».

Все-таки есть какие-то странные проблески в его манекенном кукольном мире; какое-то искреннее чувство... ужаса? Да, пожалуй что ужаса: «Старослужащие развлекали себя молодыми, били по ночам в охотку, а бесправные рядовые отыгрывались, веселясь, на полудиких мелких животных, чаще кошках; кидали с вышки вниз прямо на проволоку под током... Кувыркаясь, невероятным усилием перекидывая судорогой все четыре лапы, мгновенно группируясь и расслабляясь, кошка в пространстве удлинившейся мысли секунды старалась не попасть на смертельную колючку» («Гонщик»). Это и есть образ мира А. Бородыни. Неизбывный ужас, застилающий глаза, перехватывающий дыхание. Еще секунда — и ты рухнешь на «смертельную колючку», будешь раздавлен, как жаба. Ты — никто, фигурка на дисплее компьютера. Мир вокруг тебя застыл в вечной жестокости, непреодолимой несправедливости.

Российский полковник смотрит на строй зечек, заключенных женщин: «В сознании (полковника. — *Н. Е.*) перепутались, дополнили друг друга две картинки. Разноразмерные от разницы расстояния деревянные вышки соседствовали с несколькими капитальными постройками, газовые камеры, мягкая гора сваленной одежды, чадающий куб крематория». «Полковник, чуть ослепленный солнцем, скосил глаза на собственный рукав. Аккуратно стягивала рукав белая повязка со свас-

тикой. Она полковнику не понравилась. Он дернул шеей и сразу потерял видение повязки и мысль о ней. Настроение только сохранилось, определенное чувство» («Гонщик»).

Когда я читал это, мне вспомнился один эпизод из довлатовской «Зоны» — «Представление». Помните, как в конце идиотского спектакля лагерной самодеятельности зеки поют «Интернационал»: «„Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем...” Вдруг у меня болезненно сжалось горло. Впервые я был частью моей особенной небывалой страны. Я целиком состоял из жестокости, голода, памяти, злобы... От слез я на минуту потерял зрение...» Так повествовала шестидесятническая литература, наивная и романтическая. Совсем по-иному пишет А. Бородин. Не было никогда никакого порыва к свободе и справедливости; ничего «особенного и небывалого» не было в моей стране. Обыкновенный фашизм, сверхугнетение, супернесвобода — вот это было и будет всегда. Так пишет человек моего поколения. Так что уж так сердиться? Я ведь тоже ощущаю себя тенью на экране дисплея, жабой, над которой занесена «босая нога», кошкой, брошенной на смертельную колючку, за секунду до... перекидывающей судорогой лапы...

Никита ЕЛИСЕЕВ.

С.-Петербург.



ВСЕГО И НАДО, ЧТО ВЧИТАТЬСЯ

Михаил Городинский. *Позабудем свои неудачи*. СПб. ТОО «Журнал «Нева». 1994»¹. 198 стр.

«У же непривычно даже читать прозу такого качества. Грустную, нежную, глубокою, с прекрасным юмором, написанную точно и ярко». Так высказался о книге Михаила Городинского прозаик Валерий Попов в краткой аннотации. Столь лестное и определенное суждение не то чтобы небесспорно, но, во всяком случае, не окончательное. Неопровержимо лишь одно: читать «Позабудем свои неудачи» сегодня непривычно. Но тут возникает вопрос: почему? В чем причина этой необычности? Вопрос, побуждающий к размышлениям о нынешнем дне и сегодняшней прозе. Случилось так, что последние годы мы все реже и реже обременяем себя подобными раздумьями: проза, изящная словесность интересуется уже немногих и, наверное, таковых становится все меньше...

Если не пытаться дать качественного (замечательная! отвратительная!) определения современной российской жизни, то не останется ничего иного, кроме как воспеть хвалу бурному и неудержимому ее потоку, подхватившему и повлекшему нас куда-то. Нет ничего интересней, увлекательней бешеной этой стихии: еще немного, и Ниагара в сравнении с ней — подтаявший снег, журчащий в придорожной канаве. Можно гадать, какими крылатыми фразами, каким единственно верным словом обзовут Россию девяностых годов XX века мудрые наши потомки, но в одном мы можем быть спокойны: от уничижительных слов — «мертвый сезон», «застой», «болотная тряпина» — мы застрахованы. Если в нас, «ленивых и нелюбопытных», есть сегодня что-то стоящее, то это непреодолимое чувство беспокойства за собственную жизнь и жизнь близких, за жизнь своих ближних и дальних сограждан. Неудержимый поток и неукротимое беспокойство ежесекундно понуждают напрягать мозг, шевелить руками-ногами, и это так странно, так ново, так непривычно, как непривычно и странно само броуновское это движение, возникшее под влиянием неисчислимых ударов непредсказуемой российской среды (земли — почвы — судьбы) по бранным нашим телам и душам.

И вдруг в кипение наших буден приходит некто и начинает говорить о том, о чем мы уже почти забыли: о мелочах быта, о каких-то посторонних-потусторон-

¹ Сегодняшнее состояние книжной торговли, в частности книгообмена между городами и даже между обеими столицами, таково, что петербургское издание книги Городинского 1994 года в наши руки попало только к концу 1995 года. Приносим извинения читателю за некоторое запоздание этого отклика и за неизбежные повторения подобной ситуации в будущем. — *От редакции.*

них чувствах, наконец, о людях неприметных, но каких-то диковинных. Мы говорим ему: отстань, и без тебя голова идет кругом. И он, будучи человеком воспитанным и деликатным, больше нам не докучает. Он выговаривает свои несвоевременные речи разве что для себя одного и, в робкой надежде быть хоть кем-то услышанным, издает их тиражом мизерным — в тысячу экземпляров. Теперь он может дарить свою книгу друзьям, родственникам, старым и новым знакомым, может хранить ее для внуков и правнуков, может делать все, что ему заблагорассудится, — это его книга, это его горе, это его проблема, это его, его, его... Но неведомым путем — то ли маклак надул в подпитии, то ли приятель подарил хохмы ради, то ли еще какая морока случилась, однако — одна из тысячи! — книга эта очутилась в нашем доме, и мы берем ее в руки.

...И вот — современный, блочный, многоэтажный кооперативный дом, жильцы которого собирают подписи под жалобой на отвратительную работу обслуживающей их котельной. Жильцов много, и кто-то из них кому-то из нас обязательно кого-то напомнит. И жильцы, и ситуация были бы до зевоты знакомы, если бы не дремучий человек по фамилии Николаев со своей ужасающей кухней, «где мерцала тощая лампочка, наполнявшая помещение нищей избяной тоской, был стол, где густо лежали незнакомые мне усохшие ягоды, вторым предметом была ванна, стоявшая у стены на кирпичках, а в узком коридорчике все это предварял еще один запах: солений». А вот Николаев: «Запомнилась его спина — не узкая, не широкая, туго стиснутая ватникообразным полуперденчиком, который не кончался, а как-то у копчика пропадал. Ниже был характерный пузырь отсиженных истончившихся штанов с большой независимой заплатой из материи более темной и прочной, за пузырем и заплатой — кирзовые с неподвернутыми голенищами сапоги... Николаев был страшен... а потому непонятен, противен и чужд». Чужд он и нам, читателям, но отнюдь не потому, что пугает (что еще нас может напугать?), а потому, что совершенно нереален: люди, солящие грибы вместе с огурцами в ванне на кухне, да еще в треухе из облезлого зайца, будь они самыми близкими родственниками самого патриотичного патриота России, в наших кооперативах давно уже не живут. Либо они переоделись в джинсы и куртки, либо — у метро на паперти, либо — на стотысячном городском погосте...

Читаем следующий рассказ — там опять какой-то ханурик, еще один — снова. Городинский как бы не замечает, не чувствует, как фатально отрывается он от нашего истинного, реального существования, как несовременен он со своими малахольными чудиками. С первой до последней страницы он предлагает нам поблуждать в каком-то ином мире, в другой жизни. Она очень похожа на нашу родимую, сермяжную, но все в ней не так: не так говорят, не так смотрят, не так смеются. А ему — автору — доставляет удовольствие то так, то эдак поворачивать своих героев, ставить их с ног на голову, гонять без устали по замороженным питерским коммуналкам, сквозь увеличительное стекло разглядывать их муравьиную мельтешню и неторопливо, раздумчиво, подробно живописать. Похоже, ему дела нет до того, что герои его рассказов, будь то учительница, помешанная на русской литературе, или инженер, заваливший квартиру белыми грибами, или пенсионер, смысл жизни которого — в газете, или некто по имени Зритель, свихнувшийся на просмотре теледебатов, или кассирша в бане, наделенная массой не востребуемых талантов, или... — ему нет дела, что все они тем дальше от нас, чем узнаваемее и сходственнее с нами. Это сходство коробит тем более, что никакие они вовсе не «герои» в привычном и вечном смысле этого слова: ни с кем и ни с чем они не борются, никого не побеждают, ничего не достигают (и это — я? это — мы?). Они вызывали бы чувство жалости и сострадания, если бы своей ненужностью, неприкаянностью своей не были столь близки и понятны, как близки и понятны собственные несовершенства и неудачи, которые нельзя позабыть, — узнаваемость порождает чувство отторжения. Шутка дарителя-приятеля состоялась...

Шутка приятеля не состоялась. Где-то в середине книги мы насканиваем на рассказ заведомо выдуманный, сюрреалистичный, иррациональный. Он называется «День шестой» и погружает в перевернутый мир даже еще и не человека, эмбриона, в муках и корчах покидающего материнскую утробу. Прием не нов, и он остался бы лишь приемом, если бы при чтении этого рассказа не стучали в висках горькие слова мольбы: «Мама, возьми меня обратно!» В мире рассказа ничуть не ужасней, чем в жизни: и щипцы, извлекающие младенца на свет божий, и его отчаянный протестующий крик, и атмосфера роддома — инкубатора равнодушия,

печали и страха — разве это нам не знакомо? Кто из нас не побывал в своей «Снегиревке»? Знакомо, конечно. Но и ощущения этого маленького предчеловека столь достоверны, что в какой-то момент начинают волновать, будоражить душу и воскрешать как бы воспоминания — навсегда, казалось, позабытые. И уже не важно, страх ли первых дней жизни сотворил человека, как утверждает рассказчик, или его — страха — преодоление, как нам хотелось бы думать, — куда важнее узнаваемость самого себя и вверх тормашками стоящего мира: «Вместе с клочками какой-то ночи, жестокого звездного неба, деловитой возней палачей (акушеров. — *Б. Д.*) и собачьим лаем, безмолвием остекленелого пространства они вынимали, вытягивали, вырывали из меня — как признание — самое бесчеловечное и человеческое, самое пагубное и спасительное, дикое и искреннее». Придумать, наверное, можно что угодно, кроме настроения, переживания...

«Беда» Городинского в том, что придумывать он не мастак: нет у него сюжета, заставляющего проглатывать страницы с нетерпением и страстью тиффози, нет у него ни хлестких, искрометных метафор, ни врезающихся в память афоризмов, нет и той интригующей отстраненности, которая позволяла бы занести его в реестр модернистов или «пост», как нет и душераздирающих признаний и откровений. Есть то, что не востребуется оптом, что не проглатывается «в метро, в троллейбусе, в магазине»: длинная-длинная фраза, старательно выписываемая деталь, и рой непричесанных мыслей, то и дело перебивающих друг друга. И есть еще анархия вокабулярных ассоциаций и реминисценций, обличающая не столько интеллектуальную, сколько впечатлительную, увлекающуюся натуру. Слово для Городинского одновременно — и цель, и средство.

Все это переваривалось бы с трудом и вряд ли дочитывалось до конца, не будь той чудной смеси иронии и печали, которая метит талант. Грустная улыбка словно бы подсвечивает все перипетии его персонажей, но и она озадачивает: что в ней — сочувствие? скепсис?.. Городинский ничуть не обременяет себя поисками если не завлекательных, то хотя бы мало-мальски созвучных «эпохе» заглавий своим текстам: «Дети слов», «Текст и слово», «Спасутся писавшие изящную прозу» — это ли не вызов? Сдается, этому прозаику совсем не близки слова его земляка Александра Гитовича:

А выпьешь да оглянешься вокруг —
И счастлив будешь убедиться вдруг,
Что это жизнь, а не литература.

Сдается, ему ближе и дороже строки Юрия Левитанского:

Всего и надо, что вчитаться, — боже мой,
всего и дела, что помедлить над строкою, —
не пролистнуть нетерпеливою рукою,
а задержаться, прочесть и перечесть...

Борис ДАВЫДОВ.

С.-Петербург.



НА БУКВУ «Б», ИЛИ НЕ ЛЕЖИ «КВЕРХУ БРЮХОМ»

Б. Г. Федоров. Англо-русский банковский энциклопедический словарь. СПб. «Лимбус Пресс». 1995.
482 стр.

С ияющее лицо Бориса Федорова на суперобложке обещает нам что-то приятное. Этот справочник я заметил на прилавке Московского Дома книги, что на Новом Арбате. На обороте супера сообщается, что этот «уникальный самый подробный валютно-кредитный словарь написан самым необычным автором». Короткая аннотация заканчивается игривой приманкой — «несерьезные люди могут проходить мимо».

Автор этих строк — человек, без сомнения, несерьезный, в финансовых делах, как говорил Зошенко, «маломыслящий». Тем не менее я приобрел словарь для своего приятеля-бизнесмена. Забегая вперед, скажу, что приятель уже купил книгу в

другом магазине, но мне не пришлось жалеть, что впустую потратил деньги. Для меня, дилетанта, этот специфический словарь оказался занимательным чтивом, я полистываю его в часы досуга.

Передо мной открылся живой, переменчивый мир риска, азарта, мир искрометных взлетов и ужасных падений. Обнажилась мускулатура деловой жизни, причем мускулатура эта частенько облечена в пестрые одежды банковского сленга.

Я раскрыл книгу на букве «Б», с одной стороны, случайно, с другой, — как оказалось, вполне уместно, так как именно здесь сосредоточена терминология с коренным словом «банк». Банков упомянуто великое множество, все они снабжены краткой исторической и деловой характеристикой.

Так как в наши дни всех тянет к «чернухе», я с живым интересом изучил целый блок с общим нарицательным названием «черная пятница» — о резких напряжениях на рынках финансов. Оказалось, что «черными» в разные годы и в разных странах были и понедельник, и среда, и четверг, и, само собой разумеется, пятница. А всю «черную неделю» (отмечаю это с особой гордостью) дополнил именно наш «черный вторник» 11 октября 1994 года.

История, география, персоналия — по две-три строки в каждой статье — все это оживляет сухие цифры. Скажем, краткое повествование о «Банко Амброзиано»: «Один из крупнейших частных банков Италии, тесно связанный с Ватиканом и масонами; в 1982 г. обанкротился с долгами в 450 миллионов долларов, а его председатель Роберто Кальви был найден повешенным под мостом в Лондоне». Чем не маленький криминальный роман? Прямо на тему банковской жизни современной России.

Я уже упоминал о сленге. Вот где особенно явно проступает бойкий пульс этой действительности. И «быки», и «медведи» (биржевые игроки), и «голубые пуговицы» (клерки) — специфическая, по-своему колоритная публика; их профессиональные операции (десятки таких операций) описаны кратко и точно.

А словечки типа «брюхом кверху» (belly up — о прогоревшем банке), «на шнурке» (buying on shoestring — почти бесприбыльная операция) или «пузырь» (bubble — вздутая конъюнктура)? Есть даже «Серебряный пузырь» — история аферы миллиардеров братьев Хант, попытавшихся поставить под контроль рынок серебра. Афера лопнула, и Ханты понесли огромные убытки.

Я чуть было не прослезился на словечке «промокашка» (blotter — так еще в недавние времена назывались банковские отчетные книги). Теперь они почти исчезли, их заменили компьютеры. Прощай, «промокашка»!

Словом, я смотрел на это произведение с ностальгической и отчасти литературной точки зрения. Мой приятель-бизнесмен был более деловит. Во-первых, он поведал, что кроме буквы «Б» есть еще целых 25. Терминов же 10 000, и среди них 3000 новых, а многие из них существовали до того только в устной форме. Есть укоренившиеся термины с других языков, например с японского. Кроме того, приложен словарь сокращений и акронимов. И вообще, добавил он, эта книга должна быть на столе у любого бизнесмена, тем более банкира.

В заключение, посмеиваясь, он открыл страницу на «Г» со статьей «Герашенко», которая кончалась так: «По словам специалистов — самый плохой центральный банкир в мире». Приятелю это нравилось, мне не очень. Такие шуточки позволяли себе в далеком прошлом наборщики, вставляя в солидные словари проказливые строки. Стоило ли дважды министру финансов щипать какого-то отставного банкира?

Впрочем, взглянем еще раз на сиятельную улыбку Федорова. Есть, есть в ней что-то проказливое. То ли он говорит: желаю вам всем, господа, не лежать «кверху брюхом», избежать «пузырей» и всей «черной недели», да и «на шнурке» не стоит висеть. То ли убеждает: от всего этого все равно не уйдешь, но не падайте духом, читайте сей труд, господа!

Константин СЕРГИЕНКО.

Мне хочется, когда я одинок,
когда вот-вот раздавит говорильня,
мохнатой бабочкой упасть на потолок,
сложив тяжелые раскрашенные крылья...
И замереть, как зрения обман,
цветком в наштукатуренной пустыне
над миром гениев с поэмами пустыми
в меня проникнуть глубже, чем в карман.

«Позывы пустые» — это все-таки плохо не потому, что неэстетично, а потому, что неточно, непонятно, о какого рода «позывах» идет речь. А вот замереть бабочкой, «как зрения обман», — это удачная формула, хотя и все равно безнадежная, ибо речь идет о способе укрыться от мира, который ловит-ловит человека и, конечно же, его поймает.

Да он, мир, и не отпускал его никуда, человека-то. Будь ты беден или богат, «новый» или «старый», «правый» или «левый». Так и будешь, сцепив зубы, скрепя сердце, в черном, безнадежном, беспросветном отчаянии жизненную лямку тянуть, как в «Болотном гимне». Эти стихи — пример того, как социальное чувство, направленное вовне, в мир, в том числе и в общественные отношения, перерастает в экзистенциальное, потому что в стихах речь вообще идет о людской судьбе-бессудебе, времени-безвременье, смысле-бессмысленности жизни: «Темень, слякоть, негде согреться. / Данко вынул горящее сердце, / прикурил и вставил обратно. / Ну и ладно. / Обойдемся, сдюжим, нас много, / не нашедших защиты у Бога, / коченеющих и пропащих, но молчащих... / Мертвый лес: ни зверя, ни птицы. / Ищут отдыха самоубийцы. / А я жду не дождусь просвета / между веток».

Ну вот, все сходится: ровно сто лет назад писали, что Данко вынул из груди горящее сердце и ценою своей жизни спас людей, вывел из губельного леса, из тьмы и болота. Но не тут-то было — оказывается, это была ошибка, иллюзия.

А был ли Данко?

Что-то мрачновато получается, но талантливо. Очень интересно, что еще написал Александр Коковихин из Йошкар-Олы?

II. НИКОЛАЙ КОНОНОВ. Лепет. Книга стихов. СПб. «Пушкинский фонд». 1995. 56 стр.

Жаль, что мне пока не удалось услышать, как читает стихи сам автор, но, пожалуй, в связи с версификацией Николая Кононова вспомнишь и о раеш-

нике — «народном стихе, в котором единственным фонетически организующим началом является членение на строки и рифма (обычно парная) в конце этих строк» (М. Л. Гаспаров). В книге «Лепет» тринадцать стихотворений из сорока шести имеют парную рифмовку:

Это невыносимое пенье сирен, льющееся
из клиники туберкулеза,
Так что начинает в груди чудиться Ницца
ледка и мниться Сицилия мороза,
И все это растапливается твоими губами,
мой налим, моя олениха,
В санатории объятий на ягеле простыней,
сминающихся тихо.

А еще М. Л. Гаспаров пишет о раешнике: «Никакой закономерности числа и расположения слогов и ударений в строках нет». Это тоже — по крайней мере формально — подходит к нашему случаю:

Так при попутном ветре ты добираться
туда, для чего потребен язык —
но не нужно слово,
И эта скользкая одиссея, клейкий
дисней-ленд, уик-энд тихого рыболова,
Чей розовый якорек когтит мой Ямал,
его ледовитое устье,
Криминальной песенкой Шуберта
о молочной форели,
и этих трелей боюсь я.

Здесь самая длинная строка — двадцать восемь слогов (!), а в анонимном тексте XVII века «Сказания о попе Саве и о великой его славе» счет слогов в строке доходит до двадцати девяти: «А кто за крамою ходит и как ему не вспитаться, только у ворот его никто не стучится...»

Другое дело, что в старинном раешнике сверхдлинные строки скорее редкость, чем закономерность, в основном же стихи вполне воспринимаемы на слух (еще более организован, устрожен раёк в пушкинской «Сказке о попе и о работнике его Балде»), а у Н. Кононова это, кажется, принцип, выработанный и во взаимодействии с позднейшей поэзией, в том числе — сравнительно недавними образцами. Если у Бродского фраза свободно и бесконечно переключивалась из стиха в стих, то Н. Кононов пытается снова загнать, затолкать предложение в ритморяд (у него мало переносов!); но ведь она, фраза, уже растянута, вот и получается такой длиннющий стих:

Хочешь, кудрявым верхом пойдем
за флейтами, а нет, так за тромбонами,
низом,

Где каждое прикосновение вспухнет
салютом, брызнет спортивным призом,
Помнишь ли, как нас волновали вымпелы
бабочек, облаков переходящие кубки,
Что несут девушки, надув на закат
подведенные губки.

Что касается ритморяда, то это все-таки акцентный стих, вольный акцентник: в данном случае количество ударений в строке — от пяти до десяти, междударный интервал колеблется от нуля до пяти слогов. Я не думаю, что Н. Кононов совсем отменил закон единства и тесноты стихового ряда. С единством тут действительно неясно, потому что длинная нецезурированная строка читается не «за раз», а как бы в несколько толчков-синтагм, причем неупорядоченных толчков: от трех до четырех на стих. Зато теснота тут просто повышенная. Если бы строка была выстроена хотя бы в «лесенку», то было бы легче, свободнее читать-артикулировать, а так нас словно что-то гонит к концу, к рифме, чтобы охватить строку, ухватить рифменное, хотя бы отчасти организующее, слегка объединяющее созвучие:

И вот мой поршеньек поспешает в тебе,
и я это наблюдаю в разрезе,
В римском двигателе внутреннего сгорания,
в толчее виллы Боргезе,
Где среди белковых туристов,
прости Господи, Афанасий Фет
и Федор Тютчев.
Превратившись в липкое пламя,
собираются хлынуть из тучи.

По одному мерзит все: от лживого зноя
до музейной зевоты,
А другому все газ веселящий,
сердца легкие обороты.
И самовоспламеняющиеся женщины,
как и гаснувшие от чахотки,
Изливают из меня семя, кепочки стыда
отбросив, стянув смущения пилотки.

Получается и впрямь лепет, глухой, жаркий, томный лепет рвущейся наружу и извергающейся страсти, страсти достаточно откровенной, чтобы говорить о ней перифразами, уклончивыми оборотами, ассоциациями и иносказаниями. Достаточно долго загоняемой внутрь, чтобы теперь, вырвавшись наружу, призвать к служению, сделать поэта рыцарем страсти. Но вырвалась она как раз к концу совсем уж уставшего века, а посему служение проявляется отчасти и в щекотании нервов, и в воспламенении атрофированных чувств.

III. ЕВГЕНИЙ БЛАЖЕЕВСКИЙ.
Лицом к погоне. Книга стихотворений.
М. «Книжный сад». 1995. 124 стр.

В названии этой книги запечатлен жест — живой, энергичный, драматичный и, надо сказать, не чисто лирический, а по меньшей мере — балладный. Так оно и есть: это заключительная строка из «Баллады о беглеце», где есть не то что сюжет, но развернутая ситуация. И это очень характерно для автора, потому что Евг. Блажеевский не вполне лирик, он тяготеет к некоторой повествовательности, подробной описательности, хотя понятно, что перед нами и не собственно сюжеты, а сколки сюжетов, отдельные эпизоды, более или менее выразительные пластические детали событий, оставшихся за кадром.

Подчас сдается, что хватило бы фрагмента с небольшой психологически насыщенной деталью, тогда эта деталь разрослась бы в метафору, символ, стала бы законченным и самодостаточным воплощением лирического настроения. Вот в большом стихотворении «Первый посетитель» герой вспоминает, как приводил женщину в свое холостяцкое жилище:

Туда, где в матрасе вспоротом
Томила трава морская,
И злым сыромятным воротом
Душила тоска мужская.
Туда, где немисливо пятиться,
И страсть устранила намек,
Когда заголяла платице,
Слепя белизною ног,
Когда опрокинула плечи,
Когда запрокинула взгляд...
.....
Красавица влажно дышала...

Ну и так далее...

Детализация, в общем, бунински прозаическая, как и в первой строфе: «И липнет к ладони пластмасса / Невытертого стола». Но есть в стихотворении одна великолепная деталь, готовая стать символом: «И злым сыромятным воротом / Душила тоска мужская...» Ведь сыромятный ворот — это собачий ошейник, поводок, на котором держат человека люди, жизнь, судьба, обстоятельства. Это и одиночество, и свобода-несвобода, и другие экзистенциальные оттенки смысла, воспринимаемые в стихе вполне выпукло. Короче, это место и в образном, и в смысловом отношении очень плотное.

Но деталь погружена в описательно-повествовательный контекст: сначала

идет разгон, описание шашлычной, в которую приходит посетитель, потом по нарастающей идут воспоминания о близости с «кустодиевски красивой» женщиной, а затем — по затухающей — возвращение к описанию шашлычной.

Кто-то сказал, что художественное произведение развивается по той же схеме, что и акт интимной близости: экспозиция, нарастание, пик, спад. Если это так, то вещи Е. Блажеевского иллюстрируют упомянутую теорию буквально. И не только «Первый посетитель», но и другие произведения автора. Поэт очень часто пишет про это. И если, скажем, в «Первом посетителе» по мере развития лирического сюжета происходит еще и накопление-нарастание символического, поэтического вещества — от вполне прозаичной пластмассы невытертого стола (впрочем, не каждому такая пластичность под силу) до роскошной «тоски мужской» с «сыромятным воротом», вбирающей и физику и метафизику образа, — то в иных случаях «физика» так и не преобразуется в художественную метафизику. Например: «Возможно, бред все это, но зачем / Я не могу насытиться тобой?.. / Как за копье судьбы берусь за член, / Готовясь к упоительному бою...» Тоже... пластично и осязаемо!

Даже венки сонетов «Осенняя дорога» в одном месте называется «повестью небезупречной», и он, как видим из магистрала, не то чтобы сугубо философичен, но не лишен рефлексий по поводу каких-то реальных событий:

По дороге в Загорск понимаешь невольно,
что осень
Растеряла июньскую удаль
и августа пышную власть,
Что дороги больны, что темнеет не в десять,
а в восемь,
Что тоскуют поля и судьба не совсем
удалась.
Что с рождением ребенка теряется право
на выбор,
И душе тяжело состоять при раскладе
таком,

ВАЛЕРИЙ ХАТЮШИН. Русская кровь. Поэзия русского сопротивления. Издание второе, дополненное. М. «Палея». 1995. 79 стр.

Согласно авторской преамбуле к сборнику, первое издание «Русской крови» вышло в 1992 году. «Стихи кни-

Где семейный сонет исключил холостяцкий
верлибр
И нельзя разлюбить, и противно
влюбляться тайком...

По дороге в Загорск понимаешь невольно,
что время —
Не кафтан и судьбы никому не дано
перешить,
Коли водка сладка, коли сделалось горьким
варенье,
Коли осень для бедного сердца плохая
опора...
И слова из романса: «Мне некуда больше
спешить...»
Так и хочется крикнуть в петлистое ухо
шофера.

И магистрал, и венок в целом действительно «небезупречны»: они, например, написаны не на пять рифм, как положено, а на семь, рифмовка терцетов не подходит ни под один канон: АБАБВгВгДеДЖеЖ (и правило альтернанса — чередование мужских и женских клаузул — не соблюдено). Ну это, конечно, «не смертельно», как и то, что стихотворный размер здесь редчайший для русского сонета — пятистопный анапест со слегка подвижной цезурой. Кстати, эта напевность вполне в духе Блажеевского, у него довольно много трехсложников, и вообще он предпочитает регулярные размеры, иногда, впрочем, в текстах совсем уж повествовательных («Повесть») они безрифменные. Чистых верлибров совсем мало (вторая часть «Нины» и «Любовь»). Есть еще цикл «японских подстрочников» — силлабических пятистиший в духе «танка».

Я это к тому, что хоть венок, по обыкновению, и нудный получился, но «семейный сонет исключил холостяцкий верлибр». Формула эта остроумная, в ней как-то многое сошлось: и «биографическое» (диалектика холостяцкой поэтической романтики и дисциплинирующего чувства долга), и версификационное (разные степени стиховой дисциплины и речевой необязательности).

Вл. Славецкий.

*

ги вызвали более чем положительную реакцию русских читателей, и после разошедшегося тиража со всех сторон ко мне посыпались просьбы о ее переиздании. Однако так и не нашлось в России ни одного издательства, которое осмелилось бы это сделать... И все же через три года с Божьей помощью мне уда-

лось исполнить просьбу моих читателей и осуществить второе издание книги «Русская кровь», дополненное новыми, гражданского звучания стихами, написанными за эти прошедшие годы».

И Хатюшин просит не обижаться «за слишком резкие слова» этих своих последних стихотворений, ибо они «вызваны острейшей душевной болью за поруганную отчизну и ее униженный народ».

Давно нам известна трамвайная грубость, мы к хамству привыкли, куда ни придешь. Но русская трусость и русская тупость затмили жидовскую наглость и ложь.

...В прежние времена «муза гнева и печали» водила пером Лермонтова, Хомякова, Некрасова, в нашем веке — Волошина, гневно, сурово и уязвленно укорявших Россию и русских за «немытость», за «рабство», за революцию.

Сегодня Хатюшин чувствует, что она водит его пером: «Нам поздно и мало теперь возмущаться, / нас русская сволочь и грабит и бьет, / уже от своих мы должны защищаться, / пока демократ торжествует и врет».

А все потому, что: «С годами дурь свою утроив, / ни в чем не ведая вины, / не патриоты, не герои, / трусливо ждем чего-то, гои, / мы — население страны...»

Чего ждем? — вопрос. Л. Чашечников в поэме «Русская Голгофа» («Москва», 1996, № 2), сродной хатюшинской «Русской крови», предлагает следующий выход из положения: «Посадить на

трон Ивана, / Вроде Грозного царя, / Чтоб кагалы и шалманы / Не хулили нас зазря». И впрямь: Грозного, обезглавившего преп. Корнилия Печерского, удавившего св. митрополита Филиппа, вырезавшего цвет боярства, что и обусловило самозванство, смуту, раскол, — за зря хулить не приходится.

Все это памятные, общеизвестные факты, но «русская кровь» кипит порою так горячо, что рассудок, увы, «с годами дурь свою утроив», за нею явно не поспевает.

...Впрочем, себя к «гоям» Хатюшин отнюдь не относит и в стихотворении «Население» — в развитие известного образа из пушкинского стихотворения о «сеятеле», — обращаясь к «самопрезренным Иванам», пророчествует: «Но вы — безмозглые бараны — / (вдвойне глупей, когда не пьяны) / своим умотесь дерьмом».

Круто? Круто. Но что же делать, дабы приблизить момент, когда «Русь святую небо воскресит»? А вот что:

Но должен каждый патриот
услышать времени веленье:
пока он смело не сожмет
в своих руках гранатомет, —
никто не даст нам избавленья.

«Надеюсь, — пишет в вышеупомянутом авторском предисловии Валерий Хатюшин, — что большей частью неравнодушных, заинтересованных читателей я буду понят правильно».

Юрий Кублановский.

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ



«ОСТРОВ», Берлин, 1994 — 1995, № 1 — 3.

«И хотя наш остров оказался вполне обитаемым, все равно по утрам, даже если все окна на запад, первый взгляд всегда — на восток (опять же Ost), на Большую землю, поверх границ, поверх барьеров, через ров — Ост-ров». Пожалуй, обаятельная Лариса Сысоева, редактор-составитель альманаха (и по совместительству — машинистка, шофер и т. д.), скромничает, когда говорит: «Концепция у нас такая. Во-первых, честно говоря, концепции нет...»

Самое отрадное в том, что новый альманах не нуждается в скидке на младенческий возраст. Он выходит с завидной, фактически журнальной регулярностью: месяц рождения — июнь 1994-го, а в конце ноября — начале декабря 1995-го читатель уже мог приобрести четвертый номер. В первых книжках еще огорчает качество печати, но уже для третьей нашлись оптимальные издательские возможности, и, судя по номеру четвертому, альманах будет использовать их и в дальнейшем.

Внешний вид (качество печати, фотографий, графики) для «Острова» — предмет особых забот. И не просто потому, что по одежке встречают, а для альманаха, который только начинает жизнь, важно быть встреченным не как-нибудь, а тепло и с пониманием. Есть и иные причины для особого внимания к внешности.

Например, постоянная рубрика «Вернисаж „Острова“». Представлены Вадим Сидур, Светлана Каминская, Марина Романовская, Эрик Ершун, двадцатилетие бульдозерной выставки. Но чтобы читатель смог оценить работы скульпторов и художников, фотоиллюстрации как минимум не должны расплываться и двоиться. Требуется определенного издательского уровня и сопровождающая альманах из номера в номер графика Вяч. Сысоева (кстати, отечественным издателям, даже самым бесстрашным и раскованным из нынешних, она вряд ли пришлась бы по вкусу: многовато перцу и соли, остроты и остроумия, например, в забавных предвыборных карикатурах-коллажах).

Оригинальная физиономия альманаха в буквальном смысле слова очевидна: кроме пищи духовной он предлагает еще и достаточно любопытные зрелища. Впрочем, равнодушен не к одному лишь изобразительному искусству. Только в одном втором номере из пятнадцати авторов четверо всерьез связаны с музыкой. «Ритмы» — этот столь важный для музыковедов термин, вынесенный в заглавие подборки рассказов С. В. Юрского, актера, режиссера и автора «Острова», пожалуй, характеризует весь альманах в целом. Может быть, более всего поражает уже при самом поверхностном его чтении разнообразие (да и незатертость и, пожалуй, новизна) ритмики, а ведь, может быть, именно ритмический строй обеспечивает в словесном искусстве уникальность голоса: чаще всего именно новые ритмы (собственные интонации, неповторимое поэтическое дыхание) открывают широкую дорогу далее — к своим характерам, сюжетам, идеям...

Итак, «Остров» претендует на место универсального издания, отдающего страницы не одной музе, а сразу нескольким (журналом такого рода были эмигрантские «Числа» — хороший ориентир для нового альманаха). Вместе с тем подзаголовком он рекомендуется не только в качестве литературно-художественного, но еще и как «независимый публицистический». Казалось бы, вдали от эпицентра событий страсти разогреваются слабее и уж точно не кипят. Между тем злоба дня для «островитян» и за горизонтом не оставлена на задний план. Политическая публицистика «Острова» обширна и разнонаправленна, авторы озабочены средствами как наружного употребления, так и внутреннего применения. Эффектны подсчеты: «Доля каждого из нас в общественной собственности 23 рубля на брежневские деньги» (стоимость ваучера в соответствии с ценами на важнейшие про-

дукты). Стали модными упреки в адрес эмигрантов; так, В. Новодворская обвиняет эмигрантов-«протоплазму»: предпочли легкий путь смерти за идею, — альманах защищается: нельзя же российское гражданство понимать «как страстную ночь с непереносимой смертью наутро». В «Острове» встречаем и образец художественной по стилю публицистики — насыщенная и умная статья Лены Кешман об Израиле, интересная еще и тоном своим. Он не убежденно-наступательный (как ожидаешь от текста такого рода) и не констатирующе-деловой, а... созерцательно-меланхоличный, с печатью «осени в душе». Трудно судить, в чем дело: то ли название («Молитва о дожде») так настраивает, то ли стихотворный и необычный вид строк (они выровнены по правому краю), то ли внешние приемы подчеркнули заложенные в самом тексте ритмы...

Приятно удивляет изобилие маститых авторов и имен, набирающих популярность: В. Аксенов, В. Соснора, Е. Попов, Л. Гиршович, А. Приставкин, В. Пьецух, Д. Пригов, Л. Рубинштейн, Б. Ахмадулина, Т. Щербина, Л. Улицкая. Состав авторов — плод личных знакомств и дружеских связей создателей журнала. Главный редактор — Вячеслав Сысоев (он же — автор рисунков-коллажей и публицист), редакторы-составители — Лариса Сысоева и Евгений Попов (отдающий в «Остров» свои рассказы). Страницы альманаха населяют москвичи, владимирцы, жители Запорожья, сибиряки, зарубежные русские — Берлин, Ганновер, Франкфурт-на-Майне, Нью-Йорк... Едва окрепнув, альманах заботится о дебютах, это, «во-вторых», из ответа на вопрос о «концепции»: «Во-вторых — открывать дебютов». Много обещает, например, проза Сун Комаровой (впрочем, этого можно было ждать от дочери Ю. Кима).

В «Острове» есть, как говорят, своя цензура. Повесть Г. Осипова «Воля покойного», например, напечатана в обработанной, подчищенной версии. И все же, дочитав последние строки, возмущенные грубой откровенностью языка повести русские берлинцы звонили в редакцию. Видимо, вопреки известному предостережению о том, что хорошо отредактированная елка окажется телеграфным столбом, замес жиже не стал. Впрочем, не вдаваясь в рассуждения о допустимости и пользе цензуры и консервативности в редакционном (и литературном) «деле», ограничимся фиксацией некоторой склонности эмиграции, скажем так, выбирать выражения. Пожалуй, к литературному пуританству располагает своего рода «жизнь на виду»: по тебе о России судят, это подвигает поддерживать на высоте достоинство, поднимать его тем выше, чем небрежнее к нему родина (которой сейчас не до того, чтобы следить за красотой собственного отражения).

Темы альманаха — утописты (Е. Попов, Л. Гиршович), искусство Европы в ее предзакатный час (Л. Гиршович), культура как «культ здоровья» и искусство как «искус побега в небытие» (С. Комарова), встреча наций, языков, их диффузия (В. Аксенов, В. Пьецух), — всего не перечислишь... Но главное, пожалуй, достижение «Острова» — открывающая новые перспективы встреча метрополии и зарубежья.

Е. ТИХОМИРОВА.

Иваново.



КНИЖНАЯ ПОЛКА



Н. Байтов. Четыре угла. Приключения информации. Рассказы. М. «АРГО-РИСК». 1995. 18 стр.

Вепские народные сказки. Составители Н. Ф. Онегина, М. И. Зайцева. Петрозаводск. «Карелия». 1996. 262 стр. 2000 экз.

А. Волохонский. Анютины грядки. Стихи. Пермь. Издательство Пермского университета. Издание фонда «Юрятин». 1994. 64 стр. 1000 экз.

Гомеровы гимны. Перевод с древнегреческого Е. Рабинович. М. «Carte Blanche». 1995. 232 стр. 2000 экз.

Фазиль Искандер. Избранное. Сандро из Чегема. Роман. М. «Терра». 1996. 10 000 экз. Книга 1 — главы 1 — 16. 536 стр. Книга 2 — главы 17 — 32. 542 стр.

Е. Мнацаканова. Vita breve. Из пяти книг. Избранная лирика. 1965 — 1994. Пермь. Издательство Пермского университета. Издание фонда «Юрятин». 1994. 117 стр. 1000 экз.

Олег Мраморнов. Когда возмутилась вода. Книга стихотворений. М. «Весть». 1995. 48 стр. 1000 экз.

Орден Куртуазных Маньеристов. Красная Книга маркизы. Венок на могилу всемирной литературы. Альбом галантной лирики. М. «Александр Севастьянов». 1995. 304 стр. 3000 экз.

В. Соколов. Избранное. Стихи. М. Экспериментальная типография. 1995. 300 стр. 500 экз.

А. Чехов. Чайка. Репринтное воспроизведение первой публикации. Мелихово. Пушкино. ОНТИ ПНЦ РАН. 1995. 48 стр. 1000 экз.

Борис Чичибабин. В стихах и прозе. Харьков. «Фолио» СП «Каравелла». 1995. 458 стр. 3000 экз.

Видимо, последняя, составленная самим автором для этого издания книга, в которой Чичибабин собрал лучшее, по его мнению, из написанного им. Книга начинается «Мыслями о главном» — своеобразным духовным завещанием поэта. Основной раздел книги «Я родом оттуда» составили стихи, написанные с 1946 по 1993 год. Завершающий книгу раздел «Выбрал сам» включает автобиографию и семь литературно-критических эссе.

В. Шаров. До и во время. Роман. М. «L'Ade d'Homme — Наш дом». 1995. 318 стр. 3000 экз.

В. Шишков. Хреновинка. Шутейные рассказы и повести. Новосибирск. Книжное издательство. 1996. 384 стр. 20 000 экз.



В. Брун, М. Тильке. История костюма. От древности до Нового времени. Перевод с немецкого Г. А. Светличной. М. ЭКСМО. 1995. 464 стр. 10 000 экз.

И. А. Есаулов. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск. Издательство Петрозаводского университета. 1995. 288 стр. 3500 экз.

Сергей Есенин в стихах и жизни. Воспоминания современников. Составление, общая редакция Н. И. Шубниковой-Гусевой. М. «Республика». 592 стр. 15 000 экз.

Ф. Ф. Зелинский. Соперники христианства. Статьи по истории античных религий. Репринтное издание. СПб. «Алетейя» — «Логос-СПб». 1995. 408 стр. 3000 экз.

История литератур Восточной Европы после второй мировой войны. Том первый. 1945 — 1960 гг. Ответственный редактор В. А. Хорев. М. «Индрик». 1995. 696 стр. 1000 экз.

Подготовлено Институтом славяноведения и балканистики РАН. Описана история литератур Болгарии (Н. Н. Пономарева), Польши (В. А. Хорев), Чехословакии (С. А. Шерлаимова, Ю. В. Богданов, О. Л. Кириллова), Югославии (Г. Я. Ильина), Венгрии (В. Т. Середя), ГДР (А. А. Гугнин), Румынии (М. В. Фридман), Албании (Т. И. Эйнтрей). Впервые предпринята «попытка осмыслить в масштабах всего региона крайне противоречивый процесс развития национальных литератур в условиях идеологического диктата правящих коммунистических партий, отражение в литературной жизни общественно-политических кризисов 1948, 1956, 1968 гг.» (из аннотации).

Юрий Левин. Комментарии к поэме «Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева. Предисловие Хайнрика Пфандля. Грац. М. «Мартис». 1996. 94 стр. 1000 экз.

Комментарии к поэме, написанные московским семиотиком Юрием Левиным по просьбе австрийского слависта Хайнрика Пфандля для западных читателей.

В. В. Леонтович. История либерализма в России. 1762 — 1914. Перевод с немецкого И. Иловайской. М. «Русский путь» — «Полиграфресурсы». 1995. 550 стр. 50 000 экз.

Ксения Маршанская. Сон Пьеро. М. «Квадрат-Компания». 1995. 256 стр. 5000 экз.

Книга о современном театре в новом пока для нас жанре сборника интервью-портретов «нетрадиционных деятелей театрального искусства». Среди них — Роман Виктюк, Гедиманас Таранда, Сергей Маковецкий, Павел Каплевич (выступающий в этой книге еще и как автор ее дизайна), Светлана Воскресенская, Лев Новиков, Елена Камбурова и другие.

Дмитрий Мережковский. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. Подготовка текста, послесловие М. Ермолаева. М. «Республика». 1995. 624 стр. 11 000 экз.

Новые безделки. Сборник статей к 60-летию В. Э. Вацура. Редактор С. И. Панов. В составлении сборника участвовали Е. О. Ларионова, А. Л. Осповат, И. С. Чистова. М. «Новое Литературное Обозрение». 1995 — 1996. 496 стр. 1200 экз.

В четырех разделах сборника — «Вокруг эпохи Пушкина», «Вокруг А. С. Пушкина», «Вокруг текстов А. С. Пушкина», «Заметки комментаторов» — представлены работы А. Л. Зорина, Е. О. Ларионовой, Л. О. Зайонц, А. И. Рейтблата, А. С. Немзера, В. Ю. Проскуриной, А. М. Пескова, С. А. Фомичева, Р. Д. Тименчика, А. В. Лаврова, А. Л. Осповата, В. А. Мильчиной и других. В конце — библиография научных работ В. Э. Вацура, составленная О. В. Миллер и содержащая 207 названий.

Василий Селонин. Капкан на Президента. Составление, вступительная статья А. Нуйкина. М. «Московский рабочий». 1996. 96 стр. 2000 экз.

Смысл жизни в русской философии. Конец XIX — начало XX века. Составитель В. Г. Безносков. Ответственный редактор А. Ф. Замалеев. СПб. «Наука». 1995. 382 стр. 3000 экз.

В сборник вошли работы: Н. Я. Грота «Устои нравственной жизни и деятельности», А. И. Введенского «Условие позволительности веры в смысл жизни», Н. И. Кареева «Мысли об основах нравственности», Л. М. Лопатина «Теоретические основы сознательной нравственной жизни», В. В. Розанова «Цель человеческой жизни», В. С. Соловьева «Идолы и идеалы», Е. Н. Трубецкого «Смысл жизни». Вступительная статья А. Ф. Замалеева, послесловие В. Г. Безносова.

В. С. Соловьев. Оправдание добра. Вступительная статья А. Н. Голубева, Н. В. Коноваловой. М. «Республика». 1996. 480 стр. 10 500 экз.

Ш. Султанов. Плотин. Единое: творящая сила созерцания. М. «Молодая гвардия». 1996. 426 стр. 10 000 экз.

Зигмунд Фрейд. Художник и фантазирование. Общая редакция, составление, вступительная статья Р. Ф. Додельцева, К. М. Долгова. М. «Республика». 1995. 398 стр. 15 000 экз.

Нелли Биуль-Зедгинидзе. Литературная критика журнала «Новый мир» А. Т. Твардовского (1958 — 1970 гг.). М. Культурно-просветительский центр «Первопечатник». 1996. 439 стр.

Генезис. Исследование Н. Биуль-Зедгинидзе было осуществлено как докторская диссертация (под тем же названием). Защита диссертации проходила на факультете славистики Женевского университета в 1992 году. Само исследование было начато в последний год брежневского правления и завершено в эпоху горбачевской «перестройки». Исследовательница, в частности, взяла в 1985 — 1986 годах множество интервью у бывших сотрудников и авторов «Нового мира» Твардовского, в частности у А. Берзер, Г. Владимова, В. Войновича, Б. Закса, Л. Копелева, С. Маркиша, В. Некрасова, К. Озеровой, Р. Орловой, Е. Ржевской, Е. Эткинда, Л. Аннинского, В. Максимова, Б. Окуджавы, Л. Карпинского. Со страниц книги автор выражает особую признательность Игорю Виноградову, Юрию Буртину и Андрею Синявскому за непосредственное участие и помощь в создании настоящей работы (в которой они являются и главными персонажами). Диссертация публикуется без существенных изменений, не указанным, но, видимо, достаточно скромным тиражом.

Структура. Введение повествует о «Новом мире» и его литературной критике в общественно-литературном процессе 50 — 60-х годов. Глава первая посвящена общим идейно-эстетическим рамкам и характеристикам литературной критики «Нового мира». Вторая глава называется «Творчество В. Я. Лакшина». В свою очередь, она разделена на две части, соответствующие «первому» и «второму» периодам его творчества, попросту — до 1964 года и после него. Обзор проблематики позднейших статей Лакшина также подразделяется на ряд подглавок, названия которых имеет смысл привести: «Неформальная опора на марксизм-ленинизм», «Неадекватность критического анализа», «Характер защиты позиций „Нового мира“», «Вопрос о мере исторических компромиссов, поднимаемый Лакшиным в статьях 1967 — 1968 гг., и три эпизода из реальной истории журнала». Глава третья посвящена работам Юрия Буртина и подразделяется соответственно на общую характеристику творчества и анализ его научной публицистики, работ по деревенской проблематике и его литературной полемики. Героем четвертой главы является Игорь Виноградов. Его новомирский период также разделяется на два принципиальных этапа, затем дается характеристика «дальнейшей эволюции творчества». Глава пятая — о публикациях Андрея Синявского, подглавки — «А. Синявский и А. Терц. Постановка исследовательских задач», «Ориентиры и концепция искусства поэзии», «Содержательные критерии в подходе Синявского к анализу поэзии молодых», «Конкретный художественно-эстетический анализ в статьях Синявского», «Мастерство иронии и публицистическая направленность критики Синявского в разоблачительных остросатирических рецензиях». Каждая из персональных глав начинается с биографической справки о том или ином критике, справки по неволе краткой, но незаменимой — ни в каком другом справочнике об этих авторах все равно больше не прочтешь. В шестой главе подводятся итоги исследования и характеризуется творчество Лакшина, Буртина, Виноградова, Синявского в контексте остальной критики «Нового мира». Дальше идут не менее интересные приложения. «Общий тематический и структурный портрет критико-библиографического отдела журнала «Новый мир» А. Т. Твардовского 50 — 60-х гг.» включает в себя информацию об административной структуре тогдашнего отдела критики, распределении обязанностей, производственном процессе, жанрах и стилях критических работ, авторском составе и проч. Проанализирована частота публикаций тех или иных авторов, процентное соотношение положительных и отрицательных рецензий. Второе приложение посвящено взаимоотношениям журнала «Новый мир» с читателями, исследуется динамика тиражей, читательский контингент. Книга завершается обширными примечаниями и указателем имен.

Стиль. Стиль, как теперь любят говорить, адекватный. Все-таки это диссертация, не журнальная статья.

Концепция. Несомненные симпатии исследователя по отношению к «Новому миру» эпохи Твардовского несколько не мешают почти медицинской беспощадности анализа конкретных текстов и ситуаций, жесткости формулировок. Вот, например, характерный фрагмент: «Как член редколлегии, заведующий отделом критики «Нового мира», Лакшин считал, по-видимому, что лучшим средством защиты идейной линии журнала, его литературной политики является доказательство лояльности журнала по отношению к советской власти, на что и делается основной

упор в рассмотренных работах. Главным элементом отстаивания Лакшиным новомирских произведений становилось поэтому тщательное оснащение своей литературно-критической аргументации цитатами из Маркса и Ленина. Но при этом нельзя не подчеркнуть и то, что отстаивание коммунистических идеалов не было для критика только формальным, тактическим, но соответствовало его подлинным убеждениям. Отсюда — *неадекватность его критических анализов, прикладной характер его литературной критики (там, где он имеет дело с произведениями художников иного мирозерцания /курсив здесь и ниже мой. — А. В./)*, которая не является самостоятельным инструментом исследования литературного процесса, а подчинена публицистическим задачам, связанным с конъюнктурой времени и характером осознания критиком своих обязанностей журнального деятеля». Это противоречие между намерениями автора(ов) журнала и идеологической (цензурной) ситуацией, противоречие, разрешающееся так или иначе вынужденной или добровольной неадекватностью суждений, является в книге Н. Биуль-Зедгинидзе своего рода ключом к более обширной проблеме. Анализируя критические отклики на «Один день Ивана Денисовича», исследовательница обнаруживает, что объективно-исторически советские сталинисты и западные антикоммунисты «были гораздо ближе в те годы к пониманию действительного содержания повести Солженицына, нежели «марксисты-идеалисты» Карякин и Лакшин». Это почти вплотную подводит Н. Биуль-Зедгинидзе к необходимости четкого отделения действительных заслуг новомирских критиков эпохи Твардовского от «перестроечного» мифологизирования по этому поводу.

Внутренние противоречия. Пока исследовательница анализирует конкретные тексты конкретных новомирских авторов, идет от факта к обобщению, ее взгляд трезв, подходы жестки, объективны. Когда же приходит пора обобщать, подводить итоги, она оказывается в плену «перестроечных» штампов, которые, кстати, опровергаются ее же конкретными наблюдениями, сделанными на предшествующих страницах.

«Все эти факторы, — пишет автор, — позволяют нам рассматривать литературную критику «Нового мира» как один из важнейших, главных *духовных* источников тех идей, умонастроений, поисков и устремлений, которые определяют собою наиболее существенные и *перспективные* тенденции *сегодняшней* духовной и культурной жизни России». Но как раз факты, разборы, сведения, приведенные на страницах исследования, рисуют куда более сложную и противоречивую картину. Это дает нам право относиться к последним, «глобальным» выводам исследования как к ритуальным фразам, подобным неизбежным ссылкам на Маркса — Энгельса — Ленина в многочисленных работах советского периода.

Пробелы. Невозможно говорить о критике «Нового мира», да и вообще о подцензурной советской критике, не затрагивая проблему *аллюзий*. Исследовательница, конечно, упоминает их в роли *приема*, часто применявшегося новомирскими авторами. Но проблема тут гораздо глубже. Использование русской дореволюционной истории в качестве материала для актуальных аллюзий, для отсылок читателя к истории советской приводило к тому, что русская история XIX — начала XX века как бы лишалась тем самым собственной проблематики, собственного содержания. Историческая реальность превращалась в какой-то гигантский *эфемеризм*. Решая одну прикладную задачу — *просвещать и ориентировать* массового читателя относительно лица современности, одновременно этого же читателя *дезоринтировали* в его родной истории. Пусть каждый сам взвесит, где тут большее, а где меньшее из зол.

Итоги. Книга представляется мне объективным (но, естественно, не беспристрастным) исследованием. Разумеется, многие авторские суждения вызовут у иных читателей массу несогласий и возражений. Но независимо от оценок и интерпретаций, присутствующих в книге, она является незаменимым и по-своему уникальным *информационно-справочным изданием* по истории «Нового мира» и шире — по истории русской журналистики 50 — 60-х годов нашего века.

Андрей Василевский.

ПЕРИОДИКА



*«Вопросы литературы», «Грани», «Дружба народов», «Звезда», «Знамя»,
«Знание — сила», «Иностранная литература», «Книжное обозрение»,
«Континент», «Литературная учеба», «Наш современник», «Нева»,
«Независимая газета», «Новая Юность», «Общая газета», «Октябрь»,
«Русская мысль», «Урал», «Юность»*

Сергей Аверинцев. Одно дело — думать о Мандельштаме, другое — идя от Мандельштама, умствовать о знамениях времени. — «Сегодня», 1996, № 45, 20 марта.

Беседа — на целую газетную полосу — о Мандельштаме. «В некотором простейшем (историко-литературном) смысле очевидно, что пора поэта, столетие которого мы отпраздновали пять лет назад, миновала...» (Интервью брала Яна Свердлюк.)

Геннадий Айги. Поэзия-как-Молчание. Разрозненные записи к теме. — «Дружба народов», 1996, № 3.

Журнальная перепечатка — с согласия автора — одноименной книжки (М. «Гилея». 1994), изданной тиражом 150 экземпляров.

Мария Арбатова. «Опыт социальной скульптуры...». Повесть. — «Звезда», 1996, № 2.

1992 год. Международный «Караван культуры» движется из Берлина в Пекин через Россию. Антропософы и монголы глазами феминистки. Текст, как теперь говорят, совершенно не политкорректный.

Игорь Архипов. Карнавал «Свободной России». Заметки о «блеске и нищете» российской политической культуры образца 1917 года. — «Звезда», 1996, № 1.

«Февраль разрушил текст „старого порядка“, складывавшийся в сознании обывателей на протяжении многих поколений. Но новый язык, символика, смыслы, правила (все такое интригующее, загадочное!) воспринимались преимущественно как игра, всеобщая забава... Смена языковых клише по своей сути была тем же карнавалом. И легкость, с которой она происходила, таила в себе опасность нестабильности, переменчивости — динамика в этом случае неизбежно обрекала на гибель то, что величественно звалось тогда „демократической Россией“».

Дмитрий Бавильский. Петербургский стиль. — «Независимая газета», 1996, № 44, 6 марта.

Посреди обзора новых петербургских журналов «Постскрипtum» и «Ё» — такое приятное отступление: «...ведь ничто не создает внутри журнального пространства такого уюта, как всяческие разнообразные редакционные сноски, примечания, объявления, прочие «строительные леса» (особенно хорошо получающиеся почему-то в «Новом мире»)».

Иосиф Бродский. Вершины великого треугольника. — «Звезда», 1996, № 1.
Эссе о Цветаевой.

Иосиф Бродский. Трофейное. Авторизованный перевод с английского А. Сумеркина. — «Иностранная литература», 1996, № 1.

Эссе 1986 года получено редакцией «Иностранной литературы» в рукописи.

Чарльз Буковски. Макулатура. Роман. Перевод с английского В. Голышева. — «Иностранная литература», 1996, № 1.

Роман издан в США в 1994 году (год смерти писателя). См. также его рассказы («Иностранная литература», 1995, № 8) и роман «Голливуд» («Искусство кино», 1994, № 9 — 1995, № 2).

Георгий Владимов. За землю, за волю... — «Знамя», 1996, № 2.

Глава из романа «Генерал и его армия», не вошедшая в журнальный вариант («Знамя», 1994, № 4, 5). Цитирую: «Учитывая многие отзывы критиков, письма читателей,

советы друзей из ветеранов Великой Отечественной, автор пожелал развить весьма важную сюжетную линию, заодно уточнив позицию главного героя по отношению к одному из самых трагичных явлений нашей истории». Имеется в виду отношение генерала Кобрисова к Власову и власовцам — Российской Освободительной Армии.

Георгий Владимов. «Когда я массировал компетенцию...». Ответ В. Богомолу. — «Книжное обозрение», 1996, № 12, 19 марта.

Подробный полемический ответ Г. Владимирова на критику его романа «Генерал и его армия». С переходом на личности. Тут же печатается обширный редакционный комментарий, в свою очередь полемически направленный против Г. Владимирова.

Габриэль Гарсиа Маркес. Генерал в своем лабиринте. Главы из романа. Перевод с испанского Аллы Борисовой. — «Звезда», 1996, № 1.

Главы из нового романа знаменитого колумбийского писателя о последних малоизвестных месяцах жизни Симона Боливара. Тут же печатаются статьи Всеволода Багно и Виктора Андреева о Маркесе.

Геннадий Горелик. Лидия Чуковская и Матвей Бронштейн. — «Знание — сила», 1996, № 1.

О советском репрессированном физике М. П. Бронштейне и его вдове — Л. К. Чуковской. Из архивной бумаги 1958 года: «...возместить Л. К. Чуковской стоимость бинокля, изъятого при обыске 1 августа 1937 года...»

Анатолий Гребнев. Из цикла «Венок сюжетов». — «Дружба народов», 1996, № 2.

«Дамоклов меч» и «Лев и Екатерина» — короткие повести из жизни интеллигенции.

Виктор Ерофеев. Разговор по душам о виртуальном будущем литературы. — «Общая газета», 1996, № 11, 21 — 27 марта.

«Остывание литературы происходит на глазах. Само слово «литература» начинает звучать одиозно...»

Игорь Зотов. Современный бобок. Похвальное слово живому классику. — «Независимая газета», 1996, № 42, 2 марта.

Критик с удовольствием рецензирует «Русский словарь языкового расширения» (М. «Голос». 1995. 15 тыс. экз.), составленный А. И. Солженицыным, и даже утверждает, что это «несомненно лучшее из всех собственно литературных трудов» писателя. Цитирую: «Действительно — роскошное, почти романтическое чтение. Бодрящее и мысль, и здоровое чувство юмора. И притом — чтение вполне бесполезное, как и подобает настоящей литературе».

Владимир Кантор. Иван Тургенев: Россия сквозь «магический кристалл» Германии. — «Вопросы литературы», 1996, № 1.

Россия и Германия как «два отечества» Ивана Тургенева.

Кирилл Кобрин. Англичанин. — «Октябрь», 1996, № 2.

Эссе о Чаадаеве, который был не просто англичанин — «он был английский денди».

Вадим Кожинов. Можно ли предвидеть будущее? — «Юность», 1996, № 2.

Экономическая статья. Среди прочего: «...будущее России — не в рыночной экономике с государственным регулированием, а в государственной экономике с рыночным состязанием...»

Михаил Копелиович. Парадоксы писательской судьбы. — «Континент», № 85 (1995).

Елена Ржевская на фоне советской военной прозы. Автор живет в Израиле.

Дмитрий Крюков. Центон, или Употребление скрытых цитат. — «Новая Юность», № 12 (№ 3 — 1995).

Центонирование в данном случае не только тема статьи, но и элемент авторской стилистики. Тут же печатается статья Николая Малинина «В защиту плагиата»: «...заимствование — тот же прометеев огонь...»

Вячеслав Курицын. Событие Бахтина. — «Октябрь», 1996, № 2.

Курицын о Бахтине.

Александр Кушнер. «Душа хотела бы быть звездой...». — «Звезда», 1996, № 2.

Заметки о Тютчеве. См. также его «Заметки на полях» в № 5 «Нового мира» за этот год.

Ксения Мяло. Заложники. — «Наш современник», 1996, № 3.

Чечня. Россия. СМИ. «В конце XX века настало время платить по уже забытым векселям его начала...»

Анатолий Найман. «Поэма без героя». — «Русская мысль» (Париж), 1996, № 4114, 4115, 4116.

Ахматовская поэма, пишет А. Найман, «на всем своем протяжении имеет дело с тем, чего в данную минуту нет, чего не хватает. «Без чего-то» — ее содержание, которое, стало быть, никогда не может быть исчерпано. Но форма, пространство, вся сущность целиком и каждый оставленный след даны этому «чему-то» всей полнотой того, что в Поэме есть. И мы хотим это читать».

Андрей Немзер. Как, с чего начать мою историю? — «Сегодня», 1996, № 36, 5 марта.

О прозаических произведениях Галины Щербаковой, опубликованных в «Новом мире» — «Радости жизни» (1995, № 3), «Косточка авокадо» (1995, № 9), «Love-стория» (1995, № 11), «У ног лежащих женщин» (1996, № 1).

Валентин Непомнящий. Из дневника пушкиниста. Заметки на полях «Евгения Онегина». — «Грани», № 178 (1995).

Несколько записей частного характера «из дневника пушкиниста» — о переводе иноязычных текстов и о пунктуации в «Евгении Онегине».

Борис Парамонов. Жить по лжи. От Зощенко к Зюганову. — «Звезда», 1996, № 2.

«Это может показаться чудовищным парадоксом, но выступление Жданова против Зощенко действительно было выступлением в защиту культуры».

Кэтлин Парте. Что делает писателя «русским»? «Русификация» русской литературы после 1985 года. — «Вопросы литературы», 1996, № 1.

Обширная статья, переведенная с английского, датирована 1993 годом, но редакция «Вопросов литературы» сочла целесообразным познакомить с ней читателей журнала, поскольку (цитирую) «достаточно характерный для западной русистики взгляд на освещаемые автором актуальные проблемы нашего литературного процесса выражен в статье с редкой обстоятельностью». Саму постановку вопроса «что есть русское?» или «что не есть русское?» исследовательница из города Принстона (США) считает проявлением политического консерватизма, шовинизма, империализма и проч. Образчик стиля: «То, что националисты именуют своей заботой о восстановлении прошлого и обеспечения будущего русской литературы, часто является маской для шовинизма или же игрой власти, добивающейся контроля над тем, что националисты все еще ощущают как голос и как душу нации и одновременно наиболее эффективный идеологический инструмент подобного контроля. Они хотят быть имперскими бардами России, которая еще раз классифицировала своих писателей как про- или анти-государственников и награждает и наказывает их соответственно». Тоже русистика.

Вячеслав Пьецух. Сценки из деревенской жизни. — «Знамя», 1996, № 3.

Новое произведение известного прозаика. См. также его рассказ «Ночные бдения с Иоганном Вольфгангом Гёте» в № 5 «Нового мира» за этот год.

Мария Ремизова. Властью серого черепа. — «Литературная учеба», 1996, № 1.

Нелицеприятный разбор книг Чингиза Айтматова «Тавро Кассандры», Андрея Кучаева «Записки Синеи Бороды», Анатолия Кима «Онлирия».

Феликс Розинер. Адамов ноготь. Повесть. — «Нева», 1996, № 2.

Автор романов «Некто Финкельмайер» и «Ахилл бегущий», проживающий в США, предлагает читателям свою новую повесть 1979 года.

Пантелеймон Романов. Наука зрения (1907 — 1937). Фрагменты. Подготовка текста и публикация Ст. Никоненко. — «Литературная учеба», 1996, № 1.

Мысли о творчестве, рабочие записи. Тут же печатается статья Ст. Никоненко о П. Романове (1884 — 1938).

Александр Силин. Таня. Повесть. — «Урал», 1995, № 8 (дошел до Москвы в начале 1996 года).

Документальная повесть из жизни русской эмиграции в Китае и Корее.

Марк Харитонов. История одной влюбленности. — «Знамя», 1996, № 3.

Воспоминания о Давиде Самойлове. Из книги эссе «Способ существования».

Федор Чирсков. Через Воскресение. Отечество. Рассказ. — «Звезда», 1996, № 2.

Рассказ 1977 года. Тут же печатается статья Андрея Арьева «Современник метели» — памяти писателя Федора Чирскова, умершего осенью 1995 года.

Константин Шилов. «И да не минет нас Главное». Натан Эйдельман в наших судьбах. 1967 — 1989 годы. — «Вопросы литературы», 1996, № 1.

Содержательные, но несколько экзальтированные воспоминания. Много цитат из писем Н. Эйдельмана.

Мария Шнеерсон. В мастерской художника. Из наблюдений над романом М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». — «Грани», № 178 (1995).

О черновых вариантах булгаковского романа.

Михаил Эпштейн. Прото-, или Конец постмодернизма. — «Знамя», 1996, № 3.

«Постмодернизм по-прежнему остается единственной более или менее общепринятой концепцией, как-то определяющей место нашего времени в системе и последовательности исторических времен. Возможна ли концепция альтернативная постмодернизму и вместе с тем не враждебная ему, но включающая его, как пройденную ступень, в перспективу дальнейшего культурного развития?»

Эренбург, Савинков, Волошин в годы смуты (1915 — 1918). Публикация, подготовка текста, вступительная заметка, заключение и примечания Б. Фрезинского и Д. Зубарева. — «Звезда», 1996, № 2.

Публикаторы предлагают читателям «переписку трех незаурядных и столь непохожих друг на друга авторов, которых — каждого в своей мере — влекли к себе и литература, и политика». Цитирую: «Да, мы в аду — ты прав. С тою лишь разницей, что в настоящем — церковном аду гораздо больше порядка, логики и системы» (из письма Волошина Эренбургу от 27 ноября (10 декабря) 1917 года из Коктебеля в Москву).

Составитель **Андрей Василевский.**

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Июль

5 лет назад — в № 7 за 1991 год началась публикация знаменитой книги Ф. А. Хайека «Дорога к рабству».

30 лет назад — в № 7 за 1966 год напечатана повесть Бориса Можаяева «Из жизни Федора Кузькина».

35 лет назад — в № 7 за 1961 год напечатана повесть Георгия Владимова «Большая руда».

55 лет назад — в № 7(-8) за 1941 год напечатано памятное «Выступление по радио Председателя Государственного Комитета Обороны И. В. Сталина. 3 июля 1941 года».

SUMMARY



The poetry section of the issue presents poems by Yan Goltsman, Yelena Yelagina, Ivan Oblasov, Lev Ozerov, Lev Kotyukov, Leonid Zavalnyuk.

We are beginning to publish the novel «Forty Years of Chanchzhoe» by Dmitry Lipskerov. In the issue we are also publishing three short stories by Irina Povolotskaya, as well as the narrative «To the Shop with Yegorych. There and Back» by Oleg Larin.

The section «Diaries. Memoirs» presents the memoirs «A 'Thaw' in the Zone» by V. Sadovnikov and «Early Sakharov» by Yuri Glazov.

In the section «Publications and Reports» we are beginning to publish the article «Savinkov in Lubyanka», based on some unclassified KGB archives, by V. Shentalinsky.

The section «Philosophy. History. Culture» offers the article «The Man in History: Solzhenitsyn and Hippolyte Taine» by Yelena Orlovskaya-Balsamo.

The section «Literary Criticism» presents an article by Sergei Kostyrko on the problems of modern literary criticism (afterword by Irina Rodnyanskaya).

The section «By the Way» presents critical reflections by Aleksandr Arkhangelsky.

In the section «Book Review» Tatyana Kasatkina reviews the collected works by Venedikt Yerofeyev; Nikita Yeliseyev reviews the prose by Aleksandr Borodunya; Boris Davydov reviews the one by Mikhail Gorodinsky; Konstantin Sergienko reviews a new dictionary on business.

In the section «Briefly About Books» Vladimir Slavetsky and Yuri Kublanovsky review new books by modern Russian poets.

In the section «Russian Books Abroad» Yelena Tikhomirova writes about the literary anthology «The Island» which is published in Germany.

The issue also presents our traditional sections «Bookshelf» and «Periodics».

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор С. П. Залыгин

Редакционная коллегия:

**С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, М. В. Бутов,
А. В. Василевский (ответственный секретарь), Д. А. Гранин,
А. А. Ким, Р. Т. Киреев (зам. главного редактора), С. П. Костырко,
Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко,
П. А. Николаев, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов,
М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев (зам. главного редактора)**

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2
Телефоны: отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,
отдел публицистики — 229-25-83, для справок — 200-08-29.

Сдано в набор 20.03.96 г. Подписано к печати 22.05.96 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции
журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать.
Объем 16 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28 уч.-изд. л.

Тираж 20 570 экз. Зак. 1574. Цена договорная.

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.

Гипография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия».
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

**ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1996 ГОДА
И В 1997 ГОДУ «НОВЫЙ МИР»
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

- С. С. АВЕРИНЦЕВ. **О слове в Откровении и слове в поэзии;**
 ВИКТОР АСТАФЬЕВ. **Прокляты и убиты** (роман, часть третья);
Обертон (повесть);
 ИНГМАР БЕРГМАН. **Исповедальные беседы** (роман, перевод со шведского);
 АНДРЕЙ БИТОВ. **Жизнь без нас** (стихопроза);
 В. БОГОМОЛОВ. **Алина** (повесть);
 ЮРИЙ БУЙДА. **Синдбад Мореход** (рассказы);
 МИХАИЛ БУТОВ. **Свобода** (роман);
 РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. **Дорога Бог знает куда** (повесть);
 АНДРЕЙ ВОЛОС. **Собака** (рассказы);
 ВИТОЛЬД ГОМБРОВИЧ. **Дневники** (перевод с польского);
 БОРИС ЕКИМОВ. **Очерки и рассказы;**
 ИГОРЬ ЗОЛОТУССКИЙ. **Путешествие к Набокову;**
 АНАТОЛИЙ НАЙМАН. **Б. Б. и др.** (рассказы);
 МАРИНА НОВИКОВА. **Ужасы** (продолжение статей «Маргиналы», «Соблазны», «Символы»);
 ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ. **Рассказы;**
 ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. **Прохождение тени** (роман);
 ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. **Грибники ходят с ножами** (повесть);
 КРИСТОФ РАНСМАЙР. **Morbus Kitahara** (роман, перевод с немецкого);
 ИРИНА РОДНЯНСКАЯ. **Маканин нового времени;**
 ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВ. **Убегающий от печали** (из литературного наследия);
 ЕРМОЛАЙ СОЛЖЕНИЦЫН. **От горсти риса до сотовой связи** (китайские впечатления);
 АНТОН УТКИН. **Хоровод** (роман);
 АЛЕКСАНДР ЧУДАКОВ. **Чехов между верой и неверием;**
 ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ. **Золотая блесна** (северная проза);
 НИКОЛАЙ ШМЕЛЕВ. **Переход Суворова через Альпы** (повесть в новеллах);
 У. ШОУН. **Лихорадка** (повесть, перевод с английского);

а также новые произведения СВЕТЛАНЫ ВАСИЛЕНКО, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, ГЕННАДИЯ ГОЛОВИНА, ВАЛЕРИЯ ЗАЛОТУХИ, АНАТОЛИЯ КИМА, МАРКА КОСТРОВА, МИХАИЛА КУРАЕВА, АНАТОЛИЯ КУРЧАТКИНА, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ДМИТРИЯ ЛИХАЧЕВА, ВЛАДИМИРА МАКАНИНА, АЛЕКСАНДРА МЕЛИХОВА, ОЛЕГА ПАВЛОВА, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА, ЕВГЕНИЯ РЕЙНА и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ
ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**